

ДРУЖБА НАРОДОВ



ДРУЖБА НАРОДОВ 12/99

- Проза: произведения
«малых жанров»
- *Александр Тимофеевский*
Одичание
Стихи
- *С. А. Филатов*
Совершенно несекретно
- *Владимир Дегоев*
Закон силы и сила закона
в мировой политике на пороге
третьего тысячелетия
- *Лев Аннинский*
Игла в сердце

12'99

Читайте в следующем номере

«Нельзя победить судьбу, играя с ней краплеными картами», — думает Н. Как бывает во сне или при лихорадочном возбуждении, эта нехитрая мысль кажется ему необыкновенно значительной... Внезапно ужасный вопль доносится из покоев Намсарай-гуна. Н. бежит обратно, распахивает дверь. Никого, князь лежит на полу. Он мертв. Мертв, хотя на теле у него нет никаких ран, лишь слегка порезана подушечка одного из пальцев левой руки».

Леонид ЮЗЕФОВИЧ.

«КНЯЗЬ ВЕТРА»

Историко-детективный роман

автора известных книг

о мастере сыска Путилине

ДРУЖБА НАРОДОВ



*Независимый
литературно-художественный
и общественно-политический
журнал*

12'99

Учредитель — трудовой коллектив редакции «ДН»

Основан
в марте 1939 года

СОДЕРЖАНИЕ

Проза и поэзия

Александр ТИМОФЕЕВСКИЙ. Одичание. <i>Стихи</i>	3
Юрий БУЙДА. Сказочки	6
Слава СЕРГЕЕВ. Зимний досуг, или Путешествие за три моря. <i>Маленькая повесть о любви</i>	19
Георгий БАЛЛ. Рассказы	40
Зинаида БЫКОВА. Звон синиц глушит свежую боль... <i>Стихи</i>	51
Вера ЧАЙКОВСКАЯ. Ученик, или В окрестностях рая. <i>Провинциальная повесть</i>	54
Марина ТУМАНОВА. Женщина у окна. <i>Стихи</i>	74
Даниил ГРАНИН. Наваждение. <i>Из цикла «Чудеса любви»</i>	76
Сигита АДОМЕНАЙТЕ. Похороны цыпленка. <i>Слитовского.</i> <i>Перевод Н. Адоменайте и Д. Долинина</i>	79
Игорь ЕМЕЛЬЯНОВ. Дышу и думаю «я жив»... <i>Стихи</i>	82
Марина ТАРАСОВА. Колбасный цех, который на Парнасе	85
Геннадий АБРАМОВ. Спорыш. <i>Рассказ</i>	94
Анатолий АЗОЛЬСКИЙ. Могила на Введенском кладбище. <i>Наброски биографии</i>	110
Мурман ДЖГУБУРИА. Сонмища звезд забредают, шурша... <i>Стихи.</i> <i>С грузинского. Перевод А. Радковского</i>	115
Анатолий ПРИСТАВКИН. Долина смертной тени. <i>Роман-исследование</i> <i>на криминальные темы. Окончание</i>	118

Публицистика

С. А. ФИЛАТОВ. Совершенно несекретно	142
--------------------------------------	-----

Мысли вслух

Владимир ПОЗНЕР. Кое-что о национальной идее...	164
---	-----

Нация и мир

Владимир ДЕГОЕВ. Закон силы и сила закона в мировой политике на пороге третьего тысячелетия	166
Виктор МАЛАХОВ. Нации не выбирают...	177

Критика

Владимир ЕШКИЛЕВ. «Чьи вы, хлопцы, будете?..»
Беседу ведет Наталья Игрунова

188

Книжный развал

Николай АЛЕКСАНДРОВ. Право оглянуться **198**
Илья КУКУЛИН. Кочевье слов на улицах и побережьях **200**
Владимир КОРНИЛОВ. Званные и избранные **202**
Валерий ЛИПНЕВИЧ. Территория здравого смысла **206**

Елена МАКАРОВА. «Когда меня не будет». *Памяти поэта Айзенштадта* **208**

Эхо

Игла в сердце. *Рубрику ведет Лев Аннинский* **212**

Содержание журнала «Дружба народов» за 1999 год **218**

Summary **224**

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!

В 1999 году
распространением журнала занимается
агентство «Роспечать».
Ищите «ДН» в его каталогах.

Институт «Открытое общество» выкупает
3 500 экз. журнала «Дружба народов» и безвозмездно
направляет в библиотеки России и ряда стран СНГ.

Главный редактор
Александр ЭБАНОИДЗЕ

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Лев АННИНСКИЙ, Леонид БАХНОВ, Владислав ЗАЛЕЩУК, Наталья ИГРУНОВА,
Владимир МЕДВЕДЕВ, Леонид ТЕРАКОПЯН (заместитель главного редактора)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Рамазан АБДУЛАТИПОВ, Геннадий АЙГИ, Василь БЫКОВ, Алла ГЕРБЕР,
Юрий В. ДАВЫДОВ, Тиркиш ДЖУМАГЕЛЬДЫЕВ, Иван ДЗЮБА, Александр КЛЯЧИН,
Михаил КУРАЕВ, Валентин КУРБАТОВ, Грант МАТЕВОСЯН, Геннадий ЛИСИЧКИН,
Кнут СКУЕНИЕКС, Константин ЩЕРБАКОВ, Бронислав ХОЛОПОВ, Атнер ХУЗАНГАЙ,
Лев ХУНДАНОВ

Александр Тимофеевский

Одичание



* * *

Слышу гул...

А. Блок

О, эти гулы, уши рвущие.
Что мучите? Что душу тянете?
В долину камешки бегущие,
Слов выпадение из памяти.
Обвалы, оползни, смещения,
Засор в трубе канализации.
Бенз! И не стало освещения
И прочих благ цивилизации.

Земли звериное урчание,
Высвобожденье сил агрессии.
Взаимное непонимание
Растет в невиданной прогрессии.
Разорвало процесс познания,
Бесплодным сделав обучение.
Так наступает одичание
И настает земли трясение.

Белеет парус одинокий

Генриху Сапгиру

БЕЛЕЕТ
что-то внизу под тахтой.
ПАРУС
топтанных тапок нащупал.
ОДИНОКИЙ
сiju, ступни босые топыря.
В ТУМАНЕ
башка.
МОРЯ
водки вчера не хватило! Добавил портвейна.
ГОЛ! У! БОМ! —
болельщиков рев.
ЧТО
за мерзкие рожи! Выключил ящик.
ИЩЕТ
кот, чего бы ему такого сожрать.
ОН
спину выгнул, мяучит.
В СТРАНЕ,
где жизнь человека дешевле кроссовок,
ДАЛЕКОЙ
стала забота о брате меньшом.
ЧТО
ж ты мяучишь, подлец!
КИНУЛ
тапком в ворюгу.
ОН,
как дитя, — мау, мау, уа-а. Под ванну забился.

В КРА
 сном углу икона висит.
 ЮРОД,
 кому я молюсь!
 НО, М
 ожет, Бог все же есть?

* * *

Как тогда за очередью очередь,
 И, забыв про женский свой уют,
 Наши жены, матери и дочери
 В муках хлеб насущный достают.

Бег попятный ощущаю кожей,
 На душе все гаже и стыдней.
 До войны и до блокады дожили,
 Доживем до окаянных дней.

* * *

Здесь ни кола и ни двора,
 Здесь только худо без добра —
 Распад, разруха, амнезия...
 Россия — черная дыра.
 Голубка. Нянька. Мать. Россия.

* * *

Мне не спится никак, не ночуется,
 Затаюсь и лежу не дыша,
 Все-то жду я, когда отпочкуется,
 Оторвется от тела душа.

Или в дождик по ельничку частому
 Без пути и дороги брести.

Отпочкуется часть моя лучшая,
 И в одну из ненастных ночей
 Я умру от питейного случая
 И в связи с недосмотром врачей.

Опасаясь приводов в милицию,
 Буду я и спокоен и тих,
 Буду пить ключевую водицу я,
 По привычке деля на троих...

Я скажу, ситуация спорная,
 Я не мертвый, Господь, я хмельной.
 Дай мне, Боже, попытку повторную,
 Отпусти меня с миром домой.

Тут Господь мои речи повинные
 Так обрежет, что дрожь по нутру,
 И прикажет от запаха винного
 Помещение очистить Петру.

Чтоб лежать мне на травке и царствовать
 И стрекоз да букашек пасти,

Ситуация, скажет он, странная,
 Дух такой, что святых выноси.
 Ты, душа без сомнения пьяная,
 Убрайся, живи на Руси!

* * *

Перестроимся и не мешкая
 Перестроившись побежим.
 И короткими перебежками —
 На исходные рубежи.

Сквозь проклятые шестидесятые,
 Сквозь тридцатые злые года —
 До того поворотного столбика,
 От какого мы все не туда.

* * *

Меня штурмует память,
 как пехота.
 Я в беспощадном огненном кольце.
 А ваша память — след от самолета,
 Вначале четкий, тающий в конце.

Породу прошлых дней буравлю,
 Закладываю динамит,
 Сегодняшнее в грош не ставлю,
 А будущее не манит.

Я становлюсь такой дурной,
Невыносимее и вздорней.
Лежат на вывернутом дерне,
Отброшены взрывной волной
Мои же собственные корни.

Я не в тебя свой взор вперил,
Не по тебе грущу, прелестница,

Вся жизнь моя, как от перил
Вдруг оторвавшаяся лестница.

Я на нее гляжу в упор
И вижу всю ее в полете
Уже без связей и опор
В рапидном медленном полете.

* * *

Мать убьют, а ты не прозреешь,
Жену убьют, а ты не прозреешь,
Дитя убьют, а ты не прозреешь,
Тебя убьют, прозреть не успеешь.
И мог бы прозреть ты в это мгновенье,
Да мертвецам не дано прозренье.

* * *

Бессмысленно писать стихи,
Напиться не дает изжога,
А прежние мои грехи
Мне не дают поверить в Бога.
Из всех любимых мной чудес
Остался только зимний лес.
Лес был всегда таким богатым,
Но, чистоту свою храня,
Не хочет лес принять меня,
Меня признать не хочет братом.
Среди заснеженных полян
И сосен, погруженных в думы,
Я, как еврей среди славян,
Встречаю в спину взгляд угрюмый.
А может, никакой не взгляд,
А просто я от стужи стыну.
А просто я продрог до пят,
А просто ветер дует в спину.

Чайку, лайку,
 Майку, гайку.
 Громче, музыка, играй-ка!
 Мы хороним,
 Мы хороним —
 Никого живых не тронем!..

Само собой разумеется, что на Тошего Ю тотчас ополчались все муравьи, стрекозы, воробьи, чайки, лайки, майки и гайки. И живые люди, которым становилось досадно: их-то почему стороной обошли?

Даже мертвец в таких случаях вставал из гроба и кричал назло тощему бездельнику:

Как хорошо здесь,
 Как удобно:
 Как изюминке
 В булочке сдобной.

И, показав удирающему бездельнику черный язык, громко хлопал крышкой гроба, уже не понимая хорошенько: хорониться ему или нет?

Жил Ю во втором этаже старинного дома и любил устраивать чаепития для детей. Нарисовав себе шоколадные усы и размахивая чайными ложками, как саблями, ребята весело орали хором:

Кони, кони, кони, кони!
 Мы сидели на балконе,
 Чай пили, чашки били,
По-турецки говорили!

И били чашки, по-турецки переругиваясь с родителями и соседями:

— Дзинь-дзинь-дон! Дон-дин-донг, надень сапонг! И возьми-ка в руки зонт, а не то — динь-донг!

Городку давно надоел Тоший Ю, а Тощему Ю — городок. И когда вдруг заезжая толстая цыганка, приехавшая в городок на круглой, как тыква, повозке, запряженной тощими поросятами, предложила за совершенно пустячную сумму билет до станции Через-Сто-Лет, в один конец, — согласился взять этот билет только Тоший Ю. Остальные жители городка, покусав губы, прикинув в уме то да се, с преобильствующим сожалением отказались от заманчивого предложения.

— И потом, куда мы приедем? — сказала Буяниха. — К собственным безымянным могилам? К своим домам, в которых будут жить совсем другие люди? К другим людям, которых мы не знаем и которые успеют поставить памятники тем, кого мы сегодня не любим? Жить надо сейчас. А через сто лет не будет ничего, кроме будущего.

Стоил билет, конечно, недешево: Тощему Ю едва хватило всего его запаса спасибо и спасибочек — на сдачу. Но дальше он действовал без раздумий. Он тотчас облачился в единственный свой приличный костюм, склеенный из отличного цветного картона, на голову вместо шляпы водрузил вечно сонную кошку по прозвищу Галинванна — и отправился на железнодорожный вокзал.

Здесь ему сказали, что если какой поезд когда-нибудь и отправится до станции Через-Сто-Лет, то поведет его паровозик по прозвищу Чарли Чаплин — смешной, кургузый, с огромной трубой, похожей на старинную высокую шляпу. За ненадобностью его давно загнали в тупик, прицепив к нему такие же ненужные пассажирские вагоны без стекол. Тоший Ю поудобнее устроился в первом вагоне, рядом с кондуктором, на груди у которого висел на цепочке серебряный рожок. Кондуктор спал, и Ю тотчас последовал его примеру, надвинув на лоб вечно спящую кошку Галинванну.

Поглазеть на это чудо бежался весь городок, включая муравьев, стрекоз, воробьев, чаек, лаек, маек и гаек. Оркестр готовился грянуть прощальный марш, но никто не давал сигнала к отправлению. Чарли Чаплин с покосившейся трубой-шляпой тихонько похрапывал, цветы и травы, проросшие через шпалы и песок, проникли в вагоны и обвилились вокруг кондуктора, его серебряной дудки, оплели длинные ноги Ю и хвост беспробудной кошки Галинванны.

Люди сначала смеялись да посмеивались, потом загрустили под звуки

засыпающего оркестра, потом безобидная ведьма Буйниха честно пробормотала: «Всем нам хотелось бы купить билет до станции Через-Сто-Лет, но жить-то приходится среди безнадежно живых людей» — и тоже заснула.

И вот когда все уже спали крепким сном, из неприметной дверцы в боковой стене станции вышел старик с фонарем и позвонил в позеленевший от времени колокол. Кондуктор сладко зевнул и что было силы дунул в свой серебряный рожок. Чарли Чаплин пыхнул трубой-шляпой, и поезд двинулся напрямик в поле, по которому не были проложены рельсы («По рельсам и дурак сумеет проехать», — усмехнулся в усы кондуктор). Кипя и волнуясь цветами, аромат которых был крепче запаха звезд, поезд быстро набирал скорость, и вот он уже мчался, поднимаясь все выше над землей. Тоший Ю открыл один глаз, чтобы посмотреть на пролетавшие мимо звезды, и подумал: «Что ж, так оно и должно быть: ровно через сто лет мы прибудем на станцию Через-Сто-Лет...» И снова уснул, не замечая слез, тихонько катившихся по его тощим щекам. Наверное, он тоже оставил в прошлом кого-то, кто ему был дорог...

А внизу, по полю, бежала какая-то маленькая девочка с большим цветком в руках. Ей тоже хотелось бы лететь в этом поезде до станции Через-Сто-Лет, но она понимала, что время ее еще не пришло. А что оно придет непременно, в это она твердо верила, поскольку ни за что не хотела прожить всю свою жизнь среди безнадежно живых людей.

P.S. Комментарий немолодого билетного кассира Бардадыма, тайком пописывающего стихи

Как-то так получилось и сложилось с самого начала, что билеты на поезд до станции Через-Сто-Лет мы только фиксируем, распространяют же их все кому не лень: бродячие цыгане, пьяные мотоциклисты, глухонемые девушки, приторговывающие попутно порнооткрытками и собственным телом, несмышленные дети, выжившие из ума старухи... Понять, — а такие попытки предпринимались неоднократно, — откуда им в руки попадают эти билеты, причем не подделки, а всамделишные билеты со всеми полагающимися реквизитами, совершенно невозможно. Один подобрал билет на улице, другой кое-как сорвал его с ветки — он рос подобно листу, третьему его прислали почтой в конверте без обратного адреса...

Что нам остается? Мы компостируем эти билеты, но честно при этом предупреждаем, что пассажирам придется ждать поезда неведь сколько времени. Повезет — уедете через час скорым Вильнюсским, который ни с того ни с сего по радио объявляет соответствующую остановку, хотя в его маршрутной карте такая станция и не значится. Не повезет — прождете месяц, а то и год, а может быть, и такое случалось не раз, и вовсе не дождетесь. Впрочем, на обороте билетов имеются соответствующие предупреждения. Назад мы такие билеты не принимаем, такова инструкция. Но я не упомяну случая, чтобы хоть раз кто-нибудь обращался к нам с подобной просьбой. Что делают с неиспользованными билетами наши недопассажиры — ума не приложу. Может, вставляют в рамочку и вешают на стенку, чтобы иногда, хоть раз в год, когда никто не видит, вздохнуть от всего сердца самым сердечным вздохом и, может, пожалеть об упущенной возможности... А может, и не жалеют? Как знать. Это знак неосуществленности — или неосуществимости — судьбы... Это трудно комментировать: слишком много потаенно-личного в каждой такой истории.

Кстати, на этой почве случаются в нашем городке и презабавные перепалки, иной раз перерастающие в ссоры. Бывает, что кто-то вдруг бросит в сердцах: «Да что ты за человек такой-сякой? Вот уж с тобой мы точно не встретимся на станции Через-Сто-Лет. В лучшем случае выкурим по сигарете на остановке Через-Три-Года — и привет!» Согласитесь, обидно, когда тебе отказывают в праве на вечность.

Не фантастика ли вся эта история с билетами и станцией Через-Сто-Лет? Не уверен, хотя, признаться, и меня посещали сомнения. Перед моим окошком прошли десятки обладателей билетов до этой станции, и каждый чем-то отличался от окружающих.

Один годами прятал горб под нарочито уродливо сшитым пальто, и только при посадке в поезд выяснилось, что это у него был не горб, а самые настоящие крылья.

Другой — видели б вы этого нелепейшего человека! — двадцать лет без малого хранил верность самой красивой женщине городка, которая четырежды удачно выходила замуж, но однажды, все бросив, пришла к нему, потому что настоящую-то любовь мог дать ей только он, а только ради подлинности и прозябает в наших словарях малоупотребимое слово «любовь». В тот же день он купил себе билет до станции Через-Сто-Лет и через час уехал, оставив несчастную рыдать на перроне. «Я вдруг понял, — сказал он мне на прощание, — что на самом деле меня влечет непознаваемое, а не непознанное. Тьма, где поджидают нас настоящие чудовища — музыка и поэзия». Видимо, он считал себя способным или даже призванным сразиться с этими чудовищами и хотя бы на минутку вытащить их на свет Божий. А чего большего еще может желать подлинный творец?

После его отъезда я и повесил в своей конторке неброскую — чтоб не привлекла ненароком внимания начальства — бумажку с изречением Колриджа: «Поэзия есть добровольное погружение в невероятное».

О добровольности я вспомнил не случайно. Ведь большинство наших поездок носят вынужденный характер: нам вдруг нужно ехать на работу, бежать от постылой жены, отправляться в хорошую больницу или на похороны родных и близких. Что-то я ни разу не встречал людей, которые брали бы билет на поезд просто так, без заранее обдуманной цели. Впрочем, если такие люди и существуют, их должно быть ничтожное меньшинство, иначе транспорт вообще перестал бы существовать.

Все мы боимся будущего, о котором нам сегодня известно только одно: его нет. Люди берут билет до станции Через-Сто-Лет — иногда компаниями, и вдруг по пути выясняется: кому-то надоела бесконечная дорога и он готов выйти на станции Через-Десять-Лет. А кого-то просто высаживают на станции Через-Двадцать-Лет. Наконец кому-то не велит, не позволяет, не дает возможности доехать до конца некая неведомая сила — то ли изнутри души человеческой вдруг ударяющая, то ли извне, то ли это вообще — Бог, вдруг решивший доказать именно ему, этому человеку, что Он не является результатом злоупотребления превосходными степенями прилагательных, что Он — Бог-Как-Он-Есть. И все. Я не отношу себя ни к верующим, ни к атеистам, — я думаю, что любая из перечисленных — и многие из неназванных за недостатком места — причин дают повод к глубоким размышлениям как для собирающихся уезжать, так и для остающихся.

И, разумеется, при покупке билета сразу встает вопрос об ответственности и мужестве. Я сразу отбрасываю случаи, связанные со сделками, в которых участвовали пьяницы или душевнобольные, — речь идет о нормальных людях, пусть и в самом широком смысле, то есть не только о нормальных поэтах и математиках, но и о нормальных бухгалтерях и продавщицах обувных магазинов. Они — пусть и не все и не сразу — отдают себе отчет в том, на что идут, и уж если они действительно согласны идти до конца, их уже не пугает ни жизнь, ни смерть, ни чудовища, хотя ведь никому не известно, с кем или даже с чем они столкнутся, едва ступив на перрон станции Через-Сто-Лет.

Персоналу категорически запрещено разглашать какие б то ни было данные о станции Через-Сто-Лет, которые нет-нет да и доходят до нас случайно, окольными путями. Нам-то известно: это не *тот свет*, а просто — новый свет. Это не эмиграция, даже не отъезд в другую страну на время, пусть и на сто лет. Знающих людей иногда беспокоит возможное смещение смыслов, содержания тех или иных понятий, которые перестают соответствовать тем смыслам и содержаниям, к которым мы здесь привыкли. На самом деле, как мне кажется, несходства имеют скорее количественный, нежели качественный характер (может, это еще страшнее, чем если б было наоборот). Письма оттуда не доходят никуда. Да ведь и уезжающих немного, и так и должно быть, чтобы они вообще могли быть: кто-то же должен здесь бесстрашно встречать лицом к лицу каждый день самое страшное на свете — подлинную реальность *этой жизни*.

Кроме того, и эту информацию Компания хранит как величайшую из тайн, на одной из ближайших станций в поезд садятся контролеры, не только проверяющие билеты, но и облеченные полномочиями посадить пассажира на любой станции, и чем они при этом руководствуются, известно одному Богу да, может быть, Компании. Разумеется, волей-неволей возникает вопрос об их тождестве, Бога и Компании, или же еще более жесткий и потому, может быть,

более уместный вопрос — об отсутствии и Бога, и Компании, которые, возможно, когда-нибудь и существовали, но в конце концов махнули на все рукой и доверились так называемой свободе человеческой воли, равно способной низринуть человека в ад или вознести в райские эмпиреи. Наверное, это человеческая, слишком человеческая постановка вопроса, но времена меняются, люди меняются, — остаются разве что билетные кассиры...

Признаюсь как на духу: в потайном ящичке моего стола давно хранится заветный билет. В любой миг я могу уехать, но пока не уезжаю, хотя ни жена, ни дети, ни какие-то иные важные обязательства тут не играют решающей роли. Само наличие билета в потайном ящичке — что-то вроде навсегда отсроченного смертного приговора или навсегда же отсроченного безусловного помилования — делает меня свободным. (Хотя, разумеется, есть в этом и что-то, простите, подлое, что-то вроде индульгенции за еще не совершенные грехи, — тут только держись!) Но мне не хотелось бы, чтоб мой отъезд воспринимался хоть кем-нибудь как невротическая реакция на пустоту жизни, или на выговор от начальства, или на очередную стычку с женой. Решение должно созреть исподволь, само собой; я лишь сосуд, в котором бродит это таинственное варево (брожение которого, впрочем, невозможно без сосуда, да и само брожение — не жизнь ли моя день за днем?). Я твердо уверен, что рано или поздно я сяду в поезд до станции Через-Сто-Лет. Я сделаю это осознанно, в уме и в памяти, не подчиняясь толчку извне или приказу свыше, даже если он будет исходить от неясного для меня Бога. Пусть он отдает приказы ангелам, в отличие от которых я создан по образу и подобию Божию, а значит, я, как и всякий человек, выше ангелов. Это должно быть наитие, озарение, Случай — а не случайность. «Готовность — это все», заметил как-то Шекспир. Без ложной скромности скажу: я готов к неожиданной вести, которая — и это будет мой голос, глас моей души и сердца — призовет меня к добровольному погружению в невероятное. Остальное — поэзия, то есть неуправляемая стихия языка и речи, которой нужно безотчетно и безоглядно подчиниться, чтобы, наконец, отправиться к цели, забыв о цели...

Да и кому, как не мне, не знать, что отправляющийся в дальний путь паровозик Чарли Чаплин, мчащийся между звездами к манящей цели, всегда тут, на нашей станции: стоит только отодвинуть занавеску и выглянуть в окно, чтобы убедиться в этом. И как это прекрасно...

Беззлобная зависть, смешанная с легкой печалью, непременно присутствует в этой ситуации, что и свидетельствую: Тошему Ю беззлобно завидовали и желали доброго пути. (Все понимают, что любое счастье непременно стоит чьих-то слез, и уж с этим ничего не поделаешь.) Ведь он уехал единственным поездом, при отправлении которого никто не говорит: «До свидания!», но лишь: «Прощай!» Прощай, Ю. И постарайся — как это ни больно — забыть про нас, оставшихся, даже про тех, кто не утратил надежды на встречу с тобой, — прощай. Там — там — мы не узнаем друг друга. Иначе зачем она, новая жизнь?

Поздно вечером, заперев дверь своей каморки, я не торопясь бреду домой, поглядывая на пролетающие среди звезд и почти неотличимые от них поезда. Что ж, люди уходят, но участь слов — оставаться на земле. И в такт шагам я бормочу, бормочу:

Дым, дым, Бардадым,
Мы хороним-хороним
Не живого — мертвого,
Не сухого — мокрого.
Дым, дым, дым да дым,
Плачет-пляшет Бардадым.

Прощай, Ю!

Плачет-пляшет Бардадым...

Ореховая Гора

Одни говорят, что Ореховую Гору построили в середине тридцатых годов, другие утверждают, что произошло это не раньше сорок третьего — сорок пятого. Никакой горы там не было. Возможно, кто-то из строителей вспомнил о земле обетованной из старинных преданий, куда столетиями стремились в поисках лучшей доли русские крестьяне, — она называлась Беловодьем или Ореховой Горой.

Высокие стены изсосен в два обхвата, ворота, башни, дома под гонтовыми крышами, висячие сады, огороды, скотина и птица — и все это в самом центре страны концлагерей, в суровой Сибири, на вечной мерзлоте. Об Ореховой Горе мечтали все солдаты и офицеры, служившие в охране лагерей, — для заключенных же она была сказкой о рае. Да и в самом-то деле, как-то не очень верилось замордованным людям, что где-то в одном месте собраны тысячи женщин, которые сладко едят и пьют, прилично одеваются и даже каждый день моются теплой водой, и все лишь затем, чтобы удовлетворять мужские прихоти. Этих женщин выбирали из новеньких заключенных, подвергали тщательному медицинскому осмотру, обмеряли и взвешивали, после чего передавали в руки хозяйки Ореховой Горы — Марлены, которую заглазно звали Главсукой. Шептались, будто сама она обслуживает только Сталина. Раз в году ее специальным самолетом доставляли в Москву, где три дня и три ночи проводила она в объятиях Генералиссимуса. Перед возвращением на Ореховую Гору ее тщательно обследовали лучшие врачи, которые должны были убедиться в том, что Марлена не утаила в себе ни капельки сталинской мужской жидкости.

— Не горюйте, новобранцы! — с ледяной улыбочкой говорила Марлена. — Сегодня лучше, чем завтра, а завтра будет лучше, чем послезавтра.

И твердой рукой распределяла женщин по номерам.

«От каждого по способностям, каждому — по потребностям» — таков был основной принцип жизни на Ореховой Горе. Женщины сами вели хозяйство, ухаживали за скотиной, птицей и садами-огородами, готовили пищу. Развлеченная и наказания назначались общественным советом.

Нельзя сказать, что там были собраны одни красавицы, нет, — там были собраны женщины на любой вкус: тонкие и толстухи, юные и в летах, с заурядными представлениями о плотских радостях (таких называли «пехотными шлюхами») и искусницы, способные удовлетворить самому взыскательному вкусу, дамы вулканического темперамента, испепелявшие мужчин одним касанием (этим пеплом удобряли ореховогорские огороды), и абсолютно фригидные, превращавшие любого постельного труса в настоящего героя...

Рассказывали о необъятной женщине, по которой трое мужчин могли путешествовать часами, не встречаясь друг с другом. Перед встречей с нею претенденты проходили инструктаж, сдавали экзамен по технике безопасности, снабжались подробной картой местности и специальным снаряжением, позволявшим спастись от смертельной тоски в бескрайних болотах плоти. Любопытно также предание о женщине, которую можно было спрятать в кармане; один из клиентов попытался вынести ее тайком, но был раскушен Главсукой и отдан под трибунал, тотчас приговоривший вора к смерти...

Незадачливого похитителя всего-навсего расстреляли. Некоторым везло больше — они принимали смерть в объятиях Царицы. Одни говорили, что она убивала своей красотой; другие утверждали, что приговоренный к Царице погибал от разрыва сердца при первом же взгляде на ее чудовищное уродство. Но все это байки, ибо видеть ее не позволялось даже Главсуке, мужчин же из ее покоев в лучшем случае выносили вперед ногами, в худшем, как шептались, хватало обыкновенного веника. Чтобы вымести останки... Именно в ее объятиях приняли смерть самые крупные государственные преступники, включая Лаврентия Берия. Некоторые сами просили, чтобы их приговорили не к банальному расстрелу, но «к Царице». Она была той каплей страха, что придает неповторимый аромат наслаждению, той каплей уродства, без которой не может быть подлинной красоты...

Главсука строго следила, чтобы на Ореховой Горе, не дай Бог, не случилось любовных историй. Но однажды некоему сержанту удалось выкопать подземный ход и умыкнуть из крепости юную женщину; любовники ушли от преследования и растворились в бескрайней тайге, где их обнаружили лишь

спустя много лет; когда охотники приблизились к их обители, седобородый сержант, передернув затвор винтовки, спросил из-за ограды: «Как зовут Сталина?» — на что высланный для переговоров вперед сын вожака охотничьей партии не смог ответить и тем убедил сержанта выйти к людям...

История сохранила предание о рядовом солдатике, которому удалось навсегда остаться в царстве любви. Поскольку он оказался девственником, Марлена отправила его к заурядной «пехотной шлюхе». Однако Главсуке было невдомек, что солдатик был поэтом. Когда женщина раздвинула ноги, он взволнованно спросил: «Что это?» — «Некоторые называют это звездой, — ответила женщина. — Другие — розой». — «Но если так прекрасны врата, если так чудесно устье, каков же храм? И какова же страна, где стремится бег свой река любви?» Он потянулся к устью, врата райские распахнулись перед ним, и солдатик не долго думая отважно бросился в плавание, скрывшись внутри женщины. Ее замучили рентгеном и допросами — она лишь растерянно пожимала плечами, продолжая твердить одно и то же: «Ни капельки не было больно. Было смертельно хорошо. Он нырнул и был таков». Сгоряча решили было ее расстрелять, но Марлена не согласилась. Она отвела «пехотной» отдельную комнатку в своем доме и по вечерам приходила посидеть с женщиной, прислушиваясь к тому, что происходит внутри ее тела, и задумчиво вглядывалась в ее лицо, озаренное смутной полуулыбкой... Главсука верила «пехотной». Иногда они обсуждали жизнь солдатика-поэта, отправившегося в нескончаемое путешествие по стране любви, — и тихонько плакали...

Скорее всего, это легенды: Ореховая Гора охранялась, как мало какой другой объект в стране секретных объектов. Тысячи заключенных погибли на строительстве противотанковых рвов, заграждений, аэродромов, а также казарм для четырех мотострелковых дивизий особого назначения, бойцы которых поверх телогреек носили стальные панцири. А сотни метров минных заграждений? А тысячи замаскированных огнеметных установок? Но, пожалуй, самым страшным оружием были сторожевые псы, нарочно выведенные для охраны Ореховой Горы. Каждый такой пес был величиной с годовалого теленка и мог проглотить, не подавившись, одиночного бойца в полной экипировке, с сапогами, каской и кисетом для махорки; среди собак встречались и такие, что могли перекусить гусеницу вражеского танка. Так что прорваться к объекту противник мог только ценой колоссальных потерь.

Солдаты конвойных полков, отправленные на фронт, шли в атаку с криком: «За Родину! За Сталина! За Ореховую Гору!» Но как ни пытали гитлеровцы пленных в надежде выведать, что же это за Гора, ни один из бойцов так и не выдал тайны.

Заключенные сибирских лагерей утверждали, что чуют запах ароматного бабьего мяса, который за сотни верст доносили до них весенние ветры. Именно поэтому весной в лагерях начинались брожения, нередко перераставшие в восстания под лозунгом: «Век Ореховой Горы не видать!» Почетом и уважением пользовались лагерные брехуны, которые вечерами плели цветистые истории о жизни в загадочном бабьем царстве...

После смерти Генералиссимуса резко сократилась численность охраны Ореховой Горы и резко же возросла ее дерзость. Бывали случаи, когда охранники, подкупленные заключенными, пропускали уголовников в святая святых, и кто знает, чем бы в конце концов это обернулось, не прояви Главсука бдительности и жестокости. Она организовала хорошо вооруженные и обученные женские отряды самообороны, круглосуточно дежурившие на башнях и стенах Ореховой Горы.

17 апреля 1957 года курьер доставил начальнику охраны и Марлене приказ о ликвидации Ореховой Горы (Хрущев начал уничтожение ГУЛАГа), а 18 апреля, после общего женского собрания, Главсука подняла над главной башней крепости красный флаг неповиновения — знамя любви и отчаяния. Никто из женщин не пожелал свободы и возвращения на родину.

«За любовь!» — вот что было написано на их знаменах.

Начальнику охраны стало не до смеха, когда он узнал, что несколько конвойных рот примкнули к восставшим, — и он приказал подавить бунт любой ценой.

Но ни с первого, ни с десятого, ни с тридцать третьего раза крепость любви взять не удалось. Осажденные оборонялись отчаянно, не щадя ни своих, ни

чужих жизней. Нападающие несли невосполнимые потери. Донесения начальника охраны в Москву содержат волнующие факты самоотверженности и героизма женщин, бросавшихся с гранатами под танки, обращавшие в бегство полки одним видом нагих своих грудей, женщин, страдавших от ран и лишений, но — не сдававшихся. Если верить этим донесениям, Марлена осталась цела и невредима после того, как приняла на грудь двухсотпятидесятикилограммовую авиабомбу, — в то время как наблюдавшие за нею солдаты все как один сошли с ума, бросили оружие и бежали в тайгу...

Наконец было принято решение отвести измотанные многомесячными боями войска и сбросить на Ореховую Гору водородную бомбу, что и было исполнено. Так прекратилось существование царства любви между Уралом и Тихим океаном.

Уцелел ли кто из обитательниц Ореховой Горы — точно неизвестно (поговаривают, будто Главсука в последний день вывела секретным подземным ходом несколько женщин, в том числе и ту, в которой поселился солдатик-поэт), — но и до сих пор на этом месте в январе распускаются роскошные розы, а звезды над тайгой, как уверяют астрономы, необыкновенно, неправдоподобно ярки. Однако тому, кто отважится пробраться туда через тайгу, угрожает безумие, ибо сила радиоактивного излучения любви несоизмерима с силами человеческими...

Аэро

12 августа 1900 года гимназист Вася Ардабьев увидел в небе странное сооружение из бумаги, бамбука и блестящей проволоки, которое, вычертив дугу над ардабьевским садом, вдруг бесшумно рухнуло на луг, спускавшийся к реке. Во все стороны разлетелись куски и кусочки чего-то белого, словно рассыпался брошенный наземь букет белых роз, резко пахнувших спиртом. Алого, как роза, пилота извлекли из-под обломков летательного аппарата и увезли в город. Кто-то из взрослых произнес слово «аэроплан».

Ни тогда, ни позже Вася Ардабьев никому не рассказывал, что произошло в тот день в его душе, — но именно с того дня он и стал заниматься делом, без которого уже не мыслил свою жизнь. Он стал махать руками. Забравшись на крышу садовой беседки или уединившись на чердаке, где громоздилась ломаная мебель с ардабьевским гербом и долгевали камзолы прадедов с дырками, оставленными дуэльной шпагой, Вася закрывал глаза — и взмахивал руками, как крыльями. Раз, другой, третий, сотый — и так до изнеможения. Каждый день. И год за годом. Он махал руками в госпитале после сражения под Стоходами. В крестьянской хатке, служившей пристанищем командиру деникинской роты. У колыбели мальчика, подаренного ему мадемуазель Ланглуа, танцовщицей из одесского кафешантана. В токийской православной церкви святого Николая. На стоянке такси возле Ковент-Гарденского театра. В стариковском приюте под Парижем неподалеку от кладбища в лесу святой Женевьевы, где он и был похоронен 11 августа 1942 года.

Он никогда никого не призывал следовать своему примеру и не вступал в объяснения по поводу своего занятия, однако в апреле 1917 года младший его брат Николька тоже ни с того ни с сего принялся махать руками. И их несчастная сестра Лиза — тоже.

Пасмурным майским вечером 1930 года начал махать руками в подвале своего дома и бухгалтер резинотреста Иван Сергеевич Ардабьев-Мотовилов. При этом он ежедневно поглощал до полукилограмма очищенного мела. Терпение жены лопнуло, и она заявила, что от этого занятия не видно никакой пользы. «Воздуха тоже не видно, а польза есть, — с искусством прожженного софиста отпаривровал супруг. — Воздух. Аэро!»

17 декабря 1937 года в переполненную камеру Лефортовской тюрьмы вбросили избитого человека в рубище. Это был знаменитый старец Евлогий из Ново-Саровской пустыни. Той же ночью его мучительную исповедь выслушал профессор Ардабьев-Сокол:

— Оговорила духовная дочь. Величайшую саровскую святыню, медный крест во имя Богородицы, преодолев страх перед болью и взрезав себе живот, сокрыл в чреве своем. Следовательно Ардабьев Нил при мне рукояткой пистолета

бил икону с ликом Спасителя до тех пор, пока Иисус не выдал местонахождение святых, после чего мне вспороли брюхо и изъяли крест. Бог и люди отвернулись от меня. Что делать?

Профессор Ардабьев-Сокол обвел усталым взглядом переполненную камеру и твердым голосом произнес:

— Машите руками.

Арестанты разом захохотали.

В марте — по другим сведениям, в феврале — 1937 года начал махать руками Иосиф Виссарионович Сталин (Джугашвили). Как только часы на Спасской башне отбивали полночь, над Красной площадью и прилегающими улицами разносился громкий скрип могучих сухожилий вождя. Спустя полгода ему удалось оторваться от ковра в рабочем кабинете и сделать круг над столом заседаний политбюро. А через месяц оледеневший от священного ужаса полк НКВД, оцепивший центр города, наблюдал первый полет вождя над спящей столицей. Задумчиво посасывая свою знаменитую трубочку и время от времени роняя помет на пустынные улицы и крыши, И. В. Сталин медленно кружил над ночной Москвой, зорко отмечая барражировавшие на почтительном удалении истребители ПВО и неловкие эволюции Берия, который в сопровождении усиленной охраны следовал за учителем, испуганно шарахаясь от церковных куполов и стреляя в каждую встречную ворону.

5 сентября 1941 года палач Петр Ардабьев вывел в тюремный коридор комкора Петра Ардабьева, который уже четыре года тайком даже от жены махал руками. Пройдя сто метров, палач выстрелил генералу в затылок, после чего, как всегда, уединился в свободном карцере, где ровно полчаса махал руками, через каждые десять минут съедая кусочек мела. На следующий день он подобрал на помойке малолетнего сына Петра Ардабьева и привел в свой дом, где уже проживали трое собственных детей и двое — детей расстрелянных Петром родителей. В 1943 году палач умер, отравившись трупным ядом. Детей воспитывала его жена Нина.

Осенью 1949 года 77-летний академик Иван Станюта-Ардабьев, сказавшись больным, перебрался на свою абрамцевскую дачу, где начал махать руками. Занимался он этим в просторной голубятне, под воркованье и шелест крыльев птиц, нечаянно гадивших ему на лысину. На вопросы близких отвечал туманно: «Ибо не верю больше ни в науку, ни в магию».

В феврале 1951 года заключенный лагеря «е» литер «л» «Сталинградгидростроя» Дмитрий Мотовилов-Ардабьев был проигран в карты и юный уголовник штопором выколол ему оба глаза — в тот момент, когда Дмитрий только начал махать руками в вонючей клетке лагерного сортира.

В 1955 или 1956 году скульптора Тимофея Сокола-Ардабьева, уже 10 лет упорно махавшего руками, вдруг пронзила мысль: для того, чтобы летать, вовсе не обязательно махать руками. Однако после кратковременного запоя он возобновил привычное занятие, уже совершенно забросив скульптуру.

В начале 60-х годов Великий-писатель-земли-русской так обессиливал от махания руками, что уже был не в состоянии писать просто хорошие книги, — как ни старался, выходили одни великие.

День 2 апреля 1966 года медсестра Настенька Гуторова запомнила на всю жизнь. В этот день она стала первой — и до сих пор единственной — девушкой на Земле, лишившейся девственности на лету. В тот день она так низко склонилась над столиком со шприцами и так поразила воображение пациента Бориса Ардабьева по прозвищу Бухало, что тот, взмахнув руками, с лету пронзил непрочные преграды в виде хорошо выстиранных трусиков и девственной плевы, взлетел к потолку и сделал круг по процедурному кабинету с Настенькой на весу. Вместе со счастливой матерью его пятерых сыновей Ардабьев-Бухало машет руками и донныне.

По сведениям из зарубежных источников, ссылающихся на секретный доклад НАСА, в июне 1999 года президент России совершил вылет с подмосковного аэродрома Кубинка в сопровождении неопознанного летающего объекта с опознавательными знаками российских ВВС. По сведениям из того же источника, в октябре того же года состоялся второй вылет, на этот раз — с супругой. Утверждают, что махать руками президент начал не позднее лета — начала осени 1985 года, съедая при этом ежедневно не менее одной упаковки олиговита

(фабрика «Галеника», Белград). Пресс-секретарь президента отказался подтвердить или опровергнуть эти сведения.

Слепец Дмитрий Мотовилов-Ардабьев поселился в нашем городке после войны и вскоре приобрел славу чудо-целителя. Наложением правой руки на пациентова темя он избавлял страждущих от насморка и простаты, чесотки и рака молочной железы. Денег за это он не брал. Кормился огородом и небольшим садиком. В пору цветения яблонь и явился к нему некий корявый человек, весь заросший крученым диким волосом, и молча вложил в руку штопор.

— Так. — Слепец сжал штопор в руке. — Ты в Бога веруешь?

— В Бога? Не...

— Хочешь искупить зло?

— Чего? — не понял гость. — Не... Мне чего-нибудь попроще... такое...

— Что ж. — Слепец сделал паузу. — Тогда — маши руками.

И человек, вскоре получивший в городке прозвище Лебезьян, принялся махать руками. Во всем остальном он был нормальный человек: дважды в месяц напивался до животного визга; бил жену и рябую дочь; воровал что ни попадая с мукомольного завода, где работал грузчиком; чтобы не тратиться лишку, самолично покрывал крольчих, производивших после этого потомство, сплошь покрытое крученым диким волосом. Он махал руками до и после работы, до и после полочки, день за днем и из года в год. Он махал руками в день похорон жены, которая вместе с коровой попала под рижский поезд: из-под вагона извлекли месиво, где потроха бабьи было не отличить от скотьих, и похоронили женщину, при попустительстве рукомашущего мужа, с коровьим сердцем в груди. Махал он руками и на крыше подоженного им же дома: чтобы убояться до лету, по его словам. Тогда-то и лопнуло у мужиков терпение. Только Леонтьев, участковый, и спас от скорой и справедливой расправы этого гада и придурка, остановил мужиков, бросившихся с дреколем к Лебезьяну, когда рухнула крыша подоженного им дома и этот ненормальный сверзился в пылающее месиво из досок и балок. Леша Леонтьев вытащил обожженного и переломанного Лебезьяна из этого ада и погрузил в мотоциклетную коляску. Люто матерясь, мужики обступили милиционера.

— А если что, стрелять будешь? — выпучив глазенки, возбужденно закричал Воробьев-Малец, мужичонка злой и жадный. — Будешь стрелять, ментова сволочь, если мы его поучим?

— Не буду я стрелять, — невозмутимо ответил Леонтьев. — Дай проехать.

— Но тогда зачем же в больницу? — изумился Малец. — Да чтоб ему слохнуть!

— Пусть живет, — кротко возразил Леша.

— Живет?! — завопил Малец. — Так он не живет, он руками машет. Зачем? А? Летать хочешь — на то «Аэрофлот»!

— Все равно: пусть живет. — Участковый покрутил рукоятку газа. — А ну отойди.

Сдав пострадавшего в приемный покой, Леша поинтересовался у доктора Шеберстова:

— А сможет он после больницы руками махать?

— Лебезьян-то? — Шеберстов с удивлением посмотрел на милиционера. — А то сам не знаешь?

Тогда-то и попросил Воробьев-Малец доктора Шеберстова «сшить гаду лопатки, чтоб неповадно было народ смущать».

Через неделю доктора Шеберстова срочно вызвали к больному Ардабьеву. Раскорячившись посреди палаты, Лебезьян пытался махать руками, громко хрустя гипсовыми лангетами и от натуги звонко пукая.

Выйдя из больницы, он поставил на пепелище дощатый дом-временку. В первый же вечер мужики подступили к Лебезьянову жилищу. Воробьев-Малец с трудом добрался до узкого окошечка под крышей — и замер с отвисшей челюстью.

— Ну, чего? — нетерпеливо спрашивали снизу мужики. — Машет?

— Машет, — растерянно отозвался Малец. — И жрет чего-то.

Мужики переглянулись. Кто-то нервно рассмеялся.

— Ну что ж, — пожал плечами Леша Леонтьев. — Почему бы и не жить у нас хотя бы одному придурку, который машет руками? Живут же зачем-то на

свете разные там кобры, крокодилы или космонавты. Значит, надо, — рассудительно заключил участковый.

Мужики разошлись.

Стоя посредине совершенно голого сарая, потный от натуги, с вытаращенными глазами и закушенной до крови губой, Лебезьян упорно махал руками, треща застоявшимися суставами. Челюсти его безостановочно перемалывали мел. Продолжалась жизнь кобр, крокодилов и космонавтов, жизнь Лебезьяна-Ардабьева и России — страны, в которой он жил.

Семь Сорок

Атаман с трудом разлепил левый глаз и со стоном — все тело болело невыносимо — приподнялся на локте. Кожу на лице будто спичками прижигали. Он уставился на сидевшую перед ним на корточках девочку, выжимавшую носовой платок.

— Крови на роже больше нет — я стерла, — деловито сообщила она. — А к синякам надо одну траву приложить...

— Ты серной кислотой платок намочила, что ли? Горит все...

— Воды не было, пришлось поссать на платок. Не бойся: женская моча целебная.

Теперь он вспомнил: Ленка Шильдер. Когда ее спрашивали: «Сколько тебе лет, малышка?», отвечала без запинки: «Семь сорок». Ленка Семь Сорок.

— Ах ты, жидовка!..

— Сам еврей!

Атаман дернулся, застонал от боли, а Ленкин след уже простыл — скрылась в зарослях бузины.

На этот раз Атаману не повезло по-крупному: наскочил на братьев Быковых во главе со старшим — Быней, который прославился тем, что однажды за бутылку вина избил до полусмерти родного брата. Причиной и поводом к драке был сам факт существования Витьки Атаманова, не примыкавшего ни к каким сложившимся компаниям и не признававшего авторитета уличных королей. Быковы так взяли его в оборот, что уже через пять минут он потерял сознание.

До реки и впрямь было далековато, но Атаман преодолел боль, чтобы добраться до воды и смыть с лица еврейскую мочу.

Он жил в домишке, замыкавшем короткую улицу, отделенную от бумажной фабрики заболоченной низиной и дамбой, по верху которой было проложено обсаженное огромными липами шоссе. Этот райончик — водокачка, три дома и огороды — назывался Абзац. У Витьки была старшая сестра Иринушка, от рождения слепая, — однажды она попала под поезд, доставлявший со станции на фабрику каолин и мазут, и лишилась правой ноги по колено. Весной и осенью Атаман красил ее деревянный протез красивой голубой краской. Она почти никогда не отказывала мужчинам, а на Витькины упреки отвечала нежным детским голосом: «Не с каждым, братинька, только с теми, кто умеет говорить, а таких — раз и обчелся». Атаман без войска лез в драку, стоило кому-нибудь назвать сестру шлюхой. Волк-одинок. Его били, потому что он был «ничейный». Заступиться за него было некому. Впрочем, Атаман умел дать сдачи, и многие предпочитали с ним не связываться один на один.

Ленкин отец, мрачный фельдшер Феликс Игнатьевич Шильдер, то и дело пытался утопить свое горе в вине, но горе всякий раз оказывалось отличным пловцом. Если его спрашивали, что же за горе у него такое, Феликс Игнатьевич с хмурой усмешкой широко разводил руками, словно пытаясь обнять весь обозримый мир, и так вздыхал, что в эту минуту тяжелел килограммов на пять-шесть. Жена его была из тех сырых женщин, которые, стеная и всхлипывая, угасают лет до ста.

Школьный сторож Николай, грозно потрясавший огромным медным колокольчиком на деревянной ручке, созывая детей на очередной урок, всякий раз норовил шлепнуть Ленку по попке: «Ах ты, кокетка!» Она лишь фыркала в ответ. Приставания сверстников отвергала с категорической насмешливостью:

«Иди к врачу сдавать мочу!» или, когда повзрослела: «Не для тебя цвела — не под тобой завяну!» И хотя многие парни клялись и божились, что первый Ленкин поцелуй сорвали именно они — «Как с куста!», всем было известно, что это ложь.

Свой пятнадцатый день рождения Атаман отметил очередной дракой возле Горбатого моста, перекинутого через глубокое озеро, соединявшееся с Преголей протокой. Поздним вечером бродягу-одиночку поймали ребята с Семерки. Драка завязалась мгновенно — в ход пошли не только кулаки и палки, но и умело намотанные на руки ремни. Атаман озверело отмахивался, по лицу его текла кровь, сил оставалось все меньше. Его теснили к озеру, и ему не оставалось ничего другого, как броситься бежать через Горбатый мост, посередине которого невесть зачем раскорячилась опирающаяся на широкие брусья-перила высоченная деревянная башня со смотровой площадкой, к которой вела шаткая лесенка с гнилыми перекладинами.

Спотыкаясь на дряном настиле, полуобессиленный Атаман достиг башни, где лицом к лицу столкнулся с Ленкой Семь Сорок. Разгоряченная компания преследователей придержала шаг.

— Ты самая дурная или самая храбрая? — спросил Атаман, сжав кулаки.

— Спорим, что храбрее тебя.

Он оглянулся.

— Времени нет.

— Тогда пошли.

Она ухватила за нижнюю перекладину лесенки и быстро полезла наверх, к смотровой площадке. Атаман не раздумывая бросился за нею.

Тяжелодыша, они посмотрели на мерцавшее далеко внизу озеро, потом — на компанию ребят с Семерки, с шутками-прибаутками поджидавших внизу свою жертву.

— Ну, вперед?

— Куда? — не понял Атаман.

— А это тебе решать. — Она вскочила на шаткую перилину ограждения смотровой площадки. — Я — решила.

И с криком бросилась в освещенную луной бездну.

Компания внизу взревела от восторга и изумления: с башни еще никто не отваживался прыгать.

Хватаясь руками за стойки, Атаман взобрался на перила, неумело перекрестился, зажмурился и, стиснув зубы, широко шагнул вперед.

С ревом вынырнув на поверхность, он смахнул облепившие лицо волосы и увидел Ленку, развалившуюся в воде, как на перине.

— В штаны-то наделал? — деловито спросила она. — Постирайся, пока в воде.

— Ах ты, стерва!

Атаман бросился за нею вдогонку, но Ленка чувствовала себя в воде не хуже рыбы.

Он нашел ее на песчаном пятачке, окруженном ивняком, шагах в десяти от берега.

— Ложись рядом, — приказала она.

Он лег на спину и закрыл глаза.

— Зачем жить-то? — вдруг пробормотал он. — Никакого смысла: все равно убьют. Или я кого-нибудь... Посадят в тюрьму...

Оба были свидетелями, как однажды на субботних танцах в клубе Мика Дорофеев, весь вечер бесцельно слонявшийся по залу в надежде хотя бы подраться с кем-нибудь, с отчаянья залез на подоконник и надрывно взвыл: «Все ребята давно сидят, один я, как дурак, на воле!..»

— Лечь рядом не означает лежать рядом, — не меняя позы, проговорила Ленка. — Объяснить?

Три года они встречались у нее дома. Иногда Атаман оставался ночевать в комнате наверху, где жила Ленка.

Наутро Феликс Игнатьевич хмуро бурчал:

— Я про одно тебя умоляю: мать не выдержит такой высокой награды, как твое пузо из-под него. Ты же знаешь, что первыми в ее жизни словами были не «мама» или «дай», а — «вей из мир!»¹ Эти мне евреи!

— Спасибо, тателе², — отвечала она, глядя отцу в глаза.

— Спасибо слишком много — хватит десяти рублей, — так же хмуро отвечал привычной шуткой отец.

Вернувшись домой после службы в пограничных войсках, Атаман закатил пирушку для немногочисленных знакомых, показывал боевую медаль и шрам от пули. Парни мрачно вздыхали, а девушки с завистью поглядывали на Ленку, которая задумчиво потягивала вино через соломинку.

Она ждала его в постели, закинув руки за голову и тихонько насвистывая.

— Как же я на тебе женюсь, если ты не целка? — с кряхтением снимая сапог, пробормотал нетрезвый Атаман. — Люди засмеют.

— Сволочь, — спокойно откликнулась Ленка. — А ну-ка ложись!

Утром она грубо растолкала его, чуть не спихнув на пол.

— Ты чего? — обиженно промычал Атаман, вылезая из-под одеяла с трусами в руках.

Ленка величественно встала и развернула перед ним выдернутую из-под него простыню, посередине которой расплылось алое пятно.

— Объяснить?

Они прожили вместе тридцать семь лет, вырастили четверых детей. Атаман стал известным мастером-краснодеревщиком, а Ленка, отмучившись на сортировке бумаги и закончив заочно техникум, в конце концов ушла на пенсию начальником бумагоделательного цеха.

Незадолго до смерти она потребовала выписать ее из больницы, чтобы умереть в кругу семьи. Задыхающимся голосом она попросила Атамана достать из тумбочки маленькую шкатулку, сняла с заплывшей шеи потемневшую серебряную цепочку с крошечным ключиком.

— Открой, пожалуйста, — с трудом просипела она.

В шкатулке Атаман обнаружил лишь смятый тюбик гуаши. Давным-давно засохшей, а когда-то алой, как свежепролитая кровь.

— Объяснить?

— Господи, сколько ж лет...

На улыбку сил у нее уже не оставалось.

— Семь Сорок, милый.

Не зная, куда глаза девать от стыда, ошеломленный Атаман, давясь слезами, прошептал — впервые за всю их жизнь:

— Я люблю тебя, Ленка, хитрая еврейка, единственная моя.

— А я — тебя, моя русская любовь. И не плачь. Лучше похорони меня, как любишь.

Он дал ей слово и сдержал его.

¹ Горе мне! (*идиш*).

² Папочка (*идиш*).

Слава Сергеев

Зимний досуг, или Путешествие за три моря

(Маленькая повесть о любви)



А. Наумову

Однажды в Японии нас разбудили чуть свет, в 5 утра, и повели на экскурсию в ближайший лес слушать рассветное пение птиц. И хотя была зима и птиц в лесу, естественно, не было, экскурсовод подробнее рассказывал нам, как какая птица поет...

Какое удивительное отношение к природе!

Д. С. Лихачев. Из интервью

Как-то поздно засиделись за водкой.

Время было уже за полночь, пора было разъезжаться, но тут хозяйка внесла свежий чай и еще напитков. А все говорили: нет больше водки, нет... Кто ее принес?

И куда уж тут идти...

Разговор оживился, послышался смех. Люди, впрочем, все собрались солидные, можно сказать, зрелые, каждый старался пошутить, но так, чтобы не получилось легковесно, глупо, а с другой стороны, скрывая за иронией и самоиронией свою, быть может, и грусть...

Мне запомнилась история, которую вдруг рассказал М-в, не последний работник одного из московских банков. Что-то было в ней очень трогательное и чистое, была какая-то грусть и искренняя нота...

Привожу эту историю здесь, что называется, по памяти.

Было это давно. Или это только кажется, что давно, а на самом деле прошло всего-то года три-четыре?.. В историческом, так сказать, масштабе...

Кстати, был когда-то при университете такой семинар, о природе времени, собирались психи со всего Союза, докладывали друг другу, как там обстоят дела. И по-моему, какой-то тип из новосибирского академгородка все что-то сочинял о его скорости... Не приходилось слышать? Нет?

Ну, ладно.

Я тогда подрабатывал бухгалтером в одной конторе. Это было одно из первых московских негосударственных издательств. Помните, было тогда такое слово: кооператив. И какое-нибудь имя-название — «Алина», «Алиса», лучше женское. Для благозвучия.

Наш кооператив назывался «Мнемозина». Я уже сейчас не помню, что это значило в переводе с древнегреческого. Название придумал мой давнишний приятель и отец-основатель издательства Михаил Михайлович Зайцев.

Кажется, он говорил, что Мнемозиной звали одну из муз. Может быть... неважно.

И вы знаете, сегодня я с грустью вспоминаю о тех в общем-то не очень легких временах. Несмотря на то что денег у нас в «издательстве» почти не было, мы жили очень весело, часто пили, выпустили несколько книг и даже умудрились получить (одними из первых!) какой-то грант не то от Сороса, не то от

какого-то еще американского придурка, от избытка средств или экзистенциального чувства вины поддерживавшего то, что принято у них называть русской культурой.

Кстати, если серьезно, то я так до сих пор и не понял, как мы существовали, несмотря на гранты, потому что бардак в нашей «фирме» стоял страшный, то есть это был даже не бардак, а просто полный распад, и среди этого распада, этого вихря запутаннейших финансовых дел, напряженного интеллектуального поиска и часто откровенного алкоголизма возвышалась титаническая фигура друга моего детства, теоретического физика по первому, как говорили раньше, образованию, коммерческого и творческого директора издательства «Мнемозина» Миши Зайцева.

Говорили, что он похож на Достоевского. Только меньше ростом. Или на Карла Маркса. Но это недоброжелатели.

Женщины говорили, что Миша похож на Владимира Соловьева во время работы над его знаменитой книгой «Оправдание добра». Ну что же — женщинам, особенно тем, кто общался с нашим издательством, — виднее.

Мне кажется, что больше на Достоевского.

Всклокоченная, раздвоенная борода, длинные волосы, горящий взгляд, небрежность в одежде, в дни душевных волнений и тягостных раздумий ходившая просто до неряшливости... разве мог Вл. Соловьев в период написания «Оправдания добра» быть таким?

Разве увидел бы он тогда Софию в Египте?.. *

Плюс ночевать неизвестно где, пить самую дешевую водку, не подходить к телефону, когда звонят по делам? Думаю, что так мог себя вести только Достоевский и то лишь в период написания главы «Сладострастники» в своем последнем романе «Братья Карамазовы».

Но женщины стояли на своем. Владимир Соловьев.

Кстати, о женщинах. Не помню точно когда, по-моему ближе к концу первого года существования нашей редакции, к нам, с чьей-то подачи, устроилась редактором одна довольно средняя на первый взгляд девица по имени Наташа Пучкова.

Впервые именем таким...

Девица была средней, даже более чем средней, но это на мой непросвещенный взгляд. Многим у нас она понравилась. Помните эту, ставшую классикой, шутку — стержозность как высшая стадия блядовитости? Вот. Из тех, что, уронив карандаш, нагибаются за ним всем телом, задом повернувшись к зрителям. Прибавьте сюда крошечную грудь, покрытое прыщами зеркало, маленькие волосатые ноги и только что упомянутый огромный зад — и вы получите портрет демона, погубившего Мишу Зайцева и издательство «Мнемозина».

— Но почему, — спросите вы, — почему так? Неужели не было получше?

— А потому, — отвечу я вам, — потому, что вы имеете дело с *философами*. Знаете старый анекдот о фотографии с дюжиной барышень, среди которых надо найти самую страшную и притягательную и она, видите ли, оказывается французенкой?

В этом анекдоте лучше, чем во всем собрании сочинений Ленина, отражается вся рабская сущность нашей интеллектуальной элиты от Ярослава Мудрого до Ярослава Смелякова. Именно поэтому Наташа Пучкова имела в нашем коллективе просто бешеную популярность. Прибавьте сюда невзначай оброненный намек о княжеском происхождении (*князя Пучковы*, а что?), общее место — диплом филолога-физиолога из г. Тарту и место неощее — мужа-академика, и не какой-нибудь академии информатизации или педнаук, а действительного члена РАН ... и вы начнете понимать, что Россия, увы, тяжело больна.

Тысячи, десятки тысяч симпатичных и сотни откровенно красивых баб по всей стране (или даже по одной Москве?..) маются, пропадают без мужиков, а вот лахудры, некрасивые, стержозные, но смысленные, как шуки, лахудры — всегда замужем. И не за какими-то мудозвонами, за мудозвонов выходят только красавицы и по большой любви, а за приличными, достойными во всех

¹ Здесь и далее автор не несет ответственности за намеренное искажение фактов рассказчиком, но будет отмечать их значком *.

отношениях людьми. Например, Наташин муж был хорошо знаком с Городничким и был своим человеком в амстердамских «Сайенс леттерс». Его там просто принимали как родного. Почему? — спрашиваю я. — Why? Почему не меня? Почему хотя бы не Зайцева, ведь он МИФИ кончал... Но нет ответа и не надо.

Бог с ним, с ответом, и Бог с ними, с «Амстердамскими письмами»...

Но с другой стороны — при чем тут мы?..

Нам же не граница нужна, а Град Небесный, и поэтому, поэтому для Миши такая тетка, как Пучкова, — это все равно что Иерусалим для правверного еврея, только наоборот — ему чем страшнее, тем лучше, я же не первый год его знаю. Понимаете, у человека симпатичная жена, милейший человек, умница, но он постоянно изменяет ей с такими крокодилами, что просто диву даешься. И чем большая при этом б., тем в больший экстаз впадает от нее Зайцев. Обыкновенное заурядное страшилище не представляет для него никакого интереса. Нужна именно б., Такой вот психологический казус.

Может быть, кстати, дамы были в чем-то про Мишу и правы, может быть, и правда было в нем что-то от Владимира Соловьева в период написания им докторской диссертации*. Но тогда добавлю я, развивая тему диссертаций, было в нем что-то и бердяевское, и иван-ильинское, и даже шестовское в нем тоже что-то было. Чуть так добавлено шестовского, как охры в пейзаж.

А что, чем не проявление экзистенциальной свободы и отсутствия корней — да, у меня красивая жена, да, мне повезло, но я такой Пантеон и Прометей, что с ней счастливым быть не желаю, а влюблен безнадежно в страшилище и стерву! И так я все опроверг, на всех насрал и сопротивляюсь злом — силе. И плевать на всех, на все законы мироздания и вот вам всем еще раз — фигу! Нет в жизни счастья, а есть лишь бездна, звезд полна, да что бездна, когда и здесь звезды светят из каждого куста и на каждом шагу тьма, песнь соловьиная и шипы роз благоухающих.

Что же, может, и так...

И Миша, подсознательно подытожив всю эту экзистенцию, впадает от Наташечки (он довольно быстро стал так называть Пучкову) в такой экстаз, что становится сам не свой и в первый раз трахается с ней не где-нибудь, а на крыше высотного дома на Котельнической набережной.

Как они туда попали, история умалчивает. Возможно, Зайцев загнал ее на крышу во время очередного «сеанса», как он сам называл свои многочасовые уговаривания (Пучкова, как настоящая женщина, видя к себе интерес, тут же повела себя по-княжески неприступно), и там добил; возможно, она сдалась во время пьянки у одного модного московского художника, Мишиного знакомого, кажется имевшего мансарду в этой высотке и папаню — лауреата Ленинской премии двумя этажами ниже... Сдалась потому, что у этого живописца обычно все напиваются до беспамятства — не знаю, все может быть... Суть не в этом, суть в неординарности происходящего. Не просто два в общем немолодых уже человека совершают заурядный адюльтер, а люди устремляются в небо, участвуя в сакральном таинстве на башне русского маркиза Карабаса. Борода видна?

Тут же чувствуются мотивы эротики насилия, нарциссизма и запоздалой (тирана-то вроде нет...) мести ... Кому? Может быть, здесь разгадка? Что-то брезжит, но мы в это углубляться не будем, тем более что если Зайцев и походил на Пьеро, то Наташечка годилась лишь на современное издевательство над Алексеем Николаевичем Толстым и его златокудрой богиней и если уж и походила на кого, то усами своими неуловимо на ученика Зигмунда Фрейда Альфреда Адлера, который, как известно, и усов-то почти не носил... *

Особенно если учесть контекстуальную сторону вопроса...

Но в нее мы, пожалуй, тоже не будем далеко вдаваться, в эти дебри доморощенного анализа, в джунгли черного юмора, как сказал поэт — себе дороже, а доктор так и просто не советовал и, сойдя с сей скользкой стези, займемся лучше чем-нибудь более безобидным, например посплетничаем. Посплетничаем, потому что меня во всей этой истории очень интересует одно лицо, которое кажется мне не до конца проясненным сюжетом, нами, Невидимым Драматургом и уж я не знаю кем еще.

Я говорю о муже.

Согласитесь, странная фигура. Элита советской науки, цвет нации, член всего чего только можно, разумеется, еврей.

И вдруг такая жена.

Возникает вопрос: за что? Или еще хуже: зачем?..

Зачем тогда все это — чины, звания, конгрессы, Рим, Брюссель, Женева, ночные прозрения, формулы, формулы до зари и днем уважение сослуживцев? Нет, возможно, какие-то аспирантки и были, Зайцев даже что-то бляел в свое оправдание, вот, мол, *он тоже* — но вы можете себе представить аспирантку отделения теоретической математики, как говорил Хемингуэй — в постели?.. Нет, теоретически можно, но есть в этом, согласитесь, что-то противоестественное. Какой-то надрыв, червоточина какая-то, неисправимая порочность. Теоретическая математика — и секс. Или философия, физика — и порно... Нет, точно есть надрыв, есть какой-то прищур в этом, какой-то нехороший юмор. Несовместимое. Хочется покачать головой и отойти. Или наоборот — приблизиться и с криком — аааа! — поучаствовать. И потом — обливаясь слезами и холодной водой по утрам — отойти. Потому что неужели, еще раз: конгрессы, Брюссель, Москва, Рим и Женева (и формулы, формулы до зари) существуют лишь для того, чтобы в конце концов жениться на своей аспирантке?

О боги, боги мои...

Впрочем, я отвлекся.

То есть явно — что-то странное. Или мне кажется... Но — тогда как же? То есть — что? То есть я даже не знаю, что сказать и с какой стороны подойти. Загадка...

А взглянем-ка на это, может быть, проще? Маленький, лысенький такой типчик, из тех, кто летом любит ходить на байдарке, знаком, как я говорил, с Кукиным, даже сам когда-то брэнчал на гитаре, знает языки, Бальзака — Флобера — Франса — Гюго читал в оригинале, полмира объездил еще при совке, при этом, что странно, не запяtnал, даже подписывал письма в защиту Сахарова, но тот потом умер, в защиту Солженицына, но тому эти письма зачем? Был при Ю. В. Андропове год невыезdnым, так что — совести чиста, может смело смотреть в глаза подрастающему поколению, т. е. сыну (есть сын, Пашечка, он еще появится в эфире на нашей волне), и ангелу господню с мечом карающим, а может, с венком лавровым, с лавром и мятным цветом приходящему, что еще-то?..

Все логично...

Но как Толстой: не могу молчать!

(Ужас в том, что и сказать-то тоже нечего...)

Более того, этот академик, казалось бы, умный, интеллигентный человек, познавший относительность всего, разговаривавший, возможно, с самим Нильсом Бором (а об Илье Пригожине нечего и говорить) и я не знаю с кем еще разговаривавший (говорят же, что математика — язык на воздушных, не знаю, правда ли, сам плохо в ней понимаю), в конце концов просто спортсмен, байдарочник, турист — начинает безумно эту Наташечку ревновать, ведет себя как мальчишка, делает сцены, следит, пытается набить Мише морду, устраивает в редакции телефонные скандалы, в общем, проявляет себя неэстетично, не как джентльмен и элитарный спец, а как, извините, простой актер театра имени Пушкина или чего-нибудь еще похуже. Где его хваленый релятивизм, сосредоточенность на высоком, ответственность ученого, простое чувство юмора наконец?..

Непонятно где.

Кстати, кто ему рассказал о Зайцеве, так до сих пор и неясно, но я подозреваю, что сама эта стерва, Наташечка. Для поднятия, так сказать, жизненного тонуса сотрудникам академических учреждений.

Впрочем, все это уже неважно, как сказала бы какая-нибудь честная и чистая женщина, из тех, что говорили, будто Зайцев напоминает им Вл. Соловьева в молодости. Кстати, вот интересный, где-то даже философский вопрос: а что бы сказал сам Вл. Соловьев, отвечая на вопрос, имеет ли значение, кто заложил Зайцева?

Что-то мне захотелось сейчас процитировать что-нибудь из трудов того же Соловьева, или о. Сергия Булгакова, или, на худой конец, из Кришнамурти или доктора Судзуки, да только не могу припомнить ни одной приличествующей случаю цитаты. Будем считать, что я их все же здесь процитировал.

И вот еще мои стихи:

В саду камней, за падающим снегом, не видно ничего. Ни зги...

Ну ладно...

И весь этот зимний сад камней цветет на наших глазах, прямо в производственном помещении, которое, к слову сказать, и без того мало и уровень энтропии в котором и без любовных историй и супружеских измен начальства достаточно высок (издательство-то литературы — гуманитарной — у всех сотрудников издательства соответственно в голове черви...). И вот, Михаил Михайлович начинает периодически появляться в этой энергонасыщенной среде с легкими телесными повреждениями — синяками, ушибами или прихрамывая, — но несет все это, как костыли старый солдат: с достоинством и гордостью. При этом что интересно: как хороший знакомый Михал Михалыча и учитывая дальнейшее развитие событий, могу ответственно заявить: Миша наш академика бы урыл, ежели сойтись бы им в чистом поле, как славянскому богатырю Пересвету с громилой-мусульманином Челубеем... Но Михал Михалыч ведь не простой человек, он русский интеллигент, воспитанный на Достоевском и Некрасове, плюс курс теоретической физики, плюс под подушкой Лолита, а под одеялом Солженицын, и так на долгие годы — он считает себя перед академиком виноватым и поэтому дать тому сдачи, а именно в харю, он никак не может. Вместо этого он, как человек по-настоящему образованный и хорошо знакомый не только с Некрасовым и Достоевским, но, например, и с учением графа Толстого и даже мыслями ныне модного в среде бывших партработников эмигрантского философа Ивана Ильина, прыскает в него (в академика, не в Ильина) из баллончика всеми разновидностями разрешенного к применению слезоточивого газа, раз от раза ужесточая распыляемый продукт и вплотную подходя к границе разрешенного, — он уже готов применить импортный паралитический газ — так как ученого ничто не берет!..

Он, по рассказам Миши, не реагировал ни на отечественную жидкость от собак, ни на польские аэрозоли «до видzenia», ни даже на фашистский «Vozgas», он обливается соплями, плачет как белуга, кашляет, чихает, отворачивается, но попыток войти в ближний бой, который хотела недавно запретить даже всемирная ассоциация любительского бокса, не оставляет.

При всем этом не могу не сказать как очевидец несколько добрых слов о героине нашего фильма.

Мадам чувствовала себя превосходно.

Еще бы — столько внимания сразу... Она буквально расцвела (т. е. стала, на мой взгляд, еще страшнее) и так и порхала среди всех этих страстных сполохов, бледных огней и разрывов холостых снарядов.

Ощущая себя, по-видимому, чем-то средним между Любой Менделеевой и королевой Марго, она стала появляться на работе в совершеннейшем дезабильте, на мой взгляд, — какой-то безумной накидке, которую издали можно было принять за мантилью, но это только издали — вблизи «мантилья» оказывалась обыкновенной старой рванью, которую можно было напялить на себя либо с сильного бодуна, либо в совершенном помутнении рассудка. По-моему, до того на ней ночевала собака. Наташечка в этом наряде была похожа на старого обкуренного индейца из амазонской сельвы, которого как-то показывали в передаче Юрия Сенкевича «Клуб кинопутешественников». Но Зайцеву, в его ослеплении, накидка очень нравилась, а все остальные молчали из интеллигентности, да к тому же я не уверен, что некоторые сотрудники нашей редакции вообще обращали внимание на что-то, происходящее вне их внутреннего мира, — народ, как я уже говорил, подобрался сплошь отпетый...

А тут еще наше издательство испустило свой первый предсмертный вздох (впрочем, так оно дышало еще несколько лет): выпустило книжку одного известного в узких кругах отечественного мыслителя — после чего и мы, вместе с мыслителем, стали знаменитыми в этих узких кругах (тогда народ еще хоть как-то реагировал на книги)... Знаменитыми настолько, что Наташечкина мантилья стала ей почти к лицу и превратилась, можно сказать, в фирменный знак издательства: крупная клетка, бахрама, следы ночной жизни Жужи, причуда художника, богема... Нашлись даже подражатели (но, как любое эпигонство, это было, конечно, слабо) — два молодых автора, прокомментировавшие модного философа, видимо продолжая возникшую традицию, перестали снимать в помещении свои головные уборы...

В редакции запахло не то Серебряным, не то даже девятнадцатым веком. Где-то годами 60-ми. Зайцев декламировал с чувством, неясно кого имея в виду:

Победоносцев над Россией простер совиные крыла... Нас посетили несколько известных в Москве личностей, предлагавших свои сочинения. Сочинения Миша не брал, но бутылку личностям ставил — в подпитии они оказывались милейшими ребятами, правда до определенной дозы — после нее двое начисто отрубались, а двое пытались устроить в редакции скандал на идеологической почве.

Поэты...

Закончилось все тем, что Миша однажды подошел ко мне и спросил, как я, как бухгалтер, отнесусь к его планам выпустить полное собрание произведений русского писателя XIX века Дмитрия Григоровича (не путайте с балетмейстером) или, на мой выбор, том неизданного Тургенева.

Я молча посмотрел на него, и он, смутившись, отошел.

После всего вышесказанного, я думаю, вы не удивитесь, как удивились мы, когда однажды узнали, что Зайцев с Наташечкой собираются поехать на пару недель отдохнуть — в Париж...

В командировку.

Кутить так кутить...

Империалисты (через фонд Сороса, где у Миши работала бывшая не то подруга детства, не то любовница) пригласили Зайцева на конференцию негосударственных издателей бывшего Союза. Так сказать, для дачи инструкций по дальнейшему развалу отечества. Ну а он, как только документы получил, уже невзирая на бывшую, конечно, прихватил с собой Наташечку.

Эта поездка даже вызвала небольшой скандал в редакции, так как народ вдруг потребовал от Миши финансового отчета: на какие деньги он везет *эту женщину* во Францию?!

Особенно кипятилась молодежь, надышавшаяся, так сказать, вольным воздухом последних лет: что за безобразия, кто она такая, мы работаем, а *кто-то* ездит...

Ох уж эта борьба за справедливость... Ладно, это они не со зла, по глупости. Потому что что значит «кто-то»? А *кто* же должен ездить, я извиняюсь?..

Эта поездка стала апофеозом их отношений. Их, так сказать, наивысшей точкой. А после наивысшей точки на, извините за выражение, кривой, как утверждают классики науки, следует спад.

Не знаю, соглашаться ли с ними по большому счету, но в нашей истории так и было.

Но сначала они съездили. Уж на что я плохо относился к Пучковой, а ко всей этой истории относился вообще вы видите как, но в момент возвращения было, было в Зайцеве что-то величественное. Любовь, знаете, она, как в песне поется, всегда права. А объект тут уже не имеет значения.

К тому же Париж.

О, Париж...

Я часто думал, что такое сосредоточено в этом городе для русского сердца? Почему не Лондон, не Берлин, не Мадрид, например (вообще, говорят, духовно близкая к нам столица), а именно Париж? И я вот что думаю. Может быть, мы все в прошлых жизнях бывали там, например году в 1789-м, Бастилию им сломали, в Версале нахулиганили и теперь тянет — на место преступления? А они тут у нас в начале века воду мутили... Что — не очень? Ну, не буду отвлекаться.

Из далекой Франции Наташечка привезла вещественное доказательство ее существования — огромную круглую шляпу с полями и цветами в тулье, а-ля Латинский квартал — я так понимаю, в завершение ансамбля с «мантильей». Это было сильно. Наташечка в шляпе стала похожа то ли на пожилого Поля Сезанна, то ли на крестьянку с картины «Красные виноградники в Арле», то ли на молодого Поля Гогена в дотайтянский период его жизни. В редакции все просто попадали. Извращения от восхищения, а нормальные люди от ужаса. К тому же шляпа закрывала ей лицо, что делало ее (извините, конечно) значительно симпатичнее и придавало утраченную лет 15 назад загадочность и тайну... Теперь представьте эту шляпу в зимней Москве 92 года, а рядом Зайцева с развевающейся на холодном декабрьском ветру бородой и вы поймете — что эта любовь была...

И — странная мысль меня посещает. Более чем странная. Что именно

шляпа, а даже не поездка в Париж, была в начале конца этого, как я уже говорил, судьбоносного для нашего издательства романа. В начале было Слово. У нас в начале была шляпа.

Потому что именно нацепив этот проклятый колпак, сделанный, наверное, каким-нибудь гнусным негром в джунглях Западной Сахары и купленный за 3 рубля на распродаже в дешевом универмаге «Тати», Наташечка стала стремительно охладевать к Зайцеву. То есть почувствовала себя женщиной, исполненной загадочности и тайны...

А может ли женщина, исполненная тайны, общаться с каким-то Мишей Зайцевым, когда мир так велик, на голове у нее шедевр высокой моды, а на часах уже 33? Возраст Христа. Впрочем, если точнее, ей тогда было все 38, просто это чудовище, ясное дело, скрывало свои истинные годы...

Впрочем, может быть, все проще, все гораздо проще и утерянный академиком релятивизм, по закону сохранения энергии, перешел к жене? И она поняла, что после Парижа взять больше с Миши нечего и пора, как остроумно выразилась одна ее знакомая (случайно подслушал по телефону), медленно переползая на другой гриб?

Боже мой, как иногда бывают жестоки женщины...

Ну и отчасти Зайцев, конечно, сам приблизил свой конец, так как чтобы несколько понизить накал страстей и успокоить совершенно обезумевшего после Франции академика (они задержались на два дня, и этот идиот решил, что его мадам навсегда покинула Родину, обосновавшись с Мишей по примеру Розановой и Синявского в Париже, и устроил нам страшную телефонную истерику по этому поводу, угрожая пожаловаться в МИД, реформированный КГБ и через каких-то знакомых самому генсеку ООН...). Так вот, желая успокоить эти страсти, Зайцев отправил Наташечку месяц-другой поработать по совместительству в одном родственном нам по духу учреждении, где было несколько симпатичных молодых сотрудников и два отвратительных старых козла. То есть был выбор. А у женщин уж как водится — с глаз долой, из сердца вон...

Тут Зайцев заметался. Он выбрал самый неправильный стиль поведения, который только возможен в подобной ситуации, он принялся ее преследовать... А той, как и любой бабе на ее месте, только этого и надо было — хвост трубой, вся распушилась (шляпа, опять же «мантилья», цветы, весь ансамбль) и на Зайцева ноль внимания.

Миша к ней: что ты, что случилось? Ты меня избегаешь?! А она от него: почему? Просто не получается увидеться, то одно, то другое. То сестра из Иркутска приехала, то племянница из Волгограда. Просто наказание какое-то. И еще мужа привлекает, гада: тот встречает ее после работы.

Представляете картину: несчастный, дрожащий, отвергнутый Зайцев наблюдает гордо шествующую мимо Наташечку под руку с Чебурашкой, как любовно называла она своего мужа. Кстати, может быть, вы думаете, что это Мишу останавливает? Ха, это может остановить кого угодно, но только не Мишу Зайцева и мушкетеров короля! Да здравствует Франция! Да здравствует король! Миша подходит, отходит, плетется за ними, стонет, умоляет Наташечку отойти и *поговорить*. Его отгоняют, стыдят, угрожают позвать милицию, хватают за грудки, обращаются к его разуму, причем Чебурашка принимает во всем самое деятельное участие, наконец он угрожает Мише прилюдной расправой, и они таки начинают пихаться (на сцене появляется уже знакомый нам газовый баллончик), но тут Наташечка поднимает крик, и Миша отступает.

Представляете, какой бесплатный цирк показывает наш небольшой коллектив для поздних прохожих у метро «Проспект Вернадского»?..

Так повторяется несколько раз. Но вот однажды вечером, когда Миша как обычно подстерегал Наташечку в своей засаде у выхода из метро, он дождался только академика.

И между ними происходит решающая схватка.

Но — все по порядку...

Сию я как-то вечером дома, пью чай. И вдруг — звонок. Вот ведь — не хотел подходить, не хотел... Но подошел.

— Але, — говорю.

А в трубке слышен не то смех, не то рыдания. А потом глухо:

— Умоляю, помогите!.. он убил ее...

И опять — не то смех, не то рыдания. Из-за этих рыданий я не сразу узнаю Зайцева и говорю сухо: вы ошиблись. И собираюсь повесить трубку. Вот думаю, алкоголики, хулиганье ... Но тут трубка орет:

— Але, Саня, але, это я, Зайцев, не вешай трубку!

Я говорю:

— Господи, Зайцев, что ты за звуки издаешь? Ты что, нажрался?

Трубка говорит:

— Саша, как ты можешь? В такую минуту... Я не пьян. Я звоню тебе из конторы. То есть с проходной. Меня не пускают. Я час говорил с охраной. Это какие-то новые. Они меня не узнают. Он убил Наташечку. Зарубил ее топором. Он хотел и меня убить, но я его отогнал. Это начинающаяся революция...

Я говорю:

— Зайцев, ты пьян как свинья, ты лыка уже не вяжешь, у тебя бред, какая революция, кто кого убил — езжай домой...

А он:

— Саша, я совершенно трезв, я тебе говорю еще раз, я на Октябрьской, Никифорову я уже звонил, срочно приезжай, он убил Наташечку и где-то прячет труп.

Я говорю:

— Кто убил, Никифоров? (Это вообще-то наш специалист по немецкой философии и переводчик с немецкого.)

Зайцев опять глухим голосом, как из бочки:

— Не остри, Саша, Никифоров едет сюда, я с ним только что говорил, а Наташечку убил Чебурашка. Мне нужны свидетели. Никифоров и ты. Вы единственные нормальные ребята, кто оказался дома.

И зачем я только подошел?..

— Приезжай скорее, Саня, — говорит Зайцев, — я тебя очень прошу.

Ну что тут прикажете делать? Я, все еще надеясь, что можно будет не ехать, звоню Никифорову. Думаю: не может быть, чтобы Никифоров, один из немногих нормальных людей в нашем сумасшедшем доме, вот так, ни с того ни с сего, сорвался куда-то в 10 вечера... Зайцев ил и спяну врет, или берет на понт.

Звоню. Трубку берет жена Никифорова. Я максимально вежливо прошу: будьте добры Николая. А она говорит: это Саша? А Коля минут 15 назад выехал по Мишиному звонку в редакцию. Он сказал, что вы тоже там будете. А что, что-то случилось?

— Да нет, — говорю, — просто, как всегда, в конце года аврал, книгу надо сдавать...

А сам думаю: «Ну, заяц, погоди...»

А на улице вечер, зима, холодно, снег идет...

И жена, конечно, не поверила. Даже разговаривать не стала. Совсем совесть потеряли, говорит. В неделю раз уже не можете без своего пьянства обойтись. Не издательство, а бордель какой-то.

Я говорю:

— Какое пьянство, у Миши Зайцева личные проблемы!

Она говорит:

— Ах, личные проблемы... Опять какая-нибудь дрянь бедной Ире воду мутит! (Ира — это жена Зайцева, они знакомы...) А ты, значит, в этом участвуешь! Постыдились бы, сколько вам лет! — И пошла, и пошла...

В общем, неприятный какой-то разговор получился, тяжелый и недружеский...

Из дома я вышел с плохим чувством. Дверью хлопнул. Пока шел к метро, все думал: вечно со мной какая-то ерунда происходит. И никто, главное, никто этого не понимает. Даже самые близкие люди думают, что я пропащий человек. Вот чего я трубку брал... нет меня! Сидел бы сейчас себе дома, пил чай, смотрел телевизор, как все нормальные люди. Хороший бы вечер получился...

Зайцева и Никифорова я встретил у метро. Зайцев был похож одновременно на Ивана Грозного и царевича Алексея с картины «Иван Грозный убивает своего сына», что означает у него крайнюю степень взволнованности.

Никифоров сделал вежливое лицо: добрый вечер, Саша.

— Здорово... — говорю.

Пока ехали на место, Зайцев рассказывал.

...Идет он, значит, как всегда, к Наташечкиному дому, часов в пять вечера, и вдруг навстречу ему — Чебурашка. Я, говорит Зайцев, вежливо здороваюсь, улыбаюсь и прохожу дальше, а он хватает меня за рукав. Вижу, опять за старое взялся, хулиганить собирается. Я ему вежливо так и говорю:

— Отпустите, пожалуйста, мое пальто, неудобно же как-то, право, увидит кто-нибудь...

А этот жлоб, не обращая внимания на мой дружеский тон (ведь мы в общем-то с ним, если разобраться, товарищи по несчастью...), мне и говорит:

— Ты, — говорит, — долго будешь мою семью терроризировать, сектант проклятый?

— С чего он взял, — закричал вдруг Зайцев (и соседние к нам граждане со страданием на лицах отодвинулись), — что я сектант?! Я обыкновенный православный человек, просто ношу длинные волосы и бороду. Я похож на сектанта? — обратился он к нам с Никифоровым.

— Для технарей все волосатые на одно лицо, — глубокомысленно изрек Никифоров и поправил свой берет (Никифоров, несмотря на свои молодые годы, лыс).

— А этот неуч говорит: «сектант»... Он еще сказал: Распутин и извращенец. Никифоров захохотал. Зайцев тоже улыбнулся:

— К чему приводит маргинальность интеллигенции и отмена цензуры!.. Технари начитались книжек и теперь сыплют словечками направо и налево. Я люблю его жену, она необыкновенная женщина, она чахнет с ним, он ее просто недостойн, а этот идиот говорит, что я извращенец! От извращенца слышу!

(А вот это точно, — подумал я.)

— Во что превратилась наша наука, — продолжал возмущаться Зайцев. — При чем тут Распутин?! Болван!..

Миша выдерживает небольшую паузу, и я понимаю, что сейчас последует что-то важное. И не ошибаюсь.

— Так вот, — Зайцев делает большие глаза. — Обмениваемся мы комплиментами, и я хочу его обойти и следовать, так сказать, дальше, к Наташечке, чтобы наконец прямо поговорить с ней, и тут... он достает...

Зайцев помолчал, после чего, понизив голос сообщил:

— *Топор.*

Я говорю:

— Чего?

Зайцев говорит:

— Топор. Натуральный. Сдеревянной ручкой. Средней величины. Достает из-за пазухи и показывает его мне. Говорит:

«А это ты видел?» Я говорю: «Вы что, с ума сошли? Уберите немедленно. Стыд какой. В милицию захотели?»

И опять пытаюсь его обойти. А как назло, ни одного человека вокруг. Все, как водится в таких случаях, куда-то провалились. Ни одной живой души. Не говоря уже о ментах. И я, значит, пытаюсь его обойти, слегка стыжу, уговариваю, что, мол, как не стыдно, цвет советской науки, взрослый человек, и такое ребячество, а сам думаю: а ну как правда начнет им махать? И где он его только взял?.. Я когда-то видел топоры на Тишинском рынке, в застойные еще времена... может, там? Ну ладно, потихоньку двигаемся дальше, и вдруг он им ка-ак маханет!..

Хорошо он категории наилегчайшей, так что махнуть он им махнул, но мяч пошел весь, как говорят в теннисе, крученный, и я без особого труда увернулся. Топор попал в асфальт и вылетел у него из рук. Как говорил наш военрук в МИФИ, эти руки, кроме авторучки и хэ, сроду ничего не держали. Банальность, но сказано верно. Я бросаюсь поднять выпавшее знамя, чтобы отбросить его подальше, но академик, видимо, этого не понял, а понял, дубина, что теперь я буду играть в Илью-Муромца, и со словами: «Думаешь, твоя взяла?!» — достает из-за пазухи — что бы вы думали?.. — гантелю средних размеров, килограмма на два-три, занимает с ней исходную позицию и, как я вижу, собирается напасть. Как он весь этот завод «Арсенал» тащил на себе — ума не приложу... Теперь уже мне пришлось вспоминать картины из древнерусской жизни и вставать в боевую стойку «Рязань встречает нападение татаро-монгольских завоевателей»...

— И тут, товарищи, — сказал грустно наш рассказчик, нарушая царившую

в комнате напряженную тишину и делая, очевидно, лирическое отступление, — я почувствовал, что слегка обалдеваю. Вы только представьте себе картину: мы едем в метро, кругом люди, вечер, кто-то дремлет, кто-то читает газету, молодая пара напротив не сводит друг с друга влюбленных глаз, алкаш в конце вагона, сползая по стенке, пристаёт к девушке, мирная, библейская, в общем, картина, пастораль, а тут вам описывают, как каких-нибудь полтора часа назад два немолодых уже человека, работники умственного труда, не последние люди в своей, как говорили раньше, отрасли, размахивали посреди города топорами, как два сельских придурка где-нибудь в лесной глуши Республики Марий Эл. Дикость какая-то... — И банковский работник, покачав головой, знаком попрощал хозяйку дома налить ему еще водки.

Что и было сделано незамедлительно.

Залпом выпив налитое, он продолжил.

— ...Слава Богу, — возбужденно озираясь, рассказывал Зайцев, — слава Богу, что наши автомобилисты оказались отзывчивее наших пешеходов. Невероятно, но какой-то таксист вдруг остановился, вылез и отнял у этого психа гантелю, а у меня топор. Точнее, я-то сам ему все с радостью отдал. Я думал, кстати, что он примет в нас дальнейшее участие, пытался рассказать, объяснить, в чем, собственно, дело, но он не стал меня слушать, а только обругал нас страшно по матери, забросил топор и гантелю подальше в снег и уехал.

После этого я обогнул Чебурашку и побежал к Наташечке, но этот гад, видно, знал какую-то короткую дорогу, потому что когда я позвонил к ним в дверь на лестничной площадке (у них с соседями общий вход), он был уже там и смеялся, как псих, из-за этой двери и на требование просто показать, просто показать мне Наташечку отвечал, что он, мол, рад бы, но физически (!) не может этого сделать. А на вопрос «что это значит?!» — опять принялся хохотать как сумасшедший и ушел в квартиру и больше ни на звонки, ни на стук не откликался. После этого я стал звонить к соседям, но там меня какая-то сука через дверь послала на три буквы, хотел было вызвать милицию, но потом подумал, что менты в любом случае ничем не помогут, по определению, и тогда я помчался в контору и стал звонить вам. Как это у Высоцкого, Саня, ты помнишь? — И, взяв меня за руку, Зайцев запел: — «Обращусь-ка я лучше к друзьям, не сочтите, что это в бреду...» — и глаза его заблестели. Еще минута, и он полез бы к нам обниматься, но тут Никифоров потрепал его по плечу и сказал:

— Это именно в бреду, Миша...

Все-таки говорите мне что хотите — но молодое поколение не ведаёт чувства жалости...

И Зайцев как-то сразу опал.

Он с печалью посмотрел на нас и сказал:

— Дураки. Циники и дураки.

И, отвернувшись, замолчал. И было, честное слово, что-то величественное в его молчании.

Я, разумеется, почувствовал себя большой сволочью.

И тут вдруг (именно вдруг, потому что никто этого не ожидал в возникшей паузе) Никифоров и говорит Зайцеву:

— Ну а ты не думал, что она слиняла куда-нибудь?.. Например, к мамаше или к подруге или еще куда-нибудь? Может, *ее просто нет дома?*

У меня прямо рот открылся. Чтобы Никифоров, этот благодушный великан, адепт здоровой семьи в каком-то просто-таки дореволюционном смысле, этот бюргер и германофил, человек, утверждающий, что еще его бабушка была дворянкой, так жестко, так неуважительно говорил о своей коллеге? Пошутить, ядовито пошутить — это он может, но чтобы Никифоров сказал о ком-то «слиняла»?!. Это было что-то необычное. Что-то новое. Какой-то глубинный сдвиг слоев. Где-то забили горные ключи. Родственники со стороны дедушки.

Зайцев говорит:

— Я этим даже не интересовался. Я *чувствую*, что она там. И прошу вас, друзья, не иронизировать.

Так и сказал: «И прошу вас, друзья, не иронизировать».

Как в тогу завернулся.

Цезарь!..

И уже с надрывом:

— Я чувствую, *ее тело* там...

Ну что делать, если человек не в себе? Мы с Никифоровым переглянулись, и он стал извиняться:

— Ладно, Миша, прости, я не то хотел сказать. Просто день сегодня какой-то нервный...

А сам мне глазами показывает, мол, Зайцев-то — гигант половой: *ее тело* там...

Ну, ладно, доезжаем мы до метро «Проспект Вернадского». Вышли.

Я, признаться, чувствовал себя неуютно. Вдруг академик вырыл свои томагавки?.. Я, кстати, почти не сомневался, что Зайцев говорит правду, а Никифоров давал 50 %, что врет. Сочиняет в экстазе, предположил Никифоров.

А еще темно, е-мое, хоть глаз выколи. Столица называется. От Кремля полчаса езды, а темно, как в лесу. Я вдруг занервничал так, что просто хоть назад поворачивай. И Зайцев еще, гад, дуется-дуется на нас, а идет посередине. Я говорю: иди вперед, Сусанин!.. Пару кварталов прошли, он впереди, а потом смотрю — опять, незаметно, незаметно, вполз между нами. И еще замечает: вот, кажется, где-то здесь он на меня набросился... Тут я с тротуара сошел и пошел по дороге, там хоть чуть-чуть света побольше. Никифоров говорит: «Саня, снаряд два раза в одну воронку не попадает, иди по тротуару, машины все же». Я говорю: «Премного вам благодарны, то снаряд, а то советский академик. У него даже алгебра и та нелинейная. Подкуют по башке, как блоху у Лескова. А я свою каску сегодня дома забыл». Зайцев не удержался, даже в этих условиях образованность показывает: «Нелинейная алгебра, — говорит, — чтобы ты знал, Саша, введена англичанами. Давидом Гильбертом. Святая Русь тут ни при чем. Вас этому в «плешке» вашей учили... да ты неуч, лекции пропускал. Все пивко жигулевское с водкой смешивал».

Во дает. Совсем чувство юмора потерял. Но я не обиделся, потому что понял, он в основном не ко мне обращается, а уже с оппонентом своим мысленно полемизирует. Мол, хоть он, Зайцев, *и не академик*, но знает-то, ох, не меньше... Я поэтому промолчал, а про себя думаю: а пошел бы ты со своей математикой, физикой, химией и всей Академией наук с Нобелевским комитетом в придачу подальше, интеллектuala проклятый...

Сказал только: «Лекции, Зайцев, мы с тобой вместе в баре "Яма" на Страстном бульваре слушали, и алгебру на Руси, может быть, ввели и иностранцы (хотя лично я в этом из принципа усомнюсь), но вот из-за какого-то, если твою английскую линию продолжить, кентервильского привидения зимним вечером друзей мучить — нехорошо это точно...»

Зайцев вскинулся:

— Это кто кентервильское привидение? Ты на своих баб посмотри!

Но тут Никифоров нас развел.

— Брэк, — говорит. — Что за споры между соратниками по оружию? Отложить на время. Объединимся перед лицом общего врага.

Некоторое время шли в молчании.

Потом Зайцев говорит:

— Пришли.

Научная номенклатура обосновалась в кирпичной многоэтажной башне с претензией на архитектуру. Лоджии. Цветы на окнах. Отсутствие всякой дряни на балконах. Кое-где лыжи. (Спортом занимаются...) За пять лет глубоких преобразований дом, конечно, малость обветшал, но все равно было еще видно, что здесь непростые люди живут... Никифоров говорит:

— Неплохо устроились... Будем штурмовать?

А я, знаете, наверное, это странно и глупо, но только в этот момент начинаю осознавать всю нелепость и комизм положения. Потому что скажите мне, вот что я буду сейчас делать, как вы себе это представляете? Открывает академик дверь и что? Я подхожу к нему справа, а Никифоров слева?

Я говорю:

— Зайцев, что мы сейчас будем делать? Ты понимаешь, зачем ты нас сюда привел?

А он не отвечает, даже не слышит, трясет дверь. Здесь, говорит, кодовый замок. Наташечка когда-то говорила номер, да я забыл.

Никифоров говорит:

— Миша, не ломайте дверь, код должен быть написан где-то рядом...

А разумеется, никакой лампочки нет, хоть дом и номенклатурный. Зажгли спичку.

Зайцев говорит:

— Тут рядом только «х...» написано.

И опять начинает трясти дверь. В экстазе.

А Никифоров ему так спокойно:

— Ну как же только, вот посмотрите, вот цифры. А ну-ка попробуйте...

Все же удивительно, что значит философ. Найти общий язык с психом — всегда пожалуйста. И еще шутит: «Откуда вы знаете, Миша, может быть, эти цифры нумерологическая аббревиатура этих букв...» Сейчас бы увести Зайцева, мол, замок не открывается, что тут поделаешь, а он шутит... Аббревиатура... И мне говорит:

— Саня, ты расслабься, в абсурдном мире нужна абсурдная система координат. Расслабься и воспринимай все как должное. Иначе не стоило сюда и ехать.

Каков, а?

Я говорю:

— Никифоров, ты не выпендривайся, не строй из себя большего философа, чем ты есть на самом деле, ты понимаешь, что тебе объективно легче? Может быть, для тебя в этом сюжете есть вся мировая философия, way of life, киники, циники и дзен-буддисты вперемешку с генноссе Марксом и ты здесь, блин, докторскую по Сартру защищаешь... Но я-то бухгалтер, я кандидат экономических наук. Сартра я последний раз читал в 1978 году и то после того, как госэкзамен по научному коммунизму сдал. Мне просто, по-человечески, неудобно. Им с академиком обоим пора в Кашенко, а мы с тобой что?

Никифоров пожал плечами:

— А что Кашенко? Не самое худшее место в Москве. У меня хороший друг там лежал... Милейший человек, кстати. Везде люди живут...

И я вспомнил, что в свое время в определенных кругах Москвы считалось даже доблестно и в кафе немного полежать в сумасшедшем доме. Что-то вроде посвящения в рыцари.

Но, впрочем, в любом случае сомневаться и стыдиться было уже поздно. Зайцев уже отворял двери храма науки.

Мы вошли. Обычный подъезд, кафель, пустое место консьержки, у почтовых ящиков пованивает кошачьей мочой. Никаких следов ковра, ни кадки с фикусом. Академики... Интеллигенция... За что боролсь?

Поднимаемся на лифте. Довольно средний лифт. Обшарпанный. На стене нацарапано все то же неприличное слово. Кнопка последнего этажа сожжена.

Я говорю:

— Неужели наша научная элита балуется? Академик Велихов?

Зайцев говорит:

— Молодое поколение. Дети. Это еще что. Натали недавно нашла у Пашечки (я уже говорил, это сын академика, 13 лет) порнографический журнал. Говорит — очень грязно. Конфликт отцов и детей...

Никифоров засмеялся.

Приехали. Выходим.

И Зайцев сразу, гад, кидается к звонку и трезвонит изо всех сил. А заслышав за дверью шум, вдруг раз — и прячется за наши спины. Я говорю: «Ты что, Гапон, провокатор проклятый, вылезай!» — и пытаюсь его выпихнуть вперед, но он как клещ вцепился в Никифорова и не выходит. Хорошо я машинально прихватил свой старый портфель с собой. Я на всякий случай выставляю его вперед, собираясь, в случае чего, защищаться им, как древний эллин щитом. Думаю: «Мой верный товарищ, сколько лет мы вместе, прости, сейчас какой-то обезумевший научный козел может хряснуть тебя топором...»

Из-за двери спрашивают:

— Кто?

Зайцев подталкивает нас и дребезжащим тенором говорит:

— Из ЖЭКа! Авария у вас наверху!

Какой идиот мог поверить, что в 11 вечера, в Москве декабря 1992 года, к нему придут из ЖЭКа, будь наверху хоть всемирный потоп — я не знаю...

Видно, сильна все же вера в разумное, доброе, вечное в нашей интеллигенции, если академик в ответ на это совершенно бредовое заявление, произнесенное к тому же голосом не слесаря, а растлителя малолетних с большим стажем, тут же распахнул широко дверь и вылез на лестничную площадку. Тут он увидел Зайцева и нас, выгарашил глаза и бросился было обратно, но Зайцев ему не дал. Он выскочил из-за наших спин и попытался, отпихнув академика, войти в квартиру. Между ними завязалась короткая борьба, которую мы с Никифоровым наблюдали со странной безучастностью. В результате Зайцев был оттеснен на лестничную площадку и в квартиру не прошел. Все это сопровождалось большим шумом, и я вдруг подумал, что дело в общем-то пахнет статьей за хулиганство. Оттеснив Зайцева и видя наш нейтралитет, академик несколько осмелел и, подбоченившись, сказал из дверей:

— Ааа, забдел сам со мной разбираться, забдел?! Тонтон-макутов своих привел с собой, да?..

А Зайцев ему отвечает на столь же повышенных тонах:

— Перестаньте оскорблять моих друзей! Я не тонтон-макутов с собой привел, а свидетелей! Свидетелей обвинения!..

— Свидетелей чего? — иронически осведомился академик.

— Обвинения, — в тон ему ответил Зайцев. — Вы же ведете себя как человек, мягко говоря, малоинтеллигентный, что, впрочем, неудивительно для номенклатурщика.

— Я малоинтеллигентный человек, я номенклатурщик?! — вскричал академик с надрывом. — Вы вторглись в мою семью! Вы пытались отнять у меня жену! Я член академии наук США! А когда любовь к дому и чувство долга возобладало в ее измученной душе и она освободилась от наваждения, вы стали ее преследовать!.. Я имею труды на шести языках!

— На венгерском, болгарском и румынском? — язвительно осведомился Зайцев.

Тут где-то наверху наконец открылась дверь (а то я все удивлялся, почему этого не происходит), и у нас, похоже, появился первый слушатель. Но академика (ладно Зайцев) это, как ни странно, не смутило.

— Убирайтесь прочь! — заверещал он. — Не то я не знаю, что сделаю! Интриган!

— Сам интриган! — крикнул Зайцев. — Бенкендорф! Где Наташа?!

— А кстати, — вдруг вступил в игру Никифоров, — где она?

И я поразился, насколько действительно *кстати* он задал свой вопрос. И тут же подумал: «Так он что... *серьезно?*..»

— Наталья уехала к подруге, — не сбавляя голоса, проговорил академик, но потом опомнился и визгливо закричал: — А вы кто, собственно, такой, чтобы задавать мне подобные вопросы?!

— Пошли, — становясь равнодушным, сказал Никифоров, — пошли, Зайцев, я же тебе говорил, что с ней все в порядке.

— Не верь ему, Коля, — закричал Зайцев, хватая Никифорова за рукав, а потом, забежав вперед, растопырил руки, загораживая проход к лифту. — Не верь! Пусть докажет! Пусть даст телефон подруги! Ты что, не видишь, что за человек перед тобой! Двуликий Янус! Он сейчас из себя Бедную Лизу корчит, вас испугался, а через час человека зарежет! Давай телефон подруги, ирод, — надвинулся он на академика, — не то милицию вызову! Дугая фигура!

— Вызывай, — закричал академик, — вызывай, стукач, вертухай, волчара позорный!

(Это от чтения... — задумчиво пробормотал Никифоров. — Скорее всего, толстые журналы...)

— Кстати, — неожиданно обратился к нам академик с изысканной вежливостью (столь изысканной, что я подумал — может быть, он просто пьян?.. но не тут-то было), — я надеюсь, господа, вы не верите рассказам этого проходимца и шизофреника, я просто пытался дать понять ему серьезность моих намерений...

— Что вы имеете в виду? — с той же изысканностью спросил я.

— Серьезность намерений? — сказал Зайцев. — Хулиган! хам! громила! погромщик! Ты хотел меня ужокошить! Ты не пожалел моих жену и детей!

— О вашей жене, я думаю, мылучше помолчим, — с неожиданной иронией сказал академик, — а, как вы выражаетесь, «ужокошить» я вас не собирался, так

как вы могли бы заметить (я так понимаю, господа, он вам уже нажаловался на меня?), что рубил я вас обухом (да-да, жест отчаяния оскорбленного супруга, что делать) ...и вы, если бы не забздели так, сразу бы обратили внимание на это... А вот сами-то вы, к слову сказать, на меня махали лезвием...

— Я не махал! — крикнул Зайцев. — Я отмахивался... А гантелю ты тоже из отчаяния прихватил?!

Эта перепалка продолжалась еще долго, они то орали во весь голос, то переходили на почти трагический шепот, беспрестанно призывали небо и нас в свидетели, и постепенно мы таки втянулись в это, впад в какую-то прострацию. К тому же невозможно молчать, периодически разнимая двух энергично толкающихся джентльменов, вы должны будете сказать им хоть что-нибудь...

Особенно мне запомнился следующий пассаж.

В какой-то момент, кажется ближе к концу, утомленный академик вдруг сказал, обращаясь к нам с Никифоровым:

— Ну, хорошо, я вижу, вы разумные люди, с вами можно договориться. Заходите, мы все обсудим, а этот ... (он презрительно указал на Зайцева) — пусть подождет внизу. Вы ему все потом расскажете...

Кстати, это было бы в той ситуации действительно очень разумно, так как, как я уже говорил, у нашего небольшого коллектива постепенно появились слушатели, со временем их становилось все больше, и я просто не представлял, как академик собирался жить дальше в этом подъезде. Да и просто попить чаю было бы тоже неплохо...

Наконец мы стряхнули сонное оцепенение и, отстранив цепляющегося за руки Зайцева, двинулись к лифту.

Академик удивился:

— Куда же вы? Разве не зайдете?

— Как-нибудь в другой раз, — сказал Никифоров, слегка поклонившись, — сейчас поздновато, знаете ли... Семьи ждут.

И он вызвал наконец лифт.

Я тоже сказал:

— До свидания...

— Вы поняли меня?... — на прощание крикнул нам академик. — Я надеюсь, что вы меня поняли! Все это не ради себя, не ради себя!.. И даже не ради нее!.. Просто должна же быть на свете *Справедливость!*.. Иначе они захватят весь мир!

Тут Никифоров замедлил шаг, но я толкнул его в спину. К счастью, лифт оказался недалеко. Еще минута, и академик бросился бы пожимать нам на прощанье руки, но было уже поздно. Мы вошли, и Никифоров нажал на спуск. Двери закрылись.

— Страшная вещь интеллигенция, — после нескольких минут молчания произнес Никифоров. Видимо, философское чувство изменило ему.

— Кто эти «они», которые захватят весь мир? — сказал я. — Не понимаю. Ведь он сам вроде бы еврей. А Зайцев не коммунист. Тогда кто? Кто завоюет весь мир?

Никифоров не отвечал.

— Как думаешь, — сказал тогда я, — они не начнут опять убивать друг друга?

— Нет, — рассеянно сказал Никифоров, — по-моему, они выдохлись. Зайцев выкатится вскоре вслед за нами, вот увидишь.

У подъезда мы присели, я вытащил сигареты, и некурящий Никифоров закурил.

— Абзац, — после небольшой паузы сказал он. — Полный абзац. Братья Карамазовы. Старцев не хватает. И Настасья Филипповны.

Я говорю:

— Старцы — это мы с тобой, Никифоров. Такие старцы, в современном стиле. А Настасья Филипповна, если я ничего не путаю, это Пучкова... Только я тебя прошу — не подводи и сейчас философскую базу под эту обыкновенную житейскую хренотень... Ты еще восстание декабристов вспомни. Сейчас все очень просто: нам надо дождаться Зайцева и заставить его поставить нам бутылку, а то и две. Без этого домой возвращаться просто нельзя. Ведь на нас, ты посмотри, лица нет — вся аура, б..., разрушена. Все выпили, гады. Я не я буду, если Зайцев нам не поставит.

— Да, — сказал Никифоров, — сейчас неплохо было бы принять по 150...

Он выглядел растерянным, и было видно, что все никак не может отойти от увиденного.

Мы немного посидели молча.

Чтобы его отвлечь, я сказал:

— А ты уверен, что они быстро закончат?

— Ставлю десять против одного, — сказал Никифоров, — им просто нечего сегодня уже сказать друг другу.

Мы еще немного помолчали.

— А интересно... — сказал я ...

Но он не дал мне закончить.

— Слушай, Саня, — неожиданно сказал Никифоров каким-то странным голосом. — Вот ты все же меня старше. Скажи мне как старший товарищ: что за ерунда происходит в нашем отечестве и вообще? Как относиться к жизни? Какая-то непрерывная пое...нь. Зайцева мне жаль. И одновременно я считаю, что я идиот, что поехал сюда. Но дело даже не в Зайцеве. Ведь взрослые люди... И газеты читать противно, телевизор смотреть стыдно... Диссертацию зачем-то делаю... И вообще...

Я понял, что у Никифорова наступил духовный кризис, что его достали и он находится на грани истерики, и собрал все свои мыслительные способности, чтобы дать ему внятный и четкий ответ, как ему жить дальше. Я-то Зайцева знаю давно, и у меня все произошедшее не вызвало ничего, кроме головной боли. Но молодежь надо было спасать.

Еще я подумал, что Зайцев — прямо доктор Штайнер какой-то... Смотри-ка, вот Никифоров шутил-шутил, а потом вдруг раз — и спекся...Пожалуйста вам — духовный кризис и стресс...Будьте добры помогать.

Вслух же я сказал:

— Насри на все, Коля. Занимайся воспитанием собственного духа. Все суть эманации. Учебники читал?... Базис разлагается. От него нити идут к надстройке... Она и того...Страна большая, пока всю не разворуют... Верхи в растерянности. А на Мишу не обращай внимания. Это он, что ли, взрослый человек?... Да ты его на 20 лет старше!

«Да, — думаю, — философия... Слаба ты, однако, матушка, перед жизнью. Надо его чем-нибудь отвлечь».

— Я, — говорю, — тебя, Коля, вот о чем в свою очередь хотел спросить: не думал ли ты, не сомневался ли ты хотя бы мгновение, не было ли у тебя мысли или мимолетного ощущения, что академик нашу Наталью — немного того?...И мы с тобой влипнем в это? Так как, видно, мало у нас печали...

(Ничего лучшего в качестве отвлекающего маневра не придумал...)

— Ни единого мгновения, — твердо сказал Никифоров.

— Даже тогда, когда Зайцев рассказал о поединке на секирах?..

— Даже тогда, Саня, — сказал Никифоров, — ты бухгалтер, параноидальность твоего сознания и мания твоего преследования мне понятна. Но весь ужас нашего положения в том, что все это ничем не кончится. Ничем. Одно сотрясение слоев.

— Никифоров, дитя мое, — сказал я с неизвестно откуда взявшейся мудростью и оптимизмом, — в этом наше спасение, как ты только не понимаешь...

— Я не уверен, что в этом наше спасение, на этот счет существует много точек зрения, Саша, — сказал Никифоров, — но сейчас это неважно, а важно то, что наша Пучкова никак не драмы героиня — это я могу тебе сказать точно. А проще говоря, она таких кузнециков, как наш Миша и весь этот президиум Академии наук, в карман три раза положит, вынет, да еще и молнию застегнет.

Я был снова удивлен лексической экспрессивностью Никифорова. Я же говорил, он вообще-то не склонен к идиоматике. Видимо, сказывалось напряжение минувшего дня.

Мы докурили. Никифоров бросил бычок в снег и затоптал его. Зайцев все не появлялся.

— Пойти, что ли, забрать этого мудака? — сказал я. — Можно, конечно, купить себе самим бутылку, но, как сказал наш новый друг, должна же быть в этом мире хоть какая-то справедливость?

Я поднял голову и посмотрел на окна, где предположительно мог находиться Зайцев, и вдруг увидел его, наблюдавшего за нами через окно

лестничной площадки на втором этаже, над выходом из подъезда. Я молча показал на эту картину Никифорову. Зайцев сначала отпрянул от окна, но потом понял, что его заметили, и помахал нам рукой.

— Смотри-ка, еще стесняется, — сказал Никифоров.

— Возможно, боится.

Герой дня подошел к нам как ни в чем не бывало и опасно остановился, не доходя нескольких шагов.

— Размышляем за жизнь?.. — бодро сказал он. — А я вот тоже, смотрю на вас и думаю, дорогие вы мои...

— Заткнись, Зайцев, — сказал я, и Зайцев замолчал, будто его выдернули из розетки.

Я произнес короткую речь:

— Слушай меня, Зайцев. Слушай и запоминай. Где тут ближайший ларек? Сейчас мы молча, я подчеркиваю, молча идем к ближайшему ларьку, где ты ставишь нам два пузырька водки, шнапса или родной горилки — по ассортименту. И тогда, во-первых, ты остаешься жив. Во-вторых, мы молча, подчеркиваю, молча все выпиваем. Одну за другой. И обязательно закусываем. Закусываем приобретенными тобой же, в ларьке, консервированными огурцами производства бывшей Германской демократической республики, упокой Господи ее грешную душу... Я люблю эти огурцы. После этого тебе предоставляется три минуты на последнее слово...

— Две, — сказал Никифоров.

— Хорошо, две... и мы опять в совершеннейшем молчании отбиваем по хазам. Ты согласен, я надеюсь? Девиз остатка вечера: совершеннейшее молчание. Ты понял, египетский ты царь?

Последнее прозвучало как-то даже грубо, и Зайцев, мне показалось, немного обиделся. Он вообще выглядел разочарованно. Я думаю, он ожидал скандала, упреков или даже оскорблений в свой адрес, а тут — ничего. «Странно...» — читал я в его взгляде.

Пока мы шли к метро, он сделал несколько попыток «обсудить ситуацию», но, наткнувшись на наше молчание, как-то сник и, пробормотав про себя что-то вроде «жлобов», пошел молча впереди.

Некоторое время мы так и шли — молча, друг за другом. Первым молчание нарушил Никифоров.

— Где ты с ним рубился-то? — неожиданно спросил он.

— Где-то здесь, — сказал Зайцев, — а что?

— Да ничего, — сказал Никифоров, — мне на даче бы топор сгодился. Ты же сказал, новый совсем. Ты его себе брать не будешь?

— Не буду, — растерянно подтвердил Зайцев.

— Ну так давай поищем. Сань, ты не претендуешь? А то можем разыграть.

— Да нет, — сказал я. — Мне бы выпить — вот это да.

(Я понял, что к Никифорову вернулось его философское отношение к жизни, и не стал его останавливать. Действительно, лежит совершенно новая вещь. Зачем ей пропадать? Что мешает ею воспользоваться? — Ничего...)

— Ищите, только быстрее, — сказал я.

Никифоров с Зайцевым пошли искать топор, а я, присев на какой-то случившийся кстати железный пень, задумался.

О чем? Да так, ни о чем... Почему-то вспомнилось мне, как давным-давно, на заре туманной юности, ездил я с одной девушкой к ее родителям в гости, в Ленинград. И как гуляли мы с ней, извините за выражение, в Царском Селе. И как плавали золотые и красные листья в черном пруду (была осень) и стоял в строительных лесах какой-то дворец. Названия не помню, не люблю их запоминать... Потом пили пиво в буфете, потом поехали к ее подруге на метро, по-моему, «Горьковская» (есть в Питере такое?), пили и там красное вино и портвейн «Анапа», остались ночевать, потом среди ночи пришел подругин друг, хипарь, принес еще вина, потом хипарь, не помню из-за чего, поругался с соседом, потом все помирились, сидели до утра, разговаривали... Хорошо было, как-то легко, без надрыва, естественно и, главное, если подумать, в историческом масштабе не так давно, всего лет пятнадцать назад. Я даже стихи им читал: Тютчева... Или кого-то еще? И почему сейчас так не получается? Чтобы без надрыва?.. Выхожу один я на дорогу, в тишине кремнистый путь блестит...

— О, смотри-ка, запел, — услышал я, и из темноты передо мной возникли

Никифоров и Зайцев. Никифоров держал в руках топор и какой-то продолговатый предмет, завернутый в грязную газету. Это была гантеля. Все отыскали.

— Малоснежные, — говорю, — пошли зимы в Москве.

Зайцев был возбужден.

— А?! — кричал он. — Нашли! Ну надо же, а я думал не найдем. Нашли! Ведь вы мне до конца не верили, ну признайтесь же: не верили? А я и сам себе не верил, ведь со мной такое в первый раз, честное слово... Бить — били, убить — грозили, все из-за баб, но чтобы вот так вышли с вилами навстречу, как на волка... — не было. (Мне показалось, что Зайцев даже гордится, что академик гонялся за ним с топором...) Все же осталось, осталось в нашей России, несмотря ни на что, ни на какие революции и перестройки, что-то былинное...

— Да, — сказал Никифоров, засовывая себе топор за пазуху жестом профессионального убийцы, — не то что-то былинное, не то что-то, миль пардон, билибинское. Особенно если учесть, что твой академик, Добрыня-то наш Никитич — еврей из-под Киева, то, конечно, есть в России и что-то былинное.

Тут я вдруг сказал:

— Без национализма мне тут... — Никифоров вытаращил глаза: ты что? Но я жестом остановил его: — Не надо ничего говорить... Кстати, это... — сказал я, — дай-ка мне, Зайцев, сюда гантелю. Я ее, пожалуй, себе возьму. На память об операции. Да и жене покажу, все какое-никакое, а вещественное доказательство.

Зайцев думал-думал, а потом говорит:

— Это кощунство. Я не позволю издеваться над собой!

Я удивился.

— Кто над тобой издевается, — говорю, — во дает, просто время-то... час скоро. Что я Галине скажу?

Упоминание о какой-то семье, пусть даже чужой, на время отрезвило, успокоило Зайцева. Вечные ценности. Он молча протянул мне гантелю. Сказал, что в принципе он хотел взять ее себе, так как уже давно собирается начать заниматься спортом, но раз уж я так прошу... И он, кстати, может позвонить моим или даже зайти к ним, если у меня будут проблемы из-за него.

Я говорю:

— Если... Где брат твой, Авель?.. Вспомни, сколько раз пили на этой неделе. Или ты уже не узнаешь брата своего?

Но Зайцев сейчас ничего не помнил и никого не узнавал. Он машинально кивнул и, увидев, что на него снова обращают внимание, сказал:

— Возможно, вы удивитесь, но мы с Чебурашкой договорились.

Никифоров говорит:

— Да ну?

— Да. Неделю Наташечка живет у него, а на выходные они с Пашечкой, если хотят, приезжают ко мне.

Тут Никифоров говорит:

— Куда, к тебе? У тебя ж семья, Зайцев, ты что, об Ире своей — забыл?

— При чем тут Ира... — сказал, досадливо поморщившись на нашу непонятливость, Зайцев. — Я имею в виду в контору. В контору приезжают на выходные. Для начала...

Некоторое время мы шли в молчании.

— Смешной, — задумчиво, как бы сам с собой, сказал Зайцев. — Опять, как вы ушли, стал на меня кидаться. С хоккейной клюшкой. Пашечкина клюшка. Для хоккея с мячом, знаете, круглая такая, крючком... С ней. Попытался зацепить. Догадался...

Никифоров удивился:

— С клюшкой? Странно. А меня татапа пыталась шайбой бить, когда я в универе первый раз нажрался. Что за образ...

Показалось шоссе, красное «М» над входом в метро и освещенные ларьки.

— Что брат будешь?.. — весело сказал Зайцев.

В ночном ассортименте из «водок» оказались лишь величественный «Абсолют» за 60 тысяч, что-то страшное с Кавказа за 6 500 и таинственный напиток «Альбатрос» из Польши в красивой бутылке и почему-то с орлом на этикетке. «Орел-альбатрос» стоил 12. Остальное пространство занимали разноцветные жидкости, названные самим ларечником-азербайджанцем лосьонами.

— Конечно, надо было бы заставить тебя купить «Абсолют», — сказал я Зайцеву, — но пить «Абсолют» на улице из горла — лучше его совсем не пить. Надо уважать труд шведских крестьян.

— Польских, — угрюмо сказал Никифоров.

— Неважно каких. Пить «Абсолют» на улице из горла может только жлоб или личность, отягощенная тяжелыми комплексами. Мы не относимся ни к тем, ни к другим.

Взяли «Орла-альбатроса».

Зайцев подозрительно отвинтил пробку, понюхал.

— Ну и чем пахнет?.. — иронически спросил Никифоров.

Приняли тут же, лишь для вида отойдя от ларька на несколько шагов. «Альбатрос» пошел довольно легко, сказывались мороз и нервная усталость.

— Надо бы в парадняк забраться, — сказал директор «Мнемозины», сделав несколько больших глотков. — Все же распитие спиртных напитков в общественном месте.

— Да уж, воистину общественное, — сказал Никифоров, ковырнув ботинком ледяные извилины под нашими ногами.

— Какая разница, что грязь кругом, — меланхолично заметил Зайцев, — что не мое, все общественное. Как бы менты не наехали.

Мы приняли еще раз. Первая кончилась, и Никифоров (эх, молодежь, молодежь...) бросил ее за ларьки. Бутылка упала и покатила там с характерным звуком.

— Не разбилась, — удовлетворенно прислушавшись, сказал Никифоров. — Люблю этот звук.

— Плохая примета, — вздохнул Зайцев.

Никифоров рассердился:

— Почему? всю жизнь так делаю...

Зайцев, увидев, что Никифоров сердится:

— Потому что. Не надо мусорить. Осколки... дети бегают... И вообще — здесь же люди живут. Мы с вами...

Никифоров только рот открыл.

— Ну, не мы живем, так кто-нибудь, — продолжил тему вошедший в роль Зайцев. — Ларечник пойдет домой. Пацаны. Пашечка вырастет, побежит...

Я заступился за Никифорова:

— За чем побежит Пашечка? За водкой?..

Зайцев не отреагировал.

— И вообще... надо отойти помочиться, — сказал он. — В парадное... А потом — в метро. Не успели? Жаль. Эта ветка длинная. Люблю так пить. В последнем вагоне. Как у Окуджавы: «В последний троллейбус вскочу на ходу...» А я в метро...

Разлили вторую. Чокнулись.

— За все хорошее...

Помолчали.

Никифоров, к слову и чтобы заполнить паузу, вдруг рассказал, как он однажды в отпуске чуть не женился на грузинке.

— Настоящая княжна, представляете?.. И при этом из интеллигентнейшей семьи... Мари. То есть ее звали как-то нормально, по-нашему — Мария, но представлялась она только как Мари. Или Мэри. Мэри Беорградзе. Это звучало. Папа — профессор биологии тбилисского университета. Утонченнейший человек. Пять языков. Семья — облизете пальчики. Мама, по рассказам, удивительно готовила баклажаны... Я даже собирался поехать к ним в Тбилиси... Но не поехал, из-за войны.

Допили остатки.

Стали собираться домой. Тут Зайцев обвинил Никифорова в цинизме и самом отвратительном национализме, а меня в цинизме и предательстве. Потому что мы, видите ли, не отлупили академика, как он, оказывается, просил, и еще потому, что Никифоров надругался над любовью бедной провинциальной девушки из Грузии — раз и намекает на ее происхождение — два.

— И после всего этого, — сказал глухо Зайцев, — вы смеете смеяться над нами. Что вы за люди! У вас нет души...

Он уже отождествился с Никифоровской Мари. *Над нами...* Но что вы

хотите — две ноль-семь «Орла-альбатроса» плюс предыдущая астральная дуэль с Чебурашкой в 15 раундах без перерыва. Отождествишься не только с бывшей девушкой товарища, но и с собакой Жучкой из соседнего подъезда.

Поэтому мы, разумеется, не обиделись. Я понял, что для Миши скандал в эпилоге и, может быть, даже небольшой дружеский мордобой были бы наилучшим завершением вечера.

Я сказал:

— Хватит базарить, уважаемый Михал Михальч. Пошли машину ловить. Я закрываю на сегодня ваш бенефис.

Но Зайцев не сдавался. Он же нас *просил*, просил помочь ему, как друзей просил отлупить академика, а мы?.. Ему-то неудобно, но мы-то что? Мы ведь люди посторонние, чего постеснялись?

— Просили?.. Но вы же не просили, Миша, — сказал Никифоров. — Вы просили нас свидетельствовать, вот мы и свидетельствовали. Перед Богом и людьми, и готовы подтвердить перед этими высокими инстанциями, что вы оба олигофрены, хотя и страдальцы, а нашу Наташку можно выдвигать на конкурсы «Интеллигентная Москва-92 и мисс Захер-Мазох»...

Зря он это сказал, конечно, но и его тоже можно понять. Устал человек. И привычки нет... Он же Зайцева в общем-то не очень давно знает. Понервничал, выпил... Да и шутка, если подумать, вышла совершенно безобидная. «Страдальцы»... Но для Зайцева даже это было то, что нужно.

— Интеллигентная Москва... — сказал с выражением Зайцев, — Захер-Мазох... Оскорбляете, значит, Наташу... Умных из себя изображаете? Начитанных... Сами очень интеллигентные, да? Свидетельствовали они... А на самом деле-то ведь все очень просто — надо только признаться. Самим себе: ребята забздели. Забзде-ли.

И он вдруг пихнул Никифорова в грудь.

— Чебурашки испугались?

Но Никифоров, видимо, тоже понимал, чем хочет завершить вечер наш начальник, потому что лишь тяжело вздохнул, мягко отстранил Мишу и пошел ловить машину.

Зайцев, конечно, еще что-то орал ему вдогонку, но его уже никто не слушал...

Мы довольно долго протягивали руки к проносящимся мимо машинам (естественно, три мужика в полвторого ночи голосуют — кто же будет рисковать), наконец остановились какие-то «Жигули»...

(Предупреждаю, — сказал сотрудник банка, — если кто-то думает, что мы подходим к концу, — тот должен потерпеть еще минут десять. Как я в тот вечер...)

...Никифоров склонился к окну.

Сказал:

— На Маяковскую... — и отступил задом.

В машине сидело два мента. Один из них открыл дверцу и, явно довольный произведенным эффектом, сказал:

— Ну что, передумали, что ли?..

И тут Миша выскочил вперед. Для него эти господа были просто находкой.

— Почему передумали? Кто передумал? Вот ему, — он указал на Никифорова, — на Маяковку, а нас высадите на Остоженке. — Зайцев, видимо, решил поехать к родителям, которые живут рядом со мной. Мент потянул носом:

— Принимали алкоголь?

Я думаю: так...

Но Зайцев уже усаживался в машину.

— Принимали, товарищ начальник, принимали... Ситуация у меня такая неординарная, можно сказать, жена меня бросила. Променяла на любовника...

Никифоров выразительно посмотрел на меня и покрутил пальцем у виска. А я вдруг вспомнил, что у него под пальто, налямочке, Мишин трофей — оружие из президиума а-эн эсэсэр... Вот это, думаю, оборот.

Но отступать уже было нельзя.

— Что делать, — говорю, — Коля. Садись. Не сядем, может быть хуже.

А сам думаю про себя: ты же сам этого хотел, Саша. Ты же не поехал сразу домой из этого сумасшедшего дома — ты решил ауру поправить... Вот и

поправил. Ауру.. Я чувствовал, что еще немного и уже мне надо будет оказывать психологическую помощь.

Мы тоже сели. Зайцев стал рассказывать ментам свою историю, а я, пригорюнившись, отвернулся к окну. Меня охватила усталость. Мимо пролетали спящие дома. Кое-где еще горел свет. Вся картина была темной, в первых этажах домов тускло светились вывески.

Что мне скажет Галя, если даже условно предположить, что она поверит в эту безумную историю, рассказанную на ночь? Я знаю, что она скажет. Она скажет, что она устала. Что дочка опять ждала меня допоздна. Что сейчас два часа ночи. Что я, наверное, не хочу с ними жить... Ну, предположим, завтра я на работу не пойду. Предположим, что я не пойду туда и послезавтра. Можно весь день пробыть в семье. Даже два дня. Ну и что?

Через эти два дня, через неделю максимум, что-нибудь опять произойдет. Наводнение, пожар, вывоз тиража из рухнувшей типографии в городе-герое Житомире, покупка мебели с последующей оргией и свальным грехом на дому у кого-нибудь из сотрудников издательства, неважно что и где, было бы, как говорится, желание... Ох, как я устал. Как я устал. Поехать разве что тоже к маме? Стыдно. К тому же тогда все точно не поверят, что я разбирался с Зайцевым. Все. Даже самые близкие и родные люди... Даже мама. Она справедливо решит, что я был у какой-нибудь бабы. Что я спиваюсь (это ее любимый образ), что Галина скоро меня бросит...

Да... Господь видит, как я страдаю. Как претерпеваю за правду. Потому что ее нельзя сказать ни-ко-му. Потому что если ее, эту правду, кому-нибудь сказать, я не знаю, что будет. Забросают камнями. В лучшем случае пожалеют. В лучшем случае.

Если бы. Если бы я был у бабы. Ну почему, почему со мной всегда происходит подобный театр абсурда? Почему я никогда не беру трубку, когда звонят из института по делу, и обязательно подхожу, если за Зайцевым в одиннадцать ночи гоняются с топором на проспекте Вернадского?.. Лучше бы правда к какой-нибудь девушке поехал, ей-богу. Вон сколько их ходит по улицам, милых, чистых, приветливых. А то самое обидное — попадет ни за что. За три часа в бреду. За астральные войны. В мой-то года...

Тут до меня донеслось: Россия...идея...религиозный путь...И после паузы: как дал бы по харе!..

Так, думаю. Кому по харе, неужели религиозной идее, неужели ей?

Я испуганно прислушался.

Зайцев спорил с младшим милиционером об особенностях русского пути в связи со своим личным конфликтом. Старший внимательно слушал.

На мгновение у меня мелькнула безумная мысль, что все подстроено, что ментов вызвал «академик» и сейчас нас везут на Петровку, по дороге раскручивая «на политику», и я подумал, что надо бежать, прыгать прямо на ходу, но усилием воли справился с собой. Во-первых, сейчас вроде бы не те времена. Во-вторых, почему именно на Петровку?.. Еще я подумал, что этот старый соратник Сахарова (я имею в виду академика) вряд ли все же стал бы звонить в милицию. Принципиальный вопрос...

— Правильно Ленин говорил про интеллигенцию, — сказал младший мент, — запутавшиеся в трех соснах. Тебе надо было не этих профессоров с собой брать, а поставить пузырь алкашам у метро. Они отоварили бы твоего кента в лучшем виде, будь он хоть сам Курчатов... А ты этих синусов с собой взял...

Старший мент при этих словах опустил стекло и плюнул на дорогу.

— Разве они для таких дел годятся?..

Никифоров рядом со мной пошевелил плечом, поправляя топор, — но я показал ему кулак: молчи...

На Остоженке менты притормозили. Я помог Зайцеву выйти. Он выглядел усталым и постаревшим.

— Испекся, — удовлетворенно сказал мент постарше. — Он кто у вас по профессии?

— Редактор, — сказал я.

— В газете работает?..

— В издательстве. Философской литературы.

— Я так и думал, — сказал мент. — Вы все, что ли, философы?

— Вроде того.

— Ну, ясно. Доставим вашего приятеля в лучшем виде, не волнуйтесь. Из дома, унеся телефон на кухню, я позвонил Никифорову. Сначала долго никто не подходил, потом трубку взяли.

— Доехал?

— Довезли прямо до подъезда.

— Что это с ними?

— Заговорились. Продолжили Мишину тему, говорили о Марксе.

— О ком?

— О Марксе. Предвидел он или нет, что получится такая ерунда .

— Какая, с Зайцевым?

— Да нет, в государстве.

— Неплохо для милиции, — сказал я.

— Молодой учится в их высшей школе. Теперь там это преподают... Можешь себе представить, еще они интересовались Гегелем и Шопенгауэром.

— Не могу. Кем?

— Шопенгауэром. И знаешь, в каком смысле? Были ли они знакомы друг с другом или только по работам....

— И что, — сказал я с внезапно пробудившимся интересом, — были?

— Были. И очень не любили друг друга. А еще спросили, какой веры придерживается Зайцев. Ты не знаешь? Что это с ними со всеми? То «сектант», то менты интересуются. Я не нашелся что ответить.

— Сказал бы, что он последователь Кришны.

— Да, — сказал Никифоров, — пожалуй. Кстати, к нам недавно приходила одна философия, она считает себя современной реинкарнацией Гегеля... Утверждает, что имеется и внешнее сходство. Написала занятную статью. Надо было дать им ее телефон...

Попрощавшись с Никифоровым, я взял сигареты и вышел на улицу. Спать не хотелось. Было темно, пошел снег, новая вывеска на нашем доме красиво светила синими буквами. Я закурил, походил возле подъезда, остановился.

— Ну, что? — громко сказал я.

На первом этаже залаяла собака. Сосед, недавно купивший машину, выглянул в окно.

Я помахал ему и поднял голову.

По небу плыли рваные облака. В просветах между ними были видны холодные звезды.

— Ну, что... — еще раз, потише повторил я. «Орел-альбатрос» тяжело заворочался в груди, захлопал крыльями — просился наружу...

Я не отпустил его.

Докурив, я пошел домой.

(Наш рассказчик потянулся, встал и, вылив себе остатки водки, выпил, поприветствовав нас...)

— Собственно говоря, вот и все, — сказал он. — Можно разве что добавить, что история с Пучковой этим путешествием почти закончилась для Миши. Она вскоре таки окончательно бросила его, сбежав к какому-то поэту. (Что они в ней находят, ума не приложу...). Недавно Зайцев видел ее то ли с этим поэтом, то ли уже с кем-то другим на какой-то литературной тусовке и кинулся было здороваться, но она прошла мимо него, едва кивнув: «Здравствуйте...» Отчего Зайцев совершенно очумел и хотел было устроить скандал прямо там же, на публике, но сдержался, весь вечер прочиркал со всеми как ни в чем не бывало, но зато потом неделю после этого «пати» пил как проклятый, точнее, первые два дня пил «после этого», а остальные уже не мог остановиться...

И банковский работник грустно покачал головой.

Мы все засмеялись...

Георгий Балл

Рассказы



Боль и радость

Роман размером в одну страницу создается втайне от автора. Душевный голод каждого слова пронизывает автора мгновенной и острой болью, пока слову не найдено место. А при этом все повествование с нарастающей энергией стремится к бесконечности. Каждое слово амбивалентно. И легко теряет начальную скорость. Близка смерть. Если не произойдет причудливого сближения с самыми отдаленными понятиями. Чем дальше они отстояли друг от друга, тем лучше. Еще минуту, секунду назад автор не мог предположить, глаз не мог уследить. Мысль, рожденная за пределами сознания, легко и как бы естественно соединила разные миры. Взрыв не произошел. Не видно застывших, уродующих швов электросварки. А только ровный свет. Сердце автора ликует. Радость. Увы, недолгая.

Снова прислушиваешься к Божьему миру. Мне могут возразить: так и в стихах, в большом романе. Можно с этим частично согласиться. Всюду ритм, музыка. А живопись? Из одного источника черпаем ...как мир сотворен. И все же не даром такая малая форма называется магическим реализмом, она уводит автора в мир иллюзорный. Время уплотняется, что неминуемо приводит к деформации пространства, всей конструкции мини-романа. Упругость времени стремительно нарастает, иногда приобретая обратную перспективу. Вообще время, иногда открыто, а может и скрыто, тайно, к радости автора, выходит вперед, крошит все на своем пути во имя сохранения живого, пульсирующего реализма. Почти стихотворная образность. Нет места длинным описаниям. Магический реализм разрушает грани между прошлым и будущим. И всегда стремится вспомнить будущее через душевную боль автора. Если сохранится ясность, то сквозь все проступит лицо автора. Его радость... но и этого мало. Большой удачей будет пункт полного разворота. Неизвестно откуда в середину текста ворвется с решительностью птицы, влетевшей в открытое окно, не отдельное слово, а целая фраза. Она остановит время. И даст нам роздых, чтоб мы могли спокойно наблюдать всю картину.

Весь магический реализм мини-романа, возможно, станет одной душой, маленькой точкой в бесконечности.

Круги и треугольники

Потом по зеленому небу с розовым подсветом полетели птицы с черными маховыми крыльями. Крылья были заострены на концах. Шеи с маленькими головками и острыми длинными клювами. Клювы раскрыты. Они что-то кричали. Но Василий Туркин не слышал.

А то, что розовое, — это долгий свет замерзшего солнца, подумал он. Розовый свет может доходить до земли миллиарды лет. В предельной тишине. Так же как этот абсолютно бесшумный, призрачный полет черных теней птиц.

Дощатая дверь. Когда-то дверь была покрашена рыжей краской. Краска кое-где пожухла, отвалилась, и проступило темное, набухшее от дождей и мороза темное дерево филинок. Вася Туркин услышал там, за дверью, тихий плач или стон или смех — не разобрать.

У Васи на взлете выпивки было легкое чувство в душе. И он поглядел на снег. Снег пушистый, недавно нанесло ветром. Под дверью целый бугор. Вася

ступил и провалился. Почти по грудь. Этот обманнный бугор закрывал ступени вниз, в подвал.

Разгребая снег руками, Вася полез к двери. Определенно кто-то тоненько смеялся. Толкнул дверь плечом. Не поддалась.

Выбрался на твердую дорожку. Вытер лицо снегом и опять полез к двери. Прислушался. Тихо.

— Чего там? — вдруг заволновался.

— Эй! Эй! — крикнул он.

Тишина.

Повернулся, чтобы уходить. А в его спину кто-то кинул легким снежком.

И не то что вспомнил, а будто услышал слова своей недавно умершей бабки Арины, ее хриплый шепот:

— Ангела своего слушай, Вася.

Бабино лицо с перепутанными морщинами приблизилось; ее морщины как лесные овраги среди бурелома, покрытого снегом. По дну оврагов теплые ручьи, а над ними, в тумане, бабкины водянистые глаза добро глядели на Васю.

Ломая ветки, полез через овраг. Ботинки сразу промокли. Выбрался на твердую дорогу. Бежал вдоль трехэтажного розового здания. Мокрые ботинки скользили. Выскочил на улицу, где проложены трамвайные пути. Повернул в знакомый переулок. Влетел к себе в подъезд — и без лифта на шестой этаж. Взял инструменты, покидал в сумку и туда же без разбора кой-какие свои вещи — трусы, рубашки. Сел на стул.

Вдверь вошел сосед, пенсионер, одетый в спортивные синие брюки, майку.

— У тебя дверь открыта. Уезжаешь?

— Ага, недалеко тут.

— Дверь надо закрывать. Время знаешь какое?

— Время? — Вася будто задумался.

Зазвонили колокола на соседней церкви.

— Чего сидишь, если собрался? А хочешь бутылку принесу? У меня еще осталось.

Туркин вскочил со стула, схватил сумку.

— Ну, с Богом, — сказал сосед.

— С Богом, — ответил Туркин и перекрестился.

— А зверинец возьмешь?

Туркин посмотрел на клетки с животными, брать — не брать. Решил пока оставить.

То ли хмель не прошел, а все виделось, как во сне, — он снова ломился через бурелом морщинистого овражистого бабкиного лица, видел ее глаза. Баба ничего не говорила.

Руки дрожали, когда топором отжимал дверь в подвале. Дверь поддалась, но что-то ей мешало открыться.

Сорокасвечовая лампа на потолке освещала наваленные матрасы и одеяла.

— Эй! — крикнул Вася.

Тишина. Туркин понимал, что тишина обманчива. Одеяло чуть шевельнулось. Вася подскочил, откинул. Круглое лицо девушки. Белое, но с ярко накрашенными губами. Помада проделала дорожки и на лице. У нее были большие темные глаза.

— Ты чего тут?

Девушка молча глядела без всякого испуга.

— Как тебя зовут?

Из открытой двери несли холодом и снегом. Вася пошел закрывать дверь, и в спину его ударила подушка.

Он оглянулся. Девушки не было видно. Ладно, никуда не убежишь. Вася закрыл дверь. То ли это был еще сон, то ли знал, что так будет.

Из сумки достал врезной замок. Достал стамеску, молоток, аккуратно примерил. И врезал новый замок. Проверил. Ключи положил в карман. Потом взял байковое одеяло и набил изнутри, чтобы утеплить дверь.

В подвале была еще одна дверь. Туркин лез к ней через сугробы из одеял и матрасов. Взял гвозди и заколотил вторую дверь. Стал стаскивать в угол матрасы и одеяла. Он как бы забыл про девушку. Она не показывалась.

Потом зубилом пробил дыру в полу. Вдоль подвала тянулись горячие трубы. И было жарко. За трубами он нашел несколько железных листов и рядом штук пятнадцать кирпичей. Все это время он чувствовал, что за ним наблюдают.

— Ангела не упусти, — вспомнил бабкины слова. И услышал тихий смех сзади. Быстро обернулся. Никого не было.

— Эй! — крикнул Вася. — Я сделал для тебя туалет. Сгодится?

Закрыв отверстие железом, а сверху положил кирпич.

— Очень хорошо, — услышал Вася. — А то у меня в подвале сильно воняет.

— Я знаю, где ты прячешься. Там, где горы одеял, будет у нас одеялово море.

— Море, — засмеялась она своим особым легким смехом.

— Моя бабушка сказала, что ангел привел меня сюда. Меня зовут Вася Туркин. А тебя?

— Тамара.

— Ты грузинка? Была такая грузинская царица Тамара.

Она опять засмеялась.

— Я не грузинка, не ангел, а просто Тамара. Про море мне понравилось. Мы ведь будем с тобой как муж и жена до самой смерти.

— До смерти далеко.

— Вася, — она произнесла имя, как бы привыкая. — Вася, плыви ко мне, ныряй скорей. ... Вася... Вася...а...а... — звала она, будто он был далеко.

Ее крик задохнулся в забурлившем море из одеял с запахом мочи, пятнами йода и запекшейся крови.

Они будто знали друг друга еще до рождения.

Но потом он все-таки с усилием вынырнул, кинулся к своей сумке. Вытащил бутылку водки. И ринулся опять в море одеял.

Передавая бутылку друг другу, пили жадно. Их пир вдвоем. Пустая бутылка. Вася поднял ее над головой. Ловил ртом последние капли. Гудел, как в трубу. Отбросил. И то, что долгими годами томилось в них ожиданием, открылось близостью.

Красная помада, которой она красила губы, исчертила щеки, легла засохшими каналами. И все это могло происходить не здесь, в больничном подвале, а хоть на Марсе, куда люди только собирались перебраться и наладить там жизнь.

Каждое воскресенье Туркин появлялся на Птичьем рынке в своем ряду. У него, как и у многих здесь, был за спиной рюкзак с клетками внутри. В феврале Москву зацепило сильнейшим морозом.

Прежде чем встать в свой ряд, Туркин любил обходить рынок. У него была своя цель.

Собачий ряд. «Питомник «Алгиз» продает щенков немецких овчарок». За железной загородкой американский бульдог, накрытый от холода пятнистой шкурой. Вся в медалях европейская овчарка.

Туркин высматривал на рынке карлицу в меховой ушанке. На ее груди из теплых отворотов шубки выглядывала остроносая морда таксы. Если ему встречалась карлица, значит, в торговле будет удача. Туркин приходил к щенкам русской европейской лайки из питомника Русь. Покупать лаек он не собирался, а номер телефона запомнил: 3774132.

Шел и в ряды к птицам. В высоком стеклянном колпаке сидел говорящий попугай Ара. Туркин смотрел на желтую грудь попугая и думал о Тамаре. В стеклянной закрытой клетке с подогревом, обнявшись, сидели две обезьянки. Вася смотрел на них и снова думал о Тамаре.

Покупатели у Васи были в основном дети разных возрастов. Его товар был двух видов. В маленькой железной клетке, закутанной в голубое больничное одеяло, — американские тараканы.

— Вы решили приобрести животных для развлечения? Или вы, молодые люди, видите в этих особах не так уж далекое будущее? Люди вымрут как мамонты, а тараканы останутся, — Туркин не поднимал глаза на стоящих перед ним. — Но мы, молодые люди, будем надеяться на лучшее.

Туркин и дальше бы умно, как ему казалось, рассуждал, но мороз не щадил. Распинал лицо, и особенно нос Туркина, до самой крайности, до красно-фиолетового цвета. Ветром протегнутое пальто заставляло Васю буквально покачиваться, даже несколько подпрыгивать, иногда столь высоко, что он сгустившейся туманностью повисал в воздухе.

И оттуда он с завистью наблюдал, как совсем недалеко, за железными загородками, прямо на земле вольготно возлежали в шикарных своих шубах королевские пудели. Сильные огромные доги, тупорылые желтые бульдоги и

боксеры с грудью, увешанной медалями, как генералы и маршалы, принимали парад. Напротив, в свободных позах, кошки и котята с мягкой шерстью. Свое страшное оружие, когти, спрятали. Сиамцы, с черными ушками и голубыми глазами. Смотрят далеким взором на все происходящее. В глазах небо и море.

К середине дня толкотня на птичьем рынке достигла своей высшей точки.

— Люди добрые, порасступитесь, не дайте погибнуть животине, — кричала старуха, неизвестно как попавшая сюда. Одной рукой она опиралась на кривую палку, а другой тянула за веревку козу с впалыми боками и смертными китайскими глазами.

В своем стеклянном колпаке Ара картаво откликнулся:

— Люди добрые... люди добрые... люди добрые... люди добрые...

Мороз усиливался. Под тяжестью беспощадных колес мороза Василий боялся потерять образ Тамары. Побелевшие губы плотно сжались. Но у Туркина накопился мощный энергетический заряд, что можно назвать любовью к Тамаре или притяжением тел с теплым морским простором одеял и неистребимым запахом женского влагалища, мочи, йода, засохшего кала.

— Итак, молодые люди, — говорил Василий Туркин, с трудом разжимая побелевшие от мороза губы. — Вы хотите ближе ознакомиться с товаром? Потерпите несколько. — И он замерзшей рукой лез в карман пальто, и появлялся круглый фонарик. Открывал край одеяла на клетке и светил туда фонариком. Лица ребят приникали к светлomu отверстию.

— Они крылаты, — шепотом, как интимнейшую тайну, сообщал Василий. — Крылья имеют и самки. Вы меня поняли? Вы меня правильно поняли?

И наступала длинная пауза. Вся мощная спермосистема Василия перекрывала мороз, и жаркие волны накрывали ребят. И они чувствовали запретную сладость внизу животов, им неодолимо хотелось тереться друг о друга. Некоторые отходили, расстегивали пальто, штаны и писали.

— Американский таракан, — объяснял Туркин, — постоянный житель тропических лесов и городов. Он чужак в наших морозных краях. Но кто знает, когда, в какое время он заселит нашу землю? Идет потепление в атмосфере. Ну что? — спрашивал Туркин. — Берем? — Это почему-то не звучало вопросом. — Предпочтительно брать парочку.

— А они размножаются?

— О да. В этом можете не сомневаться. Значит, так. Цена договорная.

— А как вы их вытасчите?

Мороз прорывался на губах Туркина взрывом смеха и заканчивался высокомерным аристократическим покашливанием. Василий знал многое о душах живых существ. Обладая особым душевным слухом, он легко мог вступать в беззвучный разговор с любой живой душой. А размеры того, кому душа принадлежала, какое это имело значение?

— Эрнест... Сабина... — позвал Василий.

И тотчас из маленького отверстия, которое сделал в одеяле Туркин, появились черно-рыжие усатые тараканы. Они были совсем небольшие. Подставив ладонь, Вася пересадил их в стеклянную банку, которую ему подставил мальчик. Банку мальчик завернул в шерстяной серьги, может быть, бабушкин платок.

— Эразм... Флора... — позвал следующую партию Туркин. — Меркурий... Аврора... Между прочим, вы можете дать им совсем другие имена. Это ваше право. И не требует лишних затрат...

Затем Туркин открыл другую клетку. Там сидели рыже-бурые хомяки. Хомяки были главным доходом Туркина. Некоторые хомяки оказались очень ловкие, несмотря на свою толщину. Цеплялись лапками и лезли как обезьяны.

— Баста, — сказал Вася и поспешил к тридцать пятому номеру трамвая. В трамвае собрались люди с Птичьего рынка. Разговор шел о животных.

— Это что, метро Тульская? — громко сказала худая женщина с черным доберманом. — Чуть не пропустила.

— Не пропустите, здесь все выходят, — Вася тоже поспешил к выходу. Напротив Тульской, на Даниловском рынке, Вася покупал овощи, картошку, а в палатке — бутылку водки.

Когда открывал дверь подвала, руки дрожали. Никак не мог попасть в

скважину. Волновался, как его встретит Тамара. Быстро сбрасывал рюкзаки, даже не выпускал животных. Такое нетерпение.

Шапка, пальто падали где-то в дверях. Так его несло. В одной руке держал надкусанный батон белого хлеба, в другой — пол-литра. И нырял в море одеял.

Тамара ждала его. Он не помнил, чтобы она говорила слова любви, да и он не говорил такое. Не замкнутый мир чувствовали они в этом заброшенном подвале, а полную свободу, бесконечность.

Однажды что-то твердое уперлось в его голову. Вася схватил наволочку, набитую засохшим хлебом.

— Это там, я в раздаточной кухне наворовала, — засмеялась Тамара, — я пить к ним в уборную ночью ходила.

К ним — это в больницу. Почему ее не хватились, оставалось загадкой. Она больше ничего не объясняла.

И когда Вася продолжал настаивать, она сердито сказала:

— Я из мертвецкой сбежала.

Туркин не стал уточнять.

Василий далеко не был красавцем. Худые щеки, заросшие щетиной волос. Длинной, уточкой, нос, красноватый, на самом кончике иногда с маленькой капелькой. А вот на руки Василий не жаловался. Руки у него тоже были длинные, хрустели к дождю или в мороз. В общем-то жили своей жизнью. Туркина не отвергали, даже относились, пусть с ухмылкой, но с пониманием, вполне, как говорится, сочувственно.

Глаза страшатся, а руки делают. Туркин налаживал новую жизнь. Он раскрутил многие матрасы и аккуратно их сложил. Привез из своего дома кухонный стол. Два стула и табуретку. Еще раньше сделал ящик для песка. С песком было не так просто, но он нашел на стройке. Воткнул в песок штыковую лопату. Поставил рядом с ящиками клетки. Над столом установил электрическую розетку. Купил в хозяйственном магазине розовый абажур. Ввинтил новую яркую лампу.

В подвале сразу стало уютно. Поставил на кирпичи лист железа. На него электроплитку. Принес ложки, вилки, чайник, кастрюли и сковородку. На стол постелил клеенку с красными розами. Привез свой старый, но безотказно работающий «Север 2». Подвал возродился к новой жизни.

Каждое новое приобретение Туркина вызывало восторг у Тамары. Она смеялась и хлопала в ладоши.

— Какое купить тебе платье? — спросил Туркин.

— Не надо платья. Купи длинную голубую, очень красивую рубашку.

— Будет тебе рубашка... Довольна?

— Очень. Но купи еще что-нибудь, чтобы я не ковьяляла к туалету.

Когда Туркин явился с зеленым горшком, он застал в подвале веселье. Тамара в голубой рубашке сидела на стуле, хлопала в ладоши, а вокруг нее прыгали звери — хомяки, вверх летали тараканы. Это Тамара открыла клетки. Туркин стоял у двери и смеялся. Еще больше счастлив был, когда отдал Тамаре горшок. В море одеял послышалось журчание, и Вася сразу вспомнил бабу Аришу. Ее лицо как лесная овражистая земля. По оврагам, ему казалось, текли весенние ручейки.

А вот провести воду в подвале оказалось самым сложным и почти неразрешимым делом. Туркин на тележке привез бачок с водой из дома. Думал растапливать снег в бачке, воды надо было много, и для них с Тамарой, и для животных. Но решение нашлось другое. За стеной их подвала Туркин давно уже слышал стук и скрежет пилы по железу.

Он обошел больницу с другой стороны. Там была дверь в подвал с хорошо протоптанной дорожкой вниз. Котельная, догадался Туркин, и рядом с их подвалом. Туркин зашел в котельную.

— Мужики, — сказал Туркин. — Проведите водопровод к соседу. Я квартиру по пьянке продал. Теперь бомж без жилья, в подвале живу рядом. А без воды мне зарез. Помогите Христа ради.

— Иди, иди отсюда, бомж, не подаем. Ты знаешь, что нам за это будет?

За проводку водопровода пришлось отдать почти все его сбережения. В их подвале появилась раковина с краном.

Однажды Туркин застал Тамару за столом. Она пила чай. Тамара оглянулась на Васю, и ему показалось, что у нее множество глаз, и все они виновато затуманились.

— Вася, ты пей, а я не буду. У меня от водки бок сильно болит. Я лучше чай сладкий. А ты пей, тебе ведь хочется.

Вася не помнил, как опустился на колени, взял в руки ее голые пяточки. Они были гораздо меньше ее ладоней.

— Щекотно, щекотно, — смеялась Тамара.

— Сегодня мы устроим праздник живота, — сказал Вася.

Он сбегал на Даниловский рынок, купил баранину.

Очистил от пленки заднюю ножку, влил в кастрюлю несколько стаканов воды.

— Теперь терпи. Варить будем час.

Потом Вася высypал завернутую в марлю клюкву, добавил туда грибов и крупно нарезанный картофель. Пошли в дело и морковь, и лук, и перец. Через полчаса марлю с клюквой вынул, разложил мясо в глубокие тарелки и залил горячим бульоном. Поставил пол-литра водки и налил себе полный стакан. Он не предложил ей выпить, а чокнулся с Тамариным носом. Мясо дали и животным.

В их семействе прибавился еще один зверь — ежик. Его Туркину подарили две девочки на Птичьем рынке. Тамара, как увидела ежика, сразу назвала его Кириллом. Девочки вместе с ежиком дали Туркину сухие ветки с кленовыми листьями. Ежик залезал в ящик с песком, зарывался в кленовых листьях. Туркин купил для Тамары разукрашенную красными цветами дудочку.

Тамара дудела в дудочку, и Кирилл тотчас спешил к ней, послушно топал, волоча за собой лист. Тамара укладывала ежика себе на грудь. Он вытягивался, она гладила ему спину. Ежик ни разу не уколол ей руку.

Приближалась весна. Тамара открыла клетку с хомяками. Хомяки чувствовали весну. Их когтистые руки-лапы рвали воздух, чтобы поскорее увидеть туманный, но уже обжигающий глаз солнца. Некоторые прыгали и вцеплялись в голубую рубашку Тамары. Другие садились на задик и передними лапками гладили мордочку, разглаживали мех, умывались. И тут притопывал ежик, вылезая из ящика с песком. На него с разных сторон набрасывались хомяки. Ежик тут же сворачивался в колючий шар и катался по полу. Хомяки пытались укусить ежика, даже задом подбивали шар, кололи себе спину и уморительно удивлялись. А шар крутился, подпрыгивал.

— Кирилл, — позвала Тамара.

Хомячки набрасывались на колючий шар и отскакивали.

— Ах Матрена, ах Матрена, не подвертывайся, — пела Тамара. — Меня милый побуждает, лебедей во мне купает.

В дверь со стороны больничного коридора сильно застучали.

— Убирайся, божж, козел, нашел себе уголок, чтобы пить и блядей водить, — кричала женщина грубым, как желтый сурик по железу, голосом.

— Милицию приведем, — поддакивала другая. — Нам одеяла некуда складать.

Вася и Тамара замолчали. И звери точно все сразу поняли. Ежик спрятался в ящик с песком, а хомяки сразу залезли в клетку. Подвал замер.

В этот вечер одеяловое море было тихим. Вася быстро заснул. Перед его глазами замелькали разноцветные круги и треугольники. Круги вертелись. Треугольники ломались. А где-то за всем слышался грохот вздымающихся гор. Вася проснулся, прижался к Тамаре. Целовал ее лицо, груди.

Было воскресенье. И уже поздний час. Тамара тихо лежала. Голова становилась тяжелой, раскальвалась. Казалось, она падала в бездонную глубину. Ей безумно хотелось мочиться. Василий приближался. Голова перестала болеть. Торопливо, дрожащими руками она достала помаду и без всякого зеркала мазала губы. Она не слышала его шагов. Но знала: идет. Вася уже совсем близко, вот-вот.

— Вася! — И тише: — Вася!

Туркина, еще раньше, чем он вошел, ослепила горечь: где-то горели леса. В глаза наплывал едкий дым. Внятно услышал Тамарин голос:

— Васятка, у меня что-то сердце прижало — вздохнуть не могу.

Туркин испугался. Никогда она с ним так не говорила, не называла его так. Он поставил чайник на плиту и нетерпеливо ждал, когда вскипит. Налил заварку и кипяток в чашку, насыпал шесть ложек сахара.

— Ты вот что... Выпей... На вот, — и он поднес чашку ей ко рту.

Захлебываясь, она сделала несколько глотков, закашлялась. Струйки крутого чая полились по толстой шее.

— Не могу, — опять услышал он. Туркин убрал чашку. В горле у него пересохло. Со стола схватил бутылку водки, торопливо глотал, запрокинув голову. Ему привычно. А чтобы покончить быстрее, несколько раз крутанул бутылку. Оставалось совсем немного. Жарко. Очень жарко. Тамаре жарко. Она под одеялом. И то, что раньше бурлило, было неподвижно. Туркин сбросил с Тамары одеяло. Рубашки не было. Совсем голая лежала перед ним. Круглое ее лицо, перемазанное помадой, с разводами вылившегося чая. Спокойные толстые руки. Круглые груди, фиолетовые соски. Крутое пастбище живота внизу кончалось вожденным рыжим островком, и на стороны расходились кривые детские худенькие ножки. Ляжки были измазаны говном.

Схватил кастрюлю. Налил горячей воды, потом холодной. Попробовал рукой. Со стены сорвал полотенце. И кинулся опять к Тамаре. Сначала торопливо, потом аккуратно стирал говно. Сполоснул полотенце, вылил воду в сортир.

Тамара лежала неподвижно, но крепко сжимала дудочку. Глаза у нее были закрыты.

Вася без шапки выбежал на улицу. Сыпал легкий белый снежок. Привычно бежал к себе. В квартире из нижнего ящика комода достал новую простыню. Он все это делал, еще не понимая зачем.

Он сел на стул и стал смотреть на неподвижно лежащую Тамару. Вокруг вертелись треугольники и круги. Туркин поднял Тамару. Посадил вместо себя на стул. Там она сидела, так и не открывая глаз. А, вот что, догадался Туркин, еще не проснулась. Взял мыло, мочалку и начал ее мыть. Потом вытер полотенцем.

— Пускай спит, — говорил себе Туркин. — Море закрыто на ремонт.

И стал с ожесточением сбрасывать в угол матрасы, одеяло. На последний матрас, почти у самого пола, постелил новую снежную простынь. Перенес туда Тамару, стараясь не разбудить. Подбежал к клеткам, открыл их, выпустил хомяков и тараканов. Хомяки быстро кинулись к брошенным матрасам. Прогрызали ходы, задними ногами выбрасывали вату. Все это время Тамара неподвижно лежала на белой простыне. Вася положил рядом с ней дудочку. Ему хотелось спать. И хотя он ни на секунду не закрывал глаз, не заметил, как она встала. Кивнула ему головой. Он понял, что ему тоже можно стать на простыню. Он снял ботинки, носки, и ноги его сразу смертельно заглодели, когда он вступил на снежную простыню. Туда же притопал ежик.

И они пошли. Впереди — Тамара с дудочкой, за ней, слегка подпрыгивая, ежик, а сзади — Вася. Тамара шла гораздо быстрее их, а на снежной простыне оставались следы от ее маленьких ножек. Вася поднял голову и вместо розового абажура увидел пылающий глаз солнца. Тамары уже не было видно. Только на розово-белой простыне оставались следы. Вася наклонился и целовал их.

Небо над ними быстро зеленело. Ежик фыркал, показывая Туркину следы. Потом следы пропали. Ежик обежал кругом и упал. Вася тоже лег и заплакал. Ежик фыркнул и вытянулся. А человек Вася Туркин был жив.

Неизвестно, сколько он так лежал. Потом по зеленому небу с розовым подсветом полетели птицы с черными маховыми крыльями. Крылья были заострены на концах. Шеи с маленькими головками и острыми длинными клювами. Клювы раскрыты. Они что-то кричали, но Вася Туркин не слышал.

А то, что розовое, — это долгий свет замерзшего солнца, подумал он. Розовый свет может доходить до земли миллиарды лет. В предельной тишине. Так же как этот абсолютно бесшумный, призрачный полет черных птиц.

Морковка

Катин посмотрел в окно. Перед самым окном — деревья. Без единого листочка. На ветках серыми наростами — вороны. Скосил глаза на градусник: — 7. Только — 7.

Зима ранняя... А снегу... Не тает... Не убирают двор... Любы уж сорок пять дней... Только пять дней назад сороковины... А вороны сто лет живут...

А сколько они с Любой прожили?

Мысли его скапливались и тут же осыпались. Испугался, что не может точно сказать. Если считать с того дня, как расписались...

Конечно нет!

С того момента...

Момент... Ее нет... А ее душа где-то рядом. Или после сорока дней...

Ему вдруг стало ужасно жарко. Он открыл форточку. Это еще при Любе врезали в это сплошное стекло форточку потому что она сказала что ведь не всегда захочется открывать окно ведь если зимою а долго ли до зимы и это она сказала что рядом с их парадной дверью висело объявление что фирма ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК за умеренную плату врезает форточки и это надо обязательно сделать до серьезных холодов вот почему у них в квартире появился молодой человек как говорится современный в коже и серьга в ухе а на голове косичка схваченная красной ленточкой и когда все было сделано он сказал что и педикс кое на что еще годятся да почему же сразу педикс да ты что не видела какой у него зад и лицо женственное правда теперь сексуальное меньшинство намеревается стать большинством ну к чему ты завел эти разговоры лучше обрати внимание как он быстро работал аккуратно молодец я-то думала что придет небритый дядька хмурый и попросит опохмелиться а он нам оставил ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК ты думаешь этот парень не пьет нет я так не думаю но он не пухляца..

И Катин ухватил ее мысль, перебил:

с глазами кроликов

Он обнял ее, и они закружились, повторяя: «In vino veritas!» — кричат».

Он смотрел на ворон. Некоторые из них спрыгивали с деревьев. Похожая, переступая лапками, ходили по снегу. Серые на белом. И оставляли крестики-следы.

В дверь резко позвонили. Катин оторвался от окна. Любу вызвал хотя после сорока дней душа покидает да причем тут но может она послала кого и подает знак.

— Кто? — спросил у двери.

— Это я.

— Кто я?

— Да соседка Шура. Открой.

Катин распахнул дверь. На площадке стояла соседка в старом усталом халате с распущенными волосами, ярко накрашенными губами. Катин почувствовал резкий запах духов.

— Володя, чего ты столбом? Заходи ко мне. Ой, елки-палки! Все теперь такие напуганные. Я сама боюсь этих...

— Кого? — начал сердиться Катин. И все же вошел к Шуре, оставив свою дверь открытой.

— Я ведь тоже телевизор смотрю. У меня, между прочим, японский. И у тебя, я видела, когда твоя жена умерла, заходила...

Она своими накрашенными губами коснулась Любы. И он почти вырубился. А на него неслось. Ты правильно сразу не открыл. Во втором подъезде одна женщина открыла, так ее подушками задушили — и в ванную. Буфет хотели вытащить. Сколько посуды побили...

— Запах. Газом пахнет.

— Это у меня щи перекипают. Ты теперь один живешь?

Он постарался не кричать на нее, спокойным голосом:

— Что вы хотели?

— Щи варю, у тебя нет трех морковок?

— Нет.

— И одной?

— И одной нет.

— Ну это ты врешь, Володя, — и она нагло подмигнула. — Одна у тебя есть.

Открыла чуть халат. Вырвались наружу крутые груди, зажглись фиолетовые соски.

— Запахнитеесь. Простудитесь.

— Дурак ты, Володя. Да я снег грудями прожигаю.

— Газом пахнет.

— Это мои щи на плите разбушевались. Ты, Володя, женись на мне. Или так станем жить. Жена твоя умерла. Царство ей небесное. А морковка твоя нам для моих щей сгодится, — и Шура растянула свои накрашенные губы.

- Газом сильно пахнет. Выключите газ. Взрыв может быть.
- Если спичку зажечь. У меня все тело зудит. Говорят, мочой надо смазывать. Будешь со мной жить? — Шура достала из кармана халата коробок. Чиркнула спичкой. — Сейчас вместе взлетим.
- Надо зажигать в закрытом помещении, — Катин задул огонек и пошел к двери.
- Говно, — услышал он след.

Катин закрыл свою дверь. Даже цепочку накинул. Опять подошел к окну. Посмотрел на деревья во дворе. И ясно увидел лицо Любы. Даже во сне она к нему не приходила. Теперь вдруг...

ОН ПЕРЕСТАЛ ВИДЕТЬ ДЕРЕВЬЯ ВОРОН А ТОЛЬКО СМЕЮЩЕЕСЯ ЛИЦО ЛЮБЫ ОН ЗАДОХНУЛСЯ ОТ СЧАСТЬЯ ЗНАЧИТ И ПОСЛЕ СОРОКОВИН ЕЕ ДУША РЯДОМ А КАК ЖЕ ГОВОРЯТ НЕТ ВОТ ЖЕ ОНА РЯДОМ С НИМ

И когда умер Игорь Холин

Вы слышите звуки
Разлуки
Холин
Кончается
Впрочем
Кто его знает
Всякое с ним бывает
Может он не кончается
Может он
Оживает

Игорь Холин

Длинный барак без крыши. В день смерти Игоря ни одна капля дождя не осквернила землю.

Плотный от жары воздух прорвали земляные черви и смотрели на собравшуюся толпу людей голубыми глазами незабудок.

Душу Игоря еще загодя с привычной медицинской ловкостью запихали в большой холщовый мешок. Не дожидаясь выноса тела из барака, мешок стал подпрыгивать и медленно подниматься. Под напором изнутри мешок прорвало крутым смехом. Из открывшейся холщовой раны на стоящую внизу толпу пролился блеск золота и серебра.

И те, кто собрались в бараке, открыли рты, чтобы на лету поймать и на халяву насытиться.

В день смерти Игоря кончалась эпоха. Юноши и девушки принесли цветы, составляли хороводы. И никто не знал, нужно ли уже начинать танцевать.

Собака ничейной масти с длинными ушами и лишаями на худых боках подошла к огромной куче говна у нескончаемого забора.

Забор этот давно, лет восемьдесят как растрескался.

Доски растрескались.

От вони растрескались.

Куча говна — пьедестал будущего памятника. Заслуженный советский скульптор еще загодя, до смерти Игоря, из гипса создал коня и всадника.

Всадник был худ, в простой народной одежде — джинсы, черная майка — футболка с надписью «I love you» и головой Игоря в очках.

И бабка из дальней деревни, прибывшая без протокола, торопливо шамкая беззубым ртом, приблизилась к пьедесталу из говна.

И кто-то слышал ее бормотанье:

— Вот-те как народ потрудился, какую славную кучу навалил.

Ее распирало жалостью. Она громко запричитала:

— И зачем же ты такой, этакий, торопливый? И ты жалел ведь всех... А они-то ... они-то, слепые да глухие, не чуяли. И как же ты, бедовая головушка, других обнимал, а об себе не думал. И вот вы, глухие, теперь-то слушайте. И вот вы, слепые, внимайте.

Приблудная собака откликнулась протяжным воем.
Бабка из дальней деревни, было задремавшая, опять вскинулась:

— И ты какой же парень веселый-их!
И ты в уме-то все держал, а потом словечками плевался.
И плевки твои теперь не то что экскаватором,
А только интернетом подбирать, да куда-то посылать.

Никакого чуда не было произведено. Только приблудная собака, чтобы не мешать бабке, перестала выть.

И когда умер Игорь Холин, мы все так и продолжали стоять в этом длинном бараче, с этим длинным забором, с этой кучей говна недостроенного памятника.

И когда умер Игорь Холин, незабудки — глаза червей — постепенно начали исчезать. Воздух еще больше напрягся, как навошенная бумага.

Игорь Холин лежал в спокойствии и величии смерти.

Толпа понемногу расплылась, не образуя ни ветра, ни единого дуновения.
А Игорь Холин остался один, в своей смертельной длинноте.

Спрятала душу

Когда за Мариной закрылась дверь Она сразу же привязала себя к ветру И осень все перевернула И те деревья Да пусть думала Марина Но кто-то должен отвечать за нее И ветер позвал ее Ну Марина пойдём отсюда

И когда за Мариной закрылась дверь Даже захлопнулась Тут такие лужи Что ли дождь Пора и мне куда-то спрятать свою душу

Желтые кулачки пижм То беспокойное небо над ней Не такое уж и высокое

И когда за Мариной закрылась дверь Чуть слышное чужое дыхание как предсказание Надежда на будущее

Марина не оглядывалась Пусть будет фиолетовое поле люпина И чужое дыхание раскручивается в теплоту А ветер пасет облака Да еще успеваешь охватить все поле

Я поняла Шепчет Марина

И когда за ней закрылась дверь Она поняла Ее детство успело проскочить следом за ней В маленькую щелочку

Ни старость Ни смерть Не отнимут ее радости

И это уж в теперешней или в будущей жизни

Ласточка-береговушка

Река неширокая, с быстрым течением которой я пытался справиться в детстве, преодолевая сопротивление воды, я плыл к высокому темному берегу, где виднелись две рогатые коряги, а за рекой — поле цветущего картофеля с розовыми и белыми цветами, это сохранилось в моей памяти, а я мечтал, что когда вырасту, то обязательно доплыву до торчащих из воды у высокого темного берега коряг, — вот так всегда я жил между прошлым и мечтой о будущем, не понимая, что я просто ласточка-береговушка, с радостью полета, стремительно-бесконечной и короткой жизнью.

Кролик

Гревели погремушки, петрушки, игрушки — крутилась ярмарка. На ярмарке шумел народ.

Человек лет пятидесяти, а может быть, больше, зазывно кричал:

— Смотрите, как я превращаюсь в змею! Это труднейший номер — человек-змея. Потом я заглатываю целиком кролика. Смотрите, смотрите!

Его звали Люсиком, хотя у него было другое, очень длинное, древнее имя.

Человек стал извиваться. Все быстрее, быстрее. Кольца его тела закружились.

— Ну как? — кричал Люсик. — Теперь вы видите змею?

Немногие зеваки вяло отвечали:

— Не видим. Нет никакой змеи.

Люсик кружился стремительно. Ползал по песку. Его лицо мучительно искажилось.

— Теперь вы видите, что я змея?

— Нет, не видим.

— А сейчас я буду заглатывать кролика. Видите кролика и змею? Люди, как же вы не видите? Куда вы смотрите? Смотрите сюда!

Одно глотательное движение, другое. Кролик исчезает во внутренностях змеи.

Человек-змея Люсик стал невидим. На его месте сидел кролик с оттопыренными ушами и несчастным лицом маленького ребенка.

— Брысь отсюда! — кто-то крикнул ему.

Кролик Люсик неторопливо прыгнул и исчез в толпе.

Долгий ливень

Перед грозой мы с тобой сидим. Вырванные из шума в тишину. Как много загадок в каждом повороте твоего лица. У меня такое чувство, что я поднимаюсь по тропинке в горы. Наградой будет, когда я поднимусь, близость твоих губ. Все, что за тобой, — сплошная ночь. Мне кажется, если ты повернешь лицо, из-за гор поднимется солнце.

А потом все закроет ночь грозы. И будет долгий, долгий ливень.

Старик

Люди смеялись. Они стояли на балконах, на тротуаре, показывали вверх пальцами и смеялись.

Небольшой старичок с длинным горбатым носом, ухватившись палкой за такое же горбатое облако, пытался удержаться и не упасть вниз, на крыши домов. Он сам походил на облако и мог быть облаком. У него были живые, широко раскрытые глаза, красные от напряжения.

— Надо же такое, Абрам Яковлевич и войну прошел, и жену Мирру потерял, а все еще цепляется за жизнь, — говорили те, что стояли внизу и на балконах.

Было непонятно, как облако боится упасть. Ну, пусть старик, пусть инвалид, но все-таки ведь облако?!

— Наверное, пенсию хочет у нас получать, — острили внизу.

Из глаз старика капнула слеза. Вообще на небе прибавилось облаков. Старик исчез. Пошел дождь. Странно, дождик был солоноватый. И когда люди стали расходиться, многим хотелось что-то удержать и с чем-то не расставаться.

Ничего

Вошел. Пришел. Открыл дверь. Закрыл дверь. Вышел. Пришел. Открыл дверь. Закрыл дверь. Вышел. Пришел. Открыл дверь.

— Вам чего нужно?

— Ничего.

Вышел. Закрыл дверь. Пришел. Открыл дверь и не закрыл.

— Вам, собственно, опять чего нужно?

— Мне? Мне опять нужно ничего.

Вышел. Закрыл дверь. Снова открыл.

— Вам опять нужно ничего?

— Да, теперь уж от вас совсем ничего.

И, не закрывая дверь, ушел.

Зинаида Быкова

ЗВОН СИНИЦ ГЛУШИТ СВЕЖУЮ БОЛЬ...



* * *

Пусть повторятся ливень, грязь,
темень сельская,
звезды, дрожащие на ветру.
Пусть снова застынут ноги
в резиновых сапогах...
Там, на сельских улицах,
освещенных редкими огоньками окон,
жизнь мне открылась,
как только что выкопанный
сильными руками
полноводный глубокий колодец.

* * *

Поблескивает зеленью каток,
и мальчишки заветная рука —
в моей.
Летим как птицы краешком

зимы,
куда, как в реку,
дважды
не войти.

* * *

Идем на танцы под деревьями,
зеленые листья девичьим глазам рады,
и плачет юными слезами трепетная музыка,
и мальчишки в белоснежных рубашках
льнут к нашим упругим плечам,
и мы, радужные бабочки,
кружимся в минутах подъема, радости, вдохновения —
как в вечности...

* * *

Любишь,
когда веришь другому как Богу.
И вдруг срываешься,
как с крутого обрыва.
И хоть сам уцелел чудом,
а любовь —
она такая хрупкая —
разбивается.

* * *

* * *

Я одиночества ищу,
чтоб думать о тебе.
Никто пусть не испугнет
слетевшихся незримых птиц.

Солнце блеснуло в озими,
и на крыле птицы,
и на тонких проводах...
Светло стало в душе.

* * *

Ручей в снегу
по свежести похож на юность
зеленым светом,

чудным языком.
И, замерев над ним,
я радуюсь промчавшимся годам.

* * *

* * *

Боюсь не верить...
И лишь тепло твоей руки
в минуту горькую прощанья
чуть сдерживает ледяную мысль,
что жизнь
и лжива и пуста.

Ты так далеко.
А меня от волненья бросило в жар
от твоего теплого голоса
в телефонной трубке...
Паутинкой в поле осеннем
чувствую я себя.

* * *

Острые островки льда
еще видны в апрельских прелых листьях.
Сквозит в верхушках черных
синее как юность небо.
В упор на солнце не могу взглянуть.
Рассматриваю отражение его в луже,
оно так глубоко сияет, ровно,
и желтый нимб над ним.
Так и любовь.
Пока жива — в упор не взглянешь,
а умерла — навек сияет,
отраженная в душе.

* * *

Звон синиц
глушит свежую боль.
Я вернулась
в родной город

раненая.
Как хорошо,
что я еще
не разлюбила птиц...

* * *

Воспоминания о тебе,
как колосья спелой ржи,
что колышутся
до самого горизонта
на позолоченном солнцем
утреннем ветру.

* * *

Меня волнуют песни,
что любила мама.
В них есть
дыхание ее,
и грустный взгляд,
и тихая ее улыбка...

* * *

Верба возле родного дома,
возле школы,
среди поля,
у дороги,
у реки...
Пушистых веточек твоих

не касаюсь рукой,
когда душа больна.
Одни глаза любуются
живыми ветвями —
и в сердце
вливается сила.

* * *

— Сашенька идет! —
вскрикивает старушка,
выглядывая мужа в окно,
трепетная,
как переспелый одуванчик,
беленькая, махонькая.

Вот-вот сдует ветром ее жизнь —
ее заботу, ее любовь...
Но она легко бежит к двери —
снимает цепочку,
открывает
дрожащей рукою замки...

* * *

Хотелось бы мне,
чтоб не было черной точки
на белом тонком листке,
чтобы в весеннем цветке
не было непрошеной темной мошки,
а в нашей любви — измены...
Но мир поистерся,
как на локтях поношенный свитер...
И все же —
с какую Божественной силой
вновь открывается мир другим.

* * *

Облиты ветви вишни
парным молочным цветом.
Весна точна.
Разве можно представить,
что она однажды не придет?

Вера Чайковская

Ученик, или В окрестностях рая

(Провинциальная повесть)



Детство и отрочество стоят
перед моими глазами...

(Франческо Петрарка)

Глава I. Неожиданная встреча

Поездка была служебной. Максим рассчитывал уложиться за один день — утром туда и вечером или в крайнем случае утром следующего дня — назад. В Москве его ждали дела более увлекательные, связанные не с профессией, а с манией, — как он полусхотливо называл свои занятия переводами со староатлантического. Это был реконструированный итальянскими учеными древнегреческий диалект с большим количеством «итальянизмов». На нем-то и был написан новонайденный (что стало общеевропейской сенсацией), поэтический текст. Довольно хорошо сохранившиеся фрагменты, а порой и целые стихи некой поэтессы, которой посчастливилось заблаговременно покинуть Атлантиду и поселиться на одном из греческих островов, вблизи Лесбоса. Предшественница Сапфо поражала сильным лирическим даром. И Максим, которому удалось заполучить сборник с текстами на староатлантическом, итальянском и английском, уже несколько лет бился над переводом стихов на русский. Мания, как ей и полагается, была совершенно бескорыстной. Однако посланные на конкурс в итальянскую Сенигаллию переводы получили высокую оценку горстки специалистов. В конце лета Максим готовился к поездке в Италию на конференцию, посвященную творчеству Прасапфо — так он называл свою поэтессу. Нужно было успеть подготовить доклад и кое-что уточнить в переводах.

Пока же предстояла поездка в российскую глубинку, в городок Новопогорелов. В единственном городском музее, совмещавшем в себе функции историко-этнографического, естественнонаучного и художественного учреждения, — возможно, находилась какая-то ранняя работа Валентина Серова, которую Максим Ливнев, как специалист по Серову, должен был атрибутировать. Ежели это был действительно Серов, — работу надлежало привезти в Москву. Музей в Новопогорелове спешно закрывался за отсутствием финансов. С финансами было туго и в столице. Деньги на эту поездку (всего-то на один денек!) были получены от солидного европейского фонда, иначе пропадать бы Серову (если это был действительно он) на каком-нибудь сыром складе, не приспособленном даже для хранения обоев, не то что картин. О возможном Серове сообщила в московское управление культуры сотрудница отдела культуры Новопогореловского района. А тут, как специально, подоспели свеженькие фондовские денежки, направленные на «музейные дела», что, кстати, тщательно проверялось. Вот Максима Ливнева и отрядили в Новопогореловский горе-музей.

Ехал он неохотно. Он был из «сидячих», любил тишину своего кабинета в музее и своей комнаты в квартире, конторку, за которой работал стоя, как Пушкин (он все еще не перешел на компьютер, хотя его подчиненные давно сидели, уставившись на экран), любил в разгар работы подойти к окну и выглянуть на московскую улицу, сплошь из темно-красных крыш и зелени, со

стремительно проносящимися внизу собаками. Их спускали с поводков, и они наслаждались свободой. Любил, что жена и дети в часы его работы стараются не шуметь, что в семействе уважают его «ученые занятия». А вот прежняя жена ни в грош их не ставила. Его жизнь, возможно, благодаря довольно аскетическому, направленному на внутреннюю реализацию укладу даже в новые времена не слишком изменилась. Нехватка денег была неприятной, но внешней помехой. Его же по-настоящему задевали лишь помехи внутреннего свойства.

Он ехал в поезде и мысленно переводил строчки Прасапфо. Подлинное имя поэтессы в тексте отсутствовало, однако было ясно, что автор женщина. Множество отрывков, посвященных внезапному. Внезапному спасению. Внезапной любви или болезни (любовь тут трактовалась как род болезни). Внезапной встрече. Поэтесса, уязвленная «внезапным», раскрывающим странные гримасы богов на Олимпе. Вот заиграл на своей кифаре Аполлон, заплясали нимфы, и на греческом острове расцвели любовь и искусство, цветы и оливы. Но тут же невесть чем разъяренный Посейдон ударил своим трезубцем, и половину острова смыло громадной волной...

Однако нрав у поэтессы был радостный, светлый, ребячливый. Ей хотелось писать об Аполлоне, а не о Посейдоне. И она писала. Современный фрейдист сказал бы, что она предпочла Эрос Танатосу. Максим был человеком скорее сумрачного, сурового склада. Он хотел и умел быть взрослым и мужественным, ожидающим от жизни худшего, но не теряющим присутствия духа, чему способствовала поглощенность своим внутренним делом. Но лучезарная детскость Прасапфо, возможно в силу самой этой их человеческой несхожести, его притягивала. Та внезапным счастливым наитием сумела избежать гибели на своем острове. (Это была какая-то пятая или шестая Атлантида, как существует несколько Трой, одна под другой, и каждая в свое время была кем-то разрушена.)

Так и эта Атлантида в один день и бедственную ночь была затоплена океаном, впоследствии отступившим. Но фиалкокудрая поэтесса незадолго до ужасных событий уплыла на галере к «милым подругам». Можно понять ее заикленность на «внезапном».

Максим не подозревал, что в этот же день сам будет глубоко потрясен — в незнакомом, пыльном и неинтересном для него городке — свалившимся невесть как «внезапным»...

В грязновато-белом, с бутафорски надутыми колоннами здании — местном отделе культуры — все говорило о последней гибели и запустении, вплоть до неисправных басенок и протекающих в туалете кранов. Максим отметил командировку и рассеянно слушал, как унылого вида и квадратной комплекции чиновница — Оксана Пафнутьевна (почему-то у таких дам всегда замысловатые и плохо сочетающиеся имена и отчества) с преувеличенным оживлением повторяет, как она случайно зашла в местный музей. Перед закрытием, так сказать, взглянуть. Там уже мало что осталось. Его сейчас переводят, переводят его в другое место... Она ведь в Третьяковку прежде заходила, помнит эту девочку, ну, которая с фруктами. А между прочим, лет десять назад один рязанский специалист опознал в их музее кость мамонта и увез в Рязань. А прежде эта кость входила в естественнонаучный раздел «Охота и рыболовство нашего края». А еще до того...

— Сотрудники что говорят? Откуда работа?

Максиму надоело выслушивать этот бред. Он молодо выглядел. Одет был в светлые брюки и кремовую легкую куртку, — молодой путешествующий европеец. Поэтому в разговоре с чиновницей он прибавлял себе солидности с помощью суховатой, холодной и несколько даже издевательской манеры держаться.

— Сотрудники?

Оксана Пафнутьевна вдруг расчихалась, вынула из сумки платок, разложила его на коленях и, скамкав, засунула назад в сумку.

— Понимаете, там все давно разбежалось. Денег-то не платим. Документация в беспорядке, — один из сотрудников со зла все перепутал. Фонды... Да фондов и не было особенно. Музей молодой. Возник на энтузиазме, в оттепель эту самую. Но иногда вдруг такое дарили! Я же вам рассказала про кость мамонта!

Максим нервно затеребил пальцами по зеленому сукну стола, сохранившемуся, вероятно, еще с дооттепельных времен.

— Кто покажет работу? Там есть кто-нибудь?

— сторожика. Сторожика там. На общественных началах. Уже полгода не платим.

Чиновница смотрела на него с испугом и восхищением. Ей, видимо, очень нравилось, что по ее запросу из Москвы прислали настоящего искусствоведа. А что он «настоящий искусствовед», причем старой закалки (несмотря даже на молодежную форму одежды), глядя на его породистое, округлое, чуть «скальди-ческого» типа лицо с бледной кожей, пухлым небольшим упрямым ртом, густыми светлыми, длиннее обычного волосами, отрешенным взглядом голубых глаз за стеклами очков, — никто, пожалуй, не усомнился бы.

— Адрес!

— Какой?

Что за бестолковая баба!

— Вы мне адрес скажите. Где искать ваш не существующий музей?

Чиновница нервически хихикнула и что-то быстро записала на листочке блокнота. Он взял листок и, едва кивнув, выскочил из отвратительного, фальшивого снаружи и изнутри здания. Хороша культура! Сотрудники разбежались! Ну, конечно, — на улице Ленина! Где же и быть музею без сотрудников и фондов, проезжающему в «другое место»? — эвфемизм свалки?! Ржавый звонок не работал. Он постучал. Худшие опасения, однако, не подтвердились. Дверь, над которой еще значилась блеклая, точно самой себя стыдящаяся надпись «Музей города Новопогорелова», открылась, и его впустили внутрь. Кто впустил — он не заметил. Был поглощен своими мыслями. Опомился, только увидев издалека, на стене смежной комнаты, в столбике золотой пыльцы (занавеска на окне была откинута) сияющий лист акварели.

Беглый, яркий, ослепительный эскиз «Девочки с персиками». Подбежал, глазам не веря. Не было у Серова такого эскиза! Откуда? Как? И тут же понял, — не Серов. Да автор и не старался никого обмануть. Эскиз достаточно вольный. В руках у девочки не персик, а зеленое яблоко. На кофточке нет банта, она широко распахнута на груди и более глубокого розового цвета. И само лицо — подвижное, живое, нежное, несколько иное по типу и кого-то ужасно, мучительно напоминает.

Прекрасная акварель! Лукаво упрощающая замысел, более легкая и детская по манере и колориту. Но схвачена была самая суть — бесконечная свобода, раскрепощенность, счастье бытия и творчества, — состояние, которое владело молодым Серовым и которое он запечатлел на холсте. Увы, в дальнейшем, кажется, не повторившееся.

— Не Серов, — пробормотал удивленно.

Удивление касалось качества акварели, ее летучей веселой прелести. Неужели и ее вместе с этими скособоженными лаптями (он рассеянно оглядел плачевные «окрестности») унесут на свалку?

— Вы что-то сказали?

Свежий женский голос. Музейное эхо наябедничало: «Сказал! Сказал!»

Он обернулся. Рядом, у окна, распахнутого на солнечную сторону, стояла именно та, лицо которой ему внезапно припомнилось, когда он смотрел на акварель. Хотя, в сущности, что общего? Даже если бы она была прежней, — ничего! А она безумно, безумно изменилась! Не девочка (как на акварели), но и не та строгая, сосредоточенно-сияющая, с гладкими черными волосами на прямой пробор, какой он ее запомнил в годы своего ученичества (а было это лет пятнадцать тому...). Сейчас полновато-стройная, цветущая, в розовой, низко распахнутой на груди кофточке и с тучей мелких, сверкающих на солнце рыжих кудряшек... Что же общего с Серовым? С этой акварелью? Что общего с его бывшей учительницей?

— Простите, вы не...

— Сторожу вот богатства.

Рассмеялась звонким незнакомым смехом. Та вообще редко смеялась, а уж так, — никогда!

— Простите, вы не...

Почему-то ему трудно было выговорить свой вопрос.

— Вы не Валентина Михайловна Майская?

Она тряхнула кудряшками, и Максиму показалось, что они зазвенели, — так их было много и такие рыжие.

— Я Валя, просто Валя. Без Михайловны.

Он сделал шаг к ней.

— Мы знакомы. Я ваш бывший ученик. Помните Максима Ливнева? Вы преподавали в кружке, историю искусства. И я ходил... в десятом? Да, в десятом...

— Нет!

Она удивилась, как удивляются в фильмах, — сделала «большие глаза».

— Вы что-то путаете. Я историю искусства не преподаю. Это такое занудство! Я преподаю танцы и детские игры. Только это! Все эти мудреные книги — такая скука!

Тут она задорно перекутилась на высоких каблуках, чуть не сбив длинной «цыганской» юбкой лапти на постаменте.

— Валентина Михайловна!

Максим встал ближе к окну, чтобы свет падал на его лицо.

— Вам, наверное, плохо меня видно. Вглядитесь! Я Максим. Максим Ливнев!

Он словно духов заклинал своим именем, но она молчала.

— Я вас не помню, — сказала наконец без улыбки. — И я никогда не преподавала таких скучных предметов!

— А откуда эта акварель? Вы не знаете, кто ее автор? Я специально приехал из Москвы...

Максима вдруг осенила догадка.

— Это... не вы? (Он имел в виду авторство.)

— А что, похожа? Мне и самой иногда кажется.

И снова покрутилась, затанцевала перед ним, в своей розовой, свободной кофточке, — кокетливо-невинно, как самоуверенная девчонка-подросток. Лапти не выдержали и свалились с постамента. Они вдвоем кинулись их поднимать, — Максим один, она — другой.

Сидя на корточках с лаптем в руке, она шепнула заговорщически:

— В семь часов у меня занятия студии. Приходите. А тут мое ателье и жилая комнатка. А вы думали, я бесплатно сторожу?

Рожу, рожу! — заполошно выкрикнуло эхо.

Нет, это невозможно! Это не его учительница! Может быть, у той была младшая сестра, тоже Валя?! Еще невероятнее! Чувствовал же, что это она, она! Но почему не узнает? И почему совсем другая!

Куда приходите? Я тут случайно и ничего не знаю. Тамань — скверный городишко. Вы что, здесь теперь живете? Как же здесь жить? Я Максим! Максим Ливнев!

В гостиничном номере его подбрасывало на кровати. Он вернулся из музея в середине дня и прилег. Нужно было не то выспаться, не то отдохнуть, не то подумать. Но сны были бредовые, а мысли путанные.

... Много лет тот же сон, тот же сон, который то забывался, то вспоминался. Он взрослый, а она маленькая. Она маленькая, а не он. Он учитель, а она ученица. Она, а не он. И в этом превращении какое-то неизъяснимое счастье. Словно она сбросила свою ношу, сразу став легкой, маленькой, веселой, а он подобрал и радуется, потому что всегда немножко завидовал своей строгой наставнице. И ему теперь очень нравится, что она так внимательно прислушивается к его словам и немножко его боится. Но нравится и то, что она капризничает и что такая дурашливая. И «науку счастья», которую они с ней изучают, можно не записывать в толстые тетради, а просто дурачиться, веселиться, петь, срывать колокольчики и кашку, есть хлеб с клубничным вареньем или сидеть на пенке возле грязного прудика, где плавают утки. Возле этого прудика он когда-то часами сживал в одиночестве, подростком, обдумывая безумнейшие планы бегства — он конфликтовал с родителями. А в лагере он в тоскливом одиночестве бродил по лугам...

Он весь в светлом, высокий и элегантный, похожий на себя теперешнего, строгий, суровый, сосредоточенно-рассеянный. Она в смешном коротком розовом платьице, сливающимся по цвету с клевером — детской кашкой, которую она непрерывно обрывает и сосет, радуясь сладковатому вкусу невзрачного растеньица, маленькая, с темной челочкой, чуть-чуть полноватая, смешно

переваливается на толстых ножках. Иногда она начинает ныть, что устала, что ей хочется конфетку, бублик, пить. И он обещал ее покачать, она так любит, так любит на качелях! Он подхватывает ее и несет, подхватывает и несет — свою ученицу, дочку, маленькую Валечку...

Когда-то она показала ему свою детскую фотографию, и он удивился, какая она на ней веселая и кругленькая.

— Раскормленная.

Она тогда с неудовольствием почти тотчас захлопнула альбом. Но он эту фотографию запомнил...

Есть люди, которым повезло, — у них было в жизни много учителей. Один учил их тонкостям их будущей профессии, другой восхищал человеческими качествами, третьему учителю хотелось во всем подражать. Максим учился в смутные годы, всех лучших выгоняли, они сидели тихо. В университете — пусто и глухо.

Получилось так, что у Максима (как спустя годы он понял) была только одна учительница, совместившая в себе все эти качества, да еще к тому же женщина, что оказалось необычайно важно. В их отношениях не было ничего пошлого, ничего обиденного, хотя таинственный эрос разжигал, кажется, и тут свое пламя. Но не банальная земная любовь, а, как Максиму казалось, нечто никому доселе не известное, не имеющее названия, неопределимое и захватывающее, дающее образец всем последующим полетам и желаниям.

Именно такую женщину, но сообразуясь с земными бытовыми мерками, помоложе или хотя бы ровесницу, он потом искал. Сравнивал. Отбрасывал. Разводился. Сходился. Отчаивался. Короче — не нашел. Ему страшно повезло и одновременно не повезло. Его максимализм не притушили в юности раз и навсегда, а, напротив, поддержали, дали надежду.

В начале жизни он получил урок такой полноты взаимного доверия, откровенности, душевной тонкости, сочувствия и бесконечной нежности, что впоследствии, сопоставляя градус своих отношений с женщинами и мужчинами, коллегами, сослуживцами, друзьями, возлюбленными, женами, — он всегда удивлялся, как им вдвоем (остальные кружковцы были не в счет!) удавалось на занятиях школьного кружка достичь такого накала?! Ни одной пустой встречи, ни одного бестрепетного занятия! Все было необходимо как воздух, давало силы для жизни, окрыляло и обнадеживало. Они подходили друг другу, словно рука к перчатке. Он стал таким, как она: сосредоточенным, сдержанным, замкнутым, безмерно чувствительным, он усвоил ее интерес к форме, к внешней выразительности, так что даже впоследствии стал искусствоведом. А она — он видел — переняла его застенчивость, его болезненную боязнь пошлости, его пристрастие к ритму, к музыкальным началам бытия. Переняла его неистовство или просто ощутила и осознала это неистовство в себе, глядя на своего до предела во всем доходящего ученика. И при этом она оставалась хрупкой и слабой, притягательной и недоступной. Она была старше, она была как мать, как божество. И только в смутных снах, которые почти всегда забывались, он видел ее смешной толстенькой девочкой, а себя взрослым, каким со временем стал. Они гуляли по бесконечным лугам его пионерского лагерного детства, сворачивая на дачные дорожки его отрочества. Я Максим! Максим Ливнев! Вглядитесь, пожалуйста! Я Максим!

И вот при встрече она его не узнала.

Глава II. Борьба за лже-Серова

Он вышел из номера. Подставил голову под прохладную струю. (По счастью, тут ванная и туалет еще работали, хотя до них нужно было долго идти по сумрачному коридору.) Он шел туда, шел назад и думал, — что за ерунда! Не видел ее почти двадцать лет, и ничего ведь с ним не случилось! Зачем теперь такие эмоции?! Не узнает, и не надо. Обидно, конечно, — все же был из любимых. Но всех любимых учеников за двадцать лет не упомнишь! Да ведь и с ней что-то произошло. Он не мог не почувствовать, что она какая-то другая. Совершенно другая. Когда он думал иногда, мол, хорошо бы ее встретить, то внутренне отчаянно пугался примет ее старости, угасания не духовного даже, а

физического. А эта каким-то образом моложе, чем осталась в его воображении. И словно в другом эмоциональном тоне. Та была сдержанна, строга, бескомпромиссна. Еще до всяких социальных ломок она старалась внушить ему презрительную невосприимчивость к любой конъюнктуре, к фальшивым ценностям, дутым именам. Она признавала только *подлинное*, то, что *на глубине*. (Два ее любимых слова!) И он, ее ученик, получил, кажется, закалку на всю жизнь. Впоследствии через много лет его переманивали экспертом на процветающую фирму по продаже антиквариата. Но это было дешевой (хотя и престижной и высокооплачиваемой), и он остался работать в музее за смешные, как кругом говорили, да он и сам прекрасно понимал, деньги.

Это с ней он вел нескончаемый внутренний разговор, когда писал свои книги, читал что-то, заставляющее размышлять, переводил свою Прасапфо. Он выше всего ценил глубокое и *подлинное*. И вот оказалось, что изменила, изменилась его учительница.

В ее новом облике, манерах, одежде он вдруг брезгливо ощутил налет чего-то вульгарного, отпечаток пошлого времени, в котором приходилось жить. Наряжена в какую-то легкомысленную кофтенку, вся в мелких завитушках, как кукла или болонка, хохочет и пританцовывает не переставая и история искусства кажется ей слишком скучной для изучения!

Но одновременно его одолевало и бесконечное, полубредовое какое-то любопытство. Ему даже казалось, что что-то необычайно важное, необходимое для него он мог бы и теперь от нее узнать. Получить какой-то потерянный, иссыхающий, забытый жизненный импульс. Но тут же он начинал себя ругать за неистребимое мальчишество. Нужно было быть трезвее, резче, скептичнее. Строфа Прасапфо, над которой он бился, как раз и касалась меры, которую поэтесса вымалывала у Аполлона. Почему ее все время трясет как в ознобе? Почему душа ее подобна паруснику, надуваемому ветром? О Аполлон, дай стройность и меру моим чувствам! Нужно было отыскать самые те жгучие, жалящие слова...

Максим вынул из сумки бутерброд с сыром, еще московский, надкусил, задумался, оставил бутерброд на столе и выскочил из прохладного сумрачного здания гостиницы прямо на раскаленную улицу Новопогорелова. Вот уж действительно, самый скверный...

Побрел к претенциозно-надутому обиталищу местной культуры. Оксана Пафнутьевна, видно, только что пообедала, — ее губы лоснились от жира. Уловив его взгляд, она достала массивную пудреницу и подкрасила губы ярко-бордовой помадой. Максим отвернулся к окну, рассеянно выглянул на улицу.

— Это не Серов.

— Вот как? А кто же это?

— Я бы у вас хотел узнать. Впрочем, сам разберусь. Эту акварель я забираю в Москву.

— Вот как?

Оксана Пафнутьевна, судя по всему, была несколько обескуражена его напором и одновременно восхищена. Как ловко у него получилось — пришел, увидел, увез! Но не дадим, даже подделку под Серова не дадим увезти так запросто! Хотя ей ужасно льстило, что он захотел забрать работу в Москву. Значит, она не зря сигнализировала в центр!

— Документы нужны.

Она сделала лицо еще скучнее, чем было у нее прежде.

— Какие именно?

— Как на таможне при вывозе картин. Работа, мол, не представляет художественной ценности, и потому увозим в Московский музей. А если бы представляла, тут горы, горы бумаг...

Он перебил:

— Давайте бланк. Оформим, и вы поставите печать.

(Эту печать он углядел на столе среди бумажного хлама.)

Чиновница вздрогнула, взглянула на печать, на молодого, решительно и зло настроенного искусствоведа, из каких-то завалов извлекла бланк и уже хотела что-то на нем нацарапать.

— Машинка есть? Я ведь не компьютер прошу.

Она снова вздрогнула и застыла с ручкой в руке.

— Секретарь в отпуске. Бессрочно.

Голос Оксаны Пафнутьевны был испуганным, почти жалобным.

— Я сам.

Максим отстучал на проржавевшей машинке, что вольная копия акварелью картины Серова «Девочка с персиками» (автор неизвестен) никакой художественной ценности не представляет и забирается из расформированного музея города Новопогорелова на хранение в московский музейный комплекс. Обозначил свою должность и ученое звание, проставил дату и внизу косыми «дождевыми» линиями расписался.

Оксана Пафнутьевна надела очки, несколько раз прочла машинописный текст и шмякнула в углу печать.

— Скажите...

Голос Оксаны Пафнутьевны звучал сладко-сладко.

— Зачем вам эта картинка? Если это не Серов? Я-то, когда зашла в музей, вижу, — что-то ужасно, ужасно знакомое! Просто как «Три медведя»!

— Ну да! (Максим открыто издевался.) Как грильяж в шоколаде! Это точно. Между прочим, акварелька презабавная. Заметили, у девочки в руках не персик, а яблоко? И на столе яблоки? Это в постмодернизме особенно ценится. (Если бы он знал, как ему аукнется этот издевательский «постмодернизм»!) Повешу у себя в кабинете. Кстати, кто там сторожит? Что за женщина?

— Постмодернизм? Сторожит?

Оксана Пафнутьевна нахмурилась, как бы глыбы ворочая в собственном непривычном к работе мозгу. Внезапно она выпрямилась на стуле и вскинула голову, и только теперь Максим заметил на ней розовую блузку примерно такого же свободного покроя, как на его бывшей учительнице. А на голове — тучу мелких завитушек. Но все такое скучное, безрадостное, утратившее задор и прелесть (правда, с налетом странной вульгарности), которые Максим отметил в новом облике Валентины Михайловны.

— Ах, так вы про Валентину Майскую? Пойдите, может, это она и подделала Серова? А мне говорит, — классику не узнаете? Как же я не подумала! Точно она! У нее, говорят, много понарисовано. Да только она не пускает. Не всех пускает.

Оксана Пафнутьевна резво подошла к Максиму, вынула у него из рук бланк и старательно разорвала, выбросив клочки в синее пластмассовое ведерко.

— Ценность представляет! Я эту постмодернистскую картинку у себя в кабинете повешу. Дорогим гостям показывать.

— А вас еще не выселяют? (Максима трясло.) Давно бы пора!

— Не хамите, молодой человек. Вы в отделе культуры, а не... не...

Максим громко расхохотался, перепрыгнул через небольшой столик, заваленный той самой горой бумаг, которая ему угрожала в случае подлинности Серова, и вторично выскочил из этого мертвого дома. Пулей добежал до улицы Ленина, постучался в знакомую дверь над музейной вывеской, надеясь снова увидеть Валентину Михайловну и с ней договориться. Но открыл вихрастый тихий подросток. Тем лучше, тем лучше. Совершим ограбление музея. Налет.

Коршуном кинулся к сияющей на солнце акварели. Едва взглянув (приберегал детальный осмотр до дома), осторожно снял со стены. Крикнул подростка — того звали Ваней — и они вдвоем аккуратно упаковали акварель и перевязали веревочкой.

— Вы кто, дядя?

Ага, все-таки поинтересовался.

— Я научный сотрудник из Москвы. Хочу сохранить эту вещицу. У вас ведь пропадет?

— Пропадет, — грустно подтвердил подросток. — У нас недавно большой подсвечник украли... Купцов Перегудовых, чаеоторговцев. И две табуретки, не экспонаты, а просто. У нас окно знаете какое? Кто хочет, тот и влазит. Особенно если пацан. Можно дверь совсем не закрывать!

— А мастерская Валентины Михайловны? — У Максима почему-то сильно забилось сердце. Ну, вот, совершал уголовно наказуемые деяния, и ничего! А тут!

— Вали?

Непостижимо! Даже для подростка она Валя!

— Переезжает она. Вещи уже перевезла. А на стенках все висит. Хотите посмотреть? Я иногда срисовываю.

— Потом посмотрю.

Максим не хотел входить в мастерскую без хозяйки. Погладил тихого Ваню по вихрастой голове. У самого дома два подростка-близнеца, но только длинные, тощие, в очках, безумно на Максима похожие. Уже выходя, вспомнив, спросил у Вани, где занимается студия Валентины, Вали, Михайловны, словом, Майской.

— Так в городском же парке!

Казалось, подросток искренне удивился, что «научный сотрудник из Москвы» не знает такой простой вещи.

Когда нес акварель в гостиницу, старался идти проулками, «заметая следы», и сам над собой посмеивался.

Глава III. Детские игры

До похода в студию Максим успел забежать на местную почту — несуразное серое каменное здание невнятной архитектуры и позвонить из автомата на службу и домой.

Разговор с начальницей был забавным.

— Вы, Максим?

— Я, Лия Самуиловна.

— Серов?

— Увы.

— Жаль. Когда ждать?

— Решил чуть задержаться. На денек. (Хотя делать ему тут было совершенно нечего!) Возможно, привезу кое-что для отдела современного искусства.

— Максим?

— Да?

— Вы там часом не влюбились? Голос какой-то азартный.

Он повертел трубку в руке.

— Я, Лия Самуиловна, встретил свою старую школьную учительницу. Лет пятнадцать не виделись.

— Ах, старую... Ну, ну. Так ждем вас с приобретениями. Маше позвонить?

— Спасибо. Я сам.

Повесил трубку, раздосадованный. Ведь ничего же не случилось! Ничего! А проницательные люди что-то угадывают по голосу, ему самому неизвестное.

С Машей разговаривал сухим, сдержанным тоном.

— Привет.

— Ой, Максим! Завтра вернешься?

— Задержусь. На день. Нужно разобраться с Серовым. С Серовыми.

— Нашел несколько новых работ, да?

— Это копия. Вернее, даже не копия, а... Потом расскажу. Я из автомата, тут очередь. Торопят...

Глупо, — даже о детях не спросил! Но все же был рад, что выцарапал (у себя самого? у судьбы?) этот лишний денек, как выщигивают лишний билетик в театр. Уедет не завтра утром, как предполагал, а послезавтра. Словно бы этот несчастный денек в захудалом сквернейшем Новопогорелове сулил нечто небывалое, чего давно не сулили дни и годы. Впрочем, — и это тоже было одним из прежних и хорошо усвоенных ее уроков строгой сдержанности и аскетизма — он почти ничего не ждал от мира, от людей, от общения. Ждал только от себя, от книг, от редких творческих мгновений. Но подобная бессобытийность все же удручала, засушивала. Что-то важное, возможно, даже самое важное оставалось скрытым, нереализованным из-за отсутствия внешнего толчка, искры, поощрения. В сущности, как это ни смешно, ему всю жизнь словно бы не хватало того детского кружка и того головокругительного состояния взаимного удивления и взаимной радости, которое он некогда испытал, а потом тщетно искал на конференциях, в дружеских беседах, в легком флирте с женщинами (который никогда, кстати, ему не удавался, так как ему хотелось и тут чего-то более глубокого и подлинного)...

В белом летнем костюме, высокий, незагоревший, светловолосый, напоминающий заезжего скандинава и разительно отличающийся от местного мужского населения, коренастого, загорелого, коротко остриженного, в затрапезных, плохо заправленных клетчатых рубашках, — он отправился в парк. Туда уже

стекался народ: множество разновозрастных женщин, стариков и слегка подвыпивших мужчин (возможно, им, горемычным, приходилось без конца себя удерживать, чтобы «слегка» не перешло в «сильно»). И не туда ли радостно трусили собаки и кошки? Стаями летели птицы?

(Потом всему этому нашлось вполне прозаическое объяснение: оказалось, что в парке к вечеру ставились кормушки для животных, и свирепого вида мужички, подкладывая в кормушки нехитрую еду, которая осталась у них от обеда, — хлеб, кости, завернутую в пакетики слипшуюся кашу, — сочувственно наблюдали, как бездомные дворняги, урча от удовольствия и по привычке огрызаясь, поедают скромный гостинец.)

Почти на всех спешащих в парк женщинах Максим отметил легкие кофточки такого же развевающегося, свободного покроя, что и на Валентине Михайловне. (Даже про себя он называл ее по имени и отчеству.) Менялся только цвет, как правило, более густой и ядовитый, и появлялись всякого рода детали. У кого-то большая матерчатая роза на вырезе, у кого-то громадный кружевной воротник или непомерный бант. Объяснений у Максима было два. Или в местный универмаг завезли большую партию летних кофточек и все дамы города их немедленно раскупили и надели. Или... Или они непроизвольно подражали своей рыжеволосой руководительнице, напяливая на мощные телеса ее легкие одежды. Да, и прически, прически! У всех какие-то змеящиеся, лохматистые, в крупных или мелких завитках...

Когда-то все девчонки в их кружке вырядились в такие же длинные, строгие юбки с разрезом, как носила их учительница, и пригладили свои растрепанные волосы на манер ее головки с аккуратным прямым пробором. Что-то все же было в ней гипнотическое, завораживающее, заставляющее восхищаться, подражать или тихо злобствовать, как наверняка злобствовала местная «начальница культуры», но и, злобствуя, напяливала легкую розовую блузку...

У входа в парк стоял добродушный, веснушчатый милиционер и пропускал всех, включая животных, но вот детей не пропускал.

— Дети не допускаются!

Время от времени он радостно повторял эту фразу, которая, очевидно, внушала ему уважение к себе. Он сам был очень юн — мальчишка, в сущности, — но уже не допускал куда-то детей.

Дети, как птицы, сидели на ветвях деревьев, окружающих парк. И их было, пожалуй, не меньше, чем взрослых. В центре парка возвышалась освещенная прожекторами эстрада. Максим прислонился спиной к дереву неподалеку от эстрады. И в позе Чаадаева у бальной колонны, скрестив на груди руки и скептически усмеяясь, простоял около часу, почти не пытаясь вникнуть в ту ахинею, которую несли с эстрады выступавшие. Он попал на занятие студии не совсем обычное. Откуда-то из «центра» — не то научного, не то столичного — прибыла группа врачей-психотерапевтов, решивших осчастливить жителей Новопогорелова своими сверхсовременными мыслями по проблемам наркомании. Но Максиму не удалось обнаружить даже проблеска мысли.

Между тем Максим заметил одного из психотерапевтов — невысокого, с острой бородкой и ехидной узкой физиономией, чья не совсем обычная внешность резко контрастировала с банальностью (едва ли не нарочитой) им произносимого. В шипящий и хрипящий микрофон он выбрасывал дежурные фразы о росте преступности, об отсутствии у государства средств на борьбу с наркоманией и табакокурением (словесный монстр — «табакокурение» — гвоздем впился в чуткое Максимова ухо), о повсеместном закрытии наркологических лечебниц... Потому-то в масштабах всего Новопогореловского района так важно то, что происходит в студии Валентины Майской... (Максим настоялся.) Детские игры... Эйфория... Синдром резкого поглупения... Выход из подавленности... Наивная радость... Впадение в детство...

Куда, куда впадение? Что за чушь?

Тут на эстраду выскочила сама руководительница — как клоунесса, в развевающейся розовой кофточке, короткой юбчонке, в туфлях на высоченных каблучках и почему-то в больших черных очках, спадающих на нос. Каблуки явно ей мешали, она несколько раз споткнулась, подходя к микрофону. Микрофон по-прежнему шипел и хрипел. Она что-то произнесла — получилось «Чаем греться». Возможно, что это был привычный для студийцев призыв «разогреться» (кто-то рядом с Максимом произнес это словечко), но Максим

просто отвернулся, чтобы не видеть этого позора и ужаса. Словно вместо милой и строгой своей учительницы он узрел крокодила или непробиваемую и беззащитную, как медный таз, современную популярную певичку. И радующую ей, орущую, ошалевшую толпу...

Он включился в происходящее только тогда, когда со всех сторон загрохотала неистовая по напору музыка и дети на ветвях, усиливая чувство апокалиптичности происходящего, захлопали, заревели и закричали. Птицы в испуге поднялись в темневшее небо, собаки и кошки забились по углам, не желая расставаться с человеческим обществом. А взрослые? Взрослые принялись производить какие-то уморительные движения. Кто-то без конца разводил руками, кто-то прыгал на одной ножке. Сосед Максима пошел вприсядку, не обращая внимания на музыку, явно не предназначенную для русских народных танцев, а дородная женщина, тоже стоящая поблизости от Максима, вынула цветной платочек и пристукивала о землю ногами в матерчатых тапочках, так и не сдвинувшись с места. Все словно погрузилось в состояние коллективного безумия, чему способствовала невыносимая громкость музыки. Сама руководительница, освещенная прожекторами, летала по сцене, нелепо взмахивая розовыми рукавами, — какой-то большой, неуклюжей, фантастической птицей.

Максим окаменел. Мышцы лица и тела напряглись и застыли. За все это время он не сделал ни одного движения, не почесался, не отогнал комара, не размял затекших ног, — словно таким образом пытаясь выразить свой протест, свой ужас, свою гадливость.

Что за цирк? Что за безумие? И зачем ей это? Ей!!!

«Танцы» стихийно перелились в «игры». Единственный допущенный в парк подросток, уже знакомый Максиму тихий Ваня разносил какие-то свернутые в трубочку бумажки, помешанные в клоунский колпак; вынувшие расходились по разным углам парка. Максиму весело разъяснили, что есть игры общие, парные и индивидуальные. Валентина Михайловна спрыгнула с эстрады, подхваченная студийцами (иначе бы упала!), и, вынув бумажку из колпака, куда-то понеслась, спотыкаясь на своих неуместных каблуках и размахивая розовыми рукавами. Максим бессознательно пошел за ней. Он проходил мимо двух старичков на скамеечке, азартно произносящих названия никогда не виденных (и уже без надежды когда-либо увидеть!) городов.

— Рио-де-Жанейро!

— Осака!

— Алеппо!

— Оригон!

— Нет такого города!

— Есть!

— А я говорю — нет!

Мимо старушек, сомнамбулически передающих друг другу из рук в руки красно-синий резиновый мячик, мимо взрослых «дяденек» и «тетенок», самозабвенно «разрывающих цепи» или же с диким визгом носящихся друг за другом в неистовом желании «осалить».

Словно картины брейгелевских «детских игр» пронеслись перед глазами Максима. Постылая, гротескная, перевернутая наизнанку чудовищность бытия, выплеснувшаяся на поверхность, ставшая явью...

Та часть парка, где оказалась Валентина Михайловна и бредущий за ней Максим, была почти не освещена, и детей на деревьях вокруг изгороди не было. Внизу, как Максим догадался, — протекал ручей, а среди деревьев на полянке висели качели. Валентина Михайловна схватилась за одну из веревок. Максим тут же за другую.

— Кто здесь?

— Это я, Валентина Михайловна.

Она повернулась, сдернула дурацкие черные очки и улыбнулась.

— Я Валя. Забудьте о моем отчестве.

— Как вы забыли мое имя?

— Вы его столько раз сегодня повторяли, что я запомнила. Вы ведь Максим?

И снова чуть растерянно улыбнулась, глядя на него с сомнением. Правильно сомневалась, — ее наука была ему не впрок.

— Давайте раскачаю.

— Не надо. С детства боюсь качелей. Что-то, наверное, с вестибулярным... И начинаю смеяться...

Максим, не слушая, принялся раскачивать.

Она захохотала, взвизгнула, потом закричала, умоляя остановить, потом вдруг затихла.

Когда он остановил качели, она была без сознания. Он подобрал валяющуюся на траве пустую бутылку из-под пепси, бегом спустился к ручью, набрал воды и, стоя на коленях в траве (безнадежно испортил белые брюки!), вылил всю бутылку на клоунские завитки и розовую кофту. Открыла глаза — удивленное, мокрое, кукольное, совсем незнакомое лицо в полутьме парка.

— Простите. Я не хотел.

Поза была подходящей для просящего прощения.

— Я же вам сказала, что боюсь... Это уже не детские... Не те детские, которые я... которым я учу...

Он оглянулся. К ним бежали люди. Впереди всех мальчишка-милиционер. Ну уж нет! Не хватало только публичных объяснений! Максим рывком поднялся с травы (брюки на коленях в грязно-зеленых разводах) и припустил к гостинице. И всю ночь при свете карманного фонарика писал, перечеркивал, вновь записывал (или это ему только мерещилось?) рвущуюся из сердца молитву к Аполлону.

Дай меру, о Аполлон!

Дай меру душе моей!..

Глава IV. Летний день в провинциальном городе

Впоследствии Максим любил вспоминать этот бессобытийный день, то забегая вперед, то возвращаясь к его началу. День этот противоречил обычному представлению о линейности времени, он был вокруг, обступал, как обступает некоторых людей детство. Его можно было вспоминать с любого момента, с утра или с вечера, подолгу задерживаться на ничего не значащих деталях, на подробностях — голуби возле гостиницы клевали разбросанные пенсионеркой крошки, куда-то очень деловито трусил рыжая собака, женщина открыла окно и уставилась на Максима, выплевывая на улицу лужу от семечек... И все эти припоминания не были скучным занятием, а, напротив, взбадривали и словно что-то предвещали в будущем — как неожиданный, мгновенный, умопомрачительный летний ливень. Был он или померещился? Но почему тогда вся одежда мокрая?

В этом дне, в его внутренней напряженности, при кажущейся бессобытийности, был свой стержень, свой эмоциональный накал. Но понять это можно было, лишь его пережив, и затем, пытаясь растянуть это переживание, окружить им все последующие дни, может быть, более продуктивные, но, увы, менее счастливые и свободные...

Утром Максим проснулся с паническим чувством. Что-то совершил ужасное. Украл акварель из музея? Да нет, это было, пожалуй, даже здорово. И тут он вспомнил. Как же его угораздило простую детскую игру превратить в нечто, угрожающее жизни. Да не его! Если бы его! Бегом спустился вниз к телефону, на ходу натягивая футболку, и позвонил в музей.

Ее голос, — жива!

— Да? (да! да! — повторило музейное эхо).

— Это Максим Ливнев. Вы здоровы? Какая-то роковая, прямо по Фету, получилась игра. Я так рад...

— Чему это вы рады? Вы забыли, как нужно играть. Совершенно не умеете! Сегодня снова занятие. Приходите. Может, я все-таки... все-таки...

(Музейное эхо некстати затикало — тик-так, тик-так!)

— Я приду.

Научит играть в детские игры! Что за бред! Но нужно увидеться, чтобы извиниться и расспросить про акварель. Да и надежда теплилась, что вспомнит.

— Куда направляетесь?

У выхода из гостиницы с Максимом столкнулся маленький бородатый психотерапевт с нагловато-проницательной физиономией.

— Я вас видел вчера в парке возле эстрады. Сразу понял, — не местный кадр. Москвич?

Максим сдержанно кивнул.

— Стало быть, земляки. Давайте-ка позавтракаем вместе. Ненавижу есть в одиночестве, да еще в такой дыре!

Психотерапевта звали Николаем Мацуковым. И прибыл он в Новопогребов на средства все того же иностранного фонда, что и Максим. Только программа была иная — борьба с наркоманией и ее последствиями.

О, последствия дурные, очень дурные!

Они ели в местной «стекляшке» яичницу, и Николай Мацуков, радуясь слушателю, разглагольствовал. Банальности он оставил для эстрады, в приватной же беседе был зол, насмешлив, циничен.

— Лечу вот наркоманов, а сам безнадежный наркоман. Не удивляйтесь. Вы — тоже. Все современное общество наркотично в основе. В некоторых странах это поняли и наркотики официально разрешили. Да и современная индустрия игры, все эти «угадайки-разгадайки» — той же природы. Вот вы (психотерапевт впери́л в Максима светлый пронизательный взгляд с оттенком безумия). Вы не поэт, но где-то возле искусства, ведь так?

— Где-то возле.

Максим нахмурился.

— Тоже наркотик. И из сильных. Только прежде, скажем в девятнадцатом веке, все это были наркотики долгого действия. Вы только представьте — революционная деятельность. Полжизни борешься, полжизни сидишь. И все на этом заводе! Или, скажем, какая-нибудь... безнадежная любовь. Милая дама в другой стране, или ее уже в живых нет, а он все любит и любит. Потрясающий наркотический эффект! Или какое-нибудь «служение науке». Все это смешные теперь слова и еще более смешные понятия. Но тогда жевали эту жвачку долгие годы! А сейчас — наркотики короткого действия. Нужно каждый день принимать, вспрыскивать, нюхать, — иначе ломка и смерть! Каждый день новую девочку, каждый день танцы до одурения, а в искусстве что-нибудь такое новенькое, остренькое...

— А мне все больше старенькое нравится.

Максима разговор ужасно злил, но что-то было в нем тайно затрагивающее.

— Ну и напрасно. Отстае́те от поезда. У меня вот надежда только на новые технологии. Компьютер, видеоэкран. Это даст искусство для масс, без всяких затей. Нажал кнопку видеоэкрана, а там этакая аппетитная девочка. А дальше — дело твоего воображения. Без посредства этих ваших великих художников. Без околичностей. Только так и можно будет выжить!

— Вы заметили, что употребляете гастрономическую терминологию? Возврат к каннибализму, да?

Максим хотел встать, но нарколог его удержал:

— Нет, погодите. Не возбуждает?

— Представьте, нет.

— А что, если мы сейчас с вами закатимся к местной русалке? Какая-то у нее весенне-летняя фамилия.

Максим быстро взглянул на Николая Мацукова. Случайность? Или тот что-то улавливает?

— Валентина Михайловна Майская, если вы о ней, моя бывшая учительница.

Глупо, что сказал. Но сказать опять-таки в силу каких-то неопределенных душевных неясностей очень хотелось.

Психотерапевт даже на стуле подскочил.

— Что вы говорите! Вам же страшно повезло. Это почище, чем фрейдовские мать и сестра. Это же...

— Это мерзко.

Максим отложил вилку и хотел уходить.

Николай Мацуков схватил его за плечо и почти прошипел:

— Не стройте из себя такого чистюлю, такого... Вот если честно, если честно взглядеться в себя. Не возбуждает?

Максим секунду молчал.

— Не знаю. Не совсем то слово.

— Хоть честно признались.

Психотерапевт очень оживился.

— А теперь так же честно. В глаза мне глядите. Если нас будет двое. Слышите, двое. Не возбуждает?

И снова возникло молчание, точно Максим не сразу понял собеседника.
— Мне хочется вас ударить.

В тоне звучала не столько злость, сколько брезгливость.

Психотерапевт посмотрел куда-то сквозь Максима светлым безумным взглядом.

— Я вам завидую. У вас что-то еще осталось от этого... Ну, как там раньше называлось? Смешные слова. А мне уже совершенно все равно. Мне бы теперь только экран...

Максим порывисто встал и очень невежливо покинул своего собеседника.

Ноги сами понесли его на улицу Ленина. Но встреча была назначена на вечер, и он не хотел торопить события. Разговор с Мацуковым его взбаламутил, растормошил. Он хотел прийти в себя, подумать, разобраться в том, чего сам не понимал. Неподалеку от музея он увидел старинный особнячок с такой же стыдливой, почти стершейся надписью у входа, как в музее. Это была местная библиотека.

Он толкнул дверь. Странно, было открыто.

— Вас еще не выселяют?

Первый его вопрос, обращенный в темноту. Из темноты постепенно возникли молоденькая, хлипкая девчушка и стеллажи по стенам.

— Возьмется! Тут один новый русский все собирается скупить. А вы не москвич?

— Москвич.

— Я москвичей сразу определяю — по виду и по разговору. Вот газеты, если хотите. Только местные. Центральные мы не получаем.

Максим приблизил к девушке бледное, выразительное лицо.

— У меня к вам немного неожиданная просьба. Я занимаюсь статистикой. Статистической обработкой... Нельзя ли посмотреть... некоторые формуляры? Выборочно.

Девушка облегченно перевела дух. Судя по всему, эта просьба была самой пустячной из того, что она ожидала услышать.

— Кого?

Только и спросила.

— Если не трудно, Майской.

— Ах, нашей Валечки!

Лицо девушки просияло.

— Она у нас прямо звездочка настоящая. И «Сегоднячко», и «Времечко», Филипп Киркоров и Алла Пугачева. Все вместе. Всех заменяет! Без нее тут было бы так скучно!

Максим незаметно скользнул глазами по одежде юной библиотекарши. Так и есть, но только кофточка в совсем бледном, бесцветном варианте. И тучи кудрей не получилось — небольшой светлый хвостик сзади.

— Дадите формуляр?

— Вот, смотрите. За этот год. Да там и нет ничего.

Максим впился в формуляр глазами.

«Справочник по цветоводству»... «Цветы и домашние растения»... «Сорта георгинов»... (Он сам себе напомнил Татьяну в деревенском кабинете Онегина, которая пытается по «отметке острых ногтей» в книге понять характер своего божества, — сцена, которую они когда-то с Валентиной Михайловной тщательно изучали.)

— А что, Шекспир, Пушкин?

— Пушкин у нас есть, — откликнулась девчушка. — Вон на полке однотомика. А Шекспира недавно списали. Очень ветхое издание. Пушкина вам дать?

— Нет, спасибо. Я, может быть, еще зайду.

И выскочил на залитую солнцем улицу, недоумевая, ужасаясь, примериваясь. Как же так? Как это возможно? Хотя бы какие-нибудь журналы или вот Пушкин, с которым прежде не расставалась. Ничего! Совсем ничего!

Он кружил по почти пустому в это время парку, то и дело натываясь на заросли георгинов. Очевидно, это были любимые цветы местного садовника, который на пару с Валентиной Михайловной тщательно изучил их разнообразнейшие сорта, да не в теории, а на практике. И не с садовником ли он столкнулся в одном из уголков — маленьким, круглоголовым, наголо обритым? Тот вынырнул из зарослей с лейкой в руке и поглядел на Максима острым,

грустным, пронзительным взглядом лешего. И скрылся в своем экзотическом царстве — громадных, разноцветных, ярких цветов на высоких толстых стеблях. Без запаха. В сущности, совершенно фантастических! Можно было всю жизнь потратить на то, чтобы их разводить и рассматривать — как рассматривал он цветы в детстве — болотные голубенькие крохотные незабудки в лагере — остолбенело, замороженно, с бесконечным упоением, проваливаясь в океан времени... Он летал на качелях, бродил вдоль ручья, снова и снова рассматривал георгины... Припоминая этот день впоследствии, он мог совершенно отчетливо увидеть прожилки на некрашенных деревянных качелях, рассмотреть божьё коровку, совершающую свой медленный и непонятный путь по одной из веревок, или, положим, уйти с головой в царство георгинов и в малейших деталях обозреть особенно его поразивший крупный фиолетовый цветок необычайно насыщенной окраски. Все это он потом, много лет спустя припоминал с наслаждением, граничащим с болью. Но, как ни странно, боль усиливала чувство счастья...

Но когда к семи часам народ стал стекаться на занятия студии, — Максим вновь обрел свой взрослый скепсис, увидел всю фальшивость, театральность, чудовищную искусственность того, что тут происходило.

Опять ребяшня облепила деревья, а собаки и кошки ринулись к кормушкам. Опять «чаем грелись» — разогрелись танцами, — если можно было так назвать те однообразные, смешные, простецкие движения, которые производились взрослыми идиотиками под оглушающую современную музыку и мигание фонариков. А уж на «полеты» Валентины Михайловны Максим старался совсем не смотреть, — так это было ужасно. Вместе с ней на этот раз «летали» по сцене еще какие-то девчужки, в одной из которых Максим узнал библиотекаршу. Вынести это можно было, лишь включившись в общее безумие, но Максим был тут посторонним наблюдателем.

— И вы здесь?

К Максиму неслышно приблизился психотерапевт.

— Хоть один взрослый человек! Пойдемте поиграем в серьезную игру для умных людей. В шахматы.

Максим согласился с облегчением. Даже Николай Мацуков сейчас казался почти своим. Он купил в киоске булку с маком, ел эту булку и обдумывал ходы. Уровень был примерно одинаковый, и это расхолаживало. Когда «детские игры» стихли и огни возле эстрады погасли, Максим извинился перед Николаем Мацуковым, встал и отправился на поиски бывшей своей учительницы. Оказывается, ожидание встречи и было незримым стержнем этого бесконечного дня...

Глава V. В мастерской

Максим без труда нашел Валентину Михайловну среди буйных зарослей георгинов в обществе хохочущих девчушек. Девчужки почти сливались в его глазах, как китайцы, да и сама руководительница была подозрительно на них похожа и тоже смеялась. Юная библиотекарша хохотала громче всех и явно старалась обратить на себя его внимание, но он решительно и почти грозно, словно командор, подошел к Валентине Михайловне. Девчужки рассеялись в темнеющем парке.

— Сожалею, Валентина Михайловна. Но ваша новая наука не для меня!

— Валя, — рассеянно поправила она. — Я Валя.

Она сорвала огромный фиолетовый цветок, прежде привлекший его внимание, и вертела его в руке, как веер.

— Пожалуй, я свожу вас в мастерскую. — И забормотала не то Максиму, не то себе: — Конечно, это не все. И не совсем то, что я хотела. Это верхи! Но мне нужно на что-то жить! Другого бы не поняли. И я им помогаю. Многие давно бы умерли. Бездомные собаки, старики, одинокие женщины, спившиеся бедолаги. Они уже не могут сюда не приходиться!

Ага, наркотик короткого действия! (Максим вспомнил неприятного Николая Мацукова.) Так и есть! Его сдержанная, сбыдливая учительница пошла на поводу у бездарного времени. Включилась в вульгарную «индустрию игры»...

По пустынным, полутемным, в колдобинах улицам они молча пошли в

мастерскую на улице Ленина. Она рассеянно вертела в руках цветов. Потом где-то его выронила...

Он шел с тяжелым и смутным чувством. Что, собственно говоря, могло изменить посещение ее мастерской? Пусть даже она окажется замечательной акварелисткой (а у него были такие подозрения!).

Или пусть даже начнет его припоминать — а не в вашем ли классе училась Аня Крылова? Да? Так вы не тот ли Максим?.. (Еще неизвестно, того ли Максима припомнит!)

Но трепет ученического восхищения, кажется, потерян безвозвратно. Из памяти не убрать этих дурацких игр, скопления народа в парке, освещенную эстраду, на которой его бывшая учительница под чудовищную музыку совершала свои дикие «полеты»...

В музее было совершенно темно, но Валентина Михайловна даже попытки не сделала включить свет. Максим подумал, что, скорее всего, электричество просто отключили за неуплату. Она выхватила из темноты небольшой старинный подсвечник и зажгла две его свечи, в мерцании которых разоренный музей с пустующими витринами выглядел почти романтично. Максим подумал, что, будь все экспонаты на месте, ему при дневном свете едва ли тут что-либо понравилось бы. Разве что кость мамонта, давно увезенная в Рязань...

— Вот все, что осталось от музея.

Валентина Михайловна шуточно взмахнула подсвечником, осветившим ее лицо, странно утончившееся.

— Вчера вечером кто-то лапти унес. Я тут теперь не живу. Жутковато. А прежде жила через стенку. Там и мастерская. Пойдемте?

Она прошла вперед с подсвечником, протягивая ему свободную руку, как маленькому. Но он руки не взял и пошел сам. Он теперь себя чувствовал гораздо взрослее, чем она. Ткнулись в незапертую скрипучую дверь и оказались в небольшой комнате без мебели. Стены сплошь увешаны акварелями.

— Не смотрите пока!

Она поставила подсвечник ближе к двери, так что акварели оказались в темноте.

— Буду теперь жить у Вики. Вы ее, кажется, видели? Там есть комнатка с видом на парк. А акварели завтра перенесу. Ваня поможет. Перенесла бы и подсвечник, да он музейный. Пропадет, конечно...

Слова она произносила быстро и рассеянно, словно думала о другом.

— Кто вам Ваня?

Максиму хотелось нащупать хоть какие-то ее человеческие родственные связи. Не одна же она в этом городишке? На сына не похож, но, может быть, племянник?

— Ваня? Ах, Ваня... (Она была сейчас просто ужасно рассеянной.) Ваня соседский мальчик. Ученик.

Максима кольнуло словечко «ученик», отнесенное к тихому подростку. Точно он ревновал Ваню к этому состоянию, да и к учительнице, которая самого Максима уже ничему не могла научить. Жаль, однако, что не племянник. Максим внезапно ощутил нечто похожее на чувство смутной вины, словно из-за него она оказалась в этом городишке. Да еще, кажется, совершенно одна. Но тут же попытался отогнать от себя это чувство как явно бредовое. Между тем он продолжал наблюдать за странными преобразованиями ее облика. Вульгарные рыжеватые завитки в мерцающем неверном свете стали казаться прелестными волнистыми волосами леонардовских женщин, а свободно спадающая блузка вдруг увиделась божественной античной туникой. Лицо приняло какое-то рассеянно-оживленное, детски неопределенное и неопределимое выражение, когда можно ждать и смеха, и плача, и любой другой шальной и неожиданной выходки.

— Вас не смущает отсутствие стульев?

— Меня?

Он тут же присел на корточки, обняв колени руками. Пальцы сцепил с ненужной силой, что выдавало волнение. Она осталась стоять у стены в мерцающем свете свечей.

— Начнем наш урок. Я не скажу — забудьте все, чему вас учили прежде. Я скажу — забудьте все. Все вообще! И постарайтесь вслушаться в себя. Нужно

сначала припомнить то физическое движение, которое было для вас наиболее естественным в детстве. Пусть вспомнит ваше тело, ваши мускулы — какое?

Максим хотел держаться как можно суше и скептически. Но на ее вопрос неожиданно для себя ответил очень непосредственно, с живым чувством.

— Я прыгал через столы. Все время через что-то перепрыгивал. Пока маму не вызвали к директору школы.

Он рассмеялся и подумал, что его искренность вызвана какой-то совершенно детской естественностью, с которой она сейчас себя вела. Все, что ему прежде казалось наносным, кукольным, вульгарно-театральным (хотя, как это ни странно, но и в этом она была по-своему естественна), сейчас исчезло. Звонкий, доходящий до сердца голос, молодой, звенящий.

— А я почему-то все время летала. Надевала мамины туфли на высоких каблуках. Я в них стоять-то могла с трудом. А летала. Воображала себя бабочкой, стрекозой. Постояте, я музыку включу.

Он, вероятно, сделал какое-то резкое «защитительное» движение.

Она и в полугьме уловила его жест.

— Не волнуйтесь. Не ту, что в парке. Но и не классику. Только ритм. А вы вспоминайте и скачите, скачите!

Ломаный, напряженный, пульсирующий ритм словно повторял пульсацию его сердца, всегда очень неустойчивую, неровную, с внезапными провалами и учащениями. А вот скакать он не станет! Неужели она всерьез думает, что он, взрослый мужик, отец двоих детей, пишущий серьезные книги о *глубоком и подлинном* (когда-то она тоже понимала в этом толк!), вдруг заскачет козлом?!

Ритм набирал силу, ветвился, взбрыкивал...

А совсем маленьким он любил кувыряться. Ляжет на коврик в столовой и перекувырнется. И весь мир вдруг заходит ходуном — стол с бахромистой, просвечивающей от ветхости шелковой скатертью, синий стеклянный кувшин с одиноким Золотым шаром, кислое зеленое яблоко на плохо вымытом подоконнике... Все заскачет, затрепещет, захохочет. Все преобразится, презирая свое прежнее спокойствие. Ах, как ему впоследствии будет хотеться посреди серьезнейшего Ученого совета вдруг лечь на ковровую дорожку и перекувырнуться!

Или сказать что-нибудь совершенно невысказанное в этих стенах. Как ему всегда придется сдерживать себя, — свое лицо, свои мускулы, свои движения...

В полугьме он неслышно пробрался к подстилке у дверей, лег на нее и попытался перекувырнуться. Не выходило.

— Расслабьтесь, — шепнул кто-то над самым ухом.

— Слаб дураку, — принялось за свое эхо, перебравшееся сюда из музея.

— Ешьте!

Валентина Михайловна кинула ему прямо в руки маленькое зеленое яблоко. Дичок, что ли?

И вот странность! Этот дичок, который, казалось, должен был затруднить кувыркание, очень Максиму помог, отвлек его мысли. Он погрузился ртом, языком, зубами в кислую вяжущую мякоть, стал что-то напевать, что-то забытое припоминать и легко и свободно перекувырнулся несколько раз. Только было тесновато и пыли наглотался.

— А теперь смотрите акварели.

Она передвинула подсвечник ближе к стене.

— Темновато, но ничего. При электрическом свете хуже.

Он хотел спросить — а при дневном? Но не успел.

Шагнул прямехонько в этот солнечный, лучистый, ликующий мир, где и без того часами гулял, но, пробудившись, почти сразу забывал об этих снах...

Он был учителем, она ученицей. Она, а не он. Он был взрослый и сильный (вполне возможно, что ему было лет пятнадцать), а она еще маленькая, пухленькая и кругленькая, как на когда-то увиденной фотографии. Они гуляли по бесконечным лугам не то его пионерского детства, не то подмосковной дачи, которую родители снимали в его отрочестве. Луга заросли ромашками и колокольчиками. А она срывала клевер — детскую «кашку», которую все время жевала. Еще они гонялись за бабочками, разглядывали облака, что-то смешное выдумывали, пели. Он преподавал ей самую важную на свете науку — науку счастья, науку вечного детства. Это был странный бессловесный урок, урок «погружения», как погружаются в стихию языка. Так и они с ней просто вошли

в счастье, как входят в речную воду. И выходить не собирались! Он вел ее к качелям возле ельника. Ты ведь любишь качели? Садись, не бойся. Это же игра. Давай раскачай. Глупая, да не бойся ты! Ага, засмеялась! А так? А если так? Что ты кричишь, как безумная? Что с тобой?..

...Она плакала, сидя в уголке своей комнаты прямо на дощатом полу. Стульев тут не было, да это и не имело значения. Он опустил рядом с ней, — сначала присел, потом встал на колени, как в парке, — так ему было удобнее. Он не знал, что сказать и как успокоить. Только волна бесконечной, бесконечной... жалости? Нежности? Чувство не поддавалось определению. Как к своим близнецам, когда они, встрепанные и усталые от игр, спали на кроватках, или запальчиво, с отчаяньем на лицах жаловались ему друг на друга, или бесились втроем со щенком.

Словно что-то вспыхнуло в темноте, или какая-то птица взмахнула ярким крылом.

— Максим? — Она повернула к нему залитое слезами лицо, на миг словно просиявшее. — Неужели ты? Если бы ты знал, из каких ты далей... Знаешь, Максим, — я тебя называла Максом, помнишь? А ты сердился... — мне все взрослое — не далось. Эти браки, разводы, размены... Мелкие дрязги, мелкие мысли... Все эти заработки, подработки, борьба за место, деньги, престиж. Разговоры о пустяках. Странные болезни, жестокие врачи. Это отсутствие любви, Максим, любви! Отсутствие во всем! Ты когда-то очень меня испортил. Я и от других ждала такой же радости при встрече, такой же искренности, такой же самозабвенности...

— Да, да, — подхватил он с живостью, — я тоже больше никогда, никогда...

— И книги, Максим, книги оказались совершенно ненужными. Только на растопку!

Он хотел возразить, но она встряхнула пышными волнистыми волосами и прошептала гипнотически:

— И не спорь! Ты на таком краю не был. Там не нужны! Там я вспоминала, какой ты красивый. Эти родинки на лице. Светлые легкие волосы. Пружинистость движений, резкость и одновременно юношеская мягкость очертаний в фигуре, в лице... Ты и сейчас красивый. Лицо немножко похудело и глаза сумрачнее. А вообще такой же.

— А вы совсем другая! Не постарели, нет. Но не понимаю, как я вас узнал!

— Ну, ну?

Она, вероятно, как все женщины, хотела услышать о себе, о том, какое впечатление производит. И боялась это услышать, тоже как все обычные женщины. Но она-то для него была не обычной. Он вновь поймал себя на том, что впечатление его двойся. Что теперешний ее облик ее одновременно и притягивает и отталкивает. В особенности ему чужд был ее «эстрадный» вид, но даже он таил какую-то пряность, загадку. Он вспомнил их первую встречу в музее, днем, когда она смеялась и пританцовывала. И потом вечером на качелях, когда она потеряла сознание и он вглядывался с тревогой в ее мокрое кукольное лицо. А ее теперешний вид был ужасно родным, словно она вернулась в прошлое. Но над всем, над всем вставало что-то детское, обиженное, почти несчастное и бесконечно радостное. Словно бы серовская девочка объединяла все эти ее живые и ускользящие лики. Словно эта девочка была тайной основой всех ее преображений.

Его смутило и тронуло то, что она сказала о его внешности. Дело было не в красоте, которую сам он за собой не признавал, а в том, что в ее памяти о нем оказалось столько любви и любования. Он захотел ей ответить тем же, тем более что это соответствовало его ощущениям, а о некоторых нюансах ей не обязательно было знать.

— Вы стали словно моложе, ярче, раскованнее...

Он не ожидал, что после этих слов она от него отпрянет, сожмется, вновь неудержимо разрыдается.

— Где ты был, когда я умерла? Когда свет померк? Когда хотелось стать камнем?

— Я вас не забывал, Валентина Михайловна!

Это было, пусть слабым, но утешением для нее и оправданием для него.

— И потом, если хотите знать, мне тоже не очень-то... Я уж о здоровье, деньгах, квартирных проблемах не буду... И о любви не будем, ладно? Есть

близнецы — Юрка и Валька. Пожалуй, одна неплохая книжка по истории искусства. Перевожу вот древнегреческую даму. И все, Валентина Михайловна, почти все... Но вы ведь сами говорили об аскетизме, о терпении, о сосредоточенном труде, о глубине, которая, которой...

— Да, да, да.

В ее голосе слышалась глухая отчаянная безнадежность. Да и самому вдруг все это показалось страшно скучным, пресным, лишенным того электричества, которое и делает живое живым. Но ведь был же, был у них выход! Ведь она сама преподавала теперь эту веселую науку, огрубляя и упрощая ее для толпы, делая ее общедоступным наркотиком, наркотиком короткого действия, как сказал бы Мацуков. Науку детских снов, без которых им, — тонким, вибрирующим, нервным, — не прожить и дня. Им было, было куда бежать. В огромный мир, отсутствующий на глобусе. Ее акварели, как губка, впитали их общие сны, безнадежно обманувшие в жизни. Он нетерпеливо, нервно сжал ее мокрые от слез пальцы. Что за детская манера вытирать слезы пальцами! Вынул платок и, наклонившись, неудержимо, ненасытно вглядываясь в это ускользящее, изменчивое лицо — и совсем детское, сияющее, несмотря на рыдания, и грустно-умудренное, — вытер ей щеки, как вытирал своим близняшкам. Что за реки слез! Бежим. Я догоняю.

...Быстрее, ведь он сейчас осалит, осалит! Если догонит, то обязательно поцелует. Ого, как помчалась! Обязательно! В щеку или в нос. У тебя, между прочим, сегодня с утра все губы были в малине. И в яичнице. Не умываешься, да? Он поцелует в губы, берегись!

Кто-то громко постучал в дверь. Ах, это, наверное, мама после работы решила поехать не домой, а на дачу. А у тебя на щеке красное пятнышко. Это от моего укуса. Я ядовитый. Я тебя укусил в щеку, и теперь щеку раздует. Вот дурочка, да не плачь! Я ведь все придумываю. Держи яблоко. Дичок. Специально срывал для тебя, у пруда. Кислое, да? Я люблю маму, тебя и Тузика. Тузика больше всех. Нет, маму. Маму и тебя. И Тузика. Я вас всегда, всегда... Где болит? Давай подую, — и пройдет. Здесь?

Внезапно вспыхнул свет (или Максиму только показалось?), словно озаривший все уголки уже пройденного и еще предстоящего пути. О, это странное, точно предсмертное состояние, когда все времена сошлись. Ты и в детстве, и совсем взрослый, и зрелый, как теперь, и словно бы достигший последнего залетейского рубежа, когда уже ничего не страшно и ничего не нужно...

И в тот самый миг, когда он гнался по солнечному лугу за маленькой полненькой Валечкой, ободравшей во время погони коленку, и утешая ее, плачущую, в дачном доме на веранде, одной рукой гладил ее по черненькой головке, а другой ласково трепал прибежавшего со двора и ревниво повизгивающего Тузика, — в тот миг взрослый Максим представил себе почти невероятное по сладости и отчаянию объятие его, юного и сурового, с той прежней строгой и неприступной Валентиной Михайловной, вызвавшее мгновенные слезы и у нее, и у нее — так это было внезапно, ненужно, желанно... И еще объятие, тоже запретельное, — его теперешнего, взрослого, пожившего, скептического и бесконечно неуголенного и ее, рыжеволосой и словно бы сбросившей груз лет, легкой, повеселевшей и излучающей любовь...

И где-то на задворках сознания мелькали сцены, навеянные его воображению циничным Николаем Мацуковым, и тоже что-то добавляли в жаркий, безумный и не для жизни предназначенный костер его любви.

Вот вам и чистюля, пай-мальчик... И когда он, наконец, понял, что свет действительно вспыхнул: в комнату с комической важностью ворвались Оксана Пафнутьевна и юный милиционер, — он уже ничего не хотел ни слышать, ни воспринимать из этого убогого пошлого мира. И горделиво молчал в ответ на их расспросы о музейной краже.

Но каким-то образом все утряслось...

Поздним вечером Максим провожал свою учительницу в ее новое пристанище. Она ужасно волновалась, что поздно и она разбудит Викиных родителей, и все норовила выскочить вперед, хотя он и так шел быстро. Они не разговаривали по дороге, и Максим был этому рад. Он боялся, безумно боялся, что втянется в эту игру, она его захватит и он не сможет жить без этого «наркотика», уж неизвестно, короткого или долгого действия. Скорее долгого,

если учесть давность отношений, мыслей, воспоминаний... Но тогда он погиб. Нужно умереть, как умерла она, и родиться вновь для совершенно новой жизни, а он к этому не готов, не готов! Ему жаль московского вида из окна, жаль книжек, конференций. Жаль близняшек. Нет, он не заговорит с этой бегущей впереди женщиной, рыжеволосой колдуньей, таинственной и смешной, жалкой и притягательной, единственной, к урокам которой он относился как к нахлынувшей стихии — с полной безудержной отдачей.

И точно опасаясь, что она сумеет что-то с ним сделать за несколько минут прощанья, — он не взглянул на нее, не пожал руки, ничего не сказал, а стремглав сбежал с лестницы, слыша за собой тоненький писклявый голосок:

— Приходите завтра формуляры смотреть!

Глава VI. Назад

Максим ехал в купе, наслаждаясь одиночеством. Радовался, что никто к нему не подсел. Раскрыл книжку — новое исследование по античной поэтике, брал книжку с собой, да так и не вытащил из сумки. Жадничая, купил у проводника несколько иллюстрированных журналов (которые обычно не читал) и вдобавок кучу московских газет (к которым тоже обычно относился с пренебрежением). Культура! Печатное слово! Мужской, взрослый, осмысленный мир!

В приоткрытую дверь купе он заметил остренькую бородку и живое нахальное лицо Николая Мацукова — наркомана и нарколога. Тот его тоже увидел и возбужденно вскочил в купе, застряв сумкой в дверной щели.

— Какая встреча! Не выношу одиночества в поезде. Можно присоединиться? Вижу, вижу, что надоел. Но хоть немножко-то можно посидеть?

Не дожидаясь ответа (или предполагая благоприятный), он втянул за собой увесистую сумку.

— Да, могу вас удивить. Вы-то, наверное, крепко спите. А у меня бессонница. Часу в пятом подошел к музею — знаете, что на улице Ленина? А он благополучно дотлевет. Сгорел. Полностью. Спрашиваю у милиционера, — там такой придурковатый, — что произошло. Оказывается, кто-то ночью залез в окно, зажег свечи в подсвечнике, а больше там ничего не оказалось. С досады, наверное, и кинул подсвечник на пол. Вот так. Дотла!

У Максима в глазах потемнело.

Психотерапевт наслаждался произведенным эффектом.

— Между прочим, я успел до этого прискорбного события зайти к мадам Майской... Или она девица? Словом, купил за гроши одну акварельку. Хочу по этой тематике докторскую защищать. Она-то все равно не напишет! А я напишу. Что-нибудь вроде «Детские игры как средство против наркотизации общества», а? Или «Детские игры как спасение современной цивилизации». Хотя, между нами, зачем ее спасать?

Николай Мацуков рассмеялся, но глаза были невеселые, безумные.

— Дайте взглянуть.

— Что?

— Акварель покажите.

Психотерапевт неохотно потянулся к сумке, долго в ней рылся и наконец извлек завернутый в плотную бумагу перевязанный сверток.

— Я запакую потом. Не волнуйтесь.

Максим разворачивал акварель, как распеленывают младенца — с умиленным ожиданием чего-то чудесного. И не ошибся.

— Эту вещицу я назвал «Детский рай».

Николай Мацуков хохотнул и попытался просунуть голову между Максимом и акварелью. Максим резким невежливым движением подвинул работу к себе.

Желто-красно-зеленое расплзающееся марево летнего луга. И две более плотно, вероятно, гуашью нарисованные фигурки. Юноша лежит на траве (вот-вот перекувырнется), а маленькая, черноволосая и полненькая, как бочонок, нелепо раскинула руки. Этой дурочке кажется, что она бабочка, — подумал Максим, узнавая я луг, и громадную фиолетовую георгину на толстом стебле, и зеленое яблоко в руке у юноши...

— Детский рай...

Николай Мацуков сделал ударение на первом слове.

— Там и яблоки можно есть. Ничего не делается. Это тебе не взрослый — вмиг тебя из рая палками, палками! — И без перехода Максиму: — Я вам эту акварельку не продам. И не просите. Единственная осталась от художницы Майской. Если, конечно, еще не нарисует. Но это у вас, кажется, называется другим периодом? А у меня тот самый, — исчезнувший.

Максим прикрыл глаза, прислушиваясь к ритму поезда, сбивчивому ритму собственного сердца, жаркой пульсации акварели...

— Не единственная. Я тоже везу с собой одну работу... Мы с вами два хранителя. Не потеряйте только.

— Да что вы! Она мне самому понравилась. Я не о Майской, хотя и Майская как женщина... Ах да, я святого коснулся. Не буду. А акварелька — это как напоминание, что было когда-то детство. В смысле личное детство. Оно ведь было?

В интонации психотерапевта прозвучало явственное сомнение.

Максим безмолвно запаковал акварель и передал сверток владельцу. Потом оба сидели в своих углах и читали (или вид делали, что читают).

Эпилог в Италии

В начале доклада о реконструированной и переведенной на русский язык лирике Прасапфо Максим Ливнев спроецировал на экран женский портрет. Публика загалдела, оживившись. На безукоризненном английском Максим объяснил, что показывает слайд с акварели современной художницы Валентины Майской. (Подумал, что впервые называет ее без отчества.) Это вольная копия картины известного русского художника Валентина Серова. Впрочем, вам он все равно неизвестен. Словом, копия его знаменитой юношеской картины «Девочка с персиками». Мы не знаем, как выглядела Прасапфо. И точно так же мы не знаем, как выглядела знаменитая Сапфо. Поверьте моей интуиции — эти женщины выглядели примерно так!

Слушатели засмеялись, захлопали, загудели на разных языках. Максим продолжил на итальянском, требовавшем более энергичных жестов и округлых, плавных конструкций.

— У всех этих юных женщин, — а они в любом возрасте остаются юными, — было светлое, сияющее, изменчивое лицо. Лицо самой жизни. И если они чего и молили у богов, то только меры, в противовес своей безмерности.

Дай меру, о Аполлон!

Дай меру душе моей!..

После выступления к Максиму подошел немолодой, но живой и веселый профессор одного из итальянских университетов и предложил ему прочесть курс о лирике Прасапфо в их университете. Он попытается устроить годовой грант и почти уверен в своем успехе, а в успехе Максима уверен без всякого «почти».

Оба рассмеялись шутке. К ним присоединилось еще несколько ученых, которым понравилось выступление Максима. Тот предпочел сдержанно поблагодарить и, пообещав завтра ответить, исчез в своем номере. Между тем его звали на какую-то увеселительную морскую прогулку.

А ночью в душном отеле его сердце, сердце вечного ученика, падало и замирало, разрываясь от разнородных желаний. Словно в дремучей русской сказке расстилались перед ним три дороги. И глупое безумное сердце толкало его именно к той, где «убиту быть». Проснувшись, он с облегчением подумал, что сама же русская сказка предпочитает утреннее решение вечернему, и спустился вниз к завтраку, европейски ухоженный, в светлом костюме, напоминающий долговогозого сдержанного англичанина или мужественного скандинава. За англичанина его и принимала ресторанная обслуга, так как он заказывал блюда на английском и предпочитал на завтрак овсянку.

Марина Туманова

Женщина у окна



* * *

Я там, где я была жива.
Где августовская трава
Цвела последними цветами,
Где, неуклюж, измят и пуст,
Вдруг щеку влажно трогал куст
Последней ягоды устами.

Здесь нет меня. Я в мире том,
Где было теплым слово «дом»,
И мы так молодо не знали,
Как неминуема беда...
Я все оттуда в никуда
Гляжу незрячими глазами.

1992

* * *

Я жизнь смотрю, как странное кино,
Где нету ни героев, ни сюжета,
Все плоско, одноцветно, но при этом
И дела нет мне, и не все равно,

Я ничего не жду, и словно жду,
Как будто что-то жизнь недосказала...
И все, не покидая кинозала,
Стою, в последнем замерев ряду...

1993

* * *

Надежде Владимировне Вагиной

Плачет женщина-доктор.
А тебя уже нет.
Не сумела чего-то?..
Как ей нужен ответ!

Что ж она, как о близком...
Оправдался прогноз
Не рискующих слишком
И живущих без слез.

Перевесила, значит,
В этот раз чаша зла...
Доктор-женщина плачет
О тебе: не спасла!

В Склифосовского — между
Катастроф и тревог —
Плачет доктор Надежда...
Да хранит ее Бог.

1996

Похороны

Стояла каменно, без слез,
Когда разглядывали в оба:
Как я веду себя у гроба?..
(Прости им, Боже, тот вопрос.)

А я — никак, я — лед, сугроб,
Запоминающе глядела:
Земля не принимала тела —
Застрял при опусканье гроб.

И — чьи-то «ах», и — чей-то
вскрик,
И подоспевшие лопаты
Заторопились виновато,
Чтоб оборвать застывший миг...

Все.
Холм цветов. Теперь упасть...
Не упаду. А, чернолица,
Пойду туда, где воцарится
Несчастья крепнущая власть.

1996

* * *

Ах, как мальчика утешали,
Как над маленьким причитали:

«У кошки — болит,
У собаки — болит,
А у Сашеньки — не болит!»

Слезы горькие высыхали,
Отступали хвори-печали,

И росли — выростали дети,
Утешения слыша эти:

«У кошки — болит,
У собаки — болит,
А у Машеньки — не болит!»

Кошка просто котят лизала,
Заклинаний она не знала,

И дворняга, потомство холя,
Никому не желала боли,

И, лишённые дара слова,
Не додумались до такого.

1998

* * *

Меня пространно время лечит,
Чудаковатый старый врач:
То ношей распрямляет плечи,
То греет градом неудач —

А дозы «снадобий» все выше —
И наблюдает, как дела:

Ну, вот и видит, вот и слышит,
Ну, вот и что-то поняла...

И, издевательски-любовно
Колдуя над судьбой моей,
Следит, чтоб сердцу было больно.
Еще больней... Еще больней!..

Женщина у окна

Глядит в окно тяжелым взглядом,
А может, и не смотрит вовсе,
Лишь никого не видит рядом
И никого не слышит возле.

Глядит в окно, а может, просто
В минувшее глядит устало,
Где без ответа все вопросы
И все в который раз сначала?

Глядит в окно, в себя уставясь
Уже не горестно, а слепо:
И сожаления, и зависть —
Все одинаково нелепо.

Глядит, себя едва ли видя —
И ту, в разлете дней и улиц,
И эту, в будничной обиде
В окно глядящую, ссутулясь.

1998

Даниил Гранин

Наваждение

(Из цикла «Чудеса любви»)



Эту историю рассказала мне докторша. Про чудодействие, которое совершила любовь. Давно известно, что в любви бывает такой наплыв чувства, когда влюбленный готов содеять невероятное — пройти на руках по мостовой, влезть на сосну, на фонарный столб или выдернуть его. В обычном состоянии для этого у него бы не хватило сил, как бы он ни старался. Частенько от любви что-нибудь ломают. У нас, например, влюбленные предпочитают гнуть толстые прутья садовой решетки и там же переворачивать скамейки. Люди, проходя мимо, возмущаются, произносят обидные слова — вандализм, дикари, варвары. Никому и в голову не приходит, а вдруг перед ними физическое проявление высокого чувства. Вместо этого можно услышать: в Европе подобных безобразий себе не разрешают. Но позвольте, может, это как раз свидетельство того, что у них, на Западе, гаснет непосредственность чувства, что старая Европа и деловая Америка уже не способны к подобным взлетам. Бывает, что переворачивают урны из чистого озорства, но хочется заметить, что такие немыслимые акции, наверно, можно совершить только в припадке любви, о чем, например, свидетельствует надпись на брандмауэре дома на Петроградской стороне, где на высоте третьего этажа кирпичной кладки красками выведено признание в любви к Маше Заплечневой. Подобные явные и неявные подвиги свидетельствуют о необъяснимых явлениях, которые производит любовь в человеческом организме. Известно, что ряд мировых рекордов поставлены именно благодаря присутствию на соревнованиях возлюбленной. Роль любви, кстати, в поднятии штанги и в прыжках с шестом доказана неоднократно. Все это считается загадкой природы — медицина, физиология, энергетика разводят руками. И тут докторша со смешком вспомнила, как на свадьбе ее жених, мальчик щуплый, хилый, нес свою невесту, здоровую деваху, на руках, через Марсово поле, а потом уже в замужней жизни поднять ее не хватало сил. Нет, нет, любовь может придать человеку сверхъестественные силы. И не только физические, душа взлетает на высоту, где она не была и никогда больше не будет.

Экстаз, наваждение, озарение — всяко можно назвать эту вершину любви, жалко тех, кто не вбирался туда.

Один такой феномен, по словам докторши, произошел несколько лет назад у нее на глазах. Собралась у них милая компания. Встречались на квартирах, на лыжной базе, в яхт-клубе, устраивали пикники. Компания разнородная, мужчины, женщины, семейные, холостые, всем где-то под тридцать, не больше. Был среди них инженер, полное его имя никто не знал, звали его просто Эрик. Безобидный, услужливый, робкий. Есть такие люди, присутствие которых почти не замечают. И отсутствие тоже. Внешность у Эрика была заурядная, средний рост, лицо неуверенного человека, но правильное, без особых примет, даже опытный милиционер не смог бы описать его. Если бы он, допустим, в компании молчал, на это обратили бы внимание, но он нормально общался, смеялся чужим шуткам, ходил на лыжах не хуже других. Чего-то иногда пытался рассказать, как правило, это было скучно, работал, кажется, инженером по канализации, ничего интересного там не было, а может, и было, да только

преподнести это он не умел. Позже многие вспоминали, как он был добр, безотказно и щедро участвовал в складчинах, ремонтировал яхту. Чего-то еще делал, но все это сразу забывалось.

Вскоре после того как в компании появилась маленькая Зина, заметили, что Эрик не сводит с нее глаз, этим, пожалуй, впервые он как-то обозначился в наших сборищах. К Зине всех привлекало ее высокое чувство жизни, все в ней искрилось, играло. Выдумщица, острая на язык, она быстро завоевала общую симпатию. Не гналась за нарядами, длинный заносенный свитер выглядел на ней так ладно, что опровергал дорогие кофточки других женщин. И что примечательно — женщины на нее не обижались, ей подражали, тем более что это было доступно, и даже признавали ее преимущества. Как-то решили отмечать чей-то день рождения. Зина затеяла представление, стала выяснять, кто что может. Один играл на гитаре, другой показывал карточные фокусы. Дошло до Эрика, но, сколько из него ни вымучивали, он ничего не мог предложить. То есть пытался «изобразить» какой-то текст, но, послушав, Зина махнула рукой. Когда ей говорили, что Эрик страдает по ней, она морщилась как от зубной боли.

Над этим иногда подшучивали, Зина злилась, а Эрик не переставая пялился на нее, смотрел издали, с тоской, с печалью. Однажды она даже пожаловалась на него Алеше, капитану нашей яхты. Алеша пробовал отшутиться, мол, сердцу не прикажешь.

Но Зина завелась, либо он уймется, отвалится, либо пусть не приходит, он ее достал, зачем ей эта морока. Других вариантов она не признавала, и все понимали, что если выбирать, то придется отлучить Эрика.

Пришлось Алеше провести с ним мужской разговор — снимай, парень, осаду, ничего тебе не светит. Эрик оказал некоторое сопротивление — разве можно запретить любоваться и вообще чувствовать, он же ничего такого не нарушает, и как может женщине не нравиться то, что она нравится...

Довольно занудно он настаивал, что любой женщине лестно иметь поклонника, лишних поклонников не бывает. Явно не учитывал ситуацию. Поклонник поклоннику рознь, и Алеша перешел на прямой текст — не пара ты ей, посмотри на себя, что ты есть, ни рож, ни денег, ни славы, к чему ей твоя канализация, твои говнопроводы, все равно если б он, Алеша, стал клеить принцессу Диану. И смех и грех. Искал бы себе под стать, пойми, парень, — вы несовместимы.

И без того неуверенного в себе Эрика добить было нетрудно, все соглашались, что Зина не его поля ягода.

Эрик смирился, больше не докучал Зине, сторонился ее, на наши сборища по-прежнему приносил продукты, открывал бутылки, брался мыть посуду, никак не высовывался, стал еще незаметнее. Но удержаться не мог, улучив момент, когда Зина не видит, не спускал с нее глаз, замерев, слушал ее.

Перед летними отпусками Зина пригласила всех в ресторан по случаю получения премии. Юрист в какой-то фирме, она выиграла крупное дело и была весьма довольна собой.

Ресторан славился рыбными блюдами, посреди стола лежала огромная фаршированная щука, мужчин обрадовала вобла с пивом. В тот вечер Зина сумела завести всех на выдумки, шуточные тосты. Анекдоты. Посторонних в зале почти не было, на маленькой сцене тихо наигрывал пианист. Зина выходила на сцену и отплясывала с Алешей какие-то акробатические танцы, выделяя немислимые па своими крепкими ногами. На ней была коротенькая юбочка, Зина принадлежала к той счастливой породе женщин, уверенных в себе, в том, что все в них привлекательно.

Пили легкие молдавские вина, Зина по очереди вызывала мужчин, и кто показывал фокус, кто читал стихи, чего-то изображал...

Думали, что она обойдет Эрика, но Зина назвала и его. Пробовали остановить ее, она не слушала, требовала его на сцену. Эрик встал, мучительно улыбаясь.

Зина оглядела его сверху донизу, от потной затылки до ярко-желтых туфель, так оглядела, что бедняга совсем увял, съезжился.

— А вы что можете?

Подождала, усмехнулась.

— Как же так? Даже тетерев распускает хвост.

Она безжалостно вышучивала его, как потом призналась докторше — надо проучить и раз навсегда отвадить.

— Читайте стихи, неужели ничего не знаете? Или нет, стихи уже были. Спойте нам, Эрик, да-да, что угодно.

— Давай, давай, — подбадривали его мужики. — Оторви какие-нибудь частушки.

— В мою честь! — требовала Зина.

Эрика вывели на сцену, всунули ему микрофон, он повертел его, умоляюще обвел всех глазами. Нас извиняло то, что подвыпили, но все равно в этом ожидании потехи было что-то жестокое. Эрик откашлялся, мотнул головой, попробовал начать — получился надсадный хрип, все засмеялись, Зина театрально поклонилась: «Благодарю за серенаду!»

Почему-то эта ее реплика озлила Эрика, он опять засипел в микрофон, но вдруг голос его вырвался из хрипа, голос слабенький, словно голенький, без аккомпанемента, дрожал, пискливо сорвался, но тотчас выпрямился. Пианист первым уловил мелодию, помогему. Мелодия простая и незнакомая. Были такие слова, почему-то они запомнились.

Любовь и нежность
Мне только снились...

Постепенно голос у Эрика окреп, очистился, волнение утихло. Сам он стоял все в той же неловкой позе, не зная куда девать руки.

Ему похлопали, радуясь, что наконец эта тягомотина кончилась и можно приступить к осетрине на вертеле.

Но Зина попросила его спеть еще, не просила, а приказывала, словно недовольная тем, что он выпутался.

На этот раз Эрик сразу запел чисто, свободно. Видно было, как он сам удивлялся тому, что поет. Еще спел две песни Новеллы Матвеевой, а последней была его, авторская, песня о том, как он идет вдоль вечернего моря по теплomu песку, где недавно прошла его любимая. Время их опять различает, им никак не совпасть. Пел он без грусти, получалось, что несовпадение даже чем-то его устраивает. Эта интонация удивляла неожиданностью, Эрик улыбался, и вдруг увиделась его тихая улыбка, его застенчивое мечтательное лицо с красными ушами, кривоногая фигура, крепкая, широкоплечая.

Зина выбежала на сцену, обняла Эрика. Расцеловала со слезами на глазах.

— Я свинья, я свинья, — повторяла она. — Мне стыдно... Но ты тоже, зачем ломался.

Вряд ли Эрик слышал, что она говорит, он смотрел на Зину и блаженно, глуповато ухмылялся.

Его хвалили, расспрашивали, он клялся, что никогда раньше не пел, то есть в школе выступал в детском хоре, больше никогда. Ясно было, что сам плохо понимал, что произошло. Он не спускал глаз с Зины, перешел в другое состояние — счастливой уверенности. Обсуждали, откуда взялся у него такой голос. Эрик отвечал невпопад, ему было не до того...

Такая вот история, заключила рассказчица.

С тех пор, добавила она, Эрик больше не пел, говорил, что голос у него пропал, как сказал Алеша: гнездо цело, а птицы улетели, Однажды попробовал — не получилось, но он не горевал, думаю, и не верил, что такое вообще было.

Жаль, не записали его тогда. Что же это с ним случилось? А вообще-то хорошо, что есть еще такое, чего мы не понимаем.

Сигита Адоменайте

Похороны цыпленка

С литовского. Перевод Н. Адоменайте и Д. Долинина



А пережила всех... С пятнадцати лет — одной ногой в гробу и только через полвека шагнула другой, — все тянула, медлила, упиралась и торговалась. Одеть или попробуете сами? Знаете, может, придется руки ломать, это ваша мамочка? Что вы, что вы — это просто Тася, маленькая, сухонькая, никому не нужная, ей уже все равно. Деньги со свистом летят из кармана, вот и этому краснощекому существу сунула десятку. Платье трачено молью, интересно, заметно ли? А что вы хотите, она же шила его лет тридцать назад. Ничего, прикрою, придется пожертвовать аспарагусом. Чего уж тут.

Старые рецепты, квитанции, тетради с пожелтевшими страницами — афоризмы — подумать только! Письма, открытки, уютные рождественские картинки — чепуха, макулатура, к черту. Похоже, она собирала даже старые промокашки. Переворачиваю, перетряхиваю, а комната по-прежнему пахнет ее жизнью — одинокой, бедной, неудобной. Помня формы ее стародевичьего тела, вздернула левое плечо темно-зеленая, будто только что повешенная на спинку стула кофта с вытертыми, поредевшими рукавами: скоро придет хозяйка. Зевает раскрытый полупустой аптечный пузырек, прищурившись, дремлют очки на раскрытой книге, пояс зачуханного старого халата, брошенного на кровать, струится из кармана на пол. Сердито стучит тростью повисший на стене гордый усатый предок, задыхается, втиснутый в тесную черную одежду с глухо, по самый подбородок застегнутыми пуговицами. Рядом с ним — суровая мачеха с плотно сжатым ртом: не смей! Не смей расслаживаться в нашем семейном кресле, не беспечно его сгнивший голубой бархат, не прикасайся к подлокотникам, отшлифованным до блеска нашими ладонями, только попробуй!

Ладно уж, ладно. Но пока я не упрятала вас в мешок (ужас, куда деть весь этот хлам?) — могли бы подмигнуть, кивнуть или как-то еще показать, где же те долбаные деньги, потому как без них... Я-то уж думала — уйдет, ничего не соображая, но в последний день она спохватилась: мои ноги, им с каждым днем все тяжелее меня носить, помоги добраться до раковины. Потом легла и словно удалилась. Глаза бессмысленно блуждали по голым стенам, словно она пыталась внутренним зрением, едва тлеющим сознанием разглядеть, что ждет ее впереди. И вдруг рассмеялась: не сердись, я ведь не ведаю, сколько мне осталось. Не переживай, на мои похороны тебе хватит. Ишь ты, не переживай! Знала ведь, что у меня ни гроша. Я еле успела притащить нотариуса: облачко духов, зеленое повесенному платью — ох, окно откройте, тут так... И уберите капельницу, больная должна письменно изъявить свою волю! Коротенький голубой халатик суетится вокруг кровати. Словно тень пробегает по огрубевшему, будто посыпанному пеплом, лицу Таси — смеется, что ли? А халатик (не тот ли, что утром пролаял прокуренным голосом за дверью палаты: эта старуха из одиннадцатой еще жива?) хлопает черными как смоль, накрашенными ресницами: что вы, нельзя, больной хуже! А зеленое платье: последнюю волю, только последнюю волю, сами видите — умирает. И Тася открыла глаза. Я приподняла ее вместе с подушкой, зеленое платье втиснуло в пальцы ручку, и, с горем пополам обозначив «последнюю волю», ручка покатила по полу. Теперь сами колите, смотрите, какая рука! Главврачу сообщу! Долго бы они еще препирались, только я сказала — кончайте, она уже померла.

Ящики комода вверх дном, шкаф выпотрошен, внутренности раскрыты миру. А вот книги, горы книг, стонут, изгибаются полки, испещренные дорожками древоотцев. Где вы, коричневые толстобокие пряники? Как ловко отлавливала вас мачеха на раскаленном противне углом передника. Нет их, и глиняный горшок для меда давно опустел. Мед превратился в книги... В шкафу одни лишь старые тряпки, а где же вы, развевающиеся на ветру, так и не сшитые платья? Превратились в книги... А туфельки на острых каблучках, а позвякивающие, посверкивающие в сумерках побрякушки? А театральные залы, а серебряные голоса певцов? Отпуск, море? Все конвертировано в книги... В своей девственной нетронутости они просвечивают сквозь толстую фату пыли: упитанные словари, глянцевые альбомы, кладези *афоризмов*... Бедняжка думала, что хорошо вложила деньги... Уважаемые, в мешке больше дюжины чюрленисов и шимонисов, да еще пара толстых иностранцев, больше было не дотащить, ей-Богу! Только вот весельчаки-могильщики меня не поймут, да и батюшка — вряд ли...

А где же... Нет, это слишком — в ее доме нет зеркала!

Закуток за шкафом, прикрытый занавеской. Стоптаные туфли, старые шапки, нитки, изъеденные молью, — взлетает, трепещ крылышками, тучное облачко: что случилось, кто потревожил наш вековой покой? Кыш! Вот, что-то еще. Сундук.

И на меня нахлынуло время.

Законсервированное, оно вытекло из ветхой картонной коробочки. Мыло «Кармен». Время течет сквозь мои пальцы, отшвыривает меня назад, туда, где мне никогда уже не бывать. Смешно, у меня дрожат руки, дрожат из-за каких-то пестрых лоскутков! Нарядная одежда для моих деревянных кукол, собранные Тасей цветные обрезки, наконец-то я вас получила! Получила только теперь, когда вы уже давно не нужны мне...

В коробочке есть что-то еще. Узкое, почерневшее серебряное колечко. Не разглядеть. Где ее очки? «Вилюс, 1946».

...Весь в земле, склизкий трупик цыпленка уже вонял — похоронила я его больше недели назад, плотно обмотав красной шерстяной ниткой, чтобы стал похож на Тасю. Очень мне нравилось это ее городское платье — ярко-красное пятно пылало в зелени травы. Подложив руки под голову, Тася дремала позади желтого улья. Я подкралась и высыпала на нее песок из ведерка, но отповеди не дождалась, потому что в этот же день привезли Вилюса. Тася заперлась в сарае, а мать все ходила вокруг, заглядывала в щели, как бы та чего-нибудь с собой не сделала. Вилюс почему-то лежал возле костела, и отец пошел на него посмотреть. До меня никому не было дела, можно было спокойно перезахоронить цыпленка. Крест распался, пришлось снова раскопать могилку, подсократить «красное платье Таси» и связать веточки ниткой. Среди колокольчиков крест выглядел красиво. На этот раз цыпленка не жалела — он был Тасей, а мне теперь хотелось, чтобы наконец-то она померла от этой своей чахотки. Обманула она меня, не привезла обещанные лоскутки. Сияющие разноцветьем, они так и остались лежать, наглухо закрытые картонной крышкой, в коробке из-под мыла в далеком, пропитанном мылом городе. (Тася была чистой, и от ее рук всегда пахло мылом.) Я всю неделю была послушной, а она привезла только ботинки для Вилюса. Вилюс был хилый, с маленькими ногами, коричневые ботинки мачехи ему оказались в самый раз. Я думала, что она ревет из-за этих самых ботинок. Небось, стырила их у мачехи. Отец говорил, что мачеху можно заподозрить в чем угодно, только не в том, чтобы она легко с чем-нибудь рассталась. А если она и отдала ботинки, то зря: возле костела Вилюс лежал босиком.

Когда я вернулась домой, Тася уже вышла из сарая, но продолжала плакать. Меня рано отправили спать, а утром плакала уже мать — теперь отец упал с дерева. Обломилась ветка и застряла в лопастях маленького ветряка с динамо-машиной. Отец не мог слушать свой «Филипс», полез на дерево, чтобы ветку убрать, и свалился. Только об этом никому нельзя говорить. Мать разрывала на куски уже вторую простыню — не успевала она сменить повязку на руке отца, как новая тут же пропитывалась кровью. Эта история была каким-то образом связана с таинственным исчезновением Вилюса — возле костела утром его уже не оказалось. Несколько дней по деревне шныряли люди в форме. Нас они не

тронули: никто не знал, что Вилюс — жених Таши, а отцовская рука пряталась под пиджаком.

Тася сильно кашляла, плакала и ругалась с отцом. Я иначе не могу, я должна, стонала она. А отец — я тебе покажу лес, возвращайся домой, к матери, погубишь нас всех! Тася в ответ — ты такой же, как твоя мать, только и думаете, как от меня отделаться! И снова заливалась в три ручья. Ругались они вообще-то всегда. Для Таши мать отца была мачехой — ну как тут мне было разобраться в этой путанице!

Но все же он Тасю уломал. Дроги аж светились, так чисто они были отмыты после отцовского полета. Тася сидела на потрепанном коричневом чемоданчике, узкие плечи ее вздрагивали. На меня даже не посмотрела...

Вилюс, босоногий Вилюс, ты так и не дождался Тасино приданого. Здесь оно, в сундуке. Ждет, прикрытое пожелтевшей, трухлявой папиросной бумагой. По-прежнему торчат упругие бугорки бюстгальтеров, — где же те девичьи груди? — стеснясь, жмутся друг к другу белые и розовые трусики с кружевными оборками ручной работы, наготове узенькие пояса, вот-вот прицепятся к ним смешные старомодные резинки, — где те стройные бедра? — а на самом дне притаилась длинная белая рубашка.

Цокает металлическим зубом крышка сундука. Спи спокойно, заплесневелое богатство, — мне ты не нужно. Не нужно никому, как и вся Тасина жизнь с задушенной в сундуке ее сутью. Или с тем, что могло бы стать ее сутью. Непрожитая жизнь: пустая, бессмысленная и унылая.

Правда, был Вилюс. Был, хоть она и потеряла могилу, которую сама же и выкопала — отец с простреленной рукой не мог ей помочь. На месте могилы отец оставлял нескошенную люцерну. Когда поле вспахали чужие, знак исчез, и Тася не смогла ее найти. Но Вилюс у нее был, был всегда, был такой, каким она его зарыла, — всегда босой, с кровавой ранкой на шее, всегда верный, только где-то отставший, нелепо застрявший во времени, всегда ее Вилюс.

А я еще жалела ее! Пустая, никчемная жалость — она владела большим, чем я, она владела всем. Могла ухмыльнуться на смертном одре — почему бы нет — она владела всем! Она любила. Ее любили. Зачем ей зеркало — ее любили такой, какой она была. Она знала — ее никогда не покинут.

Черт возьми, похоже, я снова хороню цыпленка. Знаю, знаю — в этот день предадимся раздумьям и скорби, однако теперь это не подходит! Вы только подумайте, эта нищенка, вечно живущая впроголодь, эта скрюченная, задыхающаяся, харкающая карга с раскромсанными легкими — она была счастлива, а я...

Игорь Емельянов

Дышу и думаю «я жив»...



* * *

как пуля вокруг себя вращаясь
шипя летит метеорит
Иван Лукич слегка качаясь
кого-то мерно материт
как славно этот мир устроен
в нем много места для труда
здесь можно петь шагая строем
и строить в тундре города

моря и шахты здесь глубоки
а речки с реками быстры
а взгляды женщин волооких
как штык конвойного остры
Иван Лукич ругаясь скверно
толкает солнце пред собой
светило светит равномерно
и над землей и над водой

* * *

исчезли дороги попрятались люди
луна заблудилась в стеклянной посуде
на черной земле неизвестные твари
пьют звездное небо в нелепом угаре
все пусто и голо безумствует ветер
пуская в ход пальцев костлявые плети
желудки оврагов сжимают пространство
ревнуня равнины за их постоянство
и только деревья корежась от муки
все тянут друг к другу тяжелые руки
и время сгорая последним поленом
уходит сквозь щели с теплом постепенно

* * *

вот жук ползет по косогору
как рыцарь важен и спесив
мундир на зависть матадору
обворожительно красив
его механик наблюдает
в свою подзорную трубу
надежду тайную питая
схватить удачу за губу

желает он закон движенья
в металле точном воплотить
и за такое достижение
вознаграждение получить
но на вопросы нет ответа
закон движенья не открыт
дымит механик сигаретой
как прежде беден и небрит

Емельянов Игорь Алексеевич родился в 1963 году в г. Якутске. Закончил МГУ в 1986 году по специальности географ. Живет в Подмоскowie. Начал печататься в прессе Якутии в 1992 году.

Журнальные публикации: «Полярная Звезда» № 2, 1994 г. (Якутск), «Иронический магазин» № 30, 1997 г., № 32, 1998 г. (Москва), «Знамя» № 2, 1998 г. (Москва), «Арион», 1998, № 4, «Кольцо «А», 1998, № 7.

* * *

ты больше не спросишь меня где я был
тебе глубоко наплевать где я был
а если и спросишь то я не отвечу
на этот вопрос я ответ позабыл
ты больше не крикнешь в окошко «я жду»
ты не переступишь шальную вражду
а если и крикнешь то я не замечу
и в гордом молчании мимо пройду
мы больше не верим не любим не ждем
друг друга выносим с огромным трудом
зашторены окна потушены свечи
и стал одиноким наш вымерший дом

* * *

качает ветер свет от фонаря
июнь тайком ушел от января
ушел и захватил с собой озноб
и коробок чихающих хвороб
ушел и захватил с собой печаль
и жестких слов предутреннюю сталь
но только долгой ночи он не взял
наверное карман его был мал

* * *

вся музыка рождается из тьмы
из морока повернутой восьмерки
и эти звуки слушаем не мы
а ганглии дичающей подкорки
таламус это выше чем Синай
а музыка отнюдь не субкультура
не понимай ее а обнимай
подкожную своей мускулатурой
ты с нею как с гражданской женой
живешь в грехе де-факто а де-юре
свой брак зарегистрировал с другой
пленившись недостатками в фигуре
но ночью нерасстроенный рояль
прорвется сквозь скрежещущие звуки
и позовет в космическую даль
а ты заплачешь сжав бессильно руки

* * *

снег идет часы идут
облака пространство пьют
из окна не видно речки
да была ли речка тут
снег идет и жизнь идет
сучка воеет у ворот

это верная примета
кто-то умер иль умрет
снег идет душа молчит
сердце громкое стучит
и Вселенная сгорает
в тихом пламени свечи

* * *

март приближаются погоды
беснуются вокруг нуля
дорогу портят переходы
от наждака до киселя
в лесу шум города не слышен
за дымом поседелых ив
темнеет треугольник крыши
пейзаж унылый оживив
движенья выверенно скоры
под каблуком визжит ледок
служба подобием опоры
для разъезжающихся ног
цель далека да Бог с ней с целью
списав остаток дня в пассив
слежу за медленной капелью
дышу и думаю «я жив»

* * *

дома и трубы
заводы и мосты
их формы грубы
движения просты
их пальцы тупо
срывают каждый день
одежду с трупов
убитых деревень
мы все больны
мы все больны
в индустриальном мире
мы не живем
а только видим сны

Марина Тарасова

Колбасный цех, который на Парнасе



Снег метет, зыбкой крышей накрывает черный вытянутый остов призрачного зданья, ни на что уже не пригодного, даже на склад, но по странному недоразумению еще не сгнувшему с лица земли. Одноногий амур с отшибленным крылом, нелепо стоящий посреди голого места — там, где раньше красовался пышный фонтан, а теперь темнеет разбитый цоколь, — кажется инвалидом какой-то бесконечной, затянувшейся войны. Кто был тот просвещенный купец, что на заре русского модерна построил свою усадьбу за городской чертой и не без претензии назвал ее Парнасом? Кто теперь ведает об этом, кто знает?

Но Парнас закрепился в названии района.

Снег легко опускается на двухэтажный корпус Колбасного цеха, который уже более пятидесяти лет стоит на Парнасе. С тридцатых годов в нем мало что изменилось — треснувшие потолки, сырые помещения с никудышной вытяжкой, тяжелый дух мясной завали...

Отметив Колбасный цех своим прикосновением, снег устремляется дальше. Огромная простыня колышется над пятиэтажками заводской окраины, над валютным трактиром «Звон бубенцов», взметнувшим голубые башенки у выезда из города. Жители микрорайона прозвали его «Недозвон», видимо, из-за недоступности, отторгнутости от их бытия. И с чем сверялись строители, где они видели русские трактиры в готическом стиле?

Ровно в половине пятого Зина Махотьева выходит из проходной Колбасного цеха и незаметно отделяется от других работниц. Меж ними не говорят такие незначимые слова, как «пока» или «до завтра», ведь ежику ясно, что не позже чем на следующий день они снова встретятся под раструбом огромной мясорубки, исторгающей колбасный фарш. Их ежедневное трудовое бдение напоминает популярную песенку «а у кольца начала нет и нет конца».

На Зине вязаная шапочка-самоделка, из-под которой выбивается на лоб химическая завивка, сделанная по случаю, здесь же на окраине — а у кого в их цеху прическа лучше? На ней старое пальто с выцветшей норкой и такие же латаные сапоги — на работе перед кем ей форсить? У Зины Махотьевой кожа цвета зимних сумерек, широкие полукружья словно вычерненных раз и навсегда бровей, тонкие, аккуратные губы... Зине никак не дашь сорок четыре года, на вид ей куда больше.

Зина хмуро глядит на маленького инвалида-амура с единственным треснувшим крылом, на занесенную снегом развалюху-усадьбу — хоть бы взорвали ее к хренам, Универсам для рабочих построили, а то все в разных местах покупаешь, маешься — огибает трамвайный парк и входит в сберкассу, недавно переименованную в «Сбербанк», на первом этаже жилого дома.

Сегодня только тридцатое декабря, Зина мало надеется на удачу. Но и не прийти сюда не может, становится в хвост очереди. И перед тем, как приблизиться к окошку, из цветной застиранной кошелки достает прозрачный пакетик, перетянутый резинкой, — сберкнижку. У Зины и в мыслях нет снять проценты, немалые проценты со своего вклада, но пусть их начислят!

В окошке девушка с разрисованным лицом сверлит Зину холодным

неприступным взглядом. Кажется, юное существо с махровыми ресницами знает о людях столько, что от одного этого можно враз и состариться.

— Мы же начисляем проценты в первых числах, — устало роняет она.

— А прошлый год насчитали в декабре! — хрипло возражает Зина, шапка сползает на затылок, обнажая спутавшиеся, жирные волосы.

— Никогда такого не было! Зачем зря ходите, ни свое время не жалеете, ни наше?

— Первого выходной, — недовольно бормочет Зина, но сзади ее уже раздраженно толкают:

— Вам же сказали? Отходите!

— А вы бы хотели, чтобы мы и в Новый год отсюда не вылезали? — срывается девица-контролер. — Вас-то, небось, не заставишь!

Что растолковывать этой намазюканной дуре, что первого января она, Зина, без дела сидеть не будет. Злой румянец расплзается по ее серым щекам. Теперь она может вспылить, может наругать кому хошь, а то и послать подальше.

Выйдя из сберкассы, Зина пересекает узкую улицу и входит в продуктовый магазин.

Надо же! Сыр по три сорок, «Советский», хороший. Наверно, к Новому году выбросили, и народу мало. Но она счет копейке знает и такой дорогой брат не будет. Мало ли что вкусный, не в жратве счастье. Она посмотрит, какой подешевле, и в очереди постоит, слава Богу, ноги у нее есть.

Зина проходит еще квартал. В единственном на весь микрорайон Гастрономе, в молочном отделе, сгрудились злые, как осенние мухи, женщины. Есть, есть Ярославский по два шестьдесят, но ведь бабы выстроились за колбасой! Придется встать. Уж что-что, а колбасу она себе добудет высший сорт, без всяких там добавок, возьмет из спецзаказа, что Парнасскому начальству делается.

А коптят ее в единственной на весь цех голландской коптильне. В аккуратной комнатке, где развешены ароматные филеи, не наступишь ненароком на таракана, и распоряжается там Владимир Иванович Бычков, в ломком, как лед, крахмальном халате. Он курит только «мальборо», и никогда не подумает, что он родной брат Кольки Бычкова, давнего Зининою ухажера.

Зина занимает очередь, а сама пока в хлебный отдел, там быстро. Многоли ей одной надо, батон в сумку, да половину обдирного — всех-то делов. Тем временем очередь продвинулась, Зина уже почти приближается к продавцу, когда резко взвывается ее хриплый голос:

— Раз за штучным, значит, без очереди лезть можно, коза драная?

Но уж чересчур злобно взвывается, ударяет по барабанным перепонкам, многие ммуро на нее смотрят, не одобряют, да и сама Зина жалеет, что распетушилась, отворачивает лицо, будто чихнуть хочет: ведь девчонка в козлиной шубейке — это контролер из сберкассы, она самая; глядишь, в ее смену попадет Зина второго января и та уж отыграется прежде, чем начислит заветные ее, законные проценты.

Сорвалась, значит, с рабочего места, не досидев положенное, ее бы к нам, в Колбасный цех, вот бы узнала, каково через проходную на волю бегать... Но девушка совсем не узнает Зину, хватает пакетик молока с двумя плавлеными сырками и быстро за дверь.

От угла Гастронома Зинин дом виден, обшарпанная пятиэтажка, длинная и нескладная, как товарный поезд.

К дверям валютного трактира не подъезжают сегодня такси, мерцающая желтыми тигриными глазами, не выплескиваются в седой сумрак меланхолические песни времен нэпа. У стрельчатого окна не стоит чернобрюхий сокол в расшитой косоворотке и не выводит с натужным драматизмом: «Раздайте патроны, поручик Голицын, корнет Оболе-е-нский, налейте вина-а!»

Обычно заслышав томную музыку скрипок, долговязый пожилой швейцар Семен Иваныч, дядя Сэм, он же Длинный Доллар, сплевывает на асфальт и, поглядывая на горе-хипарей из местного ПТУ, столпившихся на тротуаре, говорит в сырой воздух:

— А что патроны, они ж кастеты вытаскивают и глаза заливают белым, белогвардейщики! — И, довольный своей остротой, смеется лающим смехом, сторожевой пес!

Бархатной тишиной веет нынче от пригорюнившегося кабака. Видно, скоблят, чистят перед новогодним игрищем.

Зина Махотьева подходит к своему подъезду, заглядывает в окно на первом этаже — с зеркала в чистенькой квартирке Пантелеевны сняли темную тряпку, родня строго сидит за столом на скромных поминках. Как хорошо, аккуратно умерла бабка! Всем бы так.

Зина знает — за долгую безупречную работу ей давно бы дали такую же отдельную, как у бабки Пантелеевны, но зачем ей одной жить, когда некому стакан воды подать? А вдруг случится что?

Зина подымается на второй этаж, поворачивает ключ в замке под призывное мяуканье соседской кошки — фу ты, прорва ненасытная, ведь только утром кормила! Сама Наталья, подружка-вековушка, сейчас за бугром, в Финляндии, у дочки, в этих, как их? — в Хельсинках. Спросить ее, Зину, она бы ни в жизнь туда не поехала, даже на месяц. Если бы что-то по-ихнему кумекала, а то ведь ни бе ни ме, от дочери ни на шаг, за подол ее держаться, как дитя несмышленное, и так целый месяц. Смехота!

А про Лариску-то ее она все знает. Какой Ларка оторвой еще со школы была. Охмутила финна, подфартило. А как прошлый год заявилась и Леху своего с автобазы вспомнила, и к ней румяным колобком подкатывается, можно, мол, тетя Зина, когда ты в вечер будешь работать, мы с Лешей у тебя в комнате посидим, а сама что-то заграничное в руку ей сует, воду туалетную, и мышкой такой глядит, прикидывается, словно они там с Лехой телевизор смотреть собираются.

Нет уж, ей это иностранное парфюмерное баловство ни к чему, у советских собственная гордость, смолоду не употребляла, чего ж теперь! Она на такую приманку не поддается. Куда лучше — все про человека знать и в кулаке его держать. Так оно надежнее.

Сознание, что она держит нити чужих судеб, наполняет Зину спокойной уверенностью. Ведь стоит ей шепнуть два слова Ларискиному финцу, и бросит он ее, блядугу.

Зина входит в свою комнату. Как струны арфы, трогает металлическую основу визальной машины, что лежит на раздвинутом столе. Включает цветной телевизор.

— Товарищи! — журчащим голосом говорит корреспондент областного телевиденья, мелкий снежок сыплется на лисью шапку, на его камеру. — Надо всемерно поддерживать всяческие ярмарки, торговлю фруктами прямо с фургонов. — Он довольно улыбается. — Тогда реальностью станет поговорка «муж обелелся груш».

Натальи нету, значит, можно наскоро поужинать на кухне. Но с этим успеется. Надо сварить свеклу, поставить на ночь на плиту кастрюлю с мясом для холодца. С утра она сделает опару и после работы испечет пирог с деревенскими яблоками, все же Новый год. Завтра в столовке будут торты распределять, но за него ж два сорок надо отдать, не меньше. Накладно. Если рубль не считать, разве что накопишь? Правда, на сегодняшний рубль чего купишь? Но когда их много, все-таки спокойнее. Зина разделяет говяжьи бульонки, когда нервической фистулой взрывается в коридоре телефонный звонок.

— Этой свон бубьенцов? — раздается в трубке не отечественный голос, скорее всего, финна. Сколько их понаехало строить Бумажный Комбинат!

Сейчас она приглубит зарубежного гостя.

— Сказать тебе, какой звон?

В трубке слышутся испуганные гудки. Хорошо она его отбрила! Пусть не ходят во всем заграничном, наших девок за бугор не сманивают.

...Кружится винт огромной стальной мясорубки, выплевывает кумачового цвета фарш для колбасы, и так же крутятся, жужжат Зинины дни.

Это сейчас честность ничего не стоит, смеются над честными, а два десятилетия назад... Правда, и с честностью можно просидеть на бобах, промытариться в общежитии, если не претворить ее в хорошее, полезное дело.

Зина со снисходительным презрением смотрела, как женщины тащат украдкой в грязную душевую колбасные батоны или еще что, как потом, пугливо озираясь, переодеваются. Под пальто пронести мимо вахтера вполне

можно — бабы внушительные, не балерины. Но ведь можно и предупредить, известить кого следует. И вот уже с попавшейся, несчастной и злой, снимают в дежурке блузку с прилипшим фаршем.

И за столько времени никто не догадался о Зининой честности, один Николай Бычков пронюхал, будь он не ладен!

Зина не побывала замужем и теперь об этом не жалеет. Правда, двадцать лет назад, когда она была молодая и смуглая и только переехала из общежития сюда, в свою комнату, могло с ней случиться такое, да вот не случилось. Валерка из Пожарки гулял с ней полгода и все, считай, было решено, когда, как назло, приключилась эта беда, и Валерий безнадежно пострадал на пожаре.

Когда Зина обо всем узнала, когда ей сказали, что потребуется почти полная пересадка кожи, первое, что она подумала — это ж какой уход ему понадобится? Значит, — сестрам давай, и врачи за так стараться не будут...

Черный, забинтованный, он лежал на больничной койке, вызывая у Зины стыдное и тягостное чувство, что этот большой сверток не имеет никакого отношения к патлатому, улыбочивому парню, которого в казарме Пожарки прозвали Бельмондо. Ведь если и останется жив, что за человек будет, ведь обгоревший, как танк на войне! Инвалид, сплошной инвалид, как с таким жить, семью заводить, от людей стыдно. Но смерть сжалилась над Зиной, забрала Валерия туда, где все становится такими же черными, как он, — чтобы не стеснялся своей румяной, грудастой девахи.

Над гробом его Зина громко, истошно плакала, и подруги — тогда еще у Зины были подруги — стали небожно пощипывать ее:

— Слышь, уймись, не вдова ж ты.

А после похорон утешали на свой лад:

— Ты что, не знала — Валерка-то, пухом ему земля, на самом деле Валея или Валий, в общем, татарин, хоть и обрусевший, на тебе, Зинка, он все равно б не женился.

Зина снимает шумовкой серую пленку с густого кипящего варева, как мутный нарост памяти. Были и после у нее кавалеры, но вспомнить совсем нечего. Вот Николай Бычков, наладчик из их же Колбасного, какой он ухажер? — пьянь оголтелая.

Застукал ее однажды в цехкоме, а вернее, подслушал Зинин разговор с начальством.

— Теперь ты у меня в руках, моя лапочка! Теперь в гости приглашай, — осклабился Бычок прокуренными зубами. Сперва вроде бы в шутку сказал, а потом как клещ присосался.

То ли дело, к соседке ходил Петр Петрович, пусть женатый, но зато человек культурный, с пониманием, всегда Наталье что-нибудь интересное расскажет: как они с женой стенку немецкую покупали и что еще приобрести собираются. А Бычок только одно знал:

— Ставь, Зинка, бутылку!

И в будни, и в праздники, словно она должна ему. А как насосется, второпях сделает свое мужское дело и дрыхнет без просыпу. А ей от его торопливости ну никакой радости, уж лучше одной век коротать, телевизор смотреть.

Как переменялась ее жизнь с покупкой телевизора! И то: шуры-муры на работе заводить — последнее дело. А где она еще бывает? Три года не могла от Бычка отвязаться, все грозился поганым своим языком ослабить ее в цеху.

Тогда Зина стиснула зубы и перестала скупиться. Стала баловать Николая и белым, и красным. Пусть залыется, скотина, человеческий облик потеряет. Кто ему тогда поверит? А совсем спокойно ей станет, если он и вовсе с этой бормотухи копыта откиннет.

Но Бычок оказался живучим.

К концу третьего года как раз дал ей местком бесплатную путевку на Черное море. Думала Зина позагорать — повеселиться, в общем, душу отвести в кой-то веки. Но не тут-то было. Зина с первого же дня почувствовала себя чужой среди нарядно одетых, самоуверенных людей.

«О море в Гаграх!» — надрывался в киоске звукозаписи пряный голос, похожий на густой турецкий кофе, который Зина попробовала тут впервые. Лично ей это море и пальмы надоели за два дня, они казались ненастоящими,

намалеванными на коврике, какие в ее детстве продавали у них на базаре, в райцентре на Псковщине.

Очень даже сразу выяснилось, что ее синтетика выглядит здесь смешно, да и смертельно жарко в ней, носят все просторное, словно на размер больше, яркий ситец и светлые штаны из хлопка, похожие на исподнее.

Ее неученая мать, а деревенька их стоит на пути в Пушкинские Горы — когда останавливались у придорожного кафе машины и появлялась нарядная заезжая публика, всегда говорила ей:

— Неча глаза разевать, по одежке протягивай ножки!

А в цеху смолоду втолковывали про рабочую честь, что их Колбасный вкупе с Мясокомбинатом кормит город, население, и людям не приходится ездить за самым главным, насущным, в Ленинград и другие города.

Вот ее рабочая честь! Копейка ей цена среди счастливых, денежных людей, которые проходят мимо и смотрят сквозь нее, как сквозь какую-нибудь пластиковую занавеску. Не зависть, а ненависть ко всем этим везунчикам занозой сидела в душе.

Однажды в женском салоне Зина углядела на толстой шее парикмахерши массивную золотую цепь и простодушно спросила:

— Где купили?

— А у вас такой нет, что ли? — ухмыльнулась язва-парикмахерша.

— Нет, — смущенно ответила Зина.

— Это вы бросьте. Кто на еде и одежде экономит, у тех все — припасено, в лучшем виде. Сейчас уж десять-то тысяч у каждого на книжке есть.

Десять тысяч! Сумма ошеломила Зину. Это ж как корячиться надо! Или воровать. Но, вернувшись в свой город и поразмыслив спокойно, она поняла, что можно и честным трудом накопить столько, даже больше. Надо только все делать с умом и терпение иметь.

Значит, так. Вместе с премиями чистыми у нее получается где-то двести тридцать рублей. Сто тридцать она может спокойно откладывать, и еще два процента в год будет набегать, как объяснили ей в сберкассе. Это ж лучше, чем какому-то Бычку бутылки ставить! Раз — увидит пустой стол, вдругорядь — сам отвалит. И не застрашает он ее, хватит!

У Зины словно крылья выросли, жизнь обрела смысл, появилась определенная и сладостная цель.

Теперь редкий день она не подсчитывала, сколько же это получится за два года, за три, за пять, да еще с процентами, на которые, как мясо на мослы, тоже нарастут проценты, вот какая хитрая штука! Все, бывало, сложит-умножит, а как постелит вечером диван-кровать, теперь Зине не приходилось его раскладывать, начнет в уме считать снова, так увлекла ее эта радостная арифметика!

А через три года зарплату ей прибавили, да еще купила она «Северянку», поступила на курсы, занялась машинным вязанием. Берет по-божески, поэтому нет у нее в доме отбоя от заказчиц. Теперь Зина откладывает каждый месяц по двести рублей, а то и больше. Вязальная машина да цветной телевизор — вот и все крупные покупки, какие позволила себе Зина за десять лет. На курорты она не ездит, а нехитрую свою одежду носит пять, а то и семь лет.

С приобретением «Рубина» жизнь Зины волшебным образом преобразилась. Вакуум общения заполнился. Теперь она не злилась, не горевала, что замужние подруги не зовут в гости, — чего она там не видала? И радовалась, что к ней никто не приходит — как-никак, а надо что-то на стол выставить, макаронами да чайком, как она сама пробавляется, не обойдешься.

— Ты бы ребеночка родила! — уговаривала ее Наталья. — Пособлю чем смогу. Я ведь без мужа вырастила. А то у тебя вместо дочки сберкнижка. Полюдски ли? Спихватись на старости лет.

Спихватится она, как же! Вон, сеструхи ее деревенские нарожали и теперь на всю жизнь — дойные коровы. Сперва детям дай, потом — внукам... Нет, лучше быть самой себе хозяйкой.

Доедена утренняя холодная картошка. Вот и свекла сварилась, и под кастрюлей с мясом можно огонь до минимума убавить. Зина идет в свою проветренную комнату. Нет, вязать, ломать глаза при сорокасвечевой лампочке она не будет, на это выходные есть.

Подперев кулаком подбородок, Зина со злым недоумением смотрит на экран. Ну чего им не хватает в этом самом Кемерове, что они бастуют, сыр-бор

подымают? Заработать побольше хочешь, так на вторую работу устройся, раз ты мужик и руки у тебя есть! Она таких мослов не имеет, а сколько лестничных клеток перемыла смолоду. Самоуправление им подавай! А больше ничего не хотите? Развязали языки! Зачем правительство им дозволяет? Народу что нужно? — Твердая рука и чтоб колбасы побольше.

Вздрагивает, крутится, скрежеща, громадная мясорубка, как гигантская шарманка, исторгающая вместо музыки колбасный фарш.

Сегодня ее остановили раньше конца смены, день предпраздничный, а еще к ним на Парнас, в Колбасный цех приехал городской композитор — встретиться с коллективом. Высокий и молодежавый, бодро поблескивая глазами, он, улыбаясь, сказал, что «красный уголок» ему не нужен, что он хочет встречаться прямо на рабочем месте, там пусть и поставят стулья со столом. Потом композитор вежливо посожалел, что в цехе нет инструмента и ему придется говорить о своей музыке словами.

Ерзавшие на стульях работницы поглядывали на большие настенные часы.

— Я знаю, вы торопитесь домой, к семейным очагам, — вкрадчиво начал гость. — Я кратко расскажу вам только о моем последнем произведении, которое сейчас готовит наш музыкальный театр. Это опера-балет, она посвящена Гражданской войне.

С каждым произнесенным словом композитор оживлялся все больше.

— Белые танцуют, а красные — поют, я хочу разрушить стереотип врага, они просто не понимают друг друга.

— Как же им понять, если одни танцуют, а другие поют! — прервал его с места Колька Бычков, видно, уже принявший с утра.

Владимир Иванович Бычков стал краснее кумача на колченогом стуле.

Композитор пошел распространяться насчет специфики оперы-балета, но его уже мало кто слушал, потихоньку вставали со стульев.

— Вы лучше приходите на премьеру! — пригласил гость.

Как же, разбежался! Зина вспомнила, как однажды им дали бесплатные билеты на будний день, и она проспала весь спектакль.

Потом, притворно смущаясь, композитор взял сверточек — полукопченый сервелат и в сопровождении главного технолога кандибобером прошествовал к выходу.

Так-то, опера — кордебалет, а кушать и тебе нужно! — не без злорадства думает Зина.

Она выходит из проходной на улицу и видит — в окнах сберкасссы темно. Ничего, второго ей в вечернюю смену, придет пораньше, куда они денутся!

Разваливающаяся черная стена купеческой усадьбы в крупных звездах снежинок — словно низкое ночное небо. Расставшись на двое суток с Колбасным цехом, Зина идет по родному Парнасу, по свежему снежку, похожему на короткую белую шерстку, и думает о том, что всего через шесть лет ей на пенсию. Работа вредная — с селитрой, с разной химией — в пятьдесят ей уже положен отдых. Но она, конечно, не пойдет и сможет к тем двумстам своим рублям откладывать еще и пенсию. А когда немоготу будет работать и глаза для вязанья станут слабы, устроится куда-нибудь лифтером, это ничего, что до центра на двух трамваях добираться. Не может она без труда жить, так ее воспитали.

Тогда и в деревню можно будет съездить, отдохнуть. Но коротать старость в деревне Зине не хочется. Она помнит, как пять лет назад поехала на свадьбу дальней родни и какой нескладухой, каким безобразием все кончилось.

Дело было зимой, гуляли долго, дней шесть кряду. На четвертый или пятый день ихний сосед Борька Крутов со свояком Ильей Сверчковым направились достать из погреба заначку самогона. Борькина баба смекнула, зачем они идут, семенит впереди, базарит, костерит своего мужика, налетает на него, как курица, а помешать мужской задумке не может. Рванув на себя калитку, синий похмельный Борька обернулся к Илье:

— Хочешь, я эту стерву прям на твоих глазах зарублю? Слабо, скажешь!

— Не болтай. Ясно, слабо, — сумрачно ответил Илья, мотаясь из стороны в сторону, как огородное пугало на ветру. («Разве можно было в такое поверить!» — скажет он потом.)

Борька вырвал из недоколотого березового комля заиндевелый топор и маханул им супружницу.

Руки у Бориса были нетвердые, удар пришелся по плечу, да и пальто на ватине смягчило его силу.

Жена зашлась коротким криком и свалилась ничком тут же на дворе. Сбежался народ, загомонили бабы, стараясь стащить с нее окровавленное пальто. Мужики измузулили Борьбу с Ильей до полного отрезвления.

— Не понимаю, не знаю, что на меня нашло... — хрипел Борис под градом кулаков.

Вот устроили представление! — брезгливо думала Зина. Рана глубокая, кость задета, но, может, и выживет. Надо скорей в райцентр, да кто отвезет? Сашка, мент, сам пьянее вина, шофера все бухие. А кровь так и хлещет, много вытекло. Да что она — крови и мяса не видела? Смолоду на Мясокомбинате насмотрелась.

Женщину так и не отвезли в райцентр, не спасли. «Скорая» опоздала. Борису Круговудали восемь лет. Два его сына не засиделись в детдоме, угодили в колонию. Вот и рожай после этого!

Зина отпирает ключом входную дверь, вешает в коридоре пальтецо. Кормит Натальину скулящую кошку, меняет песок.

Утром, до работы, она вынула из загустевшего варева кости, заполнила холодцом большой эмалированный поддон, успела заквасить дрожжи. Приготовлять и раскатывать тесто, начинять его аккуратно нарезанными яблоками Зине приятно.

Пока пирог печется в духовке, источая сладкий летний запах, Зина не спеша моется под душем в отчищенной до снежной белизны ванне. Но ее усталое изработавшееся существо не оживает от ласки горячих струй. Их прикосновение кажется ей чужим и мимолетным, мокрые волосы, как черные водоросли, облепляют серую дряблую шею.

Высушив голову над газом, облачившись в байковый халатик, она, уже у себя в комнате, достает из шифоньера белую кружевную блузку и клетчатую юбку со встречной складкой спереди — дары ее заказчиц. Так оно лучше — брать вещами, где у нее время искать по магазинам, да и деньги целее будут.

Зина вынимает из картонной коробки лакированные лодочки, рука ее тянется в ящик серванта за чулками и сама извлекает припрятанную среди всякой мелочи сберкнижку. Глаза скользят по колонке цифр этого года. Она их знает наизусть, вот последняя запись, итоговая сумма вклада. Двадцать две тысячи двести шестьдесят четыре рубля.

Зина стоит в застиранной комбинации посреди комнаты и любитесь раскрытой сберкнижкой, как почетной грамотой.

Все же, сколь бледны и ординарны женские сюжеты наших фотовыставок. Где тот дерзновенный авангардист с треногой, который мог бы запечатлеть вот это!

На такие большие деньги можно купить многое, например «жигуль», даже не один, недаром говорят: когда покупаешь машину, имей деньги на вторую. Только зачем она ей, Зине? С гаражами на Парнасе туго, а под окном всю разденут.хлопот сколько, а ездить куда — два квартала до Колбасного цеха? Купи она машину, тогда, ясное дело, деревенская родня о ней вспомнит, насыдет — не отобьешься.

Сестры крепко обиделись на Зину, а если так подумать, то за что? Когда она прошлый год приехала по телеграмме на похороны матери, они попросили ее помочь, дать денег на большие деревенские поминки. И как она ни втолковывала им, что девять лет ни рубля не сняла, только клала, не поняли, не обрадовались двадцатке, сэкономленной из зарплаты, осерчали. А ведь только почти вклад — сейчас пятьдесят, потом сто, и весь он размотается.

Летом, за полгода до этого, в ее последний приезд к матери, самая старшая сестра Клавдия сказала уже совсем желтой, чахнувшей старухе:

— Мама, вы бы пожили у Зинки, в городе врачи какие ни на есть.

— Нет, — покачала головой мать, — Зинка жлобистая, идейная, она меня с попом не похоронит.

Та, в свою очередь, уговаривать не стала.

Зина смотрела на худущую, вытянутую в гробе старуху почти как на

чужую, и ей не верилось, что это она, беспомощная и уже нездешняя, была ее когда-то, как сидорову козу, за боязливые поцелуи на сеновале.

И загомонили за сдвинутыми столами щедрые деревенские поминки с кабанчиком да пирогами с калиной, словно люди терпят ухабы жизни и даже смерть близких ей прощают только за этот час умиротворения.

Зина уже надела юбку и кружевную блузку, стоит на паласе в лодочках, но все еще нежно поглаживает тонкую серенькую обложку с синеватыми завитками.

На первой странице внизу, под надписью «Махотьева Зинаида Савична» стоит продолговатый, как ящик, штамп: «Вклад завещан». Нет — не сестрам, не возьмут они ее к себе, как состарится. Обе, оставшиеся в живых, старше ее намного, а человеку принадлежит все, только не его здоровье. Наталье, соседке, завещает она свои большие деньги. А станет их еще больше, ведь лет двадцать-то она, Зина, протянет, как пить дать. И за эти деньги Наталья будет за ней ухаживать, не отдаст в престарелый дом, будет кормить с ложечки, менять простыни, смазывать пролежни вазелином.

Зина извлекает из пыльного ящика замахровившуюся искусственную елку, посыпанную нафталином, словно бы моль могла поточить ее несъедобные иголки, вешает на неживые ветки маленькую гирлянду.

Зина подходит к окну — за деревянной перекладиной, в черном окоме неба одна-одинешенька горит звезда. Комок подкатывает Зине к горлу — отчего, что такого в этой одинокой звезде? Ну ладно, — гонит она непрошенные слезы, — всякий раз я под Новый год нюни распускаю, уж поздно, пора на стол собирать.

Зина ставит на скатерть почти горячий пирог, винегрет, холодец, принесенную с работы языковую колбасу. Пересыпает конфеты в хрустальную вазочку, которую ей подарил цехком к сорокалетию. Извлекает из холодильника две бутылки пива и баночку икры — тоже подарок заказчицы.

Зина сидит перед включенным телевизором, пьет пиво вперемежку со сладкой водой «Буратино», медленно жует бутерброд с икрой. Сейчас кругом синтетика, и что в этой икре находят, недаром говорят — рыбы яйца! Но чем ближе к двенадцати, тем сильнее и тоскливее щемит у нее в душе, тем жарче хочется, чтобы кто-нибудь был рядом в Новогоднюю ночь, кроме жалко мяукающей Натальиной кошки. Ну хоть бы Колька Бычков, недавно вернувшийся из ЛТП. Но Бычок после того, как она наведалась в милицию, за три квартала обходит ее дом.

Хорошо было бы, — со вздохом и совсем уже безотносительно думает Зина, — все же шампанское взять или белую одну...

...Ударил последний, двенадцатый удар. Громыхнул железными крыльями и смолк Гимн. Зинина рука с пивом тянется к бокалу диктора на цветном экране, и Белка, дремавшая доселе на телевизоре, проснулась, цапнула его улыбающееся лицо белой пушистой лапкой, похожей на палец от варежки. Да что там Белка, не в ней дело, Белку шугануть можно.

Утром первого января пусто, тихо на Парнасе. Кажется, все не могут вынырнуть из глубокого пьяного сна. Зина видит со второго этажа, как облезлая бродячая собака просительно ходит вокруг еще не наполнившегося мусорного бачка и укоризненно смотрит в темные окна.

Зина свежа, бодр, встала она рано. Делает расчет выкройки для заказного джемпера, а другой, из зеленой шерсти, уже готовый, выглаженный, свисает со спинки мягкого кресла. В последнее время Зина освоила еще и вышивку и хочет украсить отложной ворот желтыми яркими желудями и листьями. Но желуди выглядят маленькими шпикачками из спецзаказа для Парнасского начальства, а ольховые сережки на зеленом джемпере похожи на сосиски, да Зине не приходит это в голову.

Как медленно тянется бесконечный день, первый день Нового года! В обед доедена языковая колбаса с винегретом, а холодца она столько наделала, что хватит на неделю. Зина посмотрела между делом телевизионный спектакль, фильм и концерт. Еще один фильм, новогоднюю викторину, фигурное катанье... Все снова перемыла, перечистила, а день, незаметно перешедший в вечер, никак не может кончиться.

Дом не знает усталости, гудит сильнее, чем накануне, второе дыхание у людей открылось, словно не надо никому с утра на работу. На площадке хлопают дверями, громкими пьяными голосами зовут соседей в гости. Ведь крохоборы,

живут, как мыши, носа из норы не кажут, если постучат, то лишь за солью или хлеба одолжить, а тут глаза налили и душа нараспашку, — со злой тоской думает Зина. Хоть бы кто позвонил, просто так, ошибся номером! Но тишина, молчит телефон. Скорей бы Наталья приехала из Финляндии, еще две недели осталось.

Вечером сон не идет к Зине. И мяту она заварила, и таблетку проглотила, а заснуть не может. Непрошенные слезы на глаза лезут, и жалко себя, нет мочи.

Так-то так, — вздыхая, думает Зина, — вклад завещан Наталье, и она знает об этом. Но ведь жизнь по-всякому обернуться может. А что, если под старость насовсем уедет Наталья к дочери? Что тогда?

Или выдать Ларку финцу, развалить их брак? Только по-умному надо устроить, чтобы не от нее, Зины, это исходило, чтобы сам он узнал. Тогда Наталья дома останется... Ведь тысяч тридцать или сорок она получит. Не жирно ли?

Но ведь не в гроб же их класть...

А что, если все-таки Наталья умрет раньше? Кто за ней ходить будет? И кому, главное, достанутся деньги, если она помрет в казенном углу? Ясно кому — никому. Государству. Но почему? — Зина задыхается от возмущения. — Ведь это же мои деньги. Мои! А значит...

Незаметно для себя Зина проваливается в темную прорубь сна, над ней крутятся самолетными винтами огромная, во все небо мясорубка, из ее жерла сыплется черная саранча и больно скребет Зинину грудь металлическими крыльями.

Второго января утром Зина входит в сберкассу. Там пусто, только в окошко просунулся молоденький курносый лейтенант, и по счастливому лицу знакомой девушки-контролера, по их тихому разговору, который слышит стоящая поодаль Зина, она понимает, что скоро та покинет унылое помещение сберегательной кассы.

Зина нетерпеливо переминается с ноги на ногу. Приятно ли считать чужие, теперь свои копить будет, военным оклады быстро повышают. Только чему радуется, дуреха, сейчас время какое? Его куда угодно послать могут, в любое горячее место...

Лейтенант отходит от окна, и девушка, оставив для Зины осколок улыбки, вписывает ей в книжку проценты. А Зина привычно думает, что пройдет двенадцать месяцев, и наступит еще один новый, тысяча девятьсот девяносто первый год, и цифра в книжке опять подрастет. А потом девяносто второй... девяносто третий...

Зина выходит в зимние, не вполне растаявшие утренние сумерки, и сероватые глаза ее светятся, как мартовская капель. Покрытый фабричной копотью Парнас радует ее взгляд, ей дышится легко и привольно, как в первые весенние дни.

Геннадий Абрамов

Спорыш

Рассказ



1

Только на мост вырулили, тут и воткнулись. Черная туча размеров, можно сказать, удручающих. Снизу, от речки, чуть темнел краешек малый, а здесь уж она во всей красе показалась. Наползала зловеще — аккурат неминуемо друг дружке навстречу стремились.

— Эх, некстати.

— Ерунда. Проскочим.

А на писателя туча уныние нагоняла. Потому что, если дождь прольет, дорога от Горбунихи до Любков раскиснет, делается как сметана, и тогда своим ходом им уже не добраться. Цепи, которые в непогоду обыкновенно на колеса ставил, он еще давеча вместе с сумками дипломата из багажника вынул. Утро чистое было, ни облачка, кто ж думать мог, что грозу внезапно надует.

— Ерунда, — Батариков успокаивал. — Впервой, что ли. Если на скорости да не робеть, всенепременно там будем.

— Легко вам рассуждать. У вашего проходимость.

— Не в моем «козле» дело.

— А в чем?

— В сноровке. Вот летчики в истребках. Их! Душа воспаряет.

— Видел я, какой вы ас. Так лихачили на дороге, что я едва не уснул.

— А куда торопиться-то?

Писатель сник. Ясно было: не успевают, до грозы не проскочить. Только-только из Слободы вырвались, их и накрыло. Сперва крупные капли по крыше забарабанили, а у Ельнино хлынуло, как вопрокид.

— Ваши предложения, Алексей Никанорыч?

— Назад ходу нет.

— Это почему же? Можно на асфальте грозу переждать. Часика три пообщаемся, побеседуем, глядишь, и просохнет. А можно и к трактористу на дом сходить, тут недалеко Паша живет. Дотащит.

— Не. Прорвемся. Сердцем чую. Толканем в случае чего.

— А где съедем?

— У Горбунихи, известно.

Писатель напрягся.

— Ну, Алексей Никанорыч, держитесь. Под вашу ответственность.

И свернул с шоссе — проселочную жижу месить.

В первой же луже едва не застряли. Однако «жигуленок», взревев, тужился-тужился, выполз. На равнинке неплохо потянул. Писатель скорость держал по такой погоде сверх меры высокую. Зад нещадно кидало, забрасывало то влево, то вправо. Батариков смолк, он езды такой ошалелой не ожидал. Писатель на полный мах щетки включил и туда-сюда рулем крутил с такой быстротой, что у Батарикова голова кругом пошла, и он вообще не смекал, где они едут. Побелел с перепугу, вцепился в кресло, заледенел, на лице ужас тихий, ожидание гибели и мысль свербящая — сыновьям и жене не успел последний наказ дать. А когда их на ямке под крышу взбросило, не выдержал и взмолился:

— Убьемся, Михалыч. Слышь, что ли? Хорош.

— Нельзя останавливаться, Алексей Никанорыч. Сядем.

— Ну и так тоже... Е-мое. Расшибемся ни за что ни про что.

- В чистом поле?
- А швыряет-то как.
- Потерпите, голубчик.
- Кабы знал, нипочем бы не ехал.

Гроза лютовала, стегала в стекло, упругими струями била прямо наотмашь. Потемнела округа. Затаилась. Как бы тоже маленько струсила.

С округлого всхолмья, на который с Божьей помощью взобрались, дорога на изволок пошла, и писатель теперь местами слегка притормаживал. Дальше им в препятствие было поле ржи, заметно полегшее от косого низкого ветра, и перед ложбинкой писатель поддал, проскочил топкое место, но тут, в поле, на пологом тягуне, «жигуленок» его, видать, надорвался, сердце не выдержало. Колеса ведущие сами собой поползли с накатанного грунта наискоски, из колеи выскочили, и машина на месте стала колосья недоспелые мять. Вязли. Забуксовали прочно.

- Ну вот, Алексей Никанорыч. Кончились ваши страхи.
- И то хорошо, больше чем полдороги одолели.
- А вы клятву давали — проскочим.
- На своем я бы до ворот доехал.
- Сравнили тоже.
- Ага. Ваша все ж таки маломощная.
- Ну? — предложил писатель. — Толкать будем?
- А есть надежда?
- Без цепей практически никакой.
- Ну и чего тогда пачкаться.
- Резонно.

И они отправились в деревню пешком. По полю ржи и вниз, через ручей. Метров восемьсот не доехали.

Пока шли, оскользаясь, гроза так же внезапно, как наскочила, с этих мест отвернула, сдвинулась и полетела Нелюдевку бомбить. Однако промокнуть успели. На ногах по пуду глины несли.

Солнышко выглянуло, рассветлелось. Воздух очистился, птички запели, и у пешеходов настроение поднялось. Батариков от страхов давешних отошел. Оживился. И всю дорогу допытывался у писателя, как он, все же коренной москвич и в золотые прежние времена властелин душ и умов, про теперешний модный бизнес думает, какие у него об нем практические измышления. Ну, к примеру. Как бы он поступил, ежели б ему предложили гнилой дом на дрова, притом с ихней доставкой, а с него бы спросили полбочки краски масляной не однородного цвета, положим беж, а какой выйдет, потому как краска слита без перемешки из разных банок. Или еще вариант. Ворота гаражные, чуток, правда, поломанные, не в кондиции, в обмен на старый колотый шифер, какой еще вполне для куриного загона сгодится, ежели куры в наличии. Или еще вот старые рамы без прибуды и стекла, семнадцать штук, как мгновений весны, на две кошелки тракторные навоза отборного, без которого, сами знаете, в огороде одна дрянь прет. Или две ванны необливные с отбитыми ножками, опять же с ихней доставкой, на почти шестнадцать метров сливов, которые у него все равно маленько не под размер и второй год под открытым небом ржавеют.

Надо сказать, в каждое предложение по обмену писатель добросовестно вникал. Неторопливо с Батариковым обсуждал, варианты обкатывал, и в конце у него всякий раз выходило, что выгоднее соглашаться, брать. Батариков радовался, как дитя малое, когда слышал, что ответ положительный. Раз такой человек, должно быть и сейчас не последний в их столице зачуханной, с ним в желаниях совпадает, значит, сыновья зря его сторонятся, стесняются и в глаза Плюшкиным обзывают, значит, у него самого голова еще варит, и уж при обмене, ежели сложится таковой, прогадать он себе не позволит, тем более что какой-нибудь жмурик обмишурил его или нагло провел. С легким сердцем у колодца расстались.

- Спасибо, Алексей Никанорыч, — это писатель ему про болты напомнил. — Знайте, голубчик, я ваш должник.
- Ерунда какая. С машиной-то без меня управитесь?
- Вполне. Отдыхайте. И так я у вас столько драгоценного времени отнял.
- Да полно.

С тем и разошлись. А жена писателя, когда промокшего, грязного мужа встретила, и без любимой машины, разволновалась.

— Что? Что стряслось?

Писатель ей без утайки все рассказал.

— Еще не легче, — Елена расстроилась. — Может, Васю позвать?

— А он где?

— Спит. В грозу, когда громом ударило, очнулся с перепугу. Все на голову жаловался. Не поверишь, всерьез уверял, будто магнитной волной затылок ему обожгло. Теперь опять лег.

— Какой из него помощник?

— И то правда, — согласилась Елена. — Развалюха совсем. Он и в горку не поднимется.

Писатель переоделся в сухое, взял сумку с цепями, лопату с коротким черенком и пошел в одиночку машину вызволять.

Вечер пал тихий, свежий, природа омылась, и ко времени, когда два деда и бабка ужинать сели, давление у дипломата перестало скакать. Елена, как обещала, богатый стол приготовила.

Рюмочку приняли, закусили, и тут у крыльца стук. Елена дверь отворила — батюшки, Батариков на пороге, давненько не виделись.

— Ой, — гость незваный говорит, — красавица наша, какая у вас улыбка лучистая. Дай, думаю, узнаю зайду, как там наша совесть народная, живой или нет. Машина, вижу, цела, стоит. А тут прямо вы. Встреча. И улыбка в лицо. Аж с ног валит.

— Что вы говорите?

— Эх, Елена, жена чужая. Небось и сами не знаете, как улыбка ваша ближнего приподымает. Душа песни просит, когда на вас сблизит смотришь. Ей-богу, не вру. Вот я с детства мечтал летчиком быть. Прикиньте. Летишь на восток, облака под тобой пуховые, барашки, овечки чудные, а по курсу спереди солнце встает. Громадное такое солнце, красное сплошь интенсивно. А понизу это самое барашковое одеяло. Вот и улыбка у вас.

— Как солнце Востока?

— Вы в полную картину вникайте.

— В духе модернизма что-то, Алексей Никанорыч. Но все равно спасибо, вы очень добры. Зайдете?

— Не, я мимо, по воду. Узнать. От колодца иду, ведро на дороге без призора оставил. Жена ворчит, срочно давай, целый день без воды сидит.

— Ничего страшного не случится с вашим ведром. Рюмочку за компанию, раз зашли?

— Стопарик?

— Он самый. Проходите, пожалуйста. Милости просим.

Батариков не устоял. Галоши у порога скинул, босой в дом вошел.

— Уй, у вас гости. Не, я, пожалуй, с ведром покончу.

— Не стесняйтесь, — уговаривала Елена. — Мы по-простому. Я вам весьма признательна. Вы нас здорово с болтами выручили.

— Полно. Пустяки какие.

— Познакомьтесь, пожалуйста, — представила Елена Батарикову дипломата. — Василий Миронович. С корабля на бал, прямо с дипломатической службы. Вот решил окунуться в деревенскую жизнь. Тоже, между прочим, дед. Только с другой стороны.

— С вражеской? — Батариков пошутил.

— Мы, деды с бабками, — сказал дипломат, — не противники, а партнеры, как из печати известно.

— Тогда ладно. Вы, значит, с жениной стороны? — Батариков с игривым замахом дипломату руку пожал. — А мы тут односельчане. Рады любому и всякому, хоть ты заграничный, хоть кто. Будем дружить.

Елена скорее всего вновь пришедшему тарелку подставила, терновой водки плеснула. И сказала, обращаясь к усталому мужу:

— Вот ты живешь со мной черт-те сколько лет, а не знаешь, какая у твоей жены улыбка особенная.

— Да? — удивился писатель. — Алексей Никанорыч разглядел?

— Больше некому.

- По части комплиментов женскому полу он один у нас в деревне мастак.
- И какая же? — спросил дипломат.
- Как у Мао Цзедуна! — выпалила Елена.

Писатель чуть со стула не грохнулся — так ему понравилось, как Батариков определил. Елена сама захлеб хохотала, а Мироныч Батарикова за коленку тряс: «Философ, дьявол тебя задер!»

За столом легко сделалось. Выпили за улыбку женщины. За дом, за деревню, за соседскую вырубку. Еды вдоволь. Вкусно. Дипломат знай подливает.

— Я, — говорит, — мои дорогие, уж извините, теперь пьяница горький. Работа такая.

— Слава Создателю, — радовался Батариков. — Хоть один нашелся. А то к Михалычу с какого бока ни подкати, отказывается. Ну, что за мужик, который не балуется?

- Надеюсь, по праздникам, Алексей Никанорыч?
- Само собой. Мы тут неленивые.
- Трудоголики?
- Во-во.

Однако в присутствии Батарикова вечеринка наособицу потекла.

Задумки и ожидания Елены не оправдались. Столом завладели всецело сосед с дипломатом, они же и направление диктовали. Писатель с женой, как ни пытались словечко вставить, не получалось. Мироныч разохотился со свежим человеком, с представителем глубинки российской, поговорить, каких не встречал за карьеру, а Батариков в дипломате известную слабину учуял по части спиртного, душу отзывчивую, несмотря на звание. Можно сказать, своего признал. Человека родного и чуткого, с которым наконец-то не только в охотку выпить можно, но и, самое главное, выпив, наговориться всласть о чем сердце тоскует. Это тебе не писатель. Тут случай поближе. С таким человеком и время попусту извести не грех.

— Вот ты, Мироныч, скажи, чужестранец. Ну, что плохого, ежели коммунисты власть опять заберут? Кому хуже? Мне? Так я сызнова на привычную работу пойду. А эти, в телевизоре, распищались — караул, караул. Веришь? Мне, к примеру, начхать, кого они в прошлом вешали.

— Э, Алексей Никанорыч. Вы, дорогой мой, не правы. Я и сам был коммунистом до девяносто первого года. Свободный рынок с элементами социализма — только так. Век двадцатый это доказал.

— Тьфу! Русское ли дело, рынок какой-то?

— Однако я слышал, Алексей Никанорыч, у вас как раз жилка предпринимательская?

— Да гори они синим пламенем, коли детям есть нечего?

— Не горячитесь. Мы сейчас с вами подробненько во всем разберемся.

— Нет, ты скажи. А Сербия? Какого лешего проморгали? Что у нас, танков мало?

— С сербами посложнее.

— Не свисти, посложнее. Кулачище под нос да коленкой под зад.

— Вы поборник насилия?

— Чего?

— Я хочу сказать, в государственных делах вы предпочитаете крепкую руку?

— А как же? В России по-другому нельзя. Шелбан кровавый и дело с концом.

— А в семье?

— В какой еще семье?

— В вашей, разумеется. Тоже шелбан?

— Глупый ты, что ли? Никак тебя не пойму. При чем тут семья взятая, когда мы с тобой международные порядки разбираем. Ведь ты дипломат?

— Ну.

— Через коленку гну. Я же про коммунистов толкую и про Чечню. А ты мне чего суешь?

— Да, — дипломат стулом скрипнул. — Некоторое недопонимание. Дабы сблизить позиции, еще по рюмашке?

— Коли не жалко.

— Выпьем за Россию, Алексей Никанорыч. За вашу прекрасную здешнюю жизнь.

— Давай. Только помяни мое слово, добром не кончится.

— Вы про кавказский конфликт?

— А про что же? Вот ты скажи, кто для России главнее? Русские или кто? Ну? Кто? А-а-а. Молчишь, коммуняка. Небось и партийный билет сжег. Знаю я вас. А тут на рынке в Слободе от этих черных проходу нет. Видимо-невидимо, как татар в старину. У них вон своя мафия, а мы что — хуже, что ли? Будь моя воля, я бы всем им по шапкам надавал. А то. Устроили. Поверишь, Вась, кругом и повсюду соблазн. Глаза разбегаются. Целыми днями бьешься, маракуешь, аж мозги от натуги позвякивают, а все равно, как итоговую прочеркнешь, чертовня получается.

— Не сдавайтесь, Алексей Никанорыч. С вашим упорством горы свернуть можно.

— Ха, горы. Кавказские, что ль? Ты хоть успел, вон куда прыгнул. Дипломатом заделался. А я летчиком скромным мечтал быть.

— Похвально.

— А на Восток, к примеру, летал?

— Приходилось.

— Вот! У каждого своя страсть потайная. А ты! Здесь, у нас, ежели глаза разуть, рай. А плотину сделать — всем наплевать. Или, к примеру, чтоб подъезд был нормальный, а не так, как мы с Михалычем давеча по кочкам скакали, чуть не угробились. А телефон, если что? Ишь, летал он на свой драный Восток! Зато мы тут вместо вот таких чужесранцев кумекали, когда на бревнах сидели, как положение выправить. И вывод сделали — вдвоем не поднять. Может, при коммунистах получится.

— Не получится.

— Сволочь ты все-таки! Так поглядеть, толковый мужик, а иной раз ляпнешь, искры из глаз. Душа есть у тебя или в загранке оставил? Я тебе про здешний рай объясняю. Нам бы еще кого в помощь, хоть ту же проклятую советскую власть, чтоб она еще трижды себе шею свернула, мы бы тогда с непьющим Михалычем о-го-го развернулись. Знаешь, что бы мы тут наделали? А!.. То-то. Твоя говеная заграница от зависти лопнула бы.

Елена, видя положение такое, притомившегося за день писателя потихоньку из-за стола потянула. Мол, труба дело. Ничего уже не поправишь, вечер пропал. Давай их вдвоем оставим, раз они все равно никого, кроме себя, не видят. Пойдем, дедок мой, наверх. Баиньки. А то они, бесстыдники, скоро при мне начнут матом власть нынешнюю крыть.

— Пойдем, — согласился с охотой писатель. — Только водки им больше ни-ни.

— А больше и нету.

— Вот и прекрасно.

Собрались по-аглички незаметно и отправились на второй этаж почивать, чему, вида не показав, Батариков с дипломатом порадовались. Они себя вдвоем много вольнее почувствовали. Гудели раскованнее и с десятой выпитой рюмкой влюбились друг в дружку уже окончательно. Намертво, как Батариков определил. Сперва терновую уговорили, затем столь же дружно высоконькую «кремлевской», какую Миرونыч с собой привез хозяйке в подарок. Знакомым и незнакомым косточки промьли, засудили Чечню, Боснию, по первое число демократам врезали. И уже совсем попоздну, когда разговор без горячительного маленько подвяд и Батариков, как человек не ночной, а ранний, тройку раз в промежутках носом клюнул, Миرونыч нежно и с благодарностью его в висок чмокнул, сказал: «Иди, дружок. Хватит», и тогда Батариков стрепенулся, вмиг ожил и, осердясь, отважился на перемену места. Аж кулаком по столу пристукнул, себя, как заленившуюся кобылу, подстегивая.

— Айда ко мне? Хоть ты и не летчик, а мне друг. Дома припасено. В кои веки разговорились, верно?

— Наше желание встречное.

— Вот и собирайся давай.

Оба уже на ногах некрепко стояли и соображали неважно. Дипломат нацепил старую кофту Елены, ботинки не на ту ногу надел, а Батариков в одной галоше утопал.

Обнявшись шли. Петь пробовали, однако песни объединяющей не находилось, и они разве что вразнобой и невпопад горло драли. По дороге Батариков, хоть и пьян был, а вспомнил, что жене обещал ведро воды принести.

А ночь, глаза выколи. Звезды, мрак. В темноте долго рыскали, насилу нашли. Думали друг другу помочь, а вышло так, что половину на себя вылили.

- Жопка с ручкой, — бранился Батариков. — Куда дергаешь-то?
- Ямка попалась. Оступился.
- Оступился он, хрен с горы. Как я, скажи, в мокрых трусах лягу?
- А мы куда? Спать?
- Сдурел? Вон звезды какие.
- Тогда... поправимо.
- Васек, — полез целоваться Батариков. И вовсе ведро опрокинул.
- И хер с ним, — сказал, покачавшись. — Видать, не судьба.
- Верно, Леш. Звезды против.

— Вон их сколько у нас, попробуй сочти. И все над Россией. А ты говоришь, жилка какая-то, рынок. Эх, Васек, дурында ты зарубежная. Сравни. Разве сопоставимо?

- Мудрый ты.
- Ну, не умней тебя.
- Обижает.

Не единожды, пока до дома Батарикова шли, с пути сбивались, в чей-то огород угодили, посадок намяли-наломали изрядно, однако в конце концов как-то по звездам вырулили.

Деревня сладко спала, ни в одном окне свету не было.

- Тсс, — Батариков показал. — Жену не беспокоить.
- Боже упаси.
- А то она, ежели встанет, спасайся. Она у меня не заря Востока.
- Догадываюсь.

На веранде устроились. Батариков самодельный камин со спиралью включил, раздел Мироньча и сам догола разделся. Одежду сушиться пристроил. Смородиновым сиропом спирт заправил, вертких огурчиков из банки наловил. Сели друг перед дружкой, чокнулись.

Ну, что еще надо? Голые. Небо звездное. И закон в груди.

- Вот ты мне, Мироньч, скажи, грамотей гребаный. Клинтон прав или нет?..

2

Тут я прерву потешную историю ненадолго. Кое-что добавлю и разобъясню, чтобы люди добрые поняли и даже не сомневались, какой все же хлюст и пройдоха наш односельчанин Батариков.

Супруга соседа моего через дом, Михалыча, который по старой привычке писатель, привезла, стало быть, на побывку в Любки забавного толстячка дипломата. Пару-тройку дней отдохнуть и силенок поднакопить. Летом, когда ведро стойкое и ягода поспевает, она постоянно кого-нибудь из друзей или родственников таким образом благодетельствовала и вот теперь вывезла на личном автомобиле в здешнюю нашу красу округлого болезного мужичка предпенсионного возраста, Василия Мироньча. Слышал я краем уха, озорник этот с дипломатической службы из какого-то дальнего зарубежного государства в отпуск на Родину вырвался на месяцок и домашним в Москве за первую семидневку настолько осточертел, что они спали и видели, куда бы его хоть на сколько-то времени сбегать.

Тут супруга писателя и подвернулась.

Возраст у этих соседей моих порядочный, собрались тут в кучу бабка и два деда, такая компания. А не грустные, седина в бороду — бес в ребро. Дачники, по основному месту проживания москвичи.

Ну, поздоровались при встрече, обнялись. То, се. Как здесь хорошо. Благодать, и супруга писателя, Елена, и говорит:

— Все бы ничего, да с машиной непорядок. Где-то, корова старая, ключ от болта выронила. Что теперь делать?

Писатель расстроился. Отдых запланированный насмарку.

Эти секретные болты, кто не знает, от воров на колеса ставят, чтобы часом машину не разули. А выкрутить их в простоте никак не выкрутишь, разве только с помощью того самого ключа, который она обронила, иначе никак. Ну а когда этого ключа в наличии нету, само собой, колесо не снимешь, хоть ты убейся.

Отдохнули, называется. В обратный путь отправляться нельзя, чиниться надо. Ведь если в дороге что с колесом случится, ну, там гвоздь невзначай поймаешь или камера как раз изотрется, все, ку-ку, никакой доброхот, расстарайся, ничем не поможет. А аварийку попробуй дозовись, когда кругом чисто поле и ветер в висок.

Писатель с расстройства все другие дела бросил и, так как еще в прошлой профессии заимел настырный характер, стал все-таки в отчаянии пробовать отвинтить эти злополучные болты. То так подлезет, то этак, то разводным ключом прихватит, то тисками испробует.

Без толку. Промучился порядочно и того упрямством достиг, что теперь самолично убедился: ничем его не возьмешь.

— Помощь звать надо, — супруга, стоя у него над душой, сказала.

Да писатель и сам знал, что надо.

Пошел напротив к соседу, Батарикову. Он его иногда выручал.

Так, мол, и так. Болты загребучие. Не поможете чем, Алексей Никанорыч?

Этот Батариков на нашем краю приметный мужик. Сам слободской, как и я, здесь у него сорок соток земли, хозяйство подсобное и склад для всякого барахла, до которого он шибко охоч. По возрасту тоже не юноша, двух сыновей вырастил и женил, внуков дожидается. Шупленький, а сильный, жилистый, иной раз такое бревно на себе в гору прет, я те дам. По поступкам внезапный, доставала и комбинатор, а о чувствах своих или переживаниях сообщает порой так чудно, что понять его привычка нужна или сноровка особая.

— Друг мой ситный, Алексей Никанорыч, уж, пожалуйста, выручайте.

Батариков затылок свой жиденький почесал, приспустил веко на левом глазу, прикидывая обстановку, и говорит:

— Сколько сейчас?

— Вы, простите, о чем?

— Я про время, какое на дворе. Только без обману, я точность соблюдаю.

Писатель — на часы:

— Одиннадцать тридцать две.

— Значит, так, условились твердо. В полдень. Нет. Десять первого пулей выхожу. В город мне оказия. Цепляйтесь. Сделаем. У меня и на Правде огольцы, и в Слободе. Поможем вашему горю.

— Денег много брать?

— Ну, возьмите сколько не жалко, отблагодарить все же придется.

— Спасибо, Алексей Никанорыч, я ваш должник.

— Полно. Сочтемся славою, — сказал Батариков и нырнул в свой любимый сарай, который по размерам у него впятеро больше, чем жилой дом.

Супруга обрадовалась. Пока писатель переодевался, рабочую одежду снимал и городскую напяливал, она ему сумочку собрала — документы на машину, денег, бутерброды на всякий случай, огурцов надавала свежих, сказала в напутствие:

— А мы тут с Васей поместье осмотрим, разных вкусностей наготовим и будем вашего благополучного возвращения ждать.

— Вряд ли скоро управлюсь.

— А мы все равно будем скучать. Правда, Василий?

Однако дипломат, видать, приморился с дороги или, может, воздуху здешнего наглотался — посапывал на диване, укрывшись газетой, спал.

За окном посигналили. Супруга в окно глянула, подивилась.

— Твой Батариков проскользнул.

— Как? — не поверил писатель. — Без меня?

— А он с чудинкой, — засмеялась Елена. — Мог бы привыкнуть.

Пока писатель заводился, грел двигатель, пока жена сумку ему выносила, пока на дорогу задом выруливал — соседа и след простыл.

Помчался догонять.

На холм взъехал — и тут «козла» Батарикова не видать, уже и пыль успела осесть.

Прибавил газку. И хотя день ясный стоял, кругом дали чудесные, и надо бы писателю оглядеть все как следует, насладиться, выпить, вдруг когда-нибудь картины эти неповторимые на бумагу уложить приведется, однако не получалось, спешил очень. Здесь что-нибудь одно: либо за дорогой следи, либо видами любуйся. На такой скорости, чуть внимание ослабь, враз в колдобину угодишь.

Выбрался на шоссе, Ельнино проскочил, но и тут на длинный просвет дорога пуста. Он уж под сто с лишним выжимал, а соседа с чудинкой, обещавшего горю помочь, нет и нет.

И только под самой Слободой, когда с крутояра спускался, увидел — едет. Ни шатко ни валко, километров двадцать пять в час. Двумя руками крепко за руль держится, грудью навалился и так нещадно пустую дорогу высматривает, словно в скоростной бешеной гонке участвует, словно у него тут ралли Париж—Дакар.

Писатель подравнял с его голубеньким «козликом» своего «жигуленка», библикнул. Батариков с неприязнью на писателя глянул, с неудовольствием, как на шалопаю-проказника, который крутится под ногами и делу мешает. Мол, чего в такой момент отвлекаешь, и рукой показал — налево, давай за мной, на Правду сперва заедем.

Ну, заехали на Правду. Гуськом.

Батариков из «козленка» выпрыгнул и, ни слова не сказав, в какие-то воротца с отломанной калиткой нырнул и в низком разлапистом доме исчез. Писатель покурил. Скучно ему сделалось. Мысли литературные на ум не шли, и он тоже вслед за соседом отправился.

Это были какие-то мастерские. Цех. Дерево здесь обрабатывали. Рамы делали, двери. Столярка, в общем. Много тут всего разного по стенкам стояло. А народу нет. Тихо. Прошел писатель насквозь одно помещение, другое — ни души, как вымерло. Куда этот чудик запропастился?

И тут слышит — дверь в углу неприметная хлопнула. Он. Батариков. И с ним мужичок невзраченький в кепке, весь опилками обсыпанный.

— Я тебя, Федя, уразумел досконально, — Батариков с ним на ходу разговор ведет. — Согласный с тобой во всем. В среду жди. В пять у тебя освобождающий звонок? Вот ровно и буду. Два мешка комбикорма и вдобавок бочка на двести. Подержанная, извиняй.

— Ерунда. Отчищу. Лишь бы без дырок, целая.

— Да, — Батариков писателя заметил. — Ну, где же вы, любезный, ходите-бродите? Обождался.

— Извините. Отстал.

Писатель со столяром поздоровался. А Батариков столяру на прощанье руку пожал.

— Бывай, Федя. Пока. Мы теперь сами управимся. — И махнул писателю по-хозяйски — мол, айда за мной. Вошли они в ту же дверь, откуда давеча столяр с Батариковым показались, и писатель увидел посреди тесного кабинета гроб с чуть сдвинутой крышкой. Неожиданный этот предмет стоял на концелярском столе отсутствующего или, может, уже уволенного прораба. С иголки гроб, новенький, отдающий сырцой, оббитый яркой красной материей. И больше в этом запущенном кабинете не было ничего, если не считать треснутого портрета Борьки кровавого на облезлой стенке

У писателя с непривычки маленько лицо вытянулось. И вопросы некоторые появились. Ведь ехал он болты вынимать, а тут гроб. У Батарикова кто-то умер? Но почему тогда не предупредил?

Странно они тут живут, подумал писатель, и решил обстоятельство это в памяти отложить, чтобы потом на карандаш взять, как они между собой выражаются.

— Ну? — сказал Батариков, огладив любовно гроб. — Берем?

— Если надо, — пожал плечами писатель. — А куда?

— Да в машину. Я промерял. Взяли?

— Выносим, что ли?

— Ага. Вы давайте с легкого конца прихватывайте, а я с изголовья.

По дороге писатель поинтересовался:

— Прошу прощения, Алексей Никанорыч. Ваш красавец?

— Не. Рано мне.

— У вас кто-то умер?

— Не. Это я впрок. Тут, вишь, дело какое. Сестра у меня, золотая баба. Под Ярославлем. Пишет, мужик ее заках при новых порядках, скоро предположительно помрет. А денег, сами знаете, теперь ни у кого из нормальных людей не хватает. Ни на похороны, ни на чего. Вот я и решил подсобить ей маленько. Размеров, правда, мужниных не имел, на глазок. И вот мучаюсь, а ну как промахнулся.

— Отчего не поинтересовались? У сестры-то?

— Э, время, брат, сейчас, сами знаете, те самые деньги, которых нет. Пока туда письмо, пока обратно. А тут у Федьки дерево бросовое оставалось. И я сатину красного аккурат по случаю меном приобрел. Что вы. Если б не теперь, то неизвестно, когда б так славно совпало. У них ведь сегодня материал есть, а завтра месяц загорают, кукиш сосут.

— Вот оно как.

— Ага. Давайте мы его на минутку к заборчику прислоним.

Батариков поднял у «козла» заднюю дверцу, завалил на пол сиденье, и вдвоем они втиснули гроб вовнутрь. Писатель из кабины на себя втягивал, Батариков с улицы нажимал. Вошел тык в тык. Батариков аж просиял, когда дверца свободно захлопнулась, — так он все точнехонько рассчитал. Прикрыл гроб мешковиной, чтоб народ зря не нервировать.

— Ну вот. Теперь в гаражи.

— В гаражи? — не понял писатель. — А как же... колеса?

— Там и сделаем. Не берите в голову. У меня там во ребята. Самого черта скovyрнут, не то что болты какие-то.

Расселись по машинам и друг за дружкой поехали. Писателя сейчас же в дрему кинуло от такой неспешной езды. Едучи вплоть за «козлом» и чтобы от скуки занять себя чем-нибудь, он, как ему и положено по специальности, думал-прикидывал, как бы это характер нашего Батарикова ухватить и потом как следует пропесочить. Распубликовать тиражом поболее, дабы читающая культурная публика увидела, какой у нас теперь народ поврежденный. До сих пор неразгаданный, как и встарь. С одной стороны, вроде ухватистый, мудрый и цепкий, умом задним, можно сказать, крепче, чем был, а с другой стороны, вроде как безвозвратно ушибленный. И хотя Батариков наш, конечно, не весь народ, а все же фрукт показательный. Для художественного произведения сойдет. Вот только надо бы на бумаге так исхитриться, чтобы влиятельная публика поняла, что пред лицом ее уже с очевидностью не тот народ, какой населял просторы здешние лет с десятков назад. Пускай она разволнуется. Пускай люди неглупые кумекают сообща, как так случилось, что теперь у трудяги, представителя народа, в душе каша такая. С чего он вдруг ведет себя иной раз как рачитель доподлинный и тогда тянет к общему благу, а иной раз ни с того ни с сего вдруг распоряжается природной смекалкой, как последний раскисляй полоумный, и тогда ему с высокой колокольни, прости мою душу грешную, вся эта Россия до фонаря.

И только-только разохотился думать, чтобы тему глубже копнуть, как они, уже находясь в Слободе, с моста вниз круто свернули и к гаражам, рядками вдоль речки расположенным, подкатили.

Батариков у своих личных ворот встал, а писателю велел подальше машину сдвинуть, где гаражная улица слегка загибалась.

— Шас, — сказал и пошел какого-то Славку искать.

Долго ходил. Со всеми беседовал — здесь его знали, и с каждым он свое обменное дело имел.

Наконец отыскал Славку с напарником Костей. У них как раз аппарат был. Ребята оба молоденькие, плечистые. Поздоровались и не мешкая за работу. Машину велели развернуть поудобнее и так к входу примкнуть, чтобы шнур доставал.

— Варить надо, — Батариков объяснил. — Иначе никак.

— Что значит — варить? — писатель вникал.

Славка растолковал:

— Их за здорово живешь не сдернешь. Мы у них вертлявые кольца сейчас к головкам приварим, а потом вместе рванем.

— И получится?

— Заставим.

А Костя парень явно пограмотнее:

— Хорошо бы аргончиком, да тут в гаражах ни у кого нету.

— Что за аргончик?

— Сварка такая. Она специальная. Для нержавейки. У вас же секретки какие?

— Какие?

— Из нержавеющей стали. Их обыкновенная сварка вообще не берет.

— Стало быть, вы на чудо надеетесь?

Костя заулыбался:

— Где наша не пропадала.

— Да вы не волнуйтесь, — сказал Славка, вытягивая провод. — Не за задницу, так за рога. Все равно вытащим, куда они денутся. Ждите. Нельзя же с этими дурами ездить.

— С какими дурами?

— Ну, с болтами шпионскими.

Батариков не в меру любопытного писателя отозвал — мол, парни сами с усами, без нас сговорятся, а вы мне нужны. А, догадался писатель. Гроб.

— Вы его здесь решили припрятать, Алексей Никанорыч?

— Тсс, — Батариков схмурил лоб и палец к губам приложил. — Про скромные наши дела тутошним знать незачем.

— Извините, у меня недержание речи. Хорошо, что предупредили, а то непременно бы разболтал.

— Уж я вижу.

Батариков загнал «козлика» спиной до половины в гараж, и они аккуратно, дабы не привлекать внимания, занесли гроб в угол и на какую-то широкую станину, заранее подготовленную, установили. Писатель, отдышавшись, пригляделся и понял, что гроб теперь покоится на обрабатывающем станке, а поскольку сам последнее время чересчур деревом увлекался — крошил, строгал и даже вагонку сам делал вместо того, чтобы книжки писать, — залюбовался такой сильной машиной.

— Вот это богатство. Ваш?

— А то чей же?

— И четверть выбирает?

— Сверлит, шлифует. Чего душа пожелает. Шестерку берет как нечего делать. Три ножа. Строгает под зеркало.

— Алексей Никанорыч, простите, но я удивлен. У вас здесь сокровище, можно сказать, а вы в деревне вручную корячитесь. Топором да ломом. Отчего так?

— Задумка есть. Может, обменяю, ежели сговорюсь.

— На что?

— Да есть мыслишка. Пока сглазить боюсь. Мне за него осенью прошлой корову хворую предлагали.

— Зачем же вам корова? Да еще хвора?

— Тушенку делать. На тушенку она бы пошла.

— Прогадали бы.

— Ага. Потому и тормознул в последний момент. Вот жду сейчас. Это предложение не в пример подходяще.

— Мой вам совет, Алексей Никанорыч. Не одной тушенкой жив человек. Вы же строитесь. Вам этот станок самому позарез нужен.

— Думаете?

— Уверен. Поставьте его в деревне, к вам очередь выстроится. Не бесплатно, разумеется. Доброе дело сделаете, деньжат подзаработаете. А хотите, в аренду сдайте, тоже неплохо.

— Что еще за аренда?

— Ну, например, когда вы в простое, он вам не нужен, я у вас его на месячишко возьму и за это вам заплачу.

— Уу, придумали чего, — сказал Батариков, осердясь. — Хуже только мои сыновья предлагают.

— Это почему же?

— Вот вы, я слышал, писатель, а все же и у вас иной раз сильный мозговой крен. Неувязки. Как же с вас деньги стану брать?

— Обыкновенно. Чем я хуже того, кто вам большую корову предлагал?

— Полно. Вы ж мой сосед.

Батариков помрачнел, разобиделся — вид у него был такой, будто он в писателе вконец разочаровался. Попросил его вежливо из гаража и «козла» внутрь завез. Ворота затворил, засовом лязгнул.

— Айда глянем, чего там ребята нахимичили.

А у ребят не заладилось. Кольцо вроде бы приварили, но когда попробовали крутануть, сварка и отвалилась. Не держалась на нержавейке, как они и предупреждали. Тогда решили штырь в щель загнать, чтобы жесткая сплотка

возникла. Мучались, мучались — бросили. И со штырем не выходит. Оказалось, идея изначально ложной была. Вдобавок, когда кувалдой штырь загоняли, металл маленько расплющили, и вообще этот проклятуший болт ни туда ни сюда. Сгоряча ножовкой палить хотели — спасибо, отдумали вовремя. Славка взопрел. Не сдавался.

— Возьму, вражина, — это он с упрямым болтом разговаривал. — Не может так быть, чтоб я тебя из сволочного гнезда не выбил.

С Костей в который раз посоветовались и решили поддомкрачивать. Снять к чертовой матери со ступицы колесо и пробовать с тыла неприятеля изгонять.

— Может, перекусим? — писатель невпопад предложил. — Мне жена тут полную сумку еды наложила.

— Какой перекусим, — отбрил Славка. — Сперва дело надо.

— А я бы не прочь, — сказал Батариков, изнывавший без занятия. Отошли в сторонку, присели на травку.

— Что за ребята? — писатель между прочим поинтересовался.

— Толковые.

— Вижу. Чем живут?

— Чем попало.

— Свой сервис открыли? Машины чинят?

— Само собой. Тут, вишь, дело какое. Заводихний трясет, с работой совсем худо. Они бы машины за ради Бога чинили, да их не сыщешь. Мало едут. А парни хорошие. Чего хочешь тебе соберут-разберут. У каждого семьи. Жалко. Я им тут халтурку подыскал. Вот я вам давеча про сестру в Ярославле сказывал.

— Это для которой гроб?

— Ну да. А у меня еще одна здесь, в Нелюдевке, на птицеферме птичницей. Яички вожу. А Славка с Костей их по утрам на рынке толкают. Кривятся, торговать не любят, а куда денешься. Так хоть дуба с голоду не дашь.

— Одобряю, Алексеи Никанорыч. В трудную годину помогать мальчикам — это по-божески.

— Полно, по-божески, — сказал Батариков, снова расстроившись из-за того, что писатель недалновидный такой. — Я ж эти яички, считай, брат, ворую.

— Да-а-а?

— А вы как думали?

Батариков смахнул крошки с колен и кивнул в сторону машины.

— А? Что я говорил? Пошло вроде дело.

Тут и писатель увидел, что его «жигуленок» стоит вперевалку уже на другой бок. Стало быть, второе колесо поддомкратили, а с тем, первым, покончили.

Пошли проверить.

И точно.

Этот Славка, бестия, придумал-таки приспособление, чтоб вертлявую головку застопорить. Тремя ключами орудовал. Двумя этак хитро зажмет, а по третьему, газовому, сапогом как саданет. Они и отворачивались.

— Нормальные болты есть? На замену?

Писатель в багажнике отыскал.

— Спасибо, мельцы. Выручили, — радовался писатель. — Сколько я вам теперь за труды должен?

Батариков тотчас нахально вмешался — словно парадом командует он, а молодежь у него в услужении.

— Сейчас сочту. Значит, так. Петух за штуку минус... то. Он мне, братва, нынче сильное облегчение сделал. Сложим, сытожим. Обратную дорогу сюда. А как же? Выходит, без пузыря, как за четыре с полтиной десятка яиц.

— Это, простите, сколько?

— Восемнадцать с мелочью.

— Странная цифра, — писатель недоумевал. — Ну, а вы, мастера, что молчите? Согласны с начальником? Я вас не обижу?

— Не-ее-т, — гуднули Славка с Костей. — Самый раз.

Писатель от души руки парням пожал, расплатился и попросил разрешения, если вдруг снова какая-нибудь поломка в машине, нельзя ли ему к ним в надежные руки, или, как их шеф выражается, под крыло?

— Милости просим, — засмутились оба. — Мы теперь безработные, всегда тут.

— Великое вам спасибо, — писатель за руль сел. — Дostatка и мира вашему дому.

— Раскудахтались, — осудил Батариков. — Дело какое, болты скovyрнуть. Вот вы, может, и против, а в Любки назад с вами уцеплюсь.

— Конечно, Алексей Никанорыч. Веселее вдвоем, буду рад.

— Свою запер уже. Чего зря старуху гонять?

— Разумно. Пусть лучше ваш «козлик» постережет гроб.

— Именно что. Помилуются ночку, а там видно будет, что утро мудрое нам изготoвит.

— Очередной обмен, я полагаю.

— Хорошо бы, — вздохнул Батариков. — Если с выгодой, я б тогда вас, как девку, измял и зацеловал.

3

На рассвете писателя с супругой разбудил храп.

Звук был въедливый. Мало сказать, противный — такой силы и мощи, что сквозь двойной потолок с засыпкой не только что проникал играючи, но и тут, наверху, им уши, как в самолете, закладывал.

«Что за оказия, — одеваясь, расстраивался писатель. — Вся моя междуэтажная изоляция, выходит, ни к черту не годится?»

Спустились в известном волнении вниз. Свист храпной, клетот. Двери настeжь. Нахальные сороки хлебные корки клюют. У порога галоша одинокая. Стекла мелко дребезжат.

Так и есть — это Мироныч, ночку погуляв, с устатку в глубоком беспробудном сне прихотливые извилистые трели на диване издавал. Голый, неохватной рыхлой задницей кверху, в одном неправильно надетом ботинке.

— Ну и ну, — дивилась Елена. — Кто ж это в целом свете выдержит? Теперь мне понятно, почему они его из дома под любым предлогом выпроваживают.

— Полагаю, не только поэтому, — писатель сказал. — Но заметь. Насчет непереносимой насосной заветки, гадкие люди, даже не предупредили.

— Я им припомню.

— Давай кувырнем его, что ли? А то на этот необыкновенный концерт вся деревня сбежится, включая свиней и быков.

— Пожалуйста, без меня, — отказалась Елена. — Тяжести таскать мне уже возраст не позволяет. Да и шулята старческие лицезреть по приговору суда не заставишь.

— Вот как?

— К тебе не относится.

Она ушла на веранду завтрак готовить, а писатель Мироныча в одиночку на бок перевалил, дабы звуки приманчивые пресечь. Плодом укрыл.

Едким густым перегаром от него так несло, что с ног сшибало.

На какое-то время установилась забытая тишина. Однако вскоре дипломат забулькал, зачавкал, вроде как заворчал недовольно и самолично вновь на пузо улегся. Видно, так ему было сподручнее окружающим нервы трепать.

— Осел упрямый, — непочтительно писатель сказал. Прикрыл поплотнее дверь и тоже ушел, бросив дипломата на произвол судьбы.

Сколько-то часов спустя, когда солнышко всю землю грело, а писатель с женой, заметно событиями удрученные, в саду копошились, вновь явился не запылился бесстыжий Батариков.

— Здравые, люди любезные, — издали поздоровался. Он был с мешком какой-то травы за спиной, странно одет, будто в тесное детское, и в одной галоше. Губы его были разбиты в кровь, под глазом назревал солидной величины синяк, и левую руку он держал осторожно под грудью, не иначе как вывихнул. Однако, когда Елена к нему подошла, замурлыкал, как с соблазнительной медсестрой тяжело раненный.

— Красавица наша, Елена премудрая. Свет очей сельских. Звезды вас в подарок прислали. Безоговорочно. Извините, это опять я вам надоест зашел.

— Вы за галошей?

— А, — растерялся Батариков. — Неужто здесь?

— Вы опустите мешок-то. Неудобно.

— Пустяки, — сказал Батариков, однако мешок с плеч снял.

— Вот ваша пропажа. Я ее вымыла.

— Напрасно, чудесная, еще мыть ее, и так бы сгодилась. А я уж с ней распрощался.

Они помолчали. Батариков галошу, навсегда было потерянную, нацепил и просяще и грустно на Елену уставился. Она, конечно, догадывалась, зачем он явился, а вид делала, что ей невдомек.

Тогда Батариков приступил:

— А друг мой? Живой?

— При смерти. Слышите?

Батариков ладонь к уху приложил, понарошки прислушался.

— Ишь, как вздыхает, болезный, — посочувствовал. — Хворает. Вы, Елена, небось сами не знаете, какого человека к нам на грешную землю сгрузили. Провалиться на этом месте. Человек с заглавной буквы. Друзья мы теперь. Не разлей вода. Полюбил я его, толстого, сразу и бесповоротно.

— С первого взгляда. Я убедилась.

— Ох и умный, чертяга. Пропасть всего знает. Мне с такими, можно сказать, во всю мою жизнь беседовать не приходилось. Тронут. Не поверите, Елена, до глубины души, до самого основания.

— Заметно.

— Нам бы с ним подлечиться трошки. А? Перехватили чуток. Как вы сами думаете?

— В нашем с вами возрасте, Алексей Никанорыч, лечиться надо всерьез.

— Вот и я с вами так же заодно. Шутки кончились.

И опять замолчал, выжидательно глядя.

— Водки нет, Алексей Никанорыч. Анальгину хотите?

— Уу, таблетки. Что вы, милая. Не берет. А на нет и суда нет. Ладно. Что ж. Из-под земли, а достану. Вы меня недопоняли, расчудесная. Он же теперь, считай, друг мне до гроба. Нам бы вместе хворь снять, то есть не поодиночке выкрутиться, а именно то с ним. Вместе летали, вдвоем и на посадку идти.

— Сербию еще к России не присоединили?

— Ага. У него, о чем ни спроси, на все аргументы и факты. Не думал я, не гадал, что такого человека в своей жизни дождусь.

— А жена ваша? — в лоб спросила Елена. — Мне кажется, она возражает, ей ваши полеты не нравятся.

— Полно. Как она смеет.

— А губа? Фингал под глазом? Руку разве не она вам вывихнула?

— Не. Как вам такое подумалось даже. Ни в коем случае. Она у меня смиренная. Это я, дорогая моя, по секрету скажу, от неловкости.

Елена, не удержавшись, рассмеялась залиvisto, как только она умеет.

— Что вы говорите?

— Пожар тушил.

— Господи, что еще за пожар?

— Ага. Горел я, дорогая моя. Под утро. Да сильно, бес ее задери. Васек, как ушел, я не заметил, а меня, видно, с непривычки сморило. Слышу, дым глаза ест, в нос горелым несет. Тут моя швабра и выскочила. Ничего. Веранду подкоптили маленько, мешок комбикорма, кровать пострадала, еще кое-что истлело. А так быстро загасили. Штаны вот только его. Кофта ваша. Рубаха, трусы безразмерные.

— Что? Погибли?

— Простите, ни к черту совсем. Ошметки одни. Я ведь по дурости давеча и ведра не донес, воды в доме ни капли. Вещичками впопыхах пламя сбивали. На тряпки и то не годятся.

— Выходит, если бы не моя любимая кофта, ваш дом сгорел бы дотла?

— Ага. Извините.

— Хороши, нечего сказать.

— Пока он спит, дорогая Елена, я еще вот что у вас потихоньку узнать хотел. На смену — то есть чего у него? Или нет? А то я у себя пошукаю. Не голым же ему в свою за границу ехать?

— Пусть катится.

— Не сердчайте, моя разлюбезная. С кем не бывает. Я бы сию минуту какую-никакую одежонку ему собрал. Ношеное, зато свое, нашенское, их поганого импорта себе досконально не позволяю. И еще боюсь, не налезут. У него все же размеры не те.

— Да, габариты внушительные.

— Мне бы узнать. Если он голым остался, в крайнем случае, по деревне пойду. Мне в беде не откажут. А откажут, на что ни что обменяю. Вот у Ерофеича комплекция подходящая. С отдачей, скажу. Василий же как-никак дипломат. Что вы. Скандал между народами. Я так рассуждаю, ему бы до места добраться, а он потом вышлет назад. В целости будет.

— Надо же, какой предусмотрительный.

— А как же? Виноват. Что люди скажут. Ночью заташил иностранную шишку важную, опоил до потери разума, а потом пустил по деревне задницей сверкать. Некрасиво. Нехорошо. Не по-нашенски. Испереживаюсь весь.

— Совесть заела?

— А как же? Грызет. Человек-то какой, — сокрушенно закачал головой Батариков. — Сроду таких не встречал. Подружились вдобавок. Ну, все как на грех. Что вы, Елена наша. Душа сильно взволнована, хотя по лицу сейчас, может, и затемнение. Вот подарок ему принес, — кивнул на мешок. — Все утро косил. Да, вишь, руку мне баба зашибла. Одной косил. Запарился с непривычки.

— Если не секрет, что там?

— Да травка его, спорыш. Он мне вчера под звездами признание сделал. Почки у него. Кишками страдает, боли нестерпимые в голове и желудок с язвой. Еще жуть какая-то, всего не припомню. Он ведь на работе своей сидячей и в чужом краю насквозь больной. Моложе меня на год, а еле ходит. Ночью порассказал, когда мы беседовали. Только этой травкой спасается. Водкой боль глушит, а лечится ею. У них там, в Монголии или Гватемале, забыл, в какое его последний раз посольство закинули, эта травка ему первое целебное средство.

— Как же он ее разглядел? При звездах?

— Хой, он ее и в кромешной тьме при спичках отыщет. А у нас от веранды свет тек. Выходили.

— На кладбище?

— Упаси Господь. Рядышком. Ему она только нужна сушеная. В аптеках у них покупает и пьет. Вместо чая, заварку. Там она, сам он признался, большущих денег стоит, я так понял, разоришься на ней, никаких наших зарплат не хватит. А у нас просто так растет, даром, ногами драгоценности топчем. Вот я и решил ему по-дружески подмогнуть. Замучался, правда, одной рукой косить, подбирать, в мешок заталкивать. Пускай он ее туда заберет, высушит и за наше здоровье пьет.

— Целый мешок? Алексей Никанорыч, он его и поднять не сможет.

— Попросит кого, не беда. А мне, ежели вспомнит летчика, пусть оттуда с чужбины письмишко пришлет. За так не отдам.

— Какое письмишко?

— А какое-нибудь. Все равно. Пусть черканет. Сколько стоит, ежели в сухом виде, я тут прикинул, может, в ихние гваделупские аптеки поставлять буду. Через границу. А что? Ежели не врет, что деньги немалые, вот тебе и поихнему бизнес. Правильно говорю? Чего мне. Сыновой запрягу, мы тут все овраги обкосим, этой травы кругом прорва, бери, не хочу. Сушку соорудим. Порубим помельче и запакуем. Пусть только эта Лупа платит, а мы уж не подкачаем.

— Озолотитесь, Алексей Никанорыч.

— Да ну, — засмутился Батариков, гордый тем, что так ловко новое дельце обмозговал.

— Не бойтесь богачом стать?

— Богатым не бедным. Это проще.

— А мне кажется, — беззлобно подзуживала Елена, — вы опасность недооцениваете. Вот обменяете «козла» своего на «мерседес», за вами охотиться начнут.

— «Ниву» хотя бы, — размечтался Батариков. — Уж сколько лет накопить стараюсь, да ни хрена не выходит.

— Ну, теперь сокровенные ваши желания сбудутся.

Батариков тяжело вздохнул:

— Скорей бы.

Елена почувствовала, что застоялась. Как ни забавно ей было слушать навязчивого соседа, страдающего без опохмелки, однако пора и честь знать.

— У меня сильное подозрение, Алексей Никанорыч, — она ему с хитрецей говорит, — друг ваш закадычный сутки проспит. Так и уедет, не увидитесь.

— Эхма, — испугался Батариков.

— Вполне вероятно.

— И что же мне, горемычному, делать?

— Если вас вид его не смутит, я бы советovala растолкать. Чем черт не шутит, может, вам и удастся. Мы не смогли. Сами ему обо всем расскажете, тем более у вас такое важное деловое предложение.

— Ой, Елена, — обрадовался Батариков, — бесценная наша, как вы душу мою разглядели и сумели понять, поражаюсь даже. Я бы зараз. Он что, до сих пор без порток? Простите за грубое выражение. Он обнаженный?

— Естественно. Как сбежал от вас в чем мать родила, так и лежит, загорает.

Батариков резко в лице изменился. Он вдруг ясно увидел, как дипломат, во мгле ковыляя, по деревне на рассвете шел.

— А не знаете, случаем, — осторожно спросил, — видел его кто из нашенских или, может, все же проскочил?

— Понятия не имею. А вы? Где были вы в столь ответственное время?

— Ну, я. Известно, в отключке. Неужели, если б к тому времени хоть маленько соображал, в непотребном виде его по деревне пустил?

— Нет, так плохо я о вас не думаю.

— Эх, ославят теперь.

— Неизвестно.

— Деревня приглядчивая, милая, от них не схоронишься. Что вы! У них мышья не прошмыгнет, а тут, можно сказать, прямо под окнами на прогулке неизвестный доселе дьявол жопастый. Слон голый.

— И все-таки заранее я бы не переживала, — Елена с немалым трудом от громкого смеха удерживалась. — Идите, Алексей Никанорыч. Идите к другу, он ждет.

— Чуткая вы. Прямо расстаться с вами не вмоготу.

— Вижу.

— Мужу вашему, бородатому, вот уж кому подвезло.

— Не ценит.

— Полно. Ни за что не поверю.

Елена, чувствуя, что сам он еще долго с места не сдвинется, взяла Батарикова ласково под локотки и в дом насильно направила.

А сама наконец с облегчением на клумбах цветами занялась, загадав, что вечером, когда спать лягут, непременно писателю всю эту историю передаст, про пожар и сгоревшие исподние вещи и про то, как их пьяный дед непотребно зарю встречал, — а уж писатель потом нашего Батарикова пропесочит. Уж он его выведет с сатирой и юмором, чтоб деревня прочла. Урок ему будет заслуженный. Ведь он мне, срамник этакий, плитку газовую задолжал, почти новую. Брал на время, сгноил и до сей поры ни деньгами не возвращает, ни такую же на замену не отдает. Все сулит на обмен какую-нибудь пакость подсунуть.

Меж тем храп в доме пресекся. Затем в тишине что-то грохнуло. Шмяк. Как тело с высоты упало. И сейчас же голос Батарикова стены пронзил. Вой нечеловеческий: «Аа-аа!» — длинный, гулкий, душу выворачивающий.

Елена бросилась на выручку в дом. Однако писатель, который все это время подросток-терн вырубал, желая для внука полянку сделать, ее задержал:

— Оставь, Лен. Не ходи.

— Да они дом развалят!

— Заново соберем. Не ходи.

— А стон? Крик?

— Ничего. Это наш Василий неповоротливый виноват. Наверняка руку сломанную Алексею Никанорычу придавил.

— И тебе не жалко?

— Не то слово. Но все равно не ходи.

— Нервы у тебя.

— Ага. Из нержавеющей стали с аргоном.

Покамест они разговаривали, Батариков выть перестал. Елена стояла в ожидании, слушала, не будет ли чего хуже. Из дома теперь доносилась возня.

Недовольный голос Мироныча долетал. Что-то опять упало, но теперь по звуку похоже — на оброненный стул. Шаги, топот. Дверь об стенку шмякнулась.

И вот на крыльце объявились. Оба сразу, в обнимку. Тучный дипломат, заметно опухший, в женском халате, сквозь который попередку гладкое круглое пузо просвечивало, а под мышкой у него побитая голова Батарикова торчала — он памятого спросонок Мироныча как бы по-дружески нес. Лица шкодливые, дерзкие. У дипломата волосы, как у черта, всклокочены.

— Остаюсь, — объявил он.

— Ага, — улыбался Батариков. — Во как.

— Где? — недоумевала Елена. — Что значит — остаюсь? О чем ты, дед?

А Батариков вместо него:

— Все одно скоро при коммунистах жить.

— В узком кругу, на политбюро, мы решили, — дипломат сказал, — довольно, хватит. Пора подумать о том, как прожить по-человечески остаток дней. Идеолог Алеша меня убедил.

— Да что стряслось-то? — допытывалась Елена.

— А то, — посмеивался Батариков. — Догадайся, премудрая? Полюбилась нам деревенская жизнь!

— И что? — все еще не понимала Елена. — Нам она тоже по вкусу.

— Прощай, зараница, навеки! — Батариков ликовал. — Да здравствует дружба, не приведи Господь! Съезжает он. Россия все ж таки оказалась дороже!

Елена построжела лицом.

— Не дури, Василий.

— Я к другу.

— Ага, — поддакнул Батариков. — Ко мне на постой. Жить.

— Спятели.

— А пусть, Лен, — писатель издали крикнул. — Пусть попробует, он давно мечтал в глубинке пожить. Не мешай. Узнает, наконец, почем на родине фунт лижа.

— Ничего себе! Вы в своем уме, мужики? — не соглашалась Елена. — Как это пусть? Я же за него, бессовестного, поручилась. Слово дала. Обещала жене его, дочери вернуть в целостности и сохранности.

— Не пропадет, — настаивал писатель. — У Алексея Никанорыча как в банке. Верно я говорю?

— Нет, не верно, — сурово ответил Батариков. — У меня понадежнее будет.

— Слышала, Лен?

— Вот я королева.

И ослушники, чуть не упав, ступили на землю с крыльца. Писателю, одобрявшему их поступок, на прощанье дружески помахали. Поклон отвесили природе окружающей. Загрустившей Елене. Посмеялись над неровной борцовской стойкой своей и отправились в обнимку через дорогу. К Батарикову в дом, как на политбюро решили.

Дипломат шагал вперевалку, нетвердо, живот свой приметный гордо нес навстречу жизни неизведанной и здоровью. К слову сказать, среди русских исконно, я другого не встречал обитателя, который бы так не стеснялся быть патриотом открыто, как этот залетный толстяк. Придавлив шуплого друга, он с хрипотцой, заметно подсевшим после шумного сна голосом, на всю деревню без стеснения провозглашал:

— Россия моя ненаглядная. Жена и сестра. Здравствуй, Родина милая, наконец. Хватит мыкаться на старости лет черт знает где на чужбине. Воздухом твоим задышу. Клянусь, с этого часа с тобой неразлучен буду вовек. Эх, едрена мать! Покой-то какой! Воля какая! Свобода, брат мой, Алеша! Красота-аа!

А Батариков, кивая и соглашаясь, нес его, согнувшись впогибель, и с запыхом на радостях пел:

— Светит нам родимая звезда, летчики оторваны от дома...

Анатолий Азольский

Могила на Введенском кладбище

Наброски биографии



Будущий узник Лефортова Геррит ван дер Ваалс родился 24 апреля 1920 года (город Сурабая, Нидерландская Индия) в многодетной семье (четверо детей). Офицеры колониальной армии — уважаемые люди в городе, на островах — и юный Геррит размышлял: буду служить в армии! 17-летним юношей подался он в метрополию и поступил в Королевскую военную академию (г. Бреда). Окончил ее в мае 1940-го. Этим месяцем и можно датировать последнюю «голландскую» фотографию его (на «лефортовскую» глянуть не позволят). Обычная средневропейская внешность, стрижка армейская, пробор справа, улыбка деревенского парня, смущенного поцелуем городской красавицы. Рубашка мягкая, шелковая, не строгая, галстук завязан неумело. В штатском — ибо в стране уже немцы и 2-му пехотному (от инфантерии) лейтенанту не суждено служить: армия капитулировала, а гарнизон Сурабаи — за морями-океанами. Полное крушение жизненных планов! И стал Геррит в Делфте переучиваться на инженера, но вскоре немцы сочли небезопасной вольную, без присмотра жизнь профессионалов военного дела. В мае 1942 года лейтенанта арестовали и препроводили в лагерь для военнопленных (шталаг 371). Август 1943 года отмечен в жизни Геррита ван дер Ваалса крупным событием: он и еще три офицера совершают побег, переваливают через Карпаты и оказываются в Венгрии. Население к беглецам настроено дружелюбно, судьба, кажется, благоволит 23-летнему Герриту. Однако в марте следующего года немцы оккупируют Венгрию, с востока все слышнее артиллерия русских, на связь с наступающей Красной Армией и отправился ван дер Ваалс, не один — с проводником, офицером венгерской армии. И сгинул. Пропал бесследно. Был голландец — и не стало голландца, да и венгр будто сквозь родную землю провалился. Месяцем спустя арестовали в Будапеште шведского дипломата Рауля Валленберга, о чем доложено начальнику Генштаба (шифровка №937, подписанная начальником штаба 2-го Украинского фронта), — так за него горой встали сильные мира сего, до самого Сталина добрались ходоки и ходатаи, а о том, что сцапали голландца и венгра, — ни гу-гу...

Одно, правда, сблизает миллионера Валленберга с нищим сыном колониального чиновника — впоследствии на все запросы о судьбе того и другого следует один и тот же ответ: на территории СССР не находится!

Но жив голландец, жив! В 1946 году — еще жив! Не ранее середины 50-х на Запад попадает интересный документ: просьба начальнику внутренней тюрьмы НКГБ полковнику Миронову (копия начальнику Лефортовской тюрьмы НКГБ подполковнику Ионову) «перевести военнопленного **ВАН-ДЕР-ВААЛЬС** в Лефортовскую тюрьму и поместить его в камеру № 166. Содержащихся в этой камере **ШТЕЛЬЦЕР** и **МАТТЕРН** поместить — первого в 56 камеру к **БЕРЧ**, а второго в 106 камеру к **ЦИТЦЕВИЦ**. При этом содержащегося в Лефортовской тюрьме **ШМИДТ Дюмон Франца** перевести во Внутреннюю тюрьму и поместить в камеру на место **ВАН-ДЕР-ВААЛЬСА** к **ГИЛЬДЕБРАНДТ А.К.**...». Правписание особое, для внутреннего употребления, с учетом, надо полагать, таких важных для «Смерша» факторов, что становится очевидным: нормальный русский язык развалит всю Лубянку. Голландцы дотошнейше изучают каждую фамилию в этом документе от 13 марта 1946 года, наводят справки о том, кто есть кто, и пером выводят на просьбе заключение: Гильдебрандт А.К. — провокатор.

Подписал же просьбу заместитель начальника 2-го отдела ГУКР «Смерш» подполковник БУРАШНИКОВ. Фамилия знакомая: в «Независимой газете» от 25.04.91 опубликована давняя-предавняя просьба того же Бурашникова тем же Миронову и Ионову — о переводе двух заключенных из одной тюрьмы в другую, то есть обычная лубянкковская карусель с внутрикамерной разработкой. Но Шлиттера в этой просьбе отныне приказано именовать Шауэром, причем из дальнейшего текста следует, что Бурашников причастен к допросам Валленберга.

Итак, уже более года, как Геррит ван дер Ваалс — на тюремном коште, мотается между двумя оплотами следствия.

Уйма врагов внутренних — и держать какого-то военнопленного в «привилегированной» Лефортовской тюрьме? (Для сведения: к сентябрю 1945 года в плену, среди прочих, находилось 4729 голландцев и 513 767 венгров.)

Действие переносится в Лондон на Нортумберленд авеню. Отель «Виктория», комната 327, 24 мая 1946 года. Отсюда под грифом «конфиденциально» выходит документ, адресованный главе британской военной миссии в Гааге полковнику Тинклеру. Написал его подполковник Дерри, еще во второй половине 1945 года прикомандированный к британской военной миссии в Будапеште. Подполковнику тогда стало известно о сопряженной с риском деятельности (в оккупированном немцами Будапеште) группы сбегавших из шталага 371 офицеров. Как видно из документа, офицеры занимались тем же, что и Валленберг, но если тот переадресовывал эшелоны с евреями или их счета в банках, то беглецы куда приземленнее были, добывая кое-кому фальшивые паспорта и справки, спасая одежкой и деньгами дезертиров. Ничего героического, сплошная, как говорится, бытовуха — весь год, вплоть до взятия Будапешта. Подполковник Дерри просит полковника Тинклера довести до сведения правительства Нидерландов итоги храброй работы беглых офицеров, фамилии которых приводит: лейтенант Г. ван дер Ваалс, лейтенант ван Хоотегем (Гаага), лейтенант Краненбург (Лондон) и лейтенант В. Пукель (на службе в датской армии). Указано и местонахождение лейтенанта Г. ван дер Ваалса — missing, то есть пропал без вести. Судя по документу, ван дер Ваалса уже ищут. Кое-какие сведения о нем все-таки просочились на Запад, его сотоварищи по побегу живы, и никто не в состоянии замкнуть их уста.

Уж лучше бы, пожалуй, не размыкали их. Потому что из благороднейших побуждений министр колоний Нидерландов 23 марта 1948 года представляет Геррита ван дер Ваалса к ордену «Бронзовый крест», и Вильгельмина, Божьей милостью Королева Нидерландов, принцесса Оранская — Нассауская, и проч., и проч., и проч., награждает 2-го лейтенанта Королевской Нидерландско-Индонезийской армии этим знаком воинского отличия. Перечислив заслуги его, Королева упомянула и о том, что лейтенант двинулся навстречу русским, после чего пропал. 3 апреля 1948 года подписан указ о награждении.

Жить Герриту оставалось совсем немного, четыре месяца. Неизвестно, узнал подполковник Бурашников о «Бронзовом кресте» или нет, но — «больничка» при Бутырской тюрьме и смерть ван дер Ваалса 11 августа. В 1955 году чуть приоткрылись закрома Лубянки — и в Голландию пошла «похоронка», а канцелярия Королевского дома присылает матери Геррита «Бронзовый крест»...

...Петроград, октябрь 1918 года. Время тревожное, в квартиру университетского профессора ломятся «братишки»: очередной обыск с проверкой документов. Дочь профессора выталкивает жениха своего, морского офицера в очень недалеком прошлом, за дверь, на черную лестницу (новые хозяева жизни предпочитали парадные подъезды), тот успеваает сказать невесте, что вернется, как только матросы уйдут. «Братишки» помахали маузерами, потрясли мандатами, пострашали буржуев и удалились, — происшествие истинное, из устных воспоминаний профессора. Проходит час, другой, а жениха нет. Невеста бежит к нему домой, на Каменноостровский, но — выясняется — мичман туда не приходил. Нет его и у знакомых, нигде его нет — ни на утро, ни через неделю. Был человек — и пропал человек. Кое-какие следы остались, однако, и невеста бросилась в погоню за женихом. Почти настигла его через шесть лет, в Бизерте, на базе российского императорского флота, ушедшего из Севастополя в 1920 году, — почти, потому что разминулась с ним, какие-то полчаса отделяли ее от любимого. За эти тридцать минут произошли события эпохальные: Франция

признала РСФСР, корабли царского флота спустили андреевские флаги, несколько сот морских офицеров лишились крова, последней надежды, и горевавший на пирсе жених бросился в воду, поплыл к американскому транспорту, которому срочно требовался кочегар. Вечерний туман поглотил судно с женихом... Только через два года любящие сердца соединились, в Бордо, профессорская дочка повезла жениха в Советскую Россию, в ленинградский загс, несколько лет спустя полюбила чекиста и, отмываясь от старых грехов, донесла на кочегара американского транспорта. Наконец-то он был расстрелян, судьба все-таки настигла его, как ни убегал он от нее, от профессорской дочки, в которой еще до первого поцелуя опознал гибель свою...

В таких историях о людских бедах и счастьях — прелесть мгновенного обретения человеком новой жизни, той, куда он проваливается, как в канализационный люк, на крышке которого ненароком остановился, чтоб подумать, оглядеться, утвердиться. В люке чаще всего пованивает, но, однако же, кто знает, каково младенцу в роддоме, как дышится ему после первого крика ужаса и восторга... Природа, сдается, хочет каждого человека наделить биографией всего человечества, навязать ему испытания, о которых он и не слыховал. Мало того что люди постоянно меняют социальные роли и маски, они еще подвержены уходам из привычного мира в незнакомый, необыкновенный, потому что надо спастись от беды, которая учуяна, которая где-то рядом, и люди внезапно срываются с места, бегут под другие звезды, притягательные и пугающие, цепляются за чудовищно смещенные координатные оси, — люди исчезают, чтобы вновь появиться или появляться... Может быть, оттуда, из Будапешта ван дер Ваалс бежал к русским, потому что в затылок дышала опасность?

Так это или не так?.. Но и такой необыкновенный поворот судьбы угадывался среди многих, когда я стал знакомиться с нелепой и героической жизнью голландца, о котором услышал случайно год назад, мимоходом, в разговоре с училищным одноклассником, капитаном 1 ранга Е. Чубшевым, бывшим военно-морским аташе в Индонезии. По разным поводам ему приходилось бывать в посольстве Королевства Нидерландов, там-то и узнал он о захороненном в Москве офицере голландской армии. В 1948 году скончался тот, будто бы арестованный в Будапеште вместе с офицером венгерской армии, этапированный потом в Москву, где и скончался. Где и предан земле.

А могила — именная! То есть не безвестный труп и не в общем захоронении, как это было принято в те годы.

С венгром все ясно: армия, где он служил, воевала с СССР. Но человек из оккупированной немцами Голландии — откуда взялся? Какой ветер надул паруса лейтенанта нидерландской армии, не существовавшей в 1944 году?

Узнаю: родственники голландца живы еще! Прямые, которым по российским законам разрешено знакомиться с уголовными делами репрессированных сыновей или братьев. Адрес получен в посольстве — и письмо отправлено в Голландию. В ответ — документы, Геррит ван дер Ваалс становится ближе. И все же — не биография, а контуры ее. Все в тумане, все в разрывах, зияющие пробелы, островки фактов обтекаются водами неизвестности.

С Герритом ван дер Ваалсом Лубянка, пожалуй, намучилась, потому что тот никак не желал признавать порядки в том колодце, куда провалился. Три года допросов, но следователи так и не склонили его ко лжи. Голландцы предрасположены убито молчать на допросах. Нация эта — необычайной затаенности, упрямой в миф об открытости души, о ее распахнутости. Каждый народ мудрит по-своему. Домовитая французская женщина облик и повадками потворствует общераспространенному мнению о себе как об изысканно-похотливой особе, русское неуважение, мягко выражаясь, к иностранцам маскируется широчайшими жестами гостеприимства, американцы... Голландия же упорно и не без удовольствия демонстрирует отсутствие штор на окнах самых нижних этажей: вот мы какие открытые, нет у нас тайн от мира! Придумана даже сказочка о давнем приказе испанского короля, пуше всего боявшегося заговор в покоренной им стране и повелевшего посему: шторы — долой! Интересно бы услышать французскую басенку, желательно бы знать и толкование той неприязни, если не выразиться покрепче, что питают голландцы к немцам: как только в Германии на книжной ярмарке во Франкфурте-на-Майне прославили недавно очень, очень недурной роман голландца Сейса Нотебоома «Следующая история», родина отшатнулась от писателя, вдруг ставшего чуть ли не коллаборационистом.

Так все же: что нам этот голландец Геррит ван дер Ваалс и что мы ему? Почему думается о нем с печалью и недоумением?

Потому что так и хочется, насытись опытом истории, кощунственно спросить его: да какого же черта полез ты в это пекло? С мая 1940 года Нидерланды — в оккупации, режим которой можно назвать щадящим. Из страны выкачиваются продовольствие и товары по клирингу, явно для населения неблагоприятному, однако голода нет. Оккупантов не любят, но самый распространенный вид сопротивления — обыкновеннейшее выживание с минимальными потерями достоинства. Германские власти вдруг проявляют заботу о голландских девушках, им разрешают выходить замуж за немецких солдат! Более того, невесты попадали под опеку вермахта, если родители девушек не желали породниться с чистыми арийцами (приказ рейхскомиссара Зейс-Инкварта в феврале 1941 года). Геррит ван дер Ваалс мог избежать ареста, достаточно было устно или письменно заявить о лояльности новым властям, а уж потом, если станет невертепж, подрывай рельсы, пускай немецкие эшелоны под откос! Шталаг 371, куда попал, райское место по сравнению с концлагерем типа Майданек. Офицеры под защитой Красного креста, ежемесячные посылки, переписка с родными налажена, Геррит был, кстати, помолвлен; поляки, в чьей неверности немцы не сомневались, получали тем не менее в лагере по 30 имперских марок жалованья, датчане и голландцы, надо полагать, не меньше. Сиди и жди, когда американские или русские танки разнесут ворота, открывая путь к свободе, к службе в Индонезии или к лекциям в Делфте. Нет, рванул — в полунейтральную страну, спасти евреев, венгров, русских. Натворить таких безумств мог только советско-российский безземельный человек, готовый немедленно отправиться в какую-нибудь Гренаду, чтоб тамошнюю пашню отдать тому, кто плюнет ему вслед.

Но — голландец! Но — европеец! Ему-то к чему эти лихости? Он что — потомок одного из тех, кто три века назад в команде «герра Питера» шалил в амстердамских тавернах? Почему он в Нидерландах не захотел быть «как все»? А ведь «все» — это основная масса населения, мужики и бабы деревни и города, пуще всего боящиеся перемен к худшему.

И закрадывается подозрение, не менее кощунственное... Много лет тому назад был я свидетелем того, как пожилой электромонтер в жгуче проводов — под напряжением! — отыскивал токонесящие жилы. Ни тестера, ни пробника, ни контрольной лампочки, — ничего из сигнальных устройств, что безопасно вклиниваются между человеком и электричеством. И монтер прибеж к дедовскому, начала века не иначе, способу. Тонюсенькой провололочкой соединял один провод с другим, верно рассчитав: если встретятся разные фазы, то провололочка мгновенно вспыхнет, прервав контакт, и короткого замыкания не произойдет. Что и случилось. Была провололочка — и не стало ее, зато сразу обозначились фазы, ясно стало, кто есть кто.

Так вот и сгорел Геррит ван дер Ваалс, дав датчанам и венграм знак — осторожнее, русские! Но даже разрезвонь те историю Геррита на всю Европу, проку было бы мало. Потому что так уж мы устроены: горели и будем сгорать. По уши завязнувшие в топи буден, обустроившие наконец-то скромненькое жилище свое, детей народившие, мы способны восстать вдруг из тлена благополучия. Очумелый взор наш задержится на колюще-режущем предмете, нас не остановит что-то недораздетое или недопитое, мы готовы попать приевшиеся вдруг святыни ради новых идолов. Бабочкой на огонь полетим, помахивая крылышками, самозабвенно и не корысти земной ради. Будут гореть единицы. Десятки, сотни, тысячи, но не миллионы: они, эти сгорельцы, предотвращают революции, те периоды, когда у обывателей вырастают крылья и они летят на пламя борьбы за свое освобождение, за счастье или еще за что-то. Ничего не получают и урока никакого не оставят, потому что не мы летим на огонь, а нас туда гонит ветер эпохи. В чем и смак истории. Как и в том, что от революций спасения нет.

Горели, горим и будем гореть!..

В этих набросках была уже поставлена точка, когда пришли — по запросу — официальные ответы из тех организаций, которые арестовывали голландца и венгра в далеком 1944 году. Вот они:

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ
 FEDERAL SECURITY SERVICE
 РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
 OF THE RUSSIAN FEDERATION

Центр общественных связей
 Public Relations Centre
 101000, Москва, Лубянская пл., 2
 101000, 2, Lubyanskaya sq., Moscow
 тел.: (095)-2245097, факс: (095)-9752470
 tel.: (095)-2245097, fax: (095)-9752470

№-381ф 30.06.99

Уважаемый Анатолий Алексеевич!

На Ваше обращение в центр общественных связей ФСБ России с просьбой сообщить о судьбе гражданина Королевства Нидерландов Геррита Ван дер Ваалса, арестованного в 1944 году органами «Смерш», сообщаем следующее. В Центральном архиве ФСБ России имеются материалы на отдельных военнопленных, из которых видно, что Геррит Ван дер Ваалс, 1920 года рождения, уроженец г. Сурабая (Голландская Индия), голландец, лейтенант нидерландской армии, был задержан 8 декабря 1944 года при переходе линии фронта в селе Чириб (Венгрия) органами контрразведки «Смерш» 4-й гвардейской армии 2-го Украинского фронта, 14 января 1945 года доставлен в Москву, где содержался в Лефортовской тюрьме в качестве военнопленного. Фактов какой-либо враждебной деятельности против СССР со стороны Ван дер Ваалса установлено не было, и органами государственной безопасности СССР уголовное дело в отношении Ван дер Ваалса не возбуждалось. В 1948 году в связи с заболеванием печени Ван дер Ваалс был помещен в больницу Бутырской тюрьмы, где 11 августа 1948 года умер от туберкулеза легких и кишечника. Вместе с Ван дер Ваалсом был задержан и доставлен в Москву обер-лейтенант венгерской армии Шандель Карл (1912 года рождения, уроженец г. Будапешт), где содержался во внутренней и лефортовской тюрьмах в качестве военнопленного, и в феврале 1950 года был оформлен его арест по обвинению в шпионаже, и по постановлению Особого совещания при МГБ СССР от 01.07.50 он был заключен в тюрьму сроком на 25 лет. В августе 1950 года этапирован во Владимирскую тюрьму. Определением Военной коллегии Верховного суда СССР от 8 сентября 1956 года постановление Особого совещания при МГБ СССР от 01.07.50 в отношении Шанделя Карла отменено и дело о нем производством прекращено за отсутствием в его действиях состава преступления. 18 сентября 1956 года Шандель К. передан венгерской стороне.

И. О. начальника Центра
 общественных связей ФСБ России Б.М. Неучев

Служба внешней разведки, факс от 02.07.99: «Нам удалось выяснить, что в декабре 1944 года в с. Чириб (Венгрия) на сторону Красной Армии перешли лейтенант голландской армии Ван-дер-Ваальс Геррит (1920 года рождения, уроженец г. Сурабая, Голландская Индия) и старший лейтенант венгерской армии Шандель Карл (1912 года рождения. Уроженец Будапешта). Оба были арестованы органами СМЕРШ по обвинению в работе на английскую разведку и переданы в распоряжение 2 Главного управления МГБ СССР. Сведениями об их дальнейшей судьбе не располагаем.

В архиве СВР нет следственных дел, поскольку по принадлежности такие дела относятся к ФСБ — МВД. Поэтому ответить Вам на вопросы по следственному делу, если таковое и существовало, мы не можем.

Возможно, эта информация как-то поможет в Вашей работе.

Руководитель Пресс-бюро СВР Б.Н. Лабусов».

Так вот: сдайся оба в плен — и вернулись бы на родину в скором времени. Но — перешли на сторону Красной Армии! Это уже подозрительно, это подводит к мысли о шпионаже.

И еще: нет уголовных дел! Оперативно-следственные разработки же — ревниво стерегутся, и как был человек в тумане, так и остался в нем. Но кто из нас может похвалиться (или оскорбиться) тем, что о нем *все известно?*

Прах Геррита ван дер Ваалса — в Москве, на Введенском кладбище...

Мурман Джгубуриа

Сонмища звезд забредают, шурша...

С грузинского. Перевод Александра Радковского



* * *

Живу как прежде: сию, курю,
Пишу о том, что в душе наболело.

А жизнь приблизилась к сентябрю:
Сточились зубы, дряхлеет тело.

Жил раньше сердцем, теперь — головой.
Но так же маюсь с душой своею.

Курю, пишу... И, Боже ты мой,
Да я ведь иначе и не умею.

1989

Ранняя весна. Старый виноградник

Ах, какой переполох! Ох и суматоха!
Вся природа: — Ах! и — Ох! и не ждет подвоха.

Вспомнив детскую игру, листики ткемали
Расплескались на ветру и затрепетали.

Маки яркие холмам раскрывают души.
Сумасшедший птичий гам разрывает уши.

Платья — жители села легкие надели,
Вера, что весна пришла к ним на самом деле.

Только виноградник мой, слыша «ахи», «охи»,
Не участвует, седой, в общей суматохе.

Он, мудрец, глядит: ну-ну, тары-растбары...
Настоящую весну поджидает, старый.

1978

Мурман Джгубуриа родился в 1938 году в Грузии, в селе Окуми, Гальского района. Окончил ТГУ (филологический факультет). В 1969 году вышла первая книга стихов.

С 1973 года член Союза писателей. Автор 20-ти книг на родном, грузинском языке. Две книги вышли на русском языке: сборник стихов «Окрестности души» и роман «Стук в ночи».

Постоянно печатался в литературных журналах Грузии «Цискари», «Мнатоби», «Литературный Сакартвело». Публиковали в Москве — в журнале «Юность», в «Литературной газете». Стихи Мурмана Джгубуриа переведены на армянский, украинский, польский языки. Сам он перевел и издал отдельной книгой стихи Бунина, переводил Пушкина, Лермонтова, Хлебникова, китайскую и вьетнамскую классическую поэзию.

В связи с 60-летием М. Джгубуриа в Тбилиси выпускается 5-томное собрание сочинений.

* * *

С красным петухом под мышкой
 Пыльной сельскою дорогой
 Я шагаю босиком.
 Влажный холодок рассветный.
 Вслед за мной бежит собака.
 Тянет от села дымком.

Дорог он, базар воскресный.
 Петуха продам, быть может.
 И приду домой с мукой.
 Будет той муки немного —
 Горстки три или четыре.
 Хватит нам на день-другой.

...Все исчезло, все исчезло.
 Ничего не повторится.
 В горле застревает ком.
 Снится пыльная дорога,
 И по ней идет ребенок
 С красным петухом.

1976

Дед

Голову листьями обвязав,
 чтобы боль ушла,
 С глубокой скорбью глядит мой дед на крыши села.
 На чурбане, как на царском троне,
 задумчив дед...
 Односельчане приходят со скарбом тяжких обид и бед.
 О, эта реповая корона,
 где листья так зелены!
 Сидит мой дед — государь угрюмый самой угрюмой страны.

1978

Стихи о Тбилиси

I

Пиросмани в твой духанчик
 внес небесный свет.
 Ты поморщился: до рвани
 тебе дела нет.

Корку хлеба за рисунок
 просит бедный он.
 Но тебе художник пьяный
 жалок и смешон.

Знал бы, что твое бессмертье —
 эта вот рука.
 Ты ж скорее прочь спровадить
 хочешь чудака.

Но, пред тем как из духана
 он шагнул во тьму,
 ты стакан вина брезгливо
 протянул ему.

II

Город, ты Галактиона
не впускал в духан.
Город, ты и Пиросмани
гнал в ночной туман.

И доныне Мачабели
жаждою томим,
вкось бредет по бесприютным
улочкам твоим.

1991

Город, сделал ты Гранели
нищим чудаком.
Ни о чем ты не жалеешь,
город, ни о ком...

Я твоей не позабуду,
город, доброты:
кто тебя всех больше любит,
тех и губишь ты.

Без рифм

Стихи без рифм
На весть похожи,
Что застигает нас врасплох.

1993

Нам не успеть принарядиться
И соответствующей поэзы
Нам не принять — все поздно, поздно:
Трагедия вломилась в дом.

В Переделкине

М. Синельникову

Я посетил могилу Пастернака.
Подумалось: совсем не так давно
Он рядом жил — вон там из полумрака
Светилось меж ветвей его окно.

Невдалеке Тарковского могила...
Здесь по ночам встречаются они,
Когда замрут на небе все светила,
Когда в домах погаснут все огни.

Их разговор о горестях России
Не слышат ни друзья, ни стукачи.
Лишь тишина да сосны вековые
Внимают им сочувственно в ночи.

Смелы их разговоры и пространны
И в воздухе свобода разлита.
Позванивают весело стаканы.
Поскрипывают райские врата.

Здесь по ночам встречаются поэты
И дремлют днем, и не тревожат нас.
Я как-то вдруг навеки поверил в это.
А ты, мой друг, не веришь и сейчас?

1999

* * *

Георгию Кечагмадзе

В Нагобилеви, темною ночью,
В маленький дворик
Сонмища звезд забредают, шурша...

Мне не забыть их —
Теплых, мохнатых, ручных!

1979

Анатолий Приставкин

Долина смертной тени

Роман-исследование на криминальные темы



Зона пятая. Смертники

Несколько дней из жизни Комиссии (1992 г.)

Вокруг смертной казни и в литературе и в жизни всегда кипели страсти. Недавно на прилавках книжных развалов объявилась даже книжка «Сто великих казней». Обращаю внимание на слово «великих». Но и на обычном, бытовом уровне смертная казнь не может не вызывать острого интереса, ибо это тайна жизни и смерти.

Сие, кстати, поняли наши телевизионщики, время от времени вынося сенсационные подчас «материалы» о смертной казни на широкий экран.

Тут и кинодокументы, и выступления, интервью и даже ныне популярный жанр ток-шоу.

Уже зная о моей причастности к этой теме, многие знакомые, среди них и юристы, и чиновники, и просто случайные собеседники, не преминут спросить, а что, сейчас, мол, казнить вы продолжаете? И при этом обязательно добавят, что в принципе, конечно, когда-нибудь это отменят, но не сейчас же... Сейчас нельзя. Вот на днях двух детишек убили... Разве этих извергов можно оставлять в живых?!

Разговор типовой, возникает он ровно столько лет, сколько я занимаюсь помилованием. Особенно наш брат, литератор, готов на эту тему порассуждать и не пропустит случая, если мы оказываемся рядом, чтобы не заметить, вроде без всякого повода: «Ну, как там ваши маньяки... Чикатилу тоже миловать будете?»

А ведь доводы против смертной казни широко известны, две сотни лет назад ими оперировал еще классик юриспруденции Чезарре Бакарриа, итальянец, приводили в своих книгах Виктор Гюго, Толстой, Достоевский, а в наше время Андрей Сахаров.

Если эти доводы как-то обобщить, прозвучит так, что казнь — варварство и что общество деградирует там, где она существует, что страдают родственники казненного, что палач и другие участники убийства тоже страдательная сторона и что при этом совершаются многочисленные ошибки, которые невозможно уже исправить, что жалко не преступника, а общество, которое опускается до уровня убийцы, но при этом, убивая беззащитного человека, мы как бы отвлекаем общество от действительных проблем преступности...

Но вот беда, все эти доводы, как волны ультразвука, практически не касаются слуха населения. Особенно если оно ожесточено, погружено в свои заблуждения, как в российские болота, и никоим образом не хочет из них выбираться.

Толпу питает иллюзия, что казни устрашают, укрощают преступника, — это массовое заблуждение не поддается никаким доводам.

Свою роль здесь, по всей вероятности, играет и древнее чувство, восходящее от нашего дремучего прошлого (прямо-таки зов крови!), что должно непременно существовать отмщение.

В древности это звучало так: око за око, зуб за зуб, а ныне чуть цивилизнее — вот, мол, человека убили, а преступник будет жить? Да мы еще на свои кровные должны его содержать?

Для обывателя это звучит более чем убедительно.

Доводы же по поводу смертной казни как варварства даже не опровергаются. Да, мы азиаты, и преступники у нас азиаты, с ними нельзя иначе.

Но есть у наших спорщиков одна особенность, а заключается она вот в чем: те, кто выступает против казней, оперируют к разуму (ссылки на авторитеты, разумные доводы, цифры), а те, кто за смертную казнь, — к человеческим чувствам... Почти что к инстинктам.

А чувство, каково бы оно ни было, словами опровергнуть нельзя. Если человек любит, то он любит. Если верит, то верит. Ну а если ненавидит, то... ненавидит.

Вот и звучит яростное: «Жалельщики! Вам выродка, изувера жалко? А вы бы взглянули в глаза матери и детям убитого... А вы бы посмотрели на растерзанных им детишек...»

Тут и тележурналисты подхватят... Если уж зритель жаждет отмщения и крови, то будьте спокойны, крови будет столько, сколько надо! Да и, собственно, какая им разница: насилие и убийства на экране, во всяких там боевиках или натуральные, прямо из жизни взятые истории, которые щекочат нервы несколько не меньше, а даже больше.

Одна поднаторевшая на криминальных делах журналистка, пишущая на эти темы в молодежной газете, предпочитает называть свои репортажи так: «Сто ударов ножом в беззащитную жертву». Вот и попробуй потом привести какие-то доводы в защиту милосердия... сам, того и гляди, получишь эти сто ударов от обезумевших от горя родственников.

А если по правде, то каждый из нас, кто милует (или не милует), несет в самом себе оба начала в этом бесконечном споре. Чувства наши на стороне жертв и их убитой горем родни, в то время как доводы на стороне смертника. И это непрерывное противоборство в моей душе не может не изматывать, как бы ты в конце концов ни решил. Оно и далее будет необратимо терзать тебя.

Недавно телевизионщики в который раз задумали вынести проблему смертной казни на публику и представить полемику в виде судебного заседания. Передача известная, ее знают, она так и называется: «Суд идет».

Истец (им как раз был я), адвокаты истца, ответчик (депутат от Думы, которая не приняла смертную казнь), адвокат ответчика, ну и, разумеется, судья и присяжные заседатели. Последние, а их там человек десять, солидные добропорядочные люди (как бы некий собирательный образ общества), выслушав обе стороны и свидетелей, должны решить, кто прав.

А практически вся передача — это тот же спор о необходимости смертной казни, со всеми названными и не названными мной доводами.

И вот результат: сколько ни убеждали отменить казнь выступившие на «суде» священник, видный юрист и писатель (для вящей убедительности показали в записи реальные сцены казни, снятые американцами), — итог был предсказуем.

И господа присяжные, поразмыслив, практически единогласно и убежденно подтверждают: смертную казнь отменить нельзя.

Ну, конечно, для самооправдания, — кому не хочется перед зрителями сохранить приличный вид, — прозвучит оговорочка о том, что в принципе-то они понимают, что это не гуманная мера, но сейчас, когда преступность растет... и т. д.

Будто не минуту назад именно этот довод достаточно аргументированно и авторитетно, при помощи цифр и ярких примеров, опровергался.

Режиссер, вполне милосердная женщина, не ожидавшая такого стыдного результата, даже растерялась и лишь повторяла: «Как же так! Они же всё слышали! Им же всё объяснили!»

Но зачем им было слышать, если они пришли сюда уже с твердым и сложившимся убеждением, — казнить необходимо!

Им никакие доводы и не нужны были. Они не впустили бы в себя ничего, что могло их поколебать. Для этого надо стать другими. Другими людьми в другой стране. Эти же были сколком, зеркалом, рупором и частью своего народа.

Полагаю, что, когда мы еще только формировали Комиссию, мы, поперву, были не намного лучше их.

Мы тоже пришли каждый со своими убеждениями и своими предрассудками. У кого-то демонстративно откровенными, а у кого-то скрытыми и тем более мучительными.

Практически от заседания к заседанию смертная казнь ранила нас, причиняла боль и мешала нормально жить. Но эта боль была необходима для вызревания (и прозревания) некоей зоны (опять зона!) в каждой отдельной душе.

В борьбе мнений, в спорах, сомнениях, даже терзаниях по поводу тех или иных конкретных уголовных дел постепенно менялось отношение к смертной казни. И если наше сообщество, то есть Комиссию, можно представить в виде единого живого организма, как потом и стало, отношение к смертной казни то затаивалось, уходя в глубину, то как бы всплывало и взрывалось острой дискуссией...

И тогда летела с трудом налаженная работа, страсти накалялись, и нужно было, после того как все выговорятся, погасить спор, как говорит Вергилий Петрович, «заволокитить». Но это был не просто уход от острого вопроса, скорее отсрочка, необходимая для спокойного раздумья.

И такие страсти-мордасти вовсе не от «взрывов на солнце», по словам того же Вергилия Петровича. Просто мы приходим сюда из разных горячих точек, где каждый из нас «варится» в определенной среде, а потом накопленное за неделю вываливается в общий котел, который мы коллективно и расхлебываем.

Конечно, мы спорим не только о смертной казни, но именно она была у нас как кость в горле, с самого первого дня. Она не давала нам спокойно жить, могла стать и уже временами становилась причиной ссоры, разлада, а то и распада Комиссии.

Сейчас уже многое забыто. Вытеснено прагматичной памятью, которая не копит отрицательные эмоции.

Я обращаюсь к записям тех лет и убеждаюсь, что путь к милосердию был и мучительным, и жестоким, и тернистым, и, конечно, извилистым, не таким ровным, как представляется сегодня.

Дневник

Привожу выдержки из тетради, датированной началом 1992 года.

6 марта. Первое заседание. Знакомство. Мои слова о цели Комиссии: «Мы служим здесь не Президенту, не власти, но лишь обществу, которое тяжело больно и лечить его можно лишь состраданием... Надеюсь, это и будет нашим главным законом...»

Где-то в процессе возникшего разговора уточняется, что образование Комиссии — акция не политическая, а гуманистическая, иначе бы мы сюда не пришли.

Для начала работы Вергилием Петровичем представлены 107 уголовных дел. Смертников пока нет.

После заседания Булат Окуджава воскликнул:

— А ведь мы освободили 107 человек! Можно считать, что наша жизнь оправдана. — Потом шутливо добавил: — Легко представить такой сюжет: возвращаешься с заседания домой, а из-за угла человек, и тяп тебя по голове... Его хватают, проверяют и выясняют... Выпущен тобой накануне...

Хочу напомнить, что только одно имя Булата я буду здесь называть по причинам понятным: он ушел навсегда. Ну, пожалуй, еще Фазиля Искандера, который давно покинул Комиссию и теперь как бы ее история.

Кстати, за Булатом и Фазилом мы посылали официальную (черную) машину, тот самый пресловутый и заклеенный «членовоз»; Булат вначале наотрез отказывался в нем ехать.

— В «черной» не поеду, — заявлял он.

— Да она не совсем черная, — уговаривали мы. — Она грязно-бежевая, к тому же в ней уже будет сидеть Фазиль...

— Ладно, — снисходил Булат. — К Фазилю я сяду.

Как ни странно, с самого начала работы жестче других к осужденным на смертную казнь относился наш Священник, обычно такой мягкий и добродушный. Он оказался неистовым, непреклонным в суждениях, как протопоп Аввакум. Но дела читал добросовестно, вникая в подробности, и этим пришлось по душе Вергилию Петровичу.

После заседания он сказал:

— У меня лежит папка дел, отклоненных на уровне тогдашней России (Президиумом Верховного Совета РСФСР), я должен был их передать в Комиссию по помилованию СССР... А теперь куда изволите?

— Давайте нам, — предложил кто-то.

— И вы их всех помилуете?

— Наверное.

— Имейте в виду, — предупреждает Вергилий Петрович, насупясь. — В регионах массовым помилованием будут недовольны.

— Кто... недовольны? Власти?

— И власти.

— Неужели мы станем оглядываться на власти... Любые!

— Но авторитет Ельцина?

Я сказал:

— У нас во всех случаях есть выход, который не зависит ни от кого... Даже от Ельцина...

— Какой же?

— Мы просто уйдем в отставку. Но властям потакать не станем. Пусть это будет тоже нашей заповедью.

Со мной согласились.

8 марта. В день моего семейного праздника (восьмого марта мы поженились) впервые читаю дела смертников.

Это и правда страшно. 27-летний парень (Алексеев) из-за 4 ящиков водки порешил сторожа автобазы и его жену... Сторож перед тем пожелал ему спокойной ночи и доброго здоровья... А жена принесла из дома пирожки для детишек... У нее обнаружено сто ран... Он пил из бутылок, испачканных кровью... А в своем ходатайстве повторяет: «Прошу понять меня правильно... Я вам пишу и плачу...»

Я растерялся, расстроился, впал в хандру.

Что делать? Позвонил Анатолию Кононову, но мне ответили: он в больнице. Нужно что-то по поводу Алексеева решать, а как тут решать, когда решать невозможно!

Наконец дозваниваюсь до больницы. Анатолий серьезно болен, но не я его, а он меня утешает. Мол, ничего, привыкнешь... Так и мы работали...

И рассказывает про старую Комиссию, как бывший ее председатель докладывал их результаты на Президиуме: «Вот, мол, убийца нанес сто ударов... изнасиловал, бросил... А Комиссия решила помиловать... — и при этом театрально разводит руками, я-то, мол, тут ни при чем... Ну и реакция однозначная... Казнить».

— Я так не умею, — говорю я, — докладывать... Это только вам я докладываю, что мне хреново... — Но об испорченном празднике молчу... Пирожки, водка под соленые грибки... А как я могу пить и есть, когда перед глазами бутылки, заляпанные кровью...

9 марта. Сделал на сутки перерыв. Отдышался. Снова. Читаю.

Когда приступаешь к чтению, представление о любом преступнике однозначное: зверь, чудовище, выродок... Но добираешься до ходатайства, и хотя человек вроде бы тот же, а какой-то другой. И нужно вернуться на несколько страниц назад, чтобы удостовериться, что чудовище и этот «другой» — одно и то же лицо.

Он и сам пишет: «Это не мог быть я... Хотя это был, наверное, я... Но затмение... Помилуйте... И не дайте убить в затылок...»

Подспудная мысль: значит, убивают в затылок?

В одном прошении матери о сыне написано: «...В 43-м году у нас на кирпичном заводе пленных фрицев было тысячи полторы, вот они-то и были настоящими преступниками, ибо жгли наши деревни, убивали старух и детей. Но мы не расстреливали их, а кормили своим хлебом, а сами пухли от голода. Так почему у нас нет гуманности для своих? — И в конце: — Неизвестно, где сынка косточки сгниют, на какой холмик сходить помолиться?»

И снова открытие, для себя: значит, после этого... Их тела родным не отдадут? Мольбы адресованы Ельцину, да не читает ведь он этих писем и не рвет нервов из-за всяких таких слов. Он не знает о них... А если б знал?

Вергилий Петрович на все возникшие в моей душе вопросы реагирует просто:

— В ходатайствах они вам насочиняют! Вы лучше в дело смотрите... Жена преступника и та утверждает, что он преступник... А мать и есть мать...

Но я-то прошениям верю, хотя не всем. Жизнь не придумаешь.

10 марта. Первое заседание по смертной казни. Обсудили девять дел. Девятое о некоем насильнике с символической фамилией Бейс (бес и есть!) мы отложили... До

лучших времен... Пусть пока живет, а закон, дай Бог, переменится, мы ему заменим казнь на «пожизненно». Пока же такого закона нет.

Вергилий Петрович недовольно пробурчал:

— Ну а чего собираться тогда? Решать, кому пятнадцать лет, а кому двадцать?

Ему пытаются возражать. Конечно, государству выгодней истратиться на пулю, чем содержать заключенного пожизненно... Но мы ведь оглядываемся на западную технологию, экономику... Неплохо бы позаимствовать и правовую культуру... Ибо нигде в Европе уже не казнят...

— А в Америке казнят, — быстро отреагировал Вергилий Петрович. — Да еще и подростков!

— Но там преступность повыше нашей!

— Не выше, да и казней меньше...

Булат и Фазиль промолчали.

Зато ринулась в бой неистовая Женя, вот что я записал:

«Вина за многочисленные убийства лежит на государстве... А отмена смертной казни один из факторов лечения общества... Да и во всех этих папках (указала на зеленую) правовой беспредел... И если мы пойдем на поводу у казнителей, то грош нам цена!»

И Священник вставил слово, кротко объяснив, что христианство не принимает казнь, ибо палачу лично преступник не сделал ничего дурного. Значит, палач тот же убийца... И толкает его на это государство...

Анатолий Кононов, который пришел послушать нас, потом в разговоре со мной прокомментировал: «Они (по-видимому, власть) месяц-полтора подождут, посмотрят на работу Комиссии, а потом в Верховном Совете поднимут по вашему поводу шум... Они и амнистию, уж на что буззубая, постепенная, столько тянут...»

13 марта. Возник во время заседания вопрос о присутствии на них правоохранительных органов, то бишь высоких чинов из МВД.

Вергилий Петрович предупреждает, что, если мы не введем их в Комиссию, они к нам вообще не придут. Ну, хотя бы уважить самого министра...

Анатолий Кононов обычно сидит тихо, но сейчас бросает с края стола:

— Там у них обычно «замы» ходили!

— Если не впишете, — долбит Вергилий Петрович, — они обидятся.

— Когда надо, позовем, — упираемся мы.

— А они не придут, зачем им...

Комиссия заколебалась. Но окончательно точку поставил Старейшина.

— Мы, — сказал он, — как я понимаю, вроде американского суда присяжных...

А на них присутствовать и давить на психику никто не может... Ни министры и никто вообще...

Все согласились.

Тем самым создан прецедент: работаем без вмешательства и постороннего присутствия. В том числе и печати.

Фазиль после заседания, выслушав наших первоклассных юристов, вдруг заявил:

— Ну, что я понимаю, вот они! Специалисты!

— Да ты стоишь всех специалистов, — возразили мы. — Они же узко судят, а ты философ, ты поднимаешься выше разных там параграфов и уголовных статей... Ибо не отягощен мелочью...

Вспомнилось, как побывал я однажды в рыбном колхозе в Латвии, где трудился мастер по лодкам, единственный на всю Прибалтику. Как-то он пошел позвонить в школу, а учитель, не самый, наверное, деликатный, вытурил его: подумаешь, какой-то лодочник им мешаает.

Мастер, уходя, не без укоризны заметил: «Учителей-то у нас много... А человек, который делает лодки... Один!»

20 марта.

— Имена членов Комиссии будут публиковать? — спрашивает Священник.

— А зачем? Чтобы все зеки и их родственники пошли на приступ?

— Это станут передавать из уст в уста по всем лагерям, — говорит Старейшина. — Мне уже был звонок... Академика, как его... Амбарцумова...

— Ну, вот.

Он и ко мне позвонил, но не сам, а через Юру Корякина. Хочет присутствовать на обсуждении дела одного рэкетира. Дело в том, что отец его — профессор МАИ, а сын брал огромные деньги с разных фирм.

— Ах, эти... Бомбят и нас, — озабоченно говорит Вергилий Петрович. — Преступник отсидел из шести только два года... Нужно хоть полсрока...

Но академик приехал и высидел в приемной три часа, пока шло заседание, на которое его не допустили.

Когда об этом узнали на Комиссии, возмутились, ведь бедных уборщиц, которые украли пряжу (как раз их дело разбирали), никто не приехал защищать!

27 марта. Пошли насильники... Резче всех против них выступает Женя. «А вы подумали о судьбе этой девятилетней девочки, с которой отец (родной!) пять лет жил! Что с ней сейчас?»

— Да тут же написано, вышла замуж...

— Но как она живет? — И горячо добавляет: — Я не готова миловать такого отца, но я готова хоть завтра выехать по адресу (он известен) и поговорить с этой девочкой.

Предложение не поддержали.

— Семьдесят тысяч дел... по каждому не наездишься.

— Да и зачем ей напоминать об этом ужасе?

— А муж... Он может ничего не знать!

— Я ночь не спала... — говорит Женя. — Ну как это возможно, когда тот, который шестилетнюю девочку отвел в лес... Написано, что не смог ничего сделать... А если бы смог?

— Имейте в виду, — предупреждает Психолог. — Есть случаи, когда девочки сами сознательно идут на такие связи, получая от них выгоду... И никаких моральных угрызений не испытывают...

— Это тоже крайний случай!

— Да вы прочтите... Он пять лет жил с дочерью... И никто не знал!

Разговор с Вергилием Петровичем. Между заседаниями.

— Вы меня не слушаете, а напрасно: надо некоторые дела отклонять. Иначе через месяц-другой будет скандал! Посыпятся письма в Верховный Совет, те попрут на Президента... и пойдет...

Неожиданно и от администрации нагрязнули. Поздоровались и так вежливоенько после вопросов о здоровье: «Говорят, вы на Комиссии смертную казнь отменили?»

— Ну пока милуем, — отвечаем настороженно. — А что?

— Всех? — спрашивают. — А закон? Он вам не указ?

Почтальон, депутат Верховного Совета, он потом от нас, к сожалению, ушел и уехал в свой Питер, неожиданно подтвердил:

— Депутаты уже знают о вашей Комиссии... Разговор такой: «Окуджава да Искандер, чего от них еще ожидать!»

Вергилий Петрович своей ироничной манерой:

— Депутаты? А от них чего ожидать, они вон ручки в кабинетах поотвинчивали!

Я не помню, чтобы в кремлевских кабинетах что-то воровали... А тут, пока моя секретарша обедала, у нее телевизор унесли! После этого стали машины на выезде проверять!

Обсуждение первой же папки смертников сразу перешло в собрание.

Психолог и Врач (он же депутат) в один голос утверждают, что Комиссия так долго не просуществует и неизвестно, какой грех больше: отказать в помиловании нескольким злодеям или поставить себя под удар и в конце концов уйти в отставку, отдав помилование в такие руки, которые уж точно будут казнить всех подряд.

Их оппонентами стали Почтальон и особенно Женя.

Она громко заявила:

— Мы не знаем, вообще, будем ли мы существовать в нашей роли через несколько месяцев. Может, нам и не придется ничего решать. — И напрямую к Врачу: — Вы можете своими руками подписать смерть человеку? Можете, да?

Врач — немолодой, с бледноватым лицом человек. В Верховном Совете добровольно отсиживает за всех на заседаниях, у него целая куча карточек (в том числе и Сергея Ковалева), которыми он голосует. Совестьливый, добросовестный, улыбка мягкая, почти виноватая. Он вообще-то неагрессивен, но сейчас полез в бутылку и отвечает Жене довольно твердо: «Да. Могу».

И далее, впервые (всегда бывает что-то впервые) — мы голосуем... «Поднимите руки, кто "за"!» Это за помилование (изнасиловал и убил двух девочек).

Двое: Священник и Врач — голосуют за «отклонение». Их предложение не прошло. Но и за «помилование» не прошло. Весы заколебались... Отложили...

Женя — разгорячена спором, ее синие прекрасные глаза потемнели — останавливает меня в коридоре, после заседания.

— Мы такими сюда пришли и другими быть не можем... И я вас предупреждаю: если Комиссия хоть раз проголосует за казнь, я сюда больше не приду!

Почтальон в личной беседе потом скажет:

— Я тоже думаю, что мы не должны ничего бояться. Мы появились в таком непривычном виде, чтобы дать нравственный пример...

— Это уже мне нравится, — объявит довольно после заседания Вергилий Петрович, безусловно спровоцировавший спор.

И было в его усмешке что-то мефистофельское.

Погодите, мол, завершали, а что-то будет дальше!

Хочу, задним числом, повторить, что мы были очень разные, когда шли сюда. И, возможно, в чем-то весьма и весьма незрелые. Я говорю о нашем отношении к смертной казни. Книжки, телевидение, кино — это все другое, не похожее на реальность, с которой мы столкнулись. Здесь все вместе и каждый порознь вырабатывали свои принципы и, если хотите, в какой-то степени создавали сами себя. Можно даже сказать так: «не казня» других, мы ежедневно казнили себя. И один Господь мог знать, чем это все кончится.

На заседании.

Женя активный враг всех насильников, но сегодня на обсуждении рассмеялась. Пострадавшая подала в суд, потому что у них (насильников) ничего не получилось...

Цыгана, который крал лошадей (у него шесть детишек), мы помиловали, да еще смеялись, пусть, мол, не оставляет свое классическое занятие, а то ведь и цыган настоящих скоро не станет.

И еще дело, где тюремная биография осужденного начинается аж в 1942 году, когда его осудили «за антисоветскую агитацию». Понятно, в шутку мы предложили его не только помиловать, но и передать дело в отдел наград, ибо он еще тогда выступил против советской власти!

Реликтовые для наших времен уголовные статьи и сроки, встречающиеся в некоторых делах времен сталинщины, нет-нет да промелькнут в чьих-то биографиях, возвращая к памяти жесточайшие суды того времени. За украденное общественное добро (колоски на поле) — двадцать лет, за расхищение народного добра (катушка ниток на фабрике) — пятнадцать лет и так далее.

И даже не в сроках дело, а в том, что девушку в шестнадцать лет засудили однажды, а потом уж она пошла по лагерям, и сломалась еще одна жизнь.

Это ли не казнь?

Да, кстати, уголовницы, не помню уж, кто первый придумал, проходят у нас почему-то под ласковыми именами... Так и произносится вслух: Танечка, Верочка... А эта милая Верочка убила мужа сковородой по голове, а Танечка задушила любовника в постели!

Но так мы могли шутить, лишь когда шли сравнительно легкие дела. И было решено, что все, что здесь говорится, тем более голосуется, не должно выходить за пределы комнаты.

— Но все и так знают о вашей позиции, — возразил Вергилий Петрович.

А Женя призналась, что уже были угрозы не ей, ребенку...

— Сегодня мы перешли ту грань, когда становится опасно, — строго сказала она.

Между комиссиями.

Вергилий Петрович со вздохом подытоживает:

— Ну, правда, трезвые головы и у вас тут есть... Вот если бы вы Врача на голосовании поддержали, он ведь правильно советует! Понемногу, но казните...

— Не только он, — излишне резко отвечаю я.

Про себя сосчитал: Врач, Психолог, Священник и, возможно, Булат... Про Фазилю не знаю. И еще один колеблется... Как бы для оправдания ссылаются на известные имена... Режиссер, мол, Рязанов... Летчик-испытатель Марк Галлай — люди цивилизованные... В каких-то случаях казнь считают необходимой...

А вчера Врач вдруг заявил:

— Общество безнравственно. Оно нас не поймет. Людей ведь осудили. Значит, виноваты. А то, что мы сейчас делаем, — революция! Притом что лишь двадцать пять процентов против казни!

Почтальон возразил:

— Мы не судебная инстанция, чтобы разбирать вину... Иначе нам бы лучше идти в прокуратуру...

На Комиссии.

Вчера, уже вторично, обсуждали прошение смертника дяди К. Отклонили. Звучит-то благозвучно. А по сути — подпись под смертной казнью. Правда, последняя подпись как бы не наша. Президента. Но разве это что-то меняет?

Под конец кто-то из колеблющихся свое мнение изменил... Вот они весы судьбы! Счет голосов стал равным: «за» и «против». Снова отложили. Кажется, мы в это дело уперлись как в стену.

Булат в разговоре по телефону тем же вечером смущенно заметил: «Мы торопимся проголосовать, потому что боимся сами себя. Но ведь закона о пожизненном заключении может не быть долго? Что тогда?»

Мы оба, как и все остальные, не знаем, «что тогда». Проговорили целый час в тот вечер, поплакавшись друг другу в жилетку. Помню, что я сказал Булату... если его (дядю Колю, значит) казнят, из Комиссии уйдут трое... Ты знаешь кто... За себя я тоже не ручаюсь. Зачем мне такая работа, у меня была совсем другая задача...

Потом разговор с Женей, и тоже по телефону.

— Что же, — спросил я, — мы идем вверх по лестнице, ведущей вниз?

— Да, — отвечала она. — Именно так. Но идти надо до конца.

Я не стал спрашивать, какой конец она имеет в виду. Но становится очевидным, что при всей смелости Ельцина (а в некоторых случаях он и правда решителен) он не пойдет на такой шаг, как отмена казней. Хотя... Сергей Ковалев подтвердил, что Ельцин сам заговорил о создании Комиссии, которая бы не казнила. Тогда, в 91-м году, опасался за жизнь гекечепистов. Не потому, наверное, что пожалел их, а просто не хотел политических репрессий... Тем более расстрелов.

Бессонная ночь.

Я понимал, что наша работа в некотором роде не самый ли сильный соблазн стать судьей чужой жизни.

Ведь так, кажется, просто возненавидеть убийцу: трех мальчиков использовал и убил, да как... душил или головой в ванну и после этого в прошении пишет о ценности человеческой жизни... Своей, разумеется.

По совести есть все возможности, даже право, сказать такому: «умри». Или чуть деликатней: «уйди». Проголосовать за отклонение, а самого себя оправдать в собственных глазах. Но это и есть соблазн, ибо права решать чужую жизнь («порешить» — точнее?!) не может быть ни у кого, кроме Всевышнего.

И когда мы вещаем о законе, который якобы нам «разрешает» распорядиться чужой жизнью, это тоже фикция. Наш закон (российский) основан на равнодушии к людям. С ним нельзя спорить (закон есть закон!), но сопротивляться ему, морально противодействовать нужно и можно.

Вот и сопротивляюсь, и противодействую.

Тем более я знаю, что он (закон) тоже может меняться... Сегодня, скажем, казнят единицы, ну десятки, а завтра пойдут сотни, тысячи... И все это будет один и тот же закон.

А я вроде бы еще писатель, хотя за чтением кровавых дел запамятовал, когда сидел над чистой страницей... Да нет, я еще, и прежде всего, гражданин и не приемлю такого закона и всеми доступными силами против него восстаю. Ведь мог же великий Толстой...

А пока что вот: я решил откладывать тяжкие дела, где наши могут проголосовать за казнь. Чтобы, как сказал один мой приятель, не дергать судьбу за хвост... В смысле не искушать податливых. (Если честно, и я могу быть податливым.)

Наутро позвонил Сергею Ковалеву: надо встретиться и выпить, иначе не вытяну...

Застолье.

В беседе с Ковалевым среди многого о разном постепенно приблизились к теме, которая начинала обжигать, хоть мы ее, как могли, отдаляли. Начали с Президента.

— А мы нужны? Ему? — спросил я Ковалева.

— Праведники нужны всем и всегда, — отвечал он. — И Ельцину нужны...

— Зачем?

— Для очищения.

— А что нам делать? — спрашиваю.

Ковалев задумывается, отставил рюмку.

— А что, если... Этот... Вергилий Петрович... Ну, помимо вас отдаст Ельцину часть «трудных» дел?

— То есть дать ему возможность... Самому?

— Небольшую часть...

— А где границы?

— Это, конечно, сложный вопрос. Но все-таки выход. Не можете же вы копить «трудные» дела до бесконечности?

— Но имеем ведь право?

— А об этом кто-то знает?

— Пока нет.

— Узнают...

— И что тогда?

Вопрос, который задал мне Булат в ночном разговоре.

Ковалев машет рукой, и мы молча выпиваем.

— Нужен закон... Альтернатива смертной казни...

— А что, если поговорить с Ватиканом? С Папой? Он же доступней Ельцина? — спрашиваю я.

— Наверное, — усмехается Ковалев. — Но вот с вопросом о пожизненном заключении надо пробиваться все-таки к Ельцину...

— Вы поможете? — напирая я.

— Да попытаюсь...

Вокруг кабинета.

Встретился на дачных дорожках писатель Оскар Курганов. Крупный, с палочкой.

— Вы, говорят, засели в этом... В кабинете Пуго? — С придыханием, устал от ходьбы. — А знаете, меня за подписание какого-то воззвания, это было, наверное, в 49-м году, вызвали к Шкирятову в КПК, может, в ваш кабинет...

— Кажется, нашего еще не было.

— Но все равно большой... Полкилометра... Идешь, идешь... А он со своего места: «Стой!» И начинает спрашивать, а ты стоишь посреди этого зала, как в поле — один перед нацеленными на тебя глазами... Как на суде! Потом разрешают сделать еще четыре шага и опять: «Стоп!»

А я вдруг подумал, что такие необъятные (безразмерные) кабинеты психологически съедали человека... Пока дойдет от дверей, поневоле усохнет от страха...

В поликлинике на Сивцевом Вражке меня прикрепляют. Отдавая фотографию в регистратуру, иронизирую, мол, я тут вышел как партбосс. Женщина внимательно оглядывает меня, мотает головой: «Не похожи. Хотите покажу, как они выглядят?» И достает фотографию: стертое бесцветное лицо и правда без признаков живого.

— Кто же это?

— Читайте, там написано.

Читаю: Полозков.

— Неужто, — удивляюсь, — коммунисты еще тут?

— Не пойму, — отвечает она, но как бы невпопад. — Как такие вообще наверх попадают...

При этом ни словечка о нем впрямую. И так уже много наговорила.

А я вдруг вспомнил, что и Полозков в нашем кабинете успел посидеть... Бумажки даже от него остались... Вдруг ловлю себя на мысли далеко не милосердной, что Ельцин излишне мягок с этими... Они с ним, придя к власти, чикаться бы не стали... В лучшем случае прикрепили к районной поликлинике...

Зашел на работу приятель, я ему подарил давно обещанную книгу с надписью: «Дана в кабинете Пуго, но не ПУГайся, мы — совсем другие...»

Лена — буфетчица на нашем этаже. Улыбчивая, покладистая.

Однажды я спросил, а для чего он нужен здесь — буфет? Оказывается, для Шахрая. Но и нам она готова помочь... Официальные лица, к примеру, или чай для Комиссии...

Буфет на ее памяти был здесь всегда. Я спросил про Пуго, видела ли, как они здесь заседали?

— Да, — отвечает. — И даже присутствовала. Я им чай разносила... За время одного заседания выпивали до ста стаканов! — И показала: — Сидели вот за этим столом и вдоль стен на стульях. А вот это, на ковре, видите, — показала, — пятно, это от трибуны. С нее докладывали... А там, где вы сидите, сидел, значит, Пуго, а у дверей три

стула, для «подсудимых»... Но не для всех, а для самых важных... Остальных прямо из-за двери вводили... Где ваш секретарь сейчас...

— И что же? Куда они шли?

— Они вот тут, у начала стола останавливались, слева...

— А было слышно? (имея в виду, что кабинет огромный).

— Так микрофоны... Один лично у Пуго, у других несколько — за столом...

— А кто за столом?

Она подняла глаза к потолку:

— Очень бо-ль-шие люди.

— Ну, помните, кто?

— Генералы известные, вот Шапошникова запомнила...

— И они судили?

— Да. Каждый выступал. Потом голосовали.

— А подсудимые? Как вели себя подсудимые?

— По-разному. Оправдывались... Рассказывали про свою жизнь... Иногда плакали...

— А в обморок не падали?

— Па-да-ли! Я им и воду еще приносила. У одного даже был инфаркт! Так бегала, «Скорую помощь» вызывала...

Подход пред царские очи.

В одной старинной книге наткнулся на «заговор»: «подход пред царские очи».

Звучит же он так: «Господи благослови! Как утренняя заря размыкается, Божий свет разсветается, звери из пещеры, из берлог выбираются, птицы из гнезд солетаются, так бы раб Божий Анатолий (предположим, я) от сна пробуждался, утренней зарей умывался, вечерней зарей утирался, красным солнцем одевался, светлым месяцем подпоясался, частыми звездами подтыкался. Покорюсь и помолюсь. Вы же, кормилицы, царские очи, как служили царям, царевичам, королям, королевичам, так послужите рабу Божьему Анатолию по утру рано, и ввечер поздно, в каждый час, в каждую минуту, веку по веку, и от ныне до веку. Ключ и замок словам моим...»

Есть там и «Подход к властям» и «Подход к начальству»... Но разговор-то идет о царе Борисе, и тут впрору было, когда «от сна пробуждался», произнести вещие слова. Так, для самоутешения.

29 июня 1992 года, хоть «красным солнцем не одевался» и погоду вообще не запомнил, но, как было уговорено, за мной на работу заехал Сергей Ковалев, добился приема, и на его черной машине мы проследовали в Кремль; заметил, как выдрессированная охрана отдавала нам честь.

Нет, вру конечно. Никто чести не отдавал. Это в кино так изображают. А нам включили зеленый огонек светофора, и по столь знакомым дорожкам Кремля — с машины они казались иными — с милицейскими постами на каждом уголке мы подкатили к «крылечку», как выразилась одна из девушек, у которой мы спросили дорогу к Ельцину... Мы и этого-то не знали.

Сергей Адамович со своей зековской хваткостью быстро определил, куда идти.

Третий этаж, потом длинным-длинным коридором, мимо так называемого кабинета Ленина («этот поболее кабинета вашего Пуго», — бросил на ходу Ковалев), дошли до охранника. Спустились на второй этаж, нашли дверь с дощечкой Б. Н. ЕЛЬЦИН и сели в предбаннике на диванчик.

Тут не было секретарш, а лишь мужчины: один пожилой и двое молодых, все деловому корректны. В назначенное нам время — я даже посмотрел: было ровно 16 часов 30 минут — прозвенел звонок, и мы вошли в дверь, обшитую деревом, из кабинета до нас никто не выходил.

Борис Николаевич встал нам навстречу, приветливо поздоровался, попросил присесть на диван возле небольшого столика слева у стенки и сам присел на стул в торце его. Над столиком висела большая цветная фотография: они вдвоем с Бушем в домашней обстановке, Ельцин в теплом домашнем свитере.

Я присел на диван, а Ковалев напротив Президента с другого конца столика. Я обратил внимание, что Ковалев на протяжении всей встречи был немногословен, отвечал на вопросы кратко, даже лишней улыбки себе не позволяя.

С этого момента и до ухода я наблюдал за Ельциным и почти сразу отметил особенность, некую механичность действий: рукопожатие, уже ставшую знакомой по телеэкранам вежливую, чуть застывшую улыбку.

Жена моя, конечно, спросила потом: «Ну, он хоть пытался вам понравиться?»

— Нет, — сказал я, — его это не волновало.

А Лида, помощница Ковалева, насмешливо заметила:

— Он уверен, что и так должен вызывать восхищение.

Кстати, еще с вечера ей, как человеку опытному, я позвонил и стал выспрашивать, как вести себя с Ельциным, я немного волнуюсь.

— Он высокий, — предупредила она, — но не смотрите на него снизу вверх... У вас своя правота, да и вообще, вы ему помогаете.

Так, наверное, я и ощущал себя, хотя советов в тот конкретный момент, конечно, не помнил.

Почти сразу успокоился, и это помогло мне сохранить контроль над собой и беседой, которая у нас возникла. Тем более что Ковалев как бы предложил мне идти на прорыв, то есть первому зачинать такой важный разговор.

Для «запева» я протянул Ельцину свою книжку, заранее приготовленную и подписанную со словами: «Вот моя визитка».

— А вы и пишете? — как бы удивленно спросил он.

Ковалев потом уверял, что это была шутка. Мне так не показалось. Я тут же ответил, что в первую очередь я все-таки писатель.

Надпись моя на книге «Ночевала тучка золотая» была такая: «Борису Николаевичу Ельцину, да поможет вам Бог спасти Россию и даст здоровья и сил, а мы с Вами...»

Думаю, что я и сегодня мог бы повторить эти слова. Еще много лет после этой встречи он доверял нам решать судьбы заключенных, и, если кто-то из его окружения здорово мешал, тут его прямой вины нет.

Вообще полагаю, что где-то в недрах его структуры мы едва просвечивали, ну, скажем, как изъясняются астрономы: звездочка «пятой величины». Иной раз о нас вроде бы вспоминали, но чаще не замечали, особенно когда происходили глобальные передвижки. Хотя именно в это время нас могли попутно с кем-то смахнуть, вовсе этого не заметив. Но в такие времена мы действовали по известной формуле: спасение утопающих дело рук самих утопающих...

Не утопающих, а, скорее, топимых...

Ельцин вежливо открыл книжку, прочел автограф, отложил. А Ковалев заверил, что я «хороший писатель». Как будто сейчас это что-то значило. Только для моральной поддержки. Начался разговор с моего краткого, понятно, подготовленного выступления о том, что я упорно сопротивлялся и не хотел идти в Комиссию, но возможность помочь людям и помочь Президенту подвинули меня на это дело. С помощью Ковалева, Кононова, Шахрая нам удалось собрать редкую по составу Комиссию, которая, как я считаю, достойна своего Президента. В нее входит та самая интеллигенция, которая его поддерживает. Но остаются и наши проблемы, касаемые смертников, и теперь работа такова, что нам кажется (живок в сторону Ковалева), смертную казнь можно было бы заменить на пожизненное заключение. Такого закона у нас, к сожалению, нет...

Ковалев как бы слегка поправил меня: «ваши проблемы», указывая на то, что это проблемы и Президента.

Ельцин сразу уловил главную мысль, оживился, сказал:

— Ну, правильно. Когда судят человека, судья может оказаться под влиянием эмоций, а проходит время, и можно объективно взглянуть на преступление... И если помиловать, никто протестовать уже не будет... Я ведь все подписал, что вы предлагаете на помилование, — добавил он со знаком вопроса. — Никто же не протестует?

— Никто, — отвечал я.

Сообразил, что мои проволочки со смертниками имеют смысл и теперь как бы поощряются самим Президентом.

А он еще добавил:

— Да, интересная и широкая Комиссия. В ней большой диапазон мнений.

Думаю, что это, скорей всего, подсказка Шахрая, да и пример с судом и эмоциями тоже, наверное, от него. Во всяком случае, к разговору Борис Николаевич был подготовлен.

Уже по просьбе Вергилия Петровича я заговорил о помещении для архива, ибо папки валяются в коридоре на полу. Ельцин тут же отошел к своему письменному столу, позвонил, как выяснилось, руководителю Администрации, назвал меня по имени и сказал, что вот Приставкин просит помочь... Архив у них огромный... — И, обернувшись от стола ко мне: «Сколько, спрашивает?» — «Сто тысяч дел в год», — сказал я. Он повторил вслед за мной цифру и уже твердо: «Поищите, у Купцова

тридцать комнат... Нет, это не от Приставкина, это я от других знаю! — И повторил: — Такая, понимаете, уважаемая Комиссия, и все-таки, черт возьми, при Президенте!»

Я подумал потом, что, может, он и не сказал «черт возьми», но по интонации прозвучало именно так, причем с улыбкой, сам ведь только что похвалил. А Ковалев после встречи пронизательно заметил, что этой одной фразой он сильно укрепил Комиссию, ее нынешний состав.

Не успел Ельцин отойти от телефона, как ему позвонили, шел разговор о визите в Финляндию, и он поинтересовался сроками и даже суточными, не для себя, конечно, а я смог оглядеться, осмотреть кабинет. Три огромные люстры, российский флаг за спиной у стола, письменный стол, не очень большой, зеркала в бронзовой оправе...

Я тихо спросил Ковалева, здесь ли сидел Горбачев?

— Не знаю, — быстро отвечал он, давая как бы понять, что сейчас не время для разговоров. Даже в отдалении от Президента.

Сам он сидел чуть напряженно, на краешке дивана, положив руки на колени, и как загипнотизированный следил за Ельциным. Я обратил внимание, что у того в руках два карандашика, цветных, кажется синий и зеленый, он все время вертел их во время нашей встречи.

Закончив разговор, Ельцин попросил прощения за паузу и повторил свою мысль, он дословно помнил, о чем шел разговор, что надо дать правосудию возможность самим назначать пожизненный срок или же тридцать, тридцать пять лет... «как высшую вторую меру»... И далее, — общество демократизируется, конечно, мы дозреем и до отмены смертной казни... Но пока то, что вы предлагаете, разумно.

— Договорились? — спросил он, завершая беседу со своей неизменной улыбкой.

Ковалев тут же подхватил, что это главное, зачем мы пришли, и быстро заговорил о Верховном Совете и о риске обсуждения вопроса о Гайдаре.

Ельцин поднялся, считая разговор законченным, и мы простились.

Чуть поплутав по коридорам, наконец вышли к лифту и к машине.

И все-таки в мыслях, частенько, и сразу и потом, возвращаясь к этой встрече, единственной такой, не могу утверждать, что я понял этого человека... Было другое: ощущение некой надземности его, что ли, и вообще слово «над» все время вертелось у меня на языке. Ну, то есть что был он, Борис Николаевич, не с нами рядом, а все время где-то выше и отстраненнее.

Хотя... И тот крошечный разговор о поездке в Финляндию, происходивший в нашем присутствии, и особенно вопрос о суточных, которыми он поинтересовался, доказывали, что в нем твердо присутствовал и бывший обкомовский хозяин, вникающий во все проблемы, в том числе и бытовые.

Встреча получилась полезной. И для укрепления позиций Комиссии, и для будущей работы. Я уже не говорю о личных впечатлениях, не каждый день ведешь беседы с царями!

Первый, кого мы казнили (зеленая папка)

Если заглянуть в таблицу казненных в России, где все расписано по годам, можно увидеть, что 1992 год, когда мы приступили к помилованию, обозначен лишь одной казнью.

Фамилия его Филатов. Пенсионер. Колхозник. Никогда прежде никаких преступлений не совершал. Осужден на смерть за изнасилование малолетних и был представлен нам отделом примерно через месяц после начала нашей работы.

Нет, мы, конечно, не собирались ни его, никого другого казнить. Но мы еще не научились миловать. Он был первый в нашей практике, и мы, надо сказать, сильно растерялись. Ведь были какие-то принципы, идеи, с которых начинали и которые были направлены в целом против смертной казни.

А несчастье, произошедшее близ Луховиц, таково: Н. Ф. Филатов, он же дядя Коля, как его называли дети, повез покататься на лодке двух девочек, завез их на

остров, там изнасиловал, убил. Это реальная история. А далее идут письма, статьи, звонки.

Одна из статей, присланная из Коломны, так и называется: «Он не должен жить».

Цитирую: «Эта мысль рефреном проходит через читательские письма. «Если бы это произошло с моей дочерью, я бы его, гада, из-под земли достала и зубами бы разорвала на части. Филатов не имеет права жить. Смерть, смерть и еще раз смерть. Г. Ковалева».

Другое письмо: «Отмена смертной казни возможна в цивилизованном обществе, каковым наше не является. Безнаказанность и несоответствие наказания степени содеянного лишь стимулируют жестокость... Убийцу и насильника казнить. Стегунов».

И вот еще одно: «Только не говорите, что я кровожадная. Я не призываю вернуться к отрубанию рук на площади за воровство. Но будущий преступник должен знать, что он будет наказан. Вспоминаю свою молодость: 50—60-е годы. Поздним вечером, ночью люди ходили по улицам спокойно, не боялись, что кто-то убьет лишь за непонравившийся взгляд, брошенный в его сторону, или за отсутствие у тебя спичек, когда кому-то хочется прикурить... Л. Смирнова».

Из письма народному депутату: «...Помогите нам закончить мучения, т. к. мать одной погибшей девочки тяжело больна, а другой— инвалид I группы. Это ли гуманно в нашей правовой стране потерять детей, ездить и ходить по прокуратурам и судам, просить как милостыню — накажите убийцу! А он еще подал прошение на помилование... Ему страшно умирать, а сколько страха было в детских глазах, когда они просили, умоляли не убивать их, они доверились ему, как отцу, у которого ищут защиту... Сергачева».

Тут же статья с названием: «Казнить нельзя помиловать». Английский режиссер Ричард Дентон... был настолько потрясен жестокостью и дикостью содеянного, что приехал в Коломну и снимал место, где произошло преступление... Затем он взял интервью у первого заместителя городского прокурора Комовой... Она ответила так: «Приговор справедливый. Что касается моего отношения к смертной казни, то в нынешней ситуации, когда преступность в стране растет и приобретает все более жесткие формы, я считаю, что она необходима. А вам, читатель, мы предоставляем право выбора, после какого слова поставить запятую в заголовке...»

Этот же вопрос, где поставить запятую, стоял, понятно, и перед нами, членами только что назначенной Комиссии. И будет стоять сотни раз, ровно столько, сколько лягут нам на стол такие дела. И от того, как мы сможем этот вопрос решить, зависело многое и в судьбе самой Комиссии и в жизни (я не преувеличиваю) каждого из нас.

О роли печати, особенно провинциальной и обычно прокоммунистической в провоцировании, в призывах населения к ужесточению законов, я поведаю где-нибудь отдельно. Но довод, прозвучавший для нас тогда впервые: преступность в стране растет и надо казнить, — будет потом, как рефрен, сопровождать всю нашу деятельность, вплоть до сегодняшнего дня. И даже генерал Лебедь недавно предложил решать дело по-военному: «Сильными ударами сбить волну преступности... отменить мораторий на смертную казнь и расширить область ее применения...»

Не важно уже никому, что в упоминающиеся нашими просителями 50-е годы, когда проходила их молодость и когда они якобы гуляли спокойно по ночам, преступность была ничуть не менее (несмотря на обильные казни!), была и «Черная кошка», наводившая панику, и только что выпущенные из тюрем головорезы, амнистированные в 53-м году... Сотни тысяч уголовников наводнили страну...

Ровно в те же дни, когда приступили мы к работе, в «Комсомолке» писали: «...Речь о 322 российских осужденных, которые давным-давно, некоторые годами ждут решения Комиссии по помилованию, а также милости Президента России...»

Филатов был первый из этих трехсот двадцати двух. И надо отметить, что страсти на обсуждениях разгорались такие, что, приходя домой, мы не могли уснуть.

Я тогда записал фразу, она как-то объясняет наше состояние: «Мы как будто разрываемся между желанием наказать убийц самым жестоким способом и нежеланием привести это наказание в исполнение...»

В те же примерно дни в Калифорнии впервые за 25 лет казнили некоего Харриса, убившего двух подростков. Его казнили в газовой камере, и многие американцы протестовали, называя казнь варварским видом наказания... (Статья называлась: «Бурная реакция на казнь в Калифорнии».)

В отличие от американцев, у которых как бы и преступность больше и убийства страшнее (если читать прессу), наши люди, известные своей социалистической

гуманностью, тоже протестовали, но совсем по-другому: требовали немедленной казни.

Был и еще документ, письмо от самого осужденного на смерть Филатова, где он писал, что не прошел судебно-психиатрическую экспертизу, а... «пятиминутки и амбулаторные заключения не являются такой экспертизой...». И второе — он был лишен в ходе предварительного следствия адвоката... Адвоката, которого ему дали, он видел всего один раз, на закрытии дела... И далее — рассказ о том, что одна из девочек ударила головой об лодку... «Когда она резко завелась и дернулась, я стоял спиной к ней и слышал лишь сильный удар об лодку, когда обернулся, увидел ее лежащую на корме лодки... Она лежала не дыша...»

И вот его последние доводы: «...Суд не был заинтересован в таких доказательствах, и эти вещественные доказательства представлены не были... Ведь если бы суд отнесся к моим показаниям серьезно и разобрался как положено, он и сам бы понял, что последние протоколы допроса предварительного следствия сфабрикованы...»

Где-то в дневнике сохранились обрывки яростных споров, уходящих от предмета разбирательства так далеко, что мы спохватывались, лишь когда истекало время работы.

Но много было сказано и по существу.

Так, на упрек, кем-то брошенный Жене, а как бы она поступила с насильниками, случись нечто подобное с ее ребенком, она не задумываясь ответила: «Я взяла бы автомат и расстреляла бы убийцу в упор. Но, простите, неэтично смешивать мои личные чувства и мою общественную позицию... Которая против убийства человека государством...»

В начале июня я уехал отдыхать в Крым, в Коктебель. Тот день, когда меня попросили зайти в кабинет директора Дома творчества — будут срочно звонить из Москвы, — запомнил накрепко.

Сведения же мне передали такие, что жители Луховиц, если мы не примем решения казнить Филатова, якобы собираются устраивать манифестацию у дверей нашего учреждения.

Предыдущее решение (непонятно, как они проведали: отложить дело на некоторое время) их не устраивало. Скорей всего, это сделал Вергилий Петрович.

Звонили от районного прокурора, звонили от специальной инициативной группы, выступающей за скорейшую расправу с убийцей, звонили и родители девочек... Эти, последние звонки, понятно, были самыми тягостными.

— Это опасно для Комиссии, — сказал голос по телефону.

Не буду называть кто мне звонил, это был член Комиссии, который оставался замещать меня. Незадолго до этого тоже выступал со своей милосердной программой. Но сейчас я услышал в его голосе испуг. А бояться-то надо было одного: не свернуть с намеченного пути.

Все остальное, как-то: разгон нашей крошечной кучки раньше времени, обвинение в мягкотелости и даже сопротивлении общественному мнению, в подрыве авторитета Президента — меня хоть и волновало, но не так сильно.

Мало ли какие давления нам придется еще испытать и которые мы и вправду потом испытали. Попытки подкупа, шантаж, угрозы по телефону, даже образование некой комиссии по проверке нашей Комиссии. И они сделают решающий вывод за подписью весьма авторитетного лица — он и сейчас где-то в верхах мелькает — о том, что мы не так работаем и даже дискредитируем Президента, не представляя его нашим гражданам как человека твердого и решительного в борьбе с преступностью.

Была и попытка компромата, собранная с профессиональным мастерством и приготовленная околотронной шпаной для подачи Самому. Но мы и на это шли. И вроде бы не боялись. А здесь вот дрогнули.

Все это по телефону не произнесешь, да и настроение у моего оппонента было иным, я это сразу почувствовал.

— Посоветуйся с Ковалевым, — смог лишь предложить я. — Он мудрый мужик, что-нибудь да придумает.

Через два дня мне сообщили по телефону, что Ковалев как бы не осудит нас, а Комиссия уже проголосовала за смертную казнь. Предлагала Президенту отклонить ходатайство Филатова.

Четыре человека были «за», а три — «против». Моей руки для прежнего равновесия как раз и не хватило.

— Не могу вас поздравить, — сказал я и повесил трубку.

В предбаннике директора коктебельского Дома, на месте его секретарши, жены здешнего начальника милиции, милостивой и пухлой украинки, я сидел и смотрел в окно на цветущие под окошком розы, на голубое синее южное небо и думал об этом самом Филатове... Прожил жизнь, но не судился... И вдруг изверг, хотя дети его любили... Но поднял руку на детей... Может, они правы, послав его на казнь? Хотя ведь и двадцать лет пожизненно — тоже казнь?

Волновало не только принятое решение, но и будущее, ибо минуло три месяца, и мы пошли на уступки, «спасая» Комиссию от разгрома. Ну и сколько же надо расстрелов, чтобы нам самих себя теперь спасти?

Да и адекватна ли цена, которую мы платим за свое спокойствие, посылая человека на казнь?

Очевидно, что ситуация, когда мы ввели «свой мораторий» и три подряд месяца не казнили, была чревата скандалом. Но много опасней стало, когда мы вступили на путь казни.

Внешне-то вроде бы ничего и не случилось, кроме того, что один из ублюдков понесет заслуженное наказание. И осудил его по закону суд, это он, а не мы приговорил к расстрелу.

Все так, а настроение испортилось, и даже жена, пришедшая с пляжа — от нее пахло свежестью, морем, — произнесла спокойно: «А я, между прочим, согласна с вашими, кто голосовал за казнь: их же надо уничтожать! Вы, что же, и ростовского маньяка собираетесь миловать?»

Довод был неотразим.

Но спал я плохо.

А первое, что увидел по приезде, было торжествующее, вдохновенное лицо Вергилия Петровича, который произнес не без пафоса: «Ну, что же, лед, как говорят, тронулся... Господа заседатели! А я, между прочим, вам из двадцати одного дела (цифра-то какая!) уж подберу дельце, которое нисколько не хуже. Ну, а Филатов станет для нас эталоном, что ли...»

Новогодние спичи

На просторном «пуговском» столе вразброс на общепитовских тарелках немудреная закуска: колбаса да сыр, да маслянисто рыжеватые шпроты, положенные на кусочки черного хлеба и для красоты посыпанные зеленым лучком. Пили водку. А Булат пиво. Разговор был о разном, но далеко от наших проблем не уходили.

Один из собеседников поинтересовался, заглядывая мне в лицо:

— Вы тоже сказали, что *наша* казнь этого... Ну из Мытищ, своевременная?

— Нет, я этого не говорил.

— Но вы же что-то говорили?

— Да. Я сказал, что боялся, что вы это решите без меня.

— Но разве не ясно, что он был откупом для других? — Так было произнесено.

— Ты был, наверно, удовлетворен? — повторил мой сосед. Я подумал, что он не столько очищался сам, сколько подравнивал под себя других.

Психолог, человек чуткий, совестливый, как-то по-особенному грустно констатировал:

— Да, я замаран в этой истории.

— И ты, Фазиль?

— Милосердие непонятная категория, — отвечал тот. — Я думаю, что она от Бога.

Академик покачал головой.

— Почему-то в нашем веке больше всего писателей, у которых нравственность и талант не совпали... Алексей Толстой, например!

Священник произнес что-то о поисках и про исход евреев к обетованной земле, о том, что нужно другое поколение, внутренне свободное, без предрассудков... Самый большой дефицит люди... Честные люди. Их так мало!

А Старейшина рассказал об Аркадии Гайдаре, о том случае, когда, командуя полком, он, почти мальчишка, расстрелял невинного мужика... Ну а в целом это был несчастный и добрый человек.

Старейшина добавил: «Я знал только двух людей, за которыми бы пошли дети... Он да Корней Чуковский... — И еще про Сталина: — Я не знаю ни одного человека,

даже в те времена, когда он был еще никем, кто бы его любил... А его соратник мне рассказывал: играют дети, люди веселятся, а он войдет и наступает молчание. В нем было черное поле!

— Обаятельность темной силы, — сказал Психолог.

— Вы знаете, на чем держится лидер? Любой? — спросил Старейшина. — На беспределе. У него нет границы ни в чем. — Последние слова он подчеркнул. И тут же заговорили о Хасбулатове, в то время спикере Верховного Совета, о его антиобаянии.

Почтальон промычал в бордону:

— Чуть что, кричит: «А ты что ходишь тут? Езжай к своим избирателям!» Ему не приходит в голову, что это относится и к нему, да их у него и нет... Его же выдвигали якобы чеченцы...

Переключился разговор на Ельцина, и Фазиль с удивлением отметил, что он ведет затворническую жизнь... Выступит, как прорвется, и исчезнет!

Фазиль прочитал стихи. Смысл: дети объединяются с детьми, негодьями, и только мыслящий тростник стоит одиноко, существует сам по себе...

Академик заметил задумчиво, что наша Комиссия последний островок идеализма. То же, что мыслящий тростник...

А Фазиль снова вернулся к теме Президента, дескать, он, по-видимому, не сильный человек, а к власти пришел благодаря гонению на него... И спросил с удивлением: «Правда, что он пьет? В двенадцать ночи заканчивает работу, потом, значит, наливает?..»

— А Ельцин сам подписывает документы? — спрашивает кто-то.

— Смотря какие?

— Ну, о смертниках?

— Может, и сам... Да у нас ведь, кроме Филатова, еще никого и не казнили...

За столом неуютная тишина.

Академик через стол поинтересовался:

— А вам случайно не известно, когда... — Он помедлил, не желая, видимо, произнести слово «казнь».

— Известно, — отвечал я, зная, что меня сейчас все слушают.

Я и правда не поленился сходить в ту самую комнату, где хранятся дела смертников, и посмотрел на крошечный листочек в папке с крупной буквой «Р», ставшей в этом деле последней точкой.

— Филатова, — сказал я громко, — расстреляли 16 сентября 1992 года.

И снова наступила тишина. Занялись кто чем, кто рюмкой, кто закуской. И стало вдруг понятно, что год, который мы провозжаем, для всех нас не прошел бесследно.

Это наши маленькие праздники (Булат)

После короткого выступления в российском посольстве, в Бонне, мы спустились в здешний бар, Окуджава, Разгон и другие, чтобы за кружкой пива посидеть, потолковать о жизни. И в этот момент прозвучал звонок из Кельна от Льва Копелева, он даже не просил, он требовал к нему приехать.

Помню, нам долго не давали машину, пугали обледенелой дорогой (дело было зимой). Но Копелев настаивал, даже дозвонился до посла, и мы трое: Разгон, Булат и я — рванули (другого слова не придумая) к Лева.

Встречали нас шумной компанией, там были немцы, дальние и ближние родственники, знакомые и друзья... И всем хватало места.

Почти так, как у него в доме на Красноармейской. И мы всю ночь до утра пили и вели разговоры, это были страсти по России... До утра... Ах, как душевно мы тогда посидели!

Наша поездка в Германию была организована Копелевым, который связался с министерством юстиции и уговорил их принять «помиловочную» комиссию.

«Помиловка» — словцо специфическое, из лексики заключенных.

Мы ездили по тюрьмам, слушали лекции по правовым вопросам, встречались с судьями, работниками юстиции, полицией и даже что-то конспектировали.

Немцев волновал тогда вопрос о штази, то есть о доносчиках и стукачах... Мы аккуратно вписывали в блокнотики всякое цифирье, записывал и Булат, посиживая в сторонке.

Впрочем, вскоре выяснилось — стихи.

Обсуждали донос и стукачество
и сошлись, между прочим, на том,
что и здесь обязательно качество
и порядок — а совесть потом...

Булат спросил лектора (мы пытались его «оживить»), а как, мол, с интеллигентностью? У юристов?

— Основная задача юриста — точно сформулировать вопрос, — отвечал лектор...

— А голова на что? — продолжал допытываться Булат. В такие минуты он и сам становился жестким, суховато дотошным.

— Ну, — задумался лектор, — скорей тут нужны знания...

— А талант? — настаивал вездливый Булат. — Талант в чистом виде?

Ответа на такой вопрос он так и не получил.

Но не всегда он был прямолинеен в вопросах.

На встрече в «земельном» суде вдруг спросил: «Если бы я был шпион, сколько бы мне не жалко дать срока?» — «Вас бы передали в Высший земельный суд в Дюссельдорфе», — вполне серьезно отвечал судья. «Ну, я там уже был», — протянул Булат, имея в виду тюрьму, которую мы посетили.

После лекции, где нам долго объясняли, что суть всех законов Германии — это защита человека от государства, он протянул со вздохом:

— Законы-то везде хорошие... Главное, чтобы люди их исполняли!

Так же при посещении Бундестага, небольшого здания, переделанного из бывшей водокачки, Булат, улыбаясь, заметил: «На уровне сельского клуба... И никакой помпезности...»

Но нам, потом, показали новый зал Бундестага, уже более современный, который, как нам сказали, рассчитан на то, чтобы в свободное время устраивать концерты, и Булат тут же отреагировал: «Вот сюда я приеду петь!»

Тема пиджака для Булата особенная, она проходит через его песни и стихи. Понятно, что и пиджак требовался какой-то необычный. Но какой..

Мы тогда в Германии перемерили их с дюжину, пока не остановились на одном. Конечно, снова клетчатом, из плотной ткани (кажется, его дома не одобрили).

По такому знаменательному случаю Булат пригласил нас в кафе и угостил крепчайшей и дорогой грушевой водкой.

Потом он напишет:

Поистерся мой старый пиджак,
но уже не зову я портного;
перекройки не выдержать снова —
доплетусь до финала и так...

Не сразу, но, кажется, на следующий день я спел сочиненную мной пародию, где от имени Булата были слова про пиджак, а еще про зеков, немецких конечно, которые живут так, что их камеры много лучше наших Домов творчества.

...Я говорю: в тюрьме живут,
как дай нам Боже жить на воле,
у них и крыша, и застолье,
и пиджаки, что им сошьют...

В компании под грушевую водку это прошло, и Булат не обиделся.

По смоленской дороге

С тех пор как Георгий Владимов в крошечной квартирке на улице Горького, пристукивая ладошкой по столу, однажды пропел нам песни Булата, это было в году шестидесятом или чуть раньше, песни эти сопровождали меня всю жизнь, даже снились по ночам.

В моей жизни было несколько соприкосновений с его песнями, мы тогда не были знакомы. Я приехал в Болгарию, и меня попросили рассказать о Булате, его песнях. Но как можно пересказать песни? Их можно пропеть. Понятно, что мое пение могло быть на уровне мычания, но мы тогда магнитофонов с собой не возили.

Была у меня возлюбленная, и, когда не хватало слов, я пел ей «Агнешку». И видел, как зажигаются ее глаза. Эту песню знают мало, начинается она так:

Мы связаны, Агнешка, с тобой одной судьбою,
в прощанье и прощенье, и в смехе и в слезах.
Когда трубач над Краковом возносится с трубою,
хватаясь я за саблю, с надеждою в глазах...

Я видел этого трубача, когда побывал в Кракове, но песня эта для меня не только о нем, но и обо мне, о ней, о самом Булате...

Вообще, у меня во все времена *ЕГО ПЕСЕН* было непреходящее чувство, что Песни, как и сам Булат, посланы нам свыше. При том, что в них много нашего, повседневного, они несли особенные слова и ритмы.

В автобусе из Гагры в Пицунду среди молодых тогда семинаристов-драматургов зашел спор о будущем веке, двадцать первом, тогда он казался нам почти нереальным, и Леня Жуховицкий-дискуссионер (это я объединил два слова: дискуссия и искуситель) задал вопрос, а кто, по нашему мнению, останется для будущего из нынешних писателей... Ну, кроме Солженицына... В нем мы не сомневались.

И тогда я неожиданно сказал: «Как — кто, конечно Булат!»

Несмотря на разномыслие, на пестроту взглядов, никто не стал оспаривать, все вдруг согласилось: Булат, да. Он останется.

Вот комната эта, храни ее Бог...

Обычное, повседневное общение лишает возможности видеть целиком человека, оценивать его реально. Но к Булату это не относилось. Встречаясь почти каждую неделю на Комиссии по помилованию, имея возможность разговаривать о чем угодно, я никогда не забывал, что говорю-то с Булатом.

Решился спросить, помнит ли он, как, при каких обстоятельствах мы познакомились.

Нет, он, конечно, помнить не мог, это было памятно лишь мне, ибо я тогда уже любил его песни и робел от предстоящей с ним встречи.

А было так, что в Москву приехала чешская переводчица Людмила Душкова и попросила передать Булату ее письмо. Через какой-то срок мне удалось дозвониться, и он, извинившись, попросил занести ему домой, на Красноармейскую улицу, как примета: там еще на первом этаже его дома парикмахерская.

Я поднялся на названный им этаж и позвонил в дверь. Она оказалась открытой. Булат лежал на раскладушке в пустой, совсем пустой комнате, кажется, и стул там был один-единственный.

Это была странная картина: голая квартира, а посреди хрупкая из алюминиевых трубок раскладушка и торчащее из-под одеяла небритое лицо. Глаза у него слезились. Чуть приподнимаясь и прикашливая, он попросил меня сесть, указывая на стул. Потом взял письмо, спросил о погоде, о чем-то еще. Вторично извинился и сказал, что вот-де простуда, а может, грипп, он вынужден здесь отлеживаться... Они только что переехали... Семья далеко...

О том, что он тут без помощи и практически одинок, я мог и сам догадаться. Но он-то не жаловался, был по-мужски сдержан, когда речь шла о нем самом.

По своей природной рассеянности я забыл у него на подоконнике записную книжку, и он разыскал меня, позвонил и смог передать ее через общих знакомых.

Думаю, не без потаенной памяти об этих аскетических днях Булат отдал премию «Апреля» одному бедствующему молодому поэту, но с условием: выдавать по частям в течение года... А то сразу пропеть.

Отозвавшись по телефону каким-то почти сонным низким голосом: «слушаю», он сразу оживлялся, искренне радовался, когда кто-то из друзей ему звонил. И, особенно, навещал.

Как-то после заседания на Комиссии мы сделали крюк на машине, к нему в Переделкино, на его дачу.

Он раскупорил «Изабеллу», купленную в местном переделкинском магазинчике, и мы ладненько посидели. Он любил гостей, и все положенное — стаканчики, какие-то бутерброды, сыр, печенье сноровисто и легко метал из холодильника на стол.

Потом с детской улыбкой демонстрировал необычную свою коллекцию колокольчиков: стеклянных, фарфоровых, глиняных... А я ему потом привозил колокольчики из Саксонии, из Киева... И он разворачивал, бережно, как птенца, беря на ладонь, рассматривал, поднося к глазам, переспрашивал, откуда, сдержанно благодарил.

Показывая свою коллекцию, он уточнил, что не специально собирает, а так, по случаю. Привстал со стула и провел по колокольцам рукой, позвенел, прислушиваясь, а сядясь, снова налил бледно-розовую «Изабеллу» и с удивлением произнес, что вино-то дешевое, но вполне...

Вот комната эта — храни ее Бог! —
мой дом, мою крепость и волю,
четыре стены, потолок и порог,
и тень моя с хлебом и солью...

Книжки дарил с радостью и в надписях никогда не повторялся. При этом не спрашивал, как зовут жену или дочку, всегда это помнил.

Так же охотно дарил и стихи, написанные только что, от руки, четким, замечательно ровным, красивым почерком.

А импровизировал он легко, писал быстро и, казалось, совсем без затруднений.

Был случай, когда на заседание Комиссии пришел наш Старейшина и пожаловался, что жмет сердце. Я предложил рюмку, он согласился.

Тут же сидящий напротив Булат выдал четверостишие:

Я забежал на улочку
с надеждой в голове,
и там мне дали рюмочку,
а я-то думал две...

— Ну, можно и две, — отреагировал я с ходу и принес Старейшине еще рюмку, которую тот осушил.

А следом последовали новые, во мгновение возникшие стихи:

За что меня обидели? —
подумал я тогда...
Но мне вторую выдали,
а третью?
Никогда.

— Почему же «никогда», — возмущился я и сбежал, принес третью. Старейшина, поблескивая голубым глазом, поблагодарил и радостно принял вовнутрь.

Но слово осталось за Булатом.

Смирился я с решением:
вполне хорош уют...
Вдруг вижу с изумлением:
мне третью подают.
И взял я эту рюмочку!
Сполна хлебнул огня!
А как зовут ту улочку?
А как зовут меня?

Однажды зашел разговор о его прозе, и Булат как бы вскользь произнес, что прозу его как-то... недопонимают, что ли... А если честно, то помнят лишь песни, и когда ездил по Америке (заработок!), то шумный успех, который его сопровождал (об этом

я знал из газет, не от него), был-то в основном среди бывших русских, тех, кто сохранял ностальгию по прошлому, связанному и с его песнями. Он не кривил душой. Он так считал.

Лично же для меня его проза была существенной частью всего, что он писал, начиная с первой, небольшой, автобиографической повести «Будь здоров, школяр!», опубликованной в известных «Тарусских страницах», и далее, до «Бедного Авросимова» и другой исторической прозы. Ни у кого из наших современников не встречал я такого тончайшего проникновения в быт ушедшей эпохи, в стиль речи, в романтические характеры героев, в особое видение примет и черт века.

Мы никогда не говорили с Булатом о Дон-Кихоте.

Но рыцарство было у него в крови. Как и благородство. Как и высокое чувство к Прекрасной даме... Достаточно вспомнить лишь это: «Женщина, Ваше величество, да неужели сюда?»

Он все про себя знал

Вглядываясь в Булата, я всегда старался угадать, где проглянет тот прорицатель, мудрец, обладатель тайн, явленных в «Молитве» и других стихах, в каких словах, каком движении, взгляде...

Внешне это никак не выражалось. Лишь в стихах. А ведь стихи-то почти все провидческие.

Один из последних сборников, прямо-таки на выбор любое стихотворение — и везде о своем уходе.

Он предупреждал нас, а сам все уже знал.

А если я погибну, а если я умру,
простится ли мой город,
печалась поутру,
пришлет ли на кладбище,
в конце исхода дня
своих счастливых женщин
оплакивать меня?

Но он-то знал, что и город простится, и... женщины придут... Это он нам рассказал, как будет, а знак вопроса поставил из-за своей шепетильности.

Стихи, конечно, провидческие, как у Пастернака в «Августе». И даже то, что слово «погибну» поставил прежде слова «умру», свидетельствует, что он предвидел гибель, как это в конце и произошло.

При встрече же чаще всего передо мной возникал сухошавый аскетического вида человек, очень простой, естественный, до предела внимательный. Никаких обидных шуток, а если ирония, то обращенная к самому себе.

А в особо возвышенные моменты жгучий из-под густых бровей взгляд. Легкая улыбка, спрятанная в усы. Но опять же без слов. Его слово, каждое, было весомо.

В один из дней я позвонил к ним домой, подошла Ольга, сказала, что Булат ушел в магазин и скоро вернется. «Он сырки творожные к завтраку покупает».

Ерунда, подумаешь, сырки. Я бы и не стал о них упоминать, но ведь это для всех нас, кто за войну не пробовал сахару, крошечная ежедневная радость: творожные сладкие сырки на завтрак.

Один из наших маленьких праздников был в кабинете, где мы собирались на заседания Комиссии. Принесли гитару и, чтобы раззадорить Булата, стали петь его песни. Он и правда взял гитару и запел. Но пел немного, а в конце стал путать слова.

Это казалось почти невероятным: его слова нельзя было не помнить. Я знал еще случай, когда в компании ненароком в песне о комиссарах... кто-то ошибся: «и тонкий локоть ответит...» — все хором стали поправлять: «Острый! Острый локоть!»

То же и на одном из концертов Булата, когда он запомнил слова песни про пиджак, зал дружно стал ему подсказывать... Почти подпевать.

На загородной президентской даче происходила встреча Ельцина с интеллигенцией, и среди других приглашенных был Окуджава. Сбор назначили в Кремле, помню, автобус задержали, думали, вот-вот Булат подойдет. А через несколько дней он сам мне

объяснил, не без некоторой досады, что ему позвонили из Союза писателей и кто-то из секретарей просил приехать с гитарой... «Что же, я актер какой, чтобы развлекать Президента?»

Но думаю, да Булат это и сам понимал: Президент тут ни при чем, кому-то из литературных чиновников захотелось выслужиться.

В театр «Школа современной пьесы» на юбилей Булата — семьдесят лет — мы пришли вдвоем — я, жена и маленькая Машка, с огромным букетом алых роз, и в комнатке за кулисами первыми его поздравили. Потом поздравляли его у себя на Комиссии, и он сознался, что почти ничего не помнит из того, что происходило в театре. «Это было как во сне, — сказал он грустно. — А я не просил, я не хотел ничего подобного».

К моей дочке он относился с трогательной заботой, интересовался ее успехами, а получив от нее очередной рисунок на память, по-детски восторгался. Но предупреждал: «Вы ее не захваливайте, хотя рисует она занятно...»

Предопределяло ли что-то его скорый уход?

Предчувствовал ли он?

Не знаю. Если что-то и было, то в подсознании, куда загоняла недобрые предчувствия рациональная память. Особенно когда уходили другие, те, кто были рядом с ним.

Уходило поколение, благословленное одними и осужденное другими.

Конечно, мы видели, что в последнее время он частенько попадал в клинику: то сердце, то бронхи... Но выныривал из непонятных нам глубин, появлялся на Комиссии, сдержанный, чуть улыбающийся, готовый к общению.

У него и шуточное четверостишие было по нашему поводу, которое он назвал «Тост Приставкина»:

Это наши маленькие праздники,
наш служебный праведный уют.
Несмотря на то, что мы проказники,
нам покуда сроков не дают.

Первым делом он подходил к стене, где я развесил рисунки моей дочки. Одобрительно хмыкал, рассеянно оглядывал огромный кабинет и присаживался на свое привычное место. Доставал сигареты, зажигалку, молча выжидал.

Во время заседания часто привставал, ходил, прислушиваясь со стороны к выступлениям коллег, а если они затягивались, подходил ко мне и тихо просил: «Может, покороче? Уж очень длинно говорят!»

Был случай, когда заседание затянулось, проходило мерзкое дело одного насильника, Булат под занавес, уже после голосования, сымпровизировал:

Он долго спал в больничной койке,
не совершая ничего,
но свежий ветер перестройки
привел к насилию его...

Он же про какого-то злодея мрачно пошутил:

— Преступника освободить, а население — предупредить!

В делах стали нам попадаться такие перлы: «преступник был кавказской национальности». Слегкой руки милицейской бюрократии пошла гулять «национальность» и по нашим делам, уже стали встречаться «лица немецкой национальности» и «лица кубинской национальности»... и т. д.

Мне запомнился такой разговор на Комиссии:

— Пишут: «Неизвестной национальности»... Это какой?

— Наверное, еврейской!

— Ну, еврейской — это бывшей «неизвестной», теперь-то она известна!

— Значит, «неизвестной кавказской национальности...».

На следующем заседании Булат сказал, что не поленился, сел и подсчитал лиц «неизвестной кавказской национальности», их оказалось на сто уголовных дел всего-то меньше процента... И положил передо мной листок, где процент преступности уверенно возглавляли мои земляки русские...

Заглядывая в одно дело, Булат спросил:

— Что такое «д/б»?

— Дисциплинарный батальон...

— А я думал: «длительное безумие», — протянул он, сохраняя серьезность. Пошутил, но в каждой его шутке было много горечи.

У меня сохранился номер «АиФ»а за май 95-го года, где Булат отвечает на вопросы корреспондента.

— Что вам дает эта работа в Комиссии по помилованию при вашем переделкинском образе жизни?

— Что дает? ... Меня туда пригласили... там собираются хорошие люди... сначала я был отравлен вообще. Ну, как это, поднимать руку за смертную казнь, за убийство? С другой стороны, — подумал я, — ведь в большинстве случаев я поднимаю руку против! А если я уйду, то на мое место может прийти черт знает кто... Один жестокий человек там у нас уже есть... и хватит. Чаще всего нам удается смертную казнь заменить пожизненным заключением. Правда, потом приходят письма: «Не могу больше, лучше казните...» Я и сам не знаю, что лучше.

— Но вас наверняка упрекают, что вы вообще участвуете в этом. Как это так, поэт, писатель, интеллигент...

— Я не могу назвать себя интеллигентом. Это же все равно что утверждать: «Я себя причисляю к хорошим людям, я — порядочный человек».

— Разве это не нормально — так про себя сказать?

— Нет. Поступать надо порядочно. А другие пусть о тебе говорят.

Ну а упоминание про «жестокоего человека» в Комиссии тоже не случайно. Хотя лично мое мнение, и Булат с этим бы согласился, в Комиссии люди должны быть разные, с разной мерой жестокости и милосердия. Да и сам Булат проявлял иной раз подобную «жестокость». Но уверен, это было лишь в те редкие случаи, когда он не мог голосовать иначе.

Знакомая журналистка из «Огонька» мне как-то сказала: «Я брала интервью у Окуджавы, он про участие в Комиссии сказал: «За что, не знаю, но мне надо нести этот крест до конца...»

Он и донес его до конца.

Милости судьбы

Но были еще стихи. Они всегда — предчувствие.

И в одном из последних сборников «Милости судьбы», для меня особенно памятного, ибо там были стихи, которые он нам щедро дарил со своим автографом, все можно услышать и понять.

Так и качаюсь на самом краю
и на свечу несгоревшую дую...
скоро увижу я маму мою,
стройную, гордую и молодую.

Даже любимый им Париж, где всё и случилось, чуть ранее обозначен как место, где можно... «войти мимоходом в кафе «Монпарнас», где ждет меня Вика Некрасов...»

В сборнике есть стихи, посвященные мне. Но дело не в моей персоне. Ей-Богу, мог быть и кто-то другой, к кому он обратился бы с этими словами.

Я получил их в подарок в Германии. Четкий и очень разборчивый почерк, ни одной помарки.

Насколько мудрее законы, чем мы, брат, с тобою!
Насколько, насколько прекраснее солнце, чем тьма.
Лишь только начнешь размышлять над своею судьбою, —
Как тотчас в башке — то печаль, то сума, то тюрьма.

И далее, финальные строки:

...Конечно, когда-нибудь будет конец этой драме,
А ныне все то же, что нам не понятно самим...
Насколько прекрасней портрет наш в ореховой раме,
Чем мы, брат, с тобою, лежащие в прахе пред ним!

(Реклингхаузен, январь 1993)

На книжке со стихами, уже изданными, Булат написал:

«Будь здоров, Толя! И вся семья!»

Я думаю, книжка была подарена, когда мы встретились после летних отпусков у себя, на Комиссии.

И еще одну книгу он надписал: «От заезжего музыканта». Там, в предисловии, сам Булат объясняет свое появление в этом мире как заезжего музыканта. Музыкант-то заехал и уехал, это правда, но оставил песни, и они стали частью нашего мира, вынь, и в нас будет что-то главное.

Он ушел в день, когда Россия готовилась к Троице. Произошло это в Париже.

Его слова, обращенные к Всевышнему: «Господи, мой Боже, зеленоглазый мой» — поразили меня интимностью, с которой может обращаться лишь сын к отцу. Теперь они встретились. И одним светочем будет меньше, одной великой могилой больше.

Мы возвращались с панихиды, шли вдоль очереди, растянутой на весь Арбат. Шел дождь, было много зонтов. А еще было много знакомых лиц. Мариэтта Чудакова снимала именно лица, приговаривая: «Таких лиц больше не увидишь!»

Это и правда была вся московская интеллигенция, и много женщин...

И если прощание, как просила Ольга, поделили на... «для всех» и «для близких», то э т о стоят тоже б л и з к и е.

А еще я подумал, что женщины все-таки занимали особое место в его стихах. «И женщины глядят из-под руки...» И — «Женщина, ваше величество...», и много-много других строк.

Пока мы шли, Разгон, Чудакова и я, к нам выходили из очереди знакомые. Молча обнимались и возвращались на свое место.

Мой друг Георгий Садовников потом скажет, мы поминали Булата у него на квартире, вдвоем:

— Больше этих лиц, — имея в виду из прощальной очереди на Арбате, — уже не увидишь. Они тоже уходящее поколение.

Оглядываясь, я и сам убеждаюсь, это пришла старая московская интеллигенция, чтобы напомнить самим себе о прекрасном и кошмаре прошлом и защититься Булатом от жестокого времени нынешнего. А то и будущего...

Булат еще долго, может до нашей смерти, будет нас защищать. И спасать.

И еще острее почувствовалось: мы следом уходим, ушли.

А эти проводы — реквием по нам самим.

Там, где он сидел в Комиссии, — вклеенный в кусок стола портрет. Туда никто и никогда не садится, это место навсегда его. И когда у нас совершаются, по традиции, «маленькие праздники», мы ставим ему рюмку водки и кладем кусочек черного хлеба.

Но уже звучат новые стихи из недр самой Комиссии — стихи Кирилла, значит, поэзия с Булатом не вся ушла.

Пьяные монтеры, слесаря
убивают жен и матерей,
бабы разъяренные — мужей...
Бытовуха. Сдуру все. Зазря.
Вместо опохмелки — в лагерь.

Заседает строгая комиссия.
Мировать — у ней такая миссия.

Кабинет просторен и высок.
Отклонить... Условно... Снизить срок...
Боже мой, зачем же ты, Булат
Окуджава, друг, любимец муз,
среди этих должностных палат,
ради тех, кому бубновый туз...
Вот — курил, на локоть опершись,
кто же знал, что сам ты на краю?
Мы, убийцам продлевая жизнь,
не сумели жизнь продлить — твою!

За столом оставлен стул пустой,
фотоснимок с надписью простой.

Заседает без тебя комиссия,
воскрешать — была б такая миссия!

Жизнь идет... По-прежнему идет,
судьи оглашают приговор,
а за окном звенит, поет,
милует гитарный перебор.

Послезонье

Пройдя свой книжный путь от зоны к зоне, насколько хватило сил, не от усталости, которая накопилась, но вслед за Александром Твардовским, родным моим земляком, открывшим Россию в поэтическом видении: «За далью даль», могу лишь произнести с отчаянием, что в тех даях, как и близях, открывались мне до окоема одни зоны. За зоной зона, а за зоной — опять зона...

Зоны не только криминально-уголовные, географические, юридические, политические, прочие и прочие... Но и зоны самоочищения, проходя которые поэтапно («этапы» — из той же терминологии) выжимали мы, по Чехову, из себя раба — не по капле — по зоне.

Я сказал «мы», но теперь говорю — «Вы», коль хватило Вам сил пройти за мной эту книгу до конца... Мой уважаемый, любимый читатель.

Эта книга родилась из странного ноющего чувства боли, которое не имело до поры слов, но изводило и терзало бессилием, выжигало нутро. Я и написал ее не для кого-то, а для себя, чтобы погасить внутренний огонь и тем, возможно, исполнив долг и перед Всевышним, который один знает, зачем это было надо, чтобы я и мои друзья, пройдя долиной смертной тени, заглянули за край невозможного.

Стало ли мне сейчас легче? Лишь настолько, насколько приносит облегчение краткий выдох, за которым последует новый вдох... Потому что в этот самый миг совершается нечто, что нам не дает возможности говорить о закрытии узкой, только прорезавшейся щелочки в нашей с вами душе, которой доступна стала чужая беда и боль...

«Что такое Русь? — спрашивал Пушкин. И он же отвечал: — Полудикие народы... их поминутные возмущения, непривычка к законам и гражданственности, легкомыслие и жестокость...»

С той поры мы не стали лучше, и поэт определил не только тогдашнее состояние Руси, но во многом и предсказал ее будущее... то, что мы сейчас переживаем. Что будут переживать долго и после нас.

И если мне суждено долиной смертной тени... идти дальше, то молю Тебя... «Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия, и окамененного нечувствия» (молитва св. Иоанна Златоуста на сон грядущий).

Но какой уж нынче сон?

С. А. Филатов

Совершенно несекретно



Сергея Александровича Филатова не надо представлять читателю. В начале бурных девяностых, когда читающая российская публика забросила книги и журналы, перестала ходить в кино и театры и разрывалась между митингами и телевизором, где на экране бушевали поистине шекспировские парламентские страсти, а несколько лет спустя пушки били по Белому дому, — в то историческое время автор этих записок был одним из главных действующих лиц. Напоминаем об этом лишь затем, чтобы читателю было легче связать должности, которые занимал тогда С. А. Филатов — первый заместитель председателя Верховного Совета Российской Федерации, а впоследствии руководитель Администрации Президента — с эпизодами из его записок. То, что вам предстоит прочитать, — выдержки из книги, которая в ближайшее время выйдет в издательстве «Вагриус». Это еще один взгляд на недавние драматические события, о которых можно было бы сказать, что они успели стать историей, не будь они столь тесно связаны с драматическими событиями нашего дня. Как ни назови позицию автора — записками «аппаратчика», взглядом с вершины пирамиды или из окна кабинета, — его рассказ не только добавляет еще несколько штрихов в общую панораму, но и дает дополнительный материал для решения извечного вопроса о том, кто движет историю — личность или масса.

Научи меня, Господи,
спокойно воспринимать события,
ход которых я не могу изменить;
дай мне энергию и силу
вмешиваться в события, мне подвластные,
и научи меня мудрости отличать первое от второго.

Теодор Рузвельт

Наркомания власти

В конце августа 91-го года разбушевалась Чечня. Этой проблемой я не занимался, но видел, как активно начали работать над ней Г. Э. Бурбулис, М. Н. Полторанин, силовые министры. Только что вернувшийся из зарубежной поездки Хасбулатов вылетел в Чечню, пересев с одного самолета в другой, послешно и в хмуром настроении, а вернулся очень довольным: главный его противник, Доку Завгаев, повергнут; при энергичном участии Хасбулатова разогнан Верховный Совет республики — остался так называемый Малый Совет, какое-то искусственное образование, которое должно работать до проведения новых выборов, назначенных на осень 1991 года. С Малыми Советами история повторится, но уже в других субъектах Федерации: нужно принимать оперативные решения по поддержке Хасбулатова — действуют Малые Советы.

Разгоняли Верховный Совет республики грубо, с явными нарушениями Конституции и закона. У депутатов отбирали (с мордобитием) удостоверения при выходе из здания, где заседал Верховный Совет республики; во время самого заседания одного из депутатов, председателя Грозненского горсовета Виталия Куценко, при потасовке просто выбросили в окно — он погиб; двадцать человек попали в реанимационное отделение местной больницы. В ходе расследования

было установлено, что в нападении на Верховный Совет участвовало большое количество московских чеченцев.

На следующий день после этого кровавого побоища пришла в Грозный телеграмма от исполняющего обязанности председателя Верховного Совета РСФСР Хасбулатова: «Дорогие земляки! С удовольствием узнал об отставке Председателя ВС республики. Возникла наконец благоприятная политическая ситуация, когда демократические процессы, происходящие в республике, освобождаются от явных и тайных пут...»

В Хасбулатове бурлила прямо-таки лютая ненависть к Завгаеву, а независимость Доку Гафуровича приводила его в бешенство — до такой степени, что он по телефону, плохо себя контролируя, требовал расстрелять земляка. Но и тот, видимо, относился к Хасбулатову не лучше и как-то в разговоре даже обронил: «Когда все закончится и обстановка у меня на родине нормализуется, я добьюсь, чтобы в тюрьму посадили единственного человека — Хасбулатова. Вот уж кто настоящий преступник!»

Выборы в Чечне назначили на 27 октября; однако Дудаев провел выборы президента Чеченской Республики раньше. И вот непримиримая война Хасбулатова с Завгаевым перешла в непримиримую войну их обоих с Дудаевым. Но и Дудаев приступил к активным действиям, направленным на самостоятельность Чечни: начался внутренний террор против оппозиции и русского населения, изгнание российских войск и всех федеральных структур с территории Чечни.

На Пятом съезде народных депутатов Хасбулатов провел решение о незаконности выборов и власти в Чечне, а Россия приобрела самую, пожалуй, болезненную проблему, которую ей предстояло и еще предстоит решать в течение неизвестно скольких лет.

Но как бы там ни было, участие Хасбулатова в событиях лета и осени 91-го года создало вокруг него некий ореол героя, и буквально за две-три недели до съезда стало ясно, что он непременно будет избран председателем Верховного Совета. В том, что так оно и вышло, большую роль сыграли национальные республики и фракция «Демократическая Россия», часть которой (каюсь) мне удалось убедить поддержать избрание Руслана Имрановича. Именно демократы, объединившись, помогли его избранию, хотя мы уже тогда почувствовали что-то неладное в отношении к нему Президента, который не захотел выступить в его поддержку. Поддержали Хасбулатова и коммунисты.

Из сообщений СМИ

«На состоявшемся 27 октября совещании фракции «Коммунисты России» незлопамятные партийцы указывали Хасбулатову, что никто так их не язвил, как он, а теперь они будут его опорой при выборах председателя, — и не обманули... » («Коммерсантъ», 1991, № 42).

На съезде вновь избирался не только председатель, но и его заместители — Хасбулатову как-то удалось договориться с Б. Исаевым и С. Горячевой об их добровольной отставке. Вместо них он предложил избрать своими заместителями В. Шумейко — от промышленников и предпринимателей, как директора крупнейшего Краснодарского предприятия, Ю. Ярова — от субъектов федерации, как председателя исполкома Ленинградской области и Ю. Воронина — от коммунистов, а первым заместителем — меня — от «Демократической России». Съезд на этот раз был настроен благодушно и без вызова на трибуну проголосовал за названные кандидатуры. А я-то перед этим с волнением репетировал свое выступление, — писать его мне помогал Олег Попцов.

На первой же встрече заместителей у Хасбулатова мы договорились о распределении обязанностей и координации деятельности. На первых порах работали так дружно, что даже Борис Николаевич не скрывал своей зависти к тому, сколь мы слаженны. Мы тогда регулярно встречались с Президентом, снимали многие вопросы, вызывавшие напряженность.

Когда же и отчето стали портиться отношения у Президента с Хасбулатовым? Думаю, началось это при формировании правительства под экономическую реформу. Поговаривали, что Хасбулатов сам хотел быть премьером, а тут во главе правительства фактически оказался Бурбулис, до зубовного скрежета нелюбимый Хасбулатовым, и это нанесло спикеру серьезную обиду. Правда, может быть, это была не первая обида: ведь Руслан Имранович в свое время возжелал стать вице-

президентом, но предложение Ельциным принято не было. Видимо, назначения Бурбулуса и Гайдара предопределили негативное и очень агрессивное отношение Хасбулатова к предложенным ими реформам. Буквально в начале января при первой же своей поездке в регион (Рязанская область) он обрушился с резкой критикой в адрес новоявленных реформаторов; о самом Президенте в ту пору он помалкивал.

В конце 1991 года в стране складывалось тяжелое положение. Союз практически развален; экономика разрушена; валюты нет, золотой запас почти на нуле; полки магазинов пусты. Решено начать отпуск цен на товары 16 декабря. Президент Украины Кравчук просит Бориса Николаевича перенести этот срок хотя бы на две недели, до 2 января 1992 года. И Борис Николаевич, при всей сложности российского положения, идет на этот шаг.

В начале ноября, после принятия решения на съезде народных депутатов о незаконности выборов и незаконности власти Дудаева в Чечне, с подачи Руцкого Президент Российской Федерации подписал указ о введении чрезвычайного положения в Грозном в связи с обострившейся там обстановкой после избрания президента республики и предпринятых им попыток разделаться с действующими силовыми структурами, которые напрямую подчинялись Москве. Возникло много проблем и потому, что Дудаев самопровозгласил независимую Республику Чечню, бросив другую часть республики — Ингушетию. Последняя оказалась вне правового пространства — без Конституции, без границ, без власти.

Чрезвычайное положение вводилось 6 ноября, с 5 часов утра, причем по закону положено объявлять о нем за семь часов до часа его введения. Так что вечером 5 ноября в республике уже знали об указе и с гор потянулись люди на помощь Грозному. Ситуация начала чем-то напоминать российскую в августе 1991 года; но теперь российские власти встретились с противостоянием народа, который претерпел от советской власти немало унижений, вплоть до репатриации в 1944 году в Казахстан. Попробуй объяснить kloкочущей толпе, что у нас на посту всенародно избранный Президент, противостоящий преступникам, а в Чечне — самозванец в генеральской форме, несущий великие беды своей республике и своему народу.

К ночи в Белый дом приехал Хасбулатов; вместе с ним мы спустились к Руцкому, который взял на себя руководство по организации ЧП в Грозном. Ждали пяти часов утра, а в пять или немного раньше выяснилось, что внутренние войска, на действии которых и строился весь расчет, с места не сдвинулись: таков приказ Баранникова, тогда министра внутренних дел СССР, полученный от Горбачева. Думаю, если бы Горбачев не сделал этого шага, события в Чечне в дальнейшем развивались бы по другому, менее драматичному сценарию, ибо каждое нарушение закона должно быть наказуемо.

Горбачевский приказ стал серьезным ударом по реализации ЧП, так как теми силами, что находились в республике, справиться с задачей чрезвычайного положения невозможно — лучше его не затевать. Встал вопрос об отмене указа, но вот несчастье: Ельцина нет (обычно при таких решениях он, как говорится, ложился на дно и был недоступен); Горбачева и Баранникова отыскать не удается; на месте, в Грозном, требуют или подкреплений, или срочного отказа от чрезвычайного положения. По телефону из Грозного пытаются оправдать бездействие какими-то трудностями. В ответ Руцкой, рассвирепев, требует арестовать Дудаева и тут же, в кабинете, просит председателя КГБ Иваненкова, генерального прокурора Степанкова и министра МВД Дунаева подписать соответствующую телеграмму. Они ее подписывают, но Степанков в ней слово «арестовать» аккуратно исправляет на слово «задержать». Однако ни того ни другого сделать не удалось, более того, дудаевцы захватили здание МВД, вдобавок к захваченному ранее зданию КГБ.

Решение вопроса отложили до 14 часов. По поручению Хасбулатова в 14 часов прихожу к Руцкому: там уже все «полуночники». Александр Владимирович докладывает свой план решения проблемы. Мне в ту ночь, и особенно при его докладе, как-то по-новому пришлось взглянуть на Руцкого: этот человек, понял я, весь во власти амбиций и эмоций; в этот момент он беспощаден, предлагая окружить непокорную республику кольцом армейских подразделений и начать тотальную бомбежку ее территории. Такому жестокому варианту я воспротивился — прошу перенести обсуждение на заседание Верховного Совета, который правомочен утвердить или не утвердить указ о чрезвычайном положении: ведь указ

появился накануне праздника, депутаты в отпуске. Ясно, что чрезвычайное положение организовать не удалось, подготовка его сорвана: каждый надеялся на другого, а сами собой такие дела никогда не делаются. Указ Президента, видимо, не случайно подписан перед праздником. Расчет мог строиться на том, что к созыву Верховного Совета (он по Конституции должен утвердить указ о введении чрезвычайного положения) дело будет сделано, порядок восстановлен, а победителей не судят. В последующем мы не раз еще столкнемся с тем, что Президент использует факт отсутствия депутатов. Видимо, это определенный принцип его действий; часто он приводил к драматическим событиям — как произошло в Чечне.

Наутро собрался Верховный Совет; после острых дебатов указ Президента о введении чрезвычайного положения в Грозном не утвержден. Руцкой твердо отстаивает необходимость чрезвычайных мер против Дудаева, но время упущено; операция явно провалилась.

Уже тогда взаимоотношения в верхах власти складывались напряженно. Явно просматривались дружба и недруги, различные группировки — они вели войну, как правило, через прессу. Вот один из примеров.

Из сообщений СМИ

*«В кулуарах Белого дома имеет хождение версия, согласно которой Хасбулатов с Бурбулисом сознательно подставили Руцкого, чтобы продемонстрировать *urbi et orbi* его государственную неспособность...»*

(«Коммерсантъ», 1991, № 44).

Провал операции и неудача с наведением на малой части территории РСФСР элементарного порядка после самозахвата власти Дудаевым обернулись, думаю, его наглядной победой и не только осложнили дальнейшие отношения с Чечней и вообще в том регионе, но и выдвинули на передний план проблему сохранения Федерации. Это был второй удар по ее единству. Первый — подготовка Горбачевым Союзного договора, который республики РСФСР должны, по его замыслу, подписывать на одинаковых с союзными республиками правах.

Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло — август 1991 года эти «подписантские» события остановил.

Думаю, в дальнейшем было удачно найдено решение: заключение Федеративного договора о распределении полномочий между федеральными органами власти и субъектами Федерации. И здесь мудро и дальновидно поступили с Татарстаном, где поначалу разбушевались националистические страсти настолько, что это ставило под угрозу сохранение Татарстана в рамках РСФСР.

В Чечне начался настоящий разгул беззакония: из республики вытеснены остатки федеральной армии, базировавшейся на ее территории; боевики отбирали у солдат личное оружие и тяжелое вооружение, захватывали склады. Начали создаваться «свои» государственные структуры и воинские формирования; люди перестали получать социальные пособия и пенсии; школы переоборудовались под военные гарнизоны и военные училища; в разных российских городах появились беженцы из Чечни (или, как принято сейчас их называть, вынужденные переселенцы).

Теперь уже очевидно, что, как и почему надолго вывело республику из поля воздействия Российской Федерации. Но только в 1994 году, когда после октябрьских событий 1993 года было сломлено изматывавшее страну противостояние двух ветвей власти, законодательной и исполнительной, стала возможна попытка навести конституционный порядок в Чечне. За это время дудаевская вседозволенность превратила республику в край преступлений и беззакония, куда и откуда потянулись нити чеченской мафии и криминала, реально угрожавшие многим странам мира. Беженцев из Чечни уже насчитывалось свыше трехсот тысяч.

Понимая, как важно дать народу правдивую информацию о том, что происходит в парламенте и в стране, я стал больше внимания уделять СМИ, встречаю с журналистами. Это тут же было замечено прессой:

Из сообщений СМИ

«На встрече с парламентскими корреспондентами С. А. Филатов подчеркнул, что для него едва ли не главными оценочными факторами деятельности Верховного Совета РСФСР являются такие: количество присутствующих на заседаниях ВС

журналистов и резкое увеличение аккредитованного при парламенте корреспондентского корпуса» («Ленинское знамя», 1992, 26 ноября).

Надо было создать атмосферу открытости в Верховном Совете. Тема освещения депутатской деятельности не сходила с уст депутатов во время заседания Верховного Совета: «не так показали», «не так осветили», «не то написали»; постоянные попытки взять под контроль СМИ. Многие никак не могли взять в толк, что пресса независима, в том числе и от законодательного органа, но работает в соответствии с законом, принятым законодательным органом. Выход из этого положения только один — проводить больше встреч с журналистами и давать как можно больше информации. Поэтому мы серьезно занялись пресс-центром, стали выпускать различные информационные и аналитические материалы и проводить встречи с журналистами. Многие депутаты выступали в СМИ.

Восьмого декабря было подписано Беловежское соглашение. Хасбулатов в тот день в Москве не оказалось, а я о подписании узнал только из телефонного разговора с Г. Э. Бурбулисом. Он сообщил, что в Беловежской Пуще ждут Назарбаева: только что прилетел в Москву и обещал Ельцину сразу же направиться к ним. Но, как мы знаем, Назарбаев в Беловежскую Пущу так и не прибыл — то ли раздумал ввязываться в непростую историю, то ли поостерегся Горбачева, который оставался еще Президентом СССР.

Понимая, что событие неординарное и может обернуться самым неожиданным образом, пошел к Руцкому. По счастью, Александр Владимирович оказался дома: одет по-домашнему, спокойно распутывает снасти — готовится к рыбалке; заядлый рыбак, он вообще профессионально обрабатывает рыбу, и получается она у него мягкой, вкусной, ароматной — пальчики оближешь. Беловежские соглашения? Нет, ему об этом ничего не ведомо. Услышав о них от меня, Руцкой немного напрягся — идея ему явно не понравилась. Мы стали ждать вестей из Белоруссии. Одно важно в этой ситуации — чтобы не сорвался Горбачев: он как раз в это время позвонил Руцкому, — видимо, стал с ним советоваться, что делать. Пришлось мне, признаюсь, слышать в жизни немало мата, но эти двое превзошли все прежде... Насколько я понял, Руцкой советовал дождаться результатов переговоров и внимательно ознакомиться с тем, что в конце концов получилось. Ясно одно: Союз практически распался, и, если после референдума на Украине ничего не предпринять по части сближения, потом мы долго будем искать друг друга. Именно поэтому и была предпринята попытка объединения самых крупных трех, а если удастся, то и четырех республик — России, Украины, Белоруссии и Казахстана — в некое Содружество независимых государств (СНГ).

Звоню Хасбулатову (он в это время находился, по-моему, в Южной Корее), как могу рассказываю о подписанном соглашении. Руслан Иманович заявил, что тут же вылетает в Москву: ведь соглашение требует ратификации на Верховном Совете, да и на съезде тоже, вызывает изменение Конституции РСФСР.

В те дни этот шаг Ельцина казался спешным и непродуманным. Но Борис Николаевич, давая интервью итальянской газете «Република», сам объяснил, как родилась идея Содружества:

— Впервые об этом речь шла в декабре прошлого года, когда центральное правительство торпедировало реформы. Тогда-то Россия, Украина, Беларусь и Казахстан направили своих представителей в Минск, чтобы обсудить возможность образования Содружества. Горбачев препятствовал подобному проекту, однако документы сохранились, и 8 декабря в Минске мы их вновь проанализировали. Вот почему нам удалось достигнуть согласия всего за день с небольшим.

Я к развалу Союза относился тогда и отношусь сейчас, как к неизбежности, как можно отнестись к стихии, например к лавине с гор — она все сметает на своем пути, но остановить ее невозможно.

Из сообщений СМИ.

«А вы обратили внимание на то, как звучит это слово — Со-Дружество. Теплее, чем Союз, не правда ли? Но я согласен: теперь это теплое слово надо наполнить соответствующим содержанием» (из интервью Б. Н. Ельцина «Российской газете», 1992, 28 декабря).

Тема Содружества была продолжена и на парламентском уровне. Уже в начале 1992 года по инициативе российских парламентариев в Минске собрались

первые заместители председателей законодательных органов стран СНГ, чтобы обсудить проект соглашения о сотрудничестве парламентариев стран СНГ в сфере законодательства и в правоприменительной деятельности. Учитывая, что к тому времени уже были созданы Совет глав государств и Совет глав правительств стран СНГ, актуальным стал вопрос образования аналогичной структуры межпарламентского сотрудничества. Среди возможных направлений совместной деятельности обсуждались вопросы: законодательной деятельности, прав человека, развития межгосударственных отношений, экономической реформы, миграционной политики, национальной безопасности, энергетики (прежде всего атомной), транспорта и связи, экологии, борьбы с организованной преступностью.

Подготовка документов и концепции Межпарламентской ассамблеи стран СНГ закончилась подписанием Соглашения (впоследствии одобренного Верховным Советом РСФСР), и уже в 1992 году Межпарламентская ассамблея начала свою работу в Санкт-Петербурге. В выборе места был как бы вызов российскому Президенту; цель — быть подальше от исполнительной власти, свободнее себя чувствовать при выполнении главной задачи — снижения полномочий президентов и подчинения их действий парламентам. Кстати, первым Президентом, чьи полномочия были в одночасье ограничены, оказался Акаев. С остальными не получилось.

Первым председателем Межпарламентской ассамблеи стал Хасбулатов, а после выборов Федерального собрания России, в 1993 году, — В. Шумейко. Именно при нем появился и флаг ассамблеи, который впоследствии стал символом Содружества независимых государств.

1992 год оказался не только преддверием драматических событий в стране, разразившихся в следующем, 1993 году, но и началом сильнейшей конфронтации между Президентом и Верховным Советом; возглавлял его уже Хасбулатов, менявшийся буквально на глазах. Руслан Имранович скрывал пока свои истинные намерения, Президента вроде не трогал, но развернул энергичную атаку на правительство и лично на Бурбулиса, Гайдара и Чубайса.

Именно в тот период, когда произошла либерализация цен, власти следовало проявить коллективную взаимопомощь и взаимовыручку, преодолевать шаг за шагом непредвиденные, то и дело возникающие трудности. Но, увы, у нас, как всегда, особо ощущалась нехватка нормативной базы и законодательных защитных мер, что усиливало криминогенность, коррупцию, организованную преступность. Верховный Совет немало делал с точки зрения разработки и принятия законов, но чересчур рьяно полемизировал, часто враждовал с исполнительной властью, то и дело терял основную нить концепции развития да еще менял правила игры и саму Конституцию Российской Федерации. Конституция становилась все более неопределенной, внутренне противоречивой и потому опасной: за несколько лет своего существования Верховный Совет внес в нее более 400 поправок.

Коммунисты, оправившись после августовских событий, готовились к новой битве — на Шестом съезде народных депутатов. Поведение Хасбулатова свидетельствовало — и он что-то затевает в тайне от меня. На съезде это проявилось очень определенно: принята подготовленная резолюция с отрицательной оценкой деятельности правительства и проведения реформ. Сам председательствующий повел себя очень странно — начал атаку на «Известия», отругал Шумейко за самостоятельные оценки в докладе об экономической реформе и о работе правительства и еще за какой-то якобы существующий альянс с коммунистами и аграриями. Хасбулатов проявил тем самым недовольство докладчиком, нарушившим договоренности с председателем о содержании доклада и сорвавшим его тщательно продуманный сценарий. А сказал Владимир Филиппович буквально следующее:

— Мне приходится по роду своей деятельности очень много работать с правительством, и абсолютно ответственно могу вам сказать, что это — профессионалы. И только потому профессионалы, что они делают эти реформы. (Аплодисменты.) Они делают эти реформы в тяжелейших условиях, доставшихся им в наследство как раз от тех самых именитых и маститых советчиков от экономики, которые до сих пор продолжают лишь советовать да критиковать правительство. И правильно здесь говорили, что никто из них не согласился бросить все и идти это делать самому.

В. Ф. Шумейко совершил, конечно, мужественный поступок, в тот непростой

период давая такую оценку молодым членам правительства. Теперь весь гнев и сарказм Хасбулатова обрушились на депутатов—сторонников реформ. Мы с членами Президиума начали интенсивно искать возможность отмены неправой резолюции съезда. Я предложил Владимиру Шумейко и Юрию Ярову пойти к Борису Николаевичу — посоветоваться, что делать, и поделиться своей озабоченностью относительно Хасбулатова. Они со мной согласились. Позвонил Ельцину, условились о встрече, и в перерыве съезда мы все трое пошли к нему.

Хасбулатов, видимо, почувствовал, что переборщил, и попросил меня предложить Борису Николаевичу, чтобы мы пообедали втроем. Ответ Ельцина прозвучал категорично:

— Нет! Хватит, натерпелся я его лицемерия и изворотливости! Ему ни в чем нельзя верить, тем более нельзя доверяться. Опять обманет.

Наш разговор свелся к тому, что нужно созвать Президиум вместе с правительством и попробовать выработать документ типа Декларации съезда, где дать другие оценки реформам. Хасбулатов возражать не стал, но на Президиум идти отказался.

И вот 12 апреля 1992 года, в воскресенье, собрал я Президиум, на котором кроме его членов присутствовали Гайдар, Бурбулис, Шохин и другие. Разговор получился тяжелым, но полезным. Самое неприемлемое в постановлении съезда — что правительство оказалось как бы в подвешенном состоянии на целых три месяца (до следующего съезда), то есть стало временным правительством. Мы вновь — в который уже раз! — создали неопределенность в отношении наших целей, в защите реформ, чем, естественно, отпугнули их сторонников и участников, в том числе и зарубежных.

К понедельнику и сами депутаты стали понимать, что резолюция съезда ведет в тупик; более того, это поворот назад, чем непременно воспользуются коммунисты.

Декларацию одобрили, и съезд оказался в двойственном положении, приняв два документа по одному вопросу с разными оценками. Хасбулатов, похоже, остался не очень доволен таким развитием событий. Но решение принято, и, главное, мы ушли от сиюминутных последствий. Ясно, что теперь борьба за власть выстроится вокруг реформ.

Хасбулатов не ограничился резкой критикой реформ и тех, кто их осуществляет. Он понимал, что тут нужен и позитив, и энергично включился в разработку Федеративного договора. Необходимость разделения собственности, полномочий и предметов ведения между центром и субъектами Федерации представлялась очевидной. Конечно, правильнее внести эти положения в Конституцию: слишком опасна сама форма документа, подписанного руководителями субъектов Федерации, поскольку возможность последующего его изменения по инициативе любого из 190 подписантов (по два от каждого субъекта Федерации и федерального центра — глава власти исполнительной и законодательной) могла обернуться непредсказуемой ситуацией.

Неотложность принятия Федеративного договора диктовалась единственным, но наиважнейшим обстоятельством — угрозой нарушить единство России.

В последующем, при подготовке новой Конституции на Конституционном совещании в 1993 году, мы вновь встали перед проблемой Федеративного договора, и, как и предполагали, при этом опять-таки создалась трудная коллизия. Хотя положения Федеративного договора, касающиеся разделения компетенции и полномочий властных структур центра и субъектов Федерации, были и так вписаны в проект Конституции, но руководители субъектов Федерации, особенно республик, настаивали на сохранении его как самостоятельной второй части Конституции, даже несмотря на то, что многие положения договора входили в противоречие с положениями проекта Конституции. Да и вообще наличие двух основополагающих документов в стране создавало бы путаницу: по какому из двух строить нормативную базу и как им руководствоваться? Или, скажем, прибегать к Конституционному суду?

В проекте Конституции права субъектов Федерации значительно расширены. Во-первых, власти на местах получали право на свое законодательство. Во-вторых, для более гибкого регулирования взаимоотношений центра и субъектов Федерации предусматривалась возможность заключения индивидуальных договоров. Жизнь уже подтвердила правильность действий президентской команды в этом направлении, что в конечном счете способствовало укреплению государственности и Федерации.

Но это было позже, а пока работа над Федеративным договором шла полным ходом; активно подключились к ней Юрий Яров и Рамазан Абдулатипов; способствовало делу и то, что все участники находили в этом процессе большой взаимный интерес.

Подписание договора проходило в Георгиевском зале Кремля, в очень торжественной обстановке, за большим круглым столом. Однако все понимали, что праздничность уйдет, а после Шестого съезда борьба вокруг реформ еще усилится. Это ощущалось и в верхушке власти, даже в процессе подписания договора.

Развязка ситуации, спровоцированной Хасбулатовым, наступила довольно быстро. Во время осенней сессии, как и ожидалось, началась подготовка к Седьмому съезду. Он ожидался как съезд особый: Хасбулатов, видно, решится разделаться на нем сразу со всеми своими противниками. Предполагался импичмент Президенту или, в крайнем случае, серьезное ограничение его полномочий, для реализации чего тщательно разрабатывались поправки к действующей Конституции. Значительное внимание уделялось будущему голосованию, организацию которого взял на себя Воронин: его кабинет превратился в приемную депутатов; как рассказывали некоторые из них, от Воронина зависело выделение средств из фонда председателя Верховного Совета на нужды того или иного региона. Этот фонд, созданный по инициативе Хасбулатова из средств бюджета, оказался для него удобным инструментом при взаимодействии с депутатами и руководителями регионов.

После голосования на сессии Верховного Совета за недоверие Хасбулатову, когда результат оказался в его пользу, представлялось маловероятным поднять депутатов на освобождение Руслана Имрановича от должности председателя. Скорее, большинство готово за все издержки и потери первого года реформ принести в жертву правительству и даже Президента, ограничив его полномочия, а то и проголосовав за импичмент. Вероятно, срабатывал тут и принцип самозащиты от роспуска, от других неприятностей. Но главное — что Хасбулатов нашел очень верную линию — на защиту депутатов, Верховного Совета, съезда и Советов вообще как формы власти — и, естественно, оказался сам под защитой депутатского корпуса.

Накануне съезда демократическая часть депутатского корпуса и Президент внесли ряд предложений по сотрудничеству между исполнительной и законодательной ветвями власти.

Но были предприняты и неуклюжие, обидные для демократов действия Президента. Так, еще до съезда не по своей воле ушел с поста руководителя телевидения Егор Яковлев; затем вроде бы сами, добровольно оставили тоже достаточно высокие посты Михаил Полторанин и Геннадий Бурбулис. Естественно, многие из нас восприняли это как сдачу демократических позиций Президентом и, следовательно, как победу оппозиции. На момент снятия Егора Яковлева в Москве проходил с участием Ельцина конгресс интеллигенции, и я не помню, чтобы кто-нибудь из выступавших не осудил это решение Президента. Сам я очень переживал из-за всех трех отставок, особенно — Егора Яковлева. Самым удручающим образом сказались эти отставки на настроениях демократической части депутатского корпуса. И Яковлев, и Полторанин, и Бурбулис вели огромную работу по подготовке съезда; в том, что мы пришли к нему с согласованными во многом позициями, с конструктивными предложениями, с демократической ориентацией, большая заслуга и этих троих, последовательно поддерживавших реформы, правительство, Президента.

К сожалению, такие проявления «признательности», как сдача своих соратников, негодных оппозиции, Президент станет практиковать и впредь, перед каждым боем — будь то выборы или всего лишь прохождение через законодательный орган важного вопроса. Увы, далеко не всегда такая практика приносила результат, на который предварительно рассчитывал Президент.

По мере того как продолжалась работа съезда, все яснее становилось, что задуман некий переворот — и в отношении правительства (фактически его полное переподчинение Верховному Совету), и палат Верховного Совета, где предусматривалось изгнание демократов под любыми предлогами, а уж используя решения регионов и депутатских групп и подавно.

Таким образом, для нас главным на съезде становилось — защитить правительство и курс реформ. И, как всегда прежде, положение опять-таки спасал

Президент, с его решительными действиями, порой никак не прогнозируемыми заранее.

Пожалуй, это тот самый съезд, который, собственно, и привел к драматическим событиям октября 1993 года. Именно на нем формировалась монолитная команда, противостоящая Президенту; вызревали планы смещения Ельцина или хотя бы ограничения его полномочий. Ничем иным, по сути, съезд заниматься и не предполагал.

А поначалу события на главном форуме страны развивались более или менее предсказуемо. Хасбулатов на второй день работы съезда выступил с характеристикой обстановки в государстве: остановился на спаде производства и обнищании людей, то есть объективно затронул действительно насущные проблемы. Но Хасбулатов не был бы Хасбулатовым, если бы, доказывая несостоятельность правительства, не принялся подтасовывать цифры и приводить неверные данные, в чем его тут же и уличила вездесущая пресса.

Тревога моя стала нарастать, когда услышал, что голосование по поправкам к Конституции разделено на два этапа: голосование по правительству — тайное, через кабины; голосование по всему остальному — в обычном, открытом порядке.

Поправки, касающиеся правительства, на самом деле имели прямое отношение к Президенту — серьезно ослабляли его полномочия. Их, этих поправок, оказалось четыре, и именно вокруг них развернулась борьба, захлестнувшая и последующие съезды. Кончилась эта изнурительная борьба только в декабре 1993 года — принятием новой Конституции, где поставлена последняя точка в вопросе разделения властей.

Поправки к Конституции предусматривали введение подотчетности правительства не только Президенту, но и съезду, и Верховному Совету; причем Президент в соответствующей строке стоял на третьем месте. К назначению председателя правительства съездом добавлялось назначение всех заместителей председателя правительства, силовых и ключевых министров лишь с одобрения Верховного Совета. Все министерства и ведомства, согласно тем же поправкам, образуются и ликвидируются Верховным Советом по представлению Президента. И, как говорится, на закуску: депутатских мандатов предполагалось лишить всех членов правительства, всех министров и руководителей исполнительных органов субъектов Федерации. Ну а чтобы совсем уж оторвать от Президента правительство, последнему предоставлялось право самостоятельно выходить с законодательной инициативой.

Изменения принципиальные; но выступление Бориса Николаевича 4 декабря 1992 года, перед голосованием, не возымело никаких последствий — роковые поправки почти все приняты. Становилось совершенно очевидным, что власть переходит в руки к Хасбулатову.

После голосования 7 декабря Борис Николаевич сделал еще одну попытку изменить ситуацию, но и эта попытка оказалась тщетной. Работу правительства уже признали неудовлетворительной; предстояло назначение нового председателя правительства; поправками к Конституции серьезно ограничивались полномочия Президента — фактически он лишался возможности проводить линию, обещанную гражданам России в предвыборной кампании и поддержанную ими при его избрании Президентом.

10 декабря Борис Николаевич ринулся в бой.

Накануне, где-то около полуночи, у меня на даче раздался звонок Геннадия Эдуардовича Бурбулиса — приглашение срочно приехать в Кремль. Через час я уже у него в кабинете; там — С. М. Шахрай и В. С. Старков. Речь идет о подготовке акции на утреннем заседании съезда — выступление Б. Н. Ельцина и последующий уход из зала его сторонников. Поговорили о тексте выступления; я предложил жесточе выделить в нем требование о проведении референдума. В конце концов, народ, и только народ, избравший Президента и народных депутатов, вправе решать, кому в данной ситуации он доверяет судьбы страны и реформ.

Совершенно очевидно, что расстановка сил в обществе — явно в пользу Президента, а на съезде — столь же явно против него. Это несоответствие высветит только референдум. Но идущие за Хасбулатовым депутаты, понимая, что в народе у них поддержки маловато, панически боялись всенародного волеизъявления и поэтому в Конституции закрепили право только съездом решать вопрос о проведении референдума.

Утром, перед съездом, прошу руководителей демократических депутатских групп переговорить с коллегами и подготовить их к выступлению Президента и проведению последующей акции. Нам важно еще и определить истинную расстановку сил на съезде, подтвердить надежду, что количество голосов позволит заблокировать дальнейшие изменения в Конституции. Однако некоторые наши сторонники восприняли такую активность с сомнением: нужно ли, дескать, тут идти на обострение?

Выступление Бориса Николаевича прозвучало как гром среди ясного неба. Оно транслировалось по российскому телевидению и радио и воспринималось как обращение не столько к депутатам, сколько ко всему народу: Борис Николаевич открыто заявил, что Верховный Совет стремится узурпировать все его права и полномочия, но не собирается нести ни за что ответственность; Президенту созданы невыносимые условия для работы; реформы блокируются их противниками. Короче, единственный выход из возникшего кризиса — проведение всенародного референдума. После выступления и встречи с депутатами-единомышленниками Борис Николаевич уехал на АЗЛК.

Таким образом, Президент ответил Хасбулатову на его происки тем же, чем привык пользоваться тот, — неожиданностью поступка. Хасбулатов в первый момент растерялся и обратился к съезду:

— Уважаемые народные депутаты, заявление Президента считаю оскорбительным как в отношении съезда, так и в отношении председателя Верховного Совета. — В зале поднялся шум, кое-где раздались аплодисменты. — Считаю для себя дальше невозможным выполнение обязанностей председателя Верховного Совета, поскольку мне нанесено оскорбление высшим должностным лицом государства. Прошу принять мою отставку. — Хасбулатов встает и начинает двигаться к выходу.

Зал снова зашумел. Я объявил перерыв. Но не тут-то было. Хасбулатов каким-то звериным чутьем почувствовал все последствия такого развития событий, мгновенно вернулся и грубо бросил мне:

— Никаких перерывов! — Тут же повернулся к Ярову: — Юрий Федорович, займите мое место. Перерыв определяется съездом. Пожалуйста, Яров, садитесь. Подождите, Сергей Александрович, не дергайтесь, я вам не поручал делать перерыв. Садитесь, ведите, Юрий Федорович!

Съезд продолжил работу, хотя после ухода сторонников Ельцина в зале осталось 715 депутатов. Так по крайней мере показала регистрация, которую провел Ю. Ф. Яров.

С этой минуты у оппозиции началась настоящая война с Президентом. Продолжалась и невидимая война между нами — мною и Хасбулатовым. Однажды, когда очередная наша встреча (Гайдар, Бурбулис, Козырев, Полторанин) была назначена у Полторанина, на архангельской даче, на подъезде к дому я встретил сотрудника охраны; выхожу из машины, направляюсь к нему — узнать, чему обязаны чести его присутствия. Пока шел, ясно слышу, как он по радиации передает: «Подъехал Филатов». И все же, поздоровавшись, спрашиваю: «Не случилось ли чего? Почему вы здесь?» Сотрудник бурчит невразумительное: «Обход... Проверка...» — и ретируется.

Мне в то время казалось (по-моему, Хасбулатову тоже): кто первый поднимет вопрос о взаимоотношениях — а нужно было этот вопрос ставить шире, как вопрос о будущем парламента, демократии, государства, — тот и проиграет. Во всяком случае, ко мне приходили и звонили очень многие депутаты и недепутаты и в один голос просили, убеждали, требовали: не выступайте, не поднимайте этот вопрос первым.

Так и сидели мы рядом с Хасбулатовым в нервном напряжении; выступление у меня все-таки заготовлено, отчего вдвойне тягостно наблюдать за всем происходящим молча. Сегодня продолжаю мучить себя вопросами: может быть, открытая атака против мастера интриг и лжи принесла бы победу, остановила надвигающееся безумие? Ведь будущее уже тогда виделось темным и драматичным — в противостоянии Президента и оппозиции, которую фактически возглавил Хасбулатов.

Депутаты демократических фракций еще весной начали готовить материал для создания комиссии Верховного Совета по нарушениям, допускаемым Хасбулатовым в практике работы председателем, но теперь это все отодвигалось в сторону.

А тут еще заговорили о некоем компромате на меня; я понимал — это

проверка реакции съезда, проба на излом, разведка боем. В зависимости от реакции на этот оговор примут план действий. С обвинениями в мой адрес выступил депутат В. Исаков; материалы (не сомневаюсь) ему подбирал Ю. Воронин. Речь шла о некоторых моих распоряжениях — они расценивались Исаковым как нарушение законности первым заместителем председателя Верховного Совета.

Не стал отвечать ему с трибуны, а попросил сделать это письменно председателя комитета Верховного Совета по законодательству М. А. Митюкова и начальника юридического отдела Верховного Совета Р. М. Цивилева, после чего считал инцидент исчерпанным. Однако Исаков попытался еще несколько раз поднять эту тему в надежде обратить на нее внимание съезда и, может быть, дать ей скандальное продолжение. Ну а когда и Хасбулатов не преминул высказаться по этому поводу, пришлось несколько слов сказать и мне от микрофона в президиуме. Вскоре, впрочем, тема эта так и заглохла сама собой, ибо юридически я был чист.

Итогом этого горького съезда стала смена премьера; ограничение полномочий Президента; значительное «очищение» от демократической части депутатов палаты Верховного Совета; подготовка плацдарма для продолжения наскоков на реформы и на Президента. Следующий съезд намечен на апрель 1993 года.

Когда Седьмой съезд подходил к концу, в разговоре со мной один на один у себя в комнате, расположенной в Большом кремлевском дворце, Хасбулатов как-то тихо и с виду почти безразлично вдруг предложил:

— Сергей Александрович, подайте заявление и уходите по-хорошему. Обещаю вас хорошо устроить.

Спрашиваю: с какой, мол, стати? Но предложение сделано, и за кажущимся равнодушием тона в нем угадывается нешуточная угроза. Что ж, на войне как на войне! Столь же невозмутимо отказываюсь обсуждать эту тему до следующего съезда.

Крах Хасбулатова и хасбулатовщины произошел осенью 1993 года. Трудно описать, что грозило стране в случае успеха его замыслов, захвата им власти через представительные органы. Видимо, Президент понимал это лучше всех, когда стал прорабатывать указ № 1400.

Можно сказать, что сюжет профессора Хасбулатова в известном смысле вписывается в «феномен генерала Дудаева» — любой ценой достать с неба свою звезду; вырваться к ней вопреки новой системе, внешним силам, родовым и этническим путам, которыми оба связаны по рукам и ногам.

Вероятно, от власти — а она не сама на него свалилась, он ее упорно, умело прибирал к рукам — голова пошла кругом. Наркомания власти — вещь страшная. Еще немного — и Хасбулатов стал бы величать себя «отцом народов». Но когда в Белом доме, почерневшем от взрывов и огня, наступило столь поразившее иностранцев «отключение» спикера от всего происходящего (возвращение к нему обычного человеческого лица), в этом не было ничего удивительного — перестал действовать наркотик власти.

В Администрации Президента

Не могу обойти тему Чечни.

Комментарий газеты «Монд»

«Чеченский вопрос четко высветил одну из основных черт характера Бориса Ельцина, которая в зависимости от обстоятельств может быть либо положительным качеством, либо недостатком, — импульсивность его решений, которые объявляются с большой помпой, но не всегда ясно, каким образом претворить их в жизнь».

Чеченская война разрушила много позитивного, уже достигнутого в стране. Разрушила и Договор об общественном согласии; шли к нему трудно, но его поддержали и подписали 965 политических партий, общественных организаций и движений, в том числе спортивных; профессиональных и творческих союзов; религиозных конфессий; предприятий и учреждений. Отказались поддержать только коммунисты всех мастей и прокоммунистическая аграрная партия. Они еще раз обозначили раскол общества, выступив с непримиримых позиций.

Власть, которая не сумела решить чеченскую проблему политическим путем,

вызывает недовольство народа. Более того, проблема еще обострилась после войны. Чтобы ее решить, нужна полная ясность: какие причины ее породили, какие силы за этим стояли, а может быть, стоят до сих пор, их цели и задачи. Ведь в Чечню шел поток денег, вооружений и наемников. Кто-то всем этим управляет! Кому-то понадобилось вызвать Россию на военные действия, на войну!

Сам я подхожу к чеченской теме с большим волнением, с чувством некоторой вины и огромным желанием понять во всем объеме величайшую драму отношений Чечни и России; разобраться в многообразии причин и ошибок, которые совершили и федеральная власть, и власть Чеченской Республики. Многие уже известно об этой драме, но далеко не все, и неизвестно главное — кто все это «вдохновлял». Уже высказались Конституционный суд, Государственная Дума, Совет Федерации, Совет Безопасности, — но ясности нет. Какова роль Хасбулатова, инициировавшего, через вице-президента Руцкого, в ноябре 1991 года введение в Грозном чрезвычайного положения? Оно было сорвано М. С. Горбачевым и В. П. Баранниковым, дабы предотвратить вооруженный конфликт. А перед этим Хасбулатов буквально подsunул съезду народных депутатов проект постановления, принятый съездом без предварительных процедур, фактически с голоса, и на долгие годы лишивший федеральные власти возможности общения с Дудаевым и чеченскими структурами власти.

Из постановления съезда народных депутатов РСФСР (2 ноября 1991 г.)

«Признать проведенные в Чечено-Ингушской Республике 27 октября 1991 года выборы в высший орган государственной власти (Верховный совет) и президента Республики незаконными, а принятые ими акты — не подлежащими исполнению».

Начиная с этого периода, Дудаев делал в республике все, что хотел, лишая федеральные власти возможности вмешательства и контроля, при вопиющих нарушениях с его стороны прав граждан. Все федеральные структуры власти были из республики изгнаны.

Конституционный суд в 1995 году определил позицию Центра как безответственную. Именно Центром были порождены и сам Дудаев и его режим. Поначалу смена власти в Чечне, видимо, задумывалась как борьба с коммунистическим режимом, который принес чеченскому народу кровь, страдания, унижения, депортацию народа в Казахстанские степи. События августа 1991 года, когда власть Чечено-Ингушской Автономной области, которую в то время возглавлял Д. Завгаев, поддержала ГКЧП, усилили борьбу с этой властью. Вмешательство депутатов, политиков, чиновников федерального уровня ускорило приход к власти Дудаева. Он ускорил выборы президента самопровозглашенной Республики Ичкерия и уже как президент начал в спешном порядке формировать свои структуры власти, причем только в чеченской части (тогда еще Чечено-Ингушской Автономной области) усилил давление населения на российские воинские подразделения, и они вынуждены были покинуть чеченскую территорию. Дудаев поставил под ружье большую часть населения и сильно укрепил свои позиции как борец за национальное освобождение чеченцев. При всем том отшвырнул от себя всех, кто привел его к власти, и, когда начал отходить от России, объявляя суверенитет, эти люди схватились за головы. У них оставался единственный выход из положения — привлечь, на уровне высшего органа государственной власти, Россию, с тем чтобы она отменила все начинания Дудаева и признала его действия незаконными. В Москву из Чечни шли обращения от различных оппозиционных режиму Дудаева групп:

Из обращения к Б. Н. Ельцину и Р. И. Хасбулатову лидеров оппозиции режиму Дудаева (27 октября 1992 г.).

«Как известно, осенью 1991 года в Чечне были совершены государственный переворот и узурпация власти Дудаевым и его кликой. Решающую роль сыграла в тот ответственный для наших народов период недальновидная политика лидеров демократической России. В ходе борьбы за власть новоявленные «лидеры» широковещательно провозглашали заманчивый, близкий чаяниям людей лозунг — «Свобода, справедливость, равенство, братство!». Сейчас Чеченская Республика находится на грани катастрофы. В считанные месяцы развалена экономика. Останавливаются заводы, фабрики. На другом полюсе правящая верхушка и ее

пособники осуществляют невиданный за всю многострадальную историю Чечни грабеж национальных богатств, которые веками создавались всеми ее народами. Кучка людей из законодательных и исполнительных властных структур из так называемых правоохранительных органов сколачивает баснословные состояния, превращает свои миллионы в миллиарды и переводит их в зарубежные банки. Источником дополнительного обогащения для правящей клики стал грабеж воинских частей и распродажа добытого оружия».

Получалось, что Ельцину предоставляли право и вменяли в обязанность стукнуть кулаком по столу. В той ситуации это могло вылиться в национально-освободительное движение, и Ельцин решил до поры до времени оставить все как есть, ибо каждый шаг со стороны России усиливал позиции Дудаева. Видимо, уже тогда следовало серьезно думать о переговорном процессе, но стало мешать постановление съезда. Однако оставались и чисто человеческие проблемы: сохранение возможности выплачивать пенсии и социальные пособия, оказывать медицинскую помощь, организовывать учебу детей. Ведь от отсутствия такой помощи страдают отнюдь не Дудаев и его окружение, а простые люди, живущие в республике. Поэтому многие министерства как могли до последнего сохраняли свои связи с Чечней, и эта помощь с трудом, но долгое время в республику поступала. Впоследствии Дудаев начал разрушать федеральные структуры власти в республике, школы закрывались и переоборудовались под военные учебные центры. Народу крохотной республики советский генерал-отставник навязал войну и ненависть. Кровь собрата перестала иметь цвет и запах; жизнь потеряла цену. Женщина-горянка и седобородый старец не встали на пути братоубийства, а нередко сами вдохновляли на это собственных детей. Так происходило постепенное отделение Чечни от Федерации.

Летом 1993 года я был в Северной Осетии по поводу инаугурации ее президента. Там ко мне подошли представители Дудаева; сказали, что Дудаев очень хочет встретиться с Ельциным, и просили меня этому посодействовать. Так как было предварительное обсуждение с Борисом Николаевичем этого вопроса, я ответил им, что затруднений тут нет, имея в виду следующее.

Дудаев искал встречи с Ельциным по вполне понятной причине: его авторитет стал резко падать — ведь государства как такового нет. Народ начал вооружаться, почти все школы отдали под казармы, миграция шла колоссальная. Дудаеву необходимо было показать, что Москва с ним считается. Для Дудаева сесть за стол переговоров с Ельциным означало бы признание Россией легитимности его власти. Многие из дудаевского окружения спекулировали на этом. Потому я и объяснил дудаевским посланникам, что он не может сесть за стол переговоров с Президентом России как президент независимой суверенной республики. Другое дело, если встретится с Борисом Николаевичем генерал Джохар Дудаев, лидер Чечни.

Вокруг этого долго еще велись переговоры; происходили встречи с помощниками Дудаева, с государственным секретарем Чечни, и каждый раз со стороны России проявлялась готовность к встрече на тех же условиях. Но Дудаев и его окружение никак на это не шли. Со временем менялась и ситуация в самой Чечне. В конце 1993 года активизировалась оппозиция Дудаеву.

Из сообщений ИА ИТАР-ТАСС

«В Чечне заметно активизировалось оппозиционное президенту правительство во главе с Я. Мамодаевым, который заявил: «Со дня провозглашения независимости ЧР мы еще ни минуты не были независимыми в силу нашей конкретной экономической взаимозависимости с Россией. Я был и остаюсь сторонником разумного конфедеративного договора с Россией, который ни в чем не ущемляет права чеченского народа строить собственное независимое государство».

В Чечне зрели тенденции рассчитаться с Дудаевым своими силами — теми, которые пострадали от его режима. Возникли оппозиционные формирования Гантемирова и Лабазанова. Дудаев то ли во внутренних разборках, то ли в назидание другим предпринял попытку захвата Лабазанова в Грозном.

При этом погибли около трехсот человек, а отрубленные головы родственников Лабазанова были выброшены на площадь. После этой кровавой драмы я стал серьезно сомневаться, что возможна встреча Ельцина и Дудаева, и получил

подтверждение своих сомнений при встрече с Борисом Николаевичем. Дудаев сам отрезал себе пути к переговорам с Президентом России. Нормализовать положение в республике оставалось возможным лишь путем новых выборов.

Примерно в то же время против Дудаева выступила оппозиция во главе с главой Надтеречного района Чечни Автурхановым, который с первых шагов дудаевской власти ей не подчинился. Возглавляемый им Надтеречный район ни разу не допустил представителей дудаевской власти на свою территорию. Целью оппозиции стала борьба с властью Дудаева; ставилась задача провести выборы президента не в 1995 году, как об этом объявил Дудаев, а в 1994-м. Оппозиция на своем съезде образовала Временный совет и обратилась к Президенту России с просьбой оказать помощь в налаживании нормальной жизни в Надтеречном районе и других населенных пунктах, где влияние Дудаева потеряно. В обращении к Президенту России подтверждалось, что Чечня остается в составе России, признает Конституцию Российской Федерации.

Встретиться с Автурхановым мне предложил Е. В. Савостьянов, который замещал в это время директора ФСК С. В. Степашина и курировал по его поручению урегулирование ситуации в Чечне. Во время нашего разговора Савостьянов обратил мое внимание на то, что оппозиция Автурханова не ставит никаких условий перед российским руководством, но подтверждает, что признает Конституцию Российской Федерации, в то время как лидеры других оппозиций ставят различные условия. На встречу я согласился. С обращением к Президенту России Автурханов и приехал в Москву в июне 1994 года. Мы встретились, и я взял для передачи Президенту России обращение общенационального съезда чеченского народа с просьбой о признании федеральной властью Временного Совета, через который можно восстановить нормальную жизнедеятельность республики и социальное обеспечение. Б. Н. Ельцин дал поручение правительству Российской Федерации оказать Временному Совету содействие в подготовке и проведении выборов в Чечне. В душе я надеялся, что Президент поручит мне курировать этот вопрос, но такого поручения не последовало. Мне к тому времени уже пришлось выводить из правового вакуума Республику Мордовия, несколько позже — Карачаево-Черкесскую Республику. И там и тут, слава Богу, появились и Конституция и легитимная власть.

В Чечне в то время, к сожалению, в рядах оппозиции согласия не было. Не ладили между собой Хасбулатов и Автурханов. Свою игру вел Завгаев. Гантемиров сначала примкнул к оппозиции, потом отошел от нее. Так же повел себя и Лабазанов. Каждый из лидеров оппозиции тянул одеяло на себя. Короткие стычки не терпящего инакомыслия дудаевского режима с внутренними оппозиционными силами происходили все время, с тех пор как Дудаев пришел к власти. И в те дни он избрал абсолютно правильную для себя тактику: стал поочередно колотить то одного, то другого. У него появилось желание самому себе найти защиту: он начал скупать технику, в том числе каким-то образом и в российских войсках. Мы стали свидетелями, как нарастало противостояние внутри Чечни, как начиналась гражданская война.

Из сообщений ИА ИТАР-ТАСС

23 августа. Главный штаб вооруженных сил ЧР предупредил жителей населенных пунктов, где базируются силы вооруженной оппозиции, о реальной угрозе их безопасности, поскольку власти Грозного намерены принять меры по нейтрализации деятельности незаконных вооруженных группировок.

24 августа. По сведениям МВД Чечни, правоохранительные органы официального Грозного начали крупномасштабную операцию против оппозиционеров. Несколько жителей ранены в селении Алан-Юрт в результате стычки правительственных сил с вооруженной группировкой Б. Гантемирова — бывшего главы грозненского Городского собрания.

29 августа. Вооруженные силы отряда Временного совета Чечни вышли ночью к пригородным районам Грозного, обстреляли дудаевский пост у станции Первомайская и, оттеснив группу охранения, захватили в качестве трофея гаубицу.

1 сентября. Семь человек погибли, одиннадцать получили ранения в результате вооруженного столкновения, происшедшего вечером между сторонниками Дудаева и вооруженной оппозицией в районе крупного райцентра Урус-Мартан.

2 сентября. Начались боевые действия между вооруженными формированиями Дудаева и силами оппозиции в районе населенного пункта Долинский,

севернее Грозного, и в районе города Аргун между оппозиционным отрядом Лабазанова и поддерживающим Дудаева подразделением Шамиля Басаева, которое ранее принимало участие в войне в Абхазии. Со стороны оппозиции к Долинскому двинулись танки. Над Грозным начали барражировать несколько дудаевских самолетов.

Гражданская война в Чечне разрасталась; кульминацией стало 26 ноября. Чечня живет по законам военного времени: объявлена мобилизация всех военнообязанных мужчин в возрасте от 17 до 26 лет; во многих районах начали действовать военные коменданты. В 6. 30, после массированного артобстрела, был предпринят штурм Грозного. Примерно в 9. 30 шесть танков Т-72 сил оппозиции прорвались к Президентскому дворцу. Во второй половине дня дворец был захвачен отрядом Лабазанова. Отсутствие реального сопротивления опьянило автурхановцев, и они готовились отпраздновать скорую победу. Автурханов уже выступил по телевидению, объявил, что власть — у Временного совета. Но замысел военного командования правительственными силами как раз и заключался в том, чтобы заманить тяжелую технику поглубже в тесноту улиц, где ей трудно маневрировать. А дальше произошел разгром оппозиционных сил. Около 150 человек попали в плен; около семидесяти из них оказались российскими офицерами: бортмеханики, командиры танков.

В Москве к тому времени был подготовлен проект указа о введении в Чечне чрезвычайного положения. Требовалось ввести туда внутренние войска, чтобы помочь Временному совету сохранить власть в Грозном. Но этот процесс притормозил, по-моему, тогдашний министр внутренних дел В. Ф. Ерин, сказав Президенту, что все происходящее в Чечне требует серьезной проверки и нужно понаблюдать несколько дней за развитием событий.

Оперативные данные были у ФСК. Ерин традиционно им не поверил. Факт, что Президент не подписал указа, который я практически согласовал со всеми службами и которого ждали и Грачев, и Степашин, и Егоров. Когда я по телефону сообщил об этом Грачеву, он дрогнувшим голосом попросил отпустить его, хотя бы одного, очень переживал за своих ребят, несколько раз повторил: «Как я буду смотреть им в глаза?!» А затем, несколько дней спустя, состоялось решение Совета Безопасности о введении войск в Чечню. В этих процессах я уже не участвовал. И очень жаль, что политическая линия на неприменение войск на территории Чечни была нарушена. Дудаев оставался в одиночестве; его практически не поддерживали ни свои, ни зарубежные чеченцы, ни руководители стран, где проживали чеченские диаспоры; но при этом все зарубежье, да и сами чеченцы предупреждали, чтобы ни в коем случае не вводились войска на территорию Чечни. При этом принципиально менялся характер войны — она превращалась в национально-освободительную, и Дудаев вновь становился национальным героем. Накануне введения войск было сделано предупреждение Дудаеву, предъявлен ультиматум о сдаче оружия. Дальше началась сама операция.

Чеченскую проблему, по словам П. Грачева, планировалось решить в короткий период и на высоком профессиональном уровне, а получилось непрофессионально, с огромным числом жертв и долго.

Против войны и особенно против методов ее ведения дружно выступила российская пресса, что, конечно, отрицательно отразилось на настроении наших солдат, которые были сбиты с толку и перестали понимать, за что они воюют. Требовался мир. Хотя было горько сознавать, что терроризм и бандитизм остаются безнаказанными.

В тот период я так же, как и многие другие, считал, что, раз военные действия начаты, бандиты должны быть уничтожены. Однако непрофессиональные действия наших военных, многочисленные жертвы, общественное мнение подталкивали к мирному урегулированию чеченской проблемы. По поручению Президента серьезно думала о возможных путях мира в Чечне и специальная группа, образованная им из помощников и аналитиков. Информация о работе группы и ее предложениях была доступна узкому кругу лиц. Как помню, разрабатывалось несколько вариантов решения проблемы мира.

В один из майских дней 1995 года к нам обратились представители одного государства. Им, посредникам в конфликте между Ливией и Ираком, удалось достичь там мирного урегулирования. Предложение стать посредниками в мирном урегулировании конфликта, прекратить войну на территории Чечни и сесть за стол

переговоров пришло через Ю. Батурина и к нам. Чтобы проверить все стороны в серьезности намерений, они предложили прекратить на 2—3 дня удары с воздуха — с нашей стороны и стрельбу по нашим войскам, зажатым в одном из ущелий, — со стороны чеченцев. Борис Николаевич принял это предложение и поручил подготовить соответствующий документ. Телеграмма гласила: «Грачеву. Куликову. С нуля часов 1 июня применение авиации прекратить. Причину не объяснять. Ельцин». Отправив телеграмму, я поехал в киноконцертный зал «Россия», где проходил концерт артистов Татарстана. Еще до наступления антракта ко мне подошел помощник и попросил срочно подойти к правительственному телефону. Телефонистка спецкоммутатора сказала, что меня разыскивает В. С. Черномырдин, который в это время отдыхал в Сочи. Сердце екнуло: неспроста. Через несколько минут, уже в машине, соединился с Виктором Степановичем:

— Что за телеграмма поступила Куликову, откуда она взялась?

Объяснил, что это решение Президента, но большего сказать не могу.

— Но нужно объяснить Куликову, у него срывается операция и людям грозит гибель. Свяжись с ним.

Связываюсь с Куликовым. Он в панике: начал операцию, в которой передовой отряд оторвался от основных сил километров на пятнадцать, и, если их не поддержать утром с воздуха, отряд может быть истреблен. Я с большим уважением и доверием относился к А. С. Куликову, его тревога передалась мне. В мозгу вертелась мысль: где могла произойти нестыковка. Позвонил Ю. Батурина и пригласил его в машину, которая во время моих звонков стояла у подъезда здания Администрации Президента на Старой площади. Решили звонить Президенту с тем, чтобы отменить его решение, но связаться с Борисом Николаевичем никак не удавалось. Тогда я попросил дежурного офицера рассказать Президенту о сложившейся ситуации и получить разрешение на отмену его приказа. Уже у себя в кабинете без десяти минут двенадцать пополудни такое разрешение я получил, и новая телеграмма ушла в те же адреса. Сообщил об этом Черномырдину и рассказал о сути дела.

— Дело-то хорошее, но почему так несогласованно получилось? А жаль, — были его слова.

Наутро состоялось тяжелое объяснение с Президентом. Я понимал, что в чем-то сделан просчет, чувствовал себя виноватым, но, когда принималось решение, я внутренне надеялся на знание обстановки Верховным Главнокомандующим и не считал возможным интересоваться этим самому, без его команды, а ее тогда не последовало. Президент предупредил, что будет проведено расследование. Через несколько дней «дело» было закрыто. Никаких объяснений по этому поводу у нас больше не было. Но горечь по поводу несостоявшегося мира осталась. Прослеживая прессу, мы с Юрием Михайловичем Батуриным обратили внимание на сообщение о том, что со стороны чеченцев стрельбы в ущелье в течение двух дней не было.

Война же продолжилась... аж до Хасавюртовских соглашений.

Однако после Хасавюртовских соглашений вынужденный мир в Чечне не решил практически ни одной проблемы, а некоторые даже усугубил. В частности, отношения России и Чечни — они также находятся в подвешенном состоянии. Усилился терроризм, нападения на соседние Северокавказские регионы. Стало процветать похищение людей и торговля ими. Экономика Чечни продолжает падать. К этому добавились проблемы восстановления разрушенного во время войны. События в Чечне привели в шоковое состояние европейскую общественность, и России на два года оказался закрыт путь в Совет Европы. К этому привела политика полумер в отношении Чечни и в целом по Северному Кавказу.

За прошедшее с тех пор время по-разному складывались взаимоотношения Чеченской Республики с Центром. В Чечне произошли различные события; ее президентом стал Аслан Масхадов. Однако в экономически беспомощной республике все так же в ходу заманчивая идея независимой Ичкерии. Даже законы Шариата не останавливают преступников — ради выкупа они похищают людей, в том числе с примыкающих к Чечне территорий. Обоюдное прекращение боевых действий и вывод федеральных силовых структур из Чечни не принесли ее населению покоя. Площадь Шейха Мансура опять полна людей с оружием в руках, движущихся в ритуальном зикре.

ЕЛЬЦИН

Я сам дознаюсь, дойду
 До всех моих просчетов.
 Я их припомню наизусть —
 Не по готовым счетам.
 Мне проку нет — я сам большой —
 В смешной самозащите.
 Не стойте только над душой,
 Над ухом не дышите.

Александр Твардовский

На встречах с общественностью в регионах России неизменно возникает разговор о происходящем — о реформах и кадрах, о трудностях в жизни простого народа и целых предприятий. Но больше всего людей интересует фигура Президента — хотят разобраться, понять, что за человек правит государством, почему так много вокруг него противоречивых, порой диаметрально противоположных мнений и оценок? И особенно всем бросается в глаза, как Президент неровно, не бережно обращается с кадрами, со своими соратниками, подгребая их сначала под себя, используя с максимальным прагматизмом чужие интеллектуальные дрожжи, пока в них живет брожение. Дальше — очередная смена действующих лиц. Порой на таких встречах раздаются гневные выкрики: «Ведь это вы привели его к власти!» Порой смущенно спрашивают о его состоянии здоровья, о нелепых сценах, показанных по телевидению, наводящих на нехорошие мысли. Да я и сам все больше размышляю: что значат для Президента его соратники — те, с кем он вместе прошел определенный отрезок своего президентства?

У Ельцина не было своей программы преобразования России. Именно поэтому он всегда искал людей со свежими идеями, умеющих по-новому взглянуть на решение вечных проблем России. Именно поэтому вокруг него стала собираться способная молодежь — экономисты, юристы, аналитики, военные специалисты. Но потому же вместо цельной программы действий формировался некий гибрид из кусков, позаимствованных у разных разработчиков. Беда в том, что куски программ плохо сочетаемы, и не было у нас теоретика (идеолога), который их объединил бы. Здесь кроется одна из причин частой сменяемости кадров и плохих отношений внутри команды.

К тому же в отдельные периоды, когда напряжение в обществе доходило порой до грани гражданской войны, Ельцину требовались не просто соратники, а люди особо преданные, способные защищать с оружием в руках завоевания демократии и его самого. Но не все выдерживали такое доверие до конца, — бывали случаи (и в силовых структурах тоже), когда эти же люди шли против Президента.

Кадровую чехарду можно объяснить и тем, что в исполнительную власть привлекались в основном народные депутаты, а впоследствии — депутаты Думы. Хороший законодатель не всегда оказывался действенным, эффективным чиновником в исполнительной власти. Многие бывшие депутаты, прожив короткий срок в исполнительной власти, изгонялись, а обиды и недоуменные вопросы у них оставались.

Каких ярких депутатов лишалась законодательная власть! Оксана Дмитриева, Михаил Задорнов, Александр Починок, Борис Федоров, Иван Рыбкин, Ирина Хакамада, Георгий Босс; на раннем этапе — Владимир Шумейко, Сергей Шахрай, Юрий Яров и многие другие. Решая задачу усиления исполнительной власти, Ельцин неминуемо ослаблял демократическое крыло законодательного органа, который постепенно превращался в агрессивное большинство по отношению к нему самому и к тем реформам, ради которых усиливалась исполнительная власть. Это особенно сильно проявилось в 1993 году; кульминация — кровавый октябрь.

Ельцину всегда хотелось все сделать побыстрее: ликвидировать КПСС; сделать Россию демократической страной с рыночной экономикой; провести приватизацию; принять новую Конституцию; встать в ряд с международной элитной семеркой; навести порядок в Чечне... Может быть, в этом кроется его позыв к постоянной перетасовке кадров, их перестановкам, заменам. Но при этом, думаю, он понимал, что никто толком не успевает не только что-то сделать, но просто познакомиться с

делами, осмотреться, освоиться. В этом нахожу и одну из причин многих наших неудач, и отсутствия у Ельцина цельной команды.

Ельцин постоянно хотел доказать, что демократию сам не подомнет и покуситься на нее никому не даст. Потому и готов менять министров и других чиновников по требованию сильной оппозиции. Над этим порой смеются, порой издеваются, но это гарантия, что надпартийный Президент способен учитывать мнение сильной партии. Можно здесь винить и демократов: с каждым годом сдавали свои позиции, слабели в организационно-политическом плане. И Ельцин, вынужденно подыгрывая сильной, агрессивной оппозиции, поневоле отходил все дальше от демократов. А ведь вначале сам предполагал их возглавить.

В 1993 году в окружении Президента впервые проявились разные оценки его отношения к демократическим партиям и движениям. Впервые прозвучало, что «...Президент независим от партий и находится над партиями».

В день работы съезда «Выбора России» пресс-секретарь Президента Вячеслав Костиков выступил с таким сообщением:

— Борис Ельцин очень чувствителен к голосу России. Он ощущает себя россиянином, представляющим всю Россию. Именно поэтому, несмотря на все политические симпатии, его не будет на съезде блока «Выбор России».

Тогда Президент лишил демократическое движение объединительного центра — это факт.

У многих на памяти манипуляции, которые проводились с кадрами сначала в Верховном Совете, а затем и Президентом. Менялись фавориты, действовало живучее правило: сегодня ты в фаворе — твоя программа предпочтительнее. И приостанавливаются идеи рынка, и внешне плацдарм демократии как бы начинает завоевываться совсем другой системой — и все это продолжается до критической черты, до внезапного контрнаступления. Думаю, ни для кого не секрет, что эти годы мы так и жили — по этапам. Да и время заставляло проявлять гибкость, чтобы сохранить движение реформ вперед.

Силу и мудрость Ельцина как Президента я и сам в этом находил. Ради главного — сохранения курса реформ — стоит пойти и на жертвы. Сделать кадровые перестановки: сменить команду; какого-то лидера; провести референдум — все это — пусть, только не останавливать реформы. Ельцин вынужден все время лавировать во имя главной цели — это, разумеется, заметно многим. Хотя, повторяю, иногда это превращалось в кадровую свистопляску, ничего общего не имеющую с улучшением ситуации в стране. Все как-то объясняется или оправдывается, кроме одного — как Президент расставался порой с соратниками (с некоторыми — так и не попрощавшись). Этого ни понять, ни простить невозможно.

Часто выбор Президента не поддавался объяснению; появлялись новые, какие-то серые, порой скандальные личности, а то и просто противники и самого Президента, и проводимых им реформ. Таких примеров много; наиболее яркие — Руцкой, Ильюшенко, Коржаков.

Когда в ночь перед регистрацией кандидатов в Президенты в центральной избирательной комиссии выбор Ельцина пал на Руцкого как на кандидата в вице-президенты, многие оказались в шоке и никак не могли понять, что заставило Ельцина принять такое решение. Но, с точки зрения избирателя, Борис Николаевич выбор сделал точный: военный человек, Герой Советского Союза; в Верховном Совете проявил себя напористым депутатом, умеющим защищать социальные права военнослужащих. Однако в конечном счете выбор Ельцина оказался трагичным для страны.

Сложные отношения складывались у Президента Ельцина с вице-президентом постепенно, не сразу. Руцкой — человек с амбициями; привык решать вопросы по-военному жестко и быстро, порой не вникая в последствия таких решений; не всегда в ладу с законом.

Его знаменитые одиннадцать чемоданов компромата — свидетельство нарушения закона и прав человека: оперативные данные оглашены в форме обвинения; а как же презумпция невиновности? Провал чрезвычайного положения в Грозном чуть не стоил войны в регионе. Руцкой явно проиграл, но признать в этом не нашел мужества. «Человек без тормозов» — так многие характеризовали тогда Руцкого. Это особенно стало проявляться после победы над ГКЧП, когда Руцкой оказался в центре внимания прессы и общественности. Последовала его война с молодым правительством и либеральными реформами. А затем — война и с

Президентом, когда Руцкой согласился и с импичментом, который объявил Б. Н. Ельцину Белый дом, и с занятием кресла Президента страны на нелегитимном съезде народных депутатов.

Конечно: есть вина и окружения Бориса Николаевича в том, что руководители службы безопасности подстегивали неприязнь Президента к Руцкому, подсовывая ему записи прослушанных разговоров. Руцкой, прямой, бесхитростный вояка, говорил все то, что в данный момент думал, — но обычно в такой «данный момент» он воевал. Стоило все это обществу и стране дорого — октября 1993 года и отсутствия в Конституции такой должности, как вице-президент Российской Федерации.

Представляется мне, что Борис Николаевич выбрал абсолютно неправильный тон общения с экс-Президентом СССР М. С. Горбачевым — тон человека обиженного и еще не отомщенного.

Из интервью Б. Ельцина итальянской газете «Република»

«В новом Содружестве независимых государств не предусмотрено места для Михаила Горбачева, и у Президента Советского Союза есть время до конца декабря, максимум — до середины января, чтобы принять решение о своей отставке».

Бесстрастно, не повышая голоса, Борис Николаевич произносит этот своеобразный приговор творцу перестройки. Мне, как и многим, казалось, что в новой, демократической системе государства нам удастся построить иные отношения с теми, кто раньше стоял у власти: теперь они могли бы стать советниками, аналитиками, помощниками в налаживании различных рабочих контактов — во имя усиления и обогащения страны.

Как-то во время пребывания в Англии мне подарили местную газету, где во всю страницу изображена голова Михаила Сергеевича, а на лысине сидит маленький Борис Николаевич и маленьким молоточком бьет по ней. В этой забавной шутке оказалось много правды. Мы потом стали свидетелями, как Ельцин почти никогда не упускал возможности «постучать молоточком» по голове Горбачева. После той поездки я показал Борису Николаевичу газету и при этом заметил: не стоит ему, в его новом положении, относиться к Горбачеву так, что эти мелкие уколы мир замечает. Почему бы не подумать о будущем — ведь сейчас закладываются основы отношения к ушедшим руководителям, которые когда-нибудь уйдут. Правда, после этого разговора Ельцин стал меньше выпускать стрел в ту сторону, но отношения своего к Горбачеву не изменил.

Очень часто в прессе и в устах оппозиции все, что исходило от Ельцина, особенно плохое, связывалось с окружением Президента. Чаще всего подразумевалось некое анонимное окружение. Вот один из комментариев в СМИ по этому поводу (он принадлежит газете «Генераль-анцайгер»): «Проблема Ельцина состоит в том, что его окружает «почти анонимная дворцовая камарилья, к нашептыванию которой он прислушивается даже в большей степени, чем наученный опытом Михаил Горбачев».

Однако окружение Борис Николаевич имел разное. Долголетие его на посту Президента, его шаги по преобразованию страны могли осуществиться именно благодаря тому, что в основном в окружении были люди деловые, грамотные, авторитетные. С самого начала деятельности Ельцина вокруг него объединилась мощная группа творческой интеллигенции, которая его поддерживала всегда, а в критические моменты, — быть может, особенно. Многие из них вошли в Президентский совет. На разных этапах они по-разному оценивали его деятельность, но всегда сходились в главном: Ельцин — гарант демократических преобразований в России, и ему нужно помогать.

Многие сходятся еще в одной оценке Б. Н. Ельцина: он — человек четких жестких нравственных ориентиров. Никогда не перекладывал вину на других — будь то Чечня, октябрь 1993 года, срывы в экономике. Находясь за рубежом, никогда не давал отрицательных оценок никому поименно. Может быть, это воспитание, внутренняя установка; не исключено — некоторый зарубежный опыт. (Например, во Франции нам рассказали: существуют у них неписанные правила этики для депутатов и руководителей всех уровней — никогда плохо не отзываться о своих коллегах и

о своей стране за ее пределами; но внутри страны эти правила перестают действовать.)

Ельцин пошел на выборы 1996 года. А выборы означают, что придется признавать совершенные ошибки; освободиться от наиболее одиозных союзников и подчиненных; анализировать настроения масс и пытаться что-то объяснить народу.

Но были случаи, когда шептуны точно использовали настроение и состояние Президента, чтобы «капнуть» ему на кого-то, вызвать раздражение, гнев и направить такую реакцию против собственных недругов, делая их недругами и Президента. У меня, например, было несколько телефонных звонков от Президента, когда не оставалось никаких сомнений: кто-то из близких, находящихся рядом с ним, действует именно так. Один звонок такой. Поднимаю трубку прямой связи и слышу раздраженный, напористый голос Президента:

— Мне сказали, что вы продолжаете дружить с Бурбулисом. Вы должны прекратить с ним всякие отношения!

Я опешил, но отвечаю твердо:

— Борис Николаевич, то же самое мне говорил Хасбулатов. Но я не отказался от дружбы с Бурбулисом и сейчас не вижу необходимости. Тем более что он очень много сделал для общего нашего дела. А вас кто-то пытается на него натравить.

Президент положил трубку. Другой звонок:

— Вы скажите своему Голембиовскому, чтобы он свои «Известия» не использовал для печатания всяких пакостей!

— Борис Николаевич, во-первых, Голембиовский не мой, — я в Верховном Совете стоял за газету, за ее независимость, которую, слава Богу, она сейчас имеет. Во-вторых, вы никогда не вмешивались в дела СМИ. Кто вас подтолкнул на этот шаг, кому и зачем это нужно? Ведь один звонок — и вы дискредитированы.

— Ну хорошо. — Президент положил трубку.

А вот третий звонок:

— Вы знаете наше отношение к Степашину. Перестаньте с ним дружить, если хотите остаться в нашей команде.

Тут я взорвался:

— Борис Николаевич, почему вы позволяете себя натравливать на ваших единомышленников?! Степашин — ваш соратник! А кому-то из ваших близких он, видимо, мешает. Давайте встретимся и обо всех этих делах поговорим.

— Хорошо, давайте поговорим.

Конечно, мне не трудно предположить, кто в это время дышит в затылок и шепчет в ухо Президенту. К сожалению, иногда такие усилия давали результат, которого шептуны и добивались.

Может быть, такие многочисленные нашептывания подготовили Президента к тому, чтобы дать службе своей безопасности неограниченные полномочия по сбору компромата на высших должностных лиц, банкиров, руководителей СМИ; прибрать к рукам Росвооружение, контрольные функции и многое другое; все это явно противоречило Конституции и, как правило, нарушало права человека. Был создан вычислительный центр, куда поступала вся информация о банках и можно было в любую минуту получить любые сведения о каждом банке. При чем здесь служба безопасности Президента? А попытка создать Финансовую разведку России, по сути противоречащую Конституции? (В соответствии с Конституцией ни одна российская спецслужба не имеет права вести самостоятельный поиск зарубежных счетов российских юридических и физических лиц вне системы судебных исков и разбирательств, осуществляемых в ходе проведения официальных расследований по уголовно наказуемым делам.)

Идеология этих действий, видимо, такова: законы касаются спецслужб, правительства, администрации Президента; служба безопасности — вне этих и других структур, а значит, и вне закона.

Когда появился проект указа о службе безопасности Президента, дававший коржаковскому ведомству полномочия, которые не снились никаким другим службам, мы с В. Илюшиным схватились за голову. Президента в Кремле нет — он отдыхает в Сочи; поговорить с ним нет возможности. Проект указа придержали до его приезда. Однако через некоторое время был подписан другой экземпляр указа — вопреки действующему положению без визы руководителя администрации.

В июне 1996 года такая практика работы службы безопасности Президента

прекращена. Но она не получила достойной оценки ни Президента, ни правоохранительных систем. А надо бы — чтоб другим неповадно было.

Сегодня у Ельцина, пожалуй, больше противников, чем когда-либо. Но мы вместе с ним прожили целую эпоху — со всеми ее противоречиями, шатаниями, стрессами, заклинаниями, пророчествами и разочарованиями. Эпоха Ельцина — это полный отказ от перекраски фасада, от идеологии перестройки по Горбачеву; не оживление старых социальных институтов, а утверждение нового, радикальные перемены в обществе. Это ощущение необходимости глубинных исторических перемен, — правда, при отсутствии ясного ответа на вопрос, как их осуществить. Это сознание, что нужно непрерывно бежать — бежать, не останавливаясь.

И вот — бежим... Сто пятьдесят миллионов после ГКЧП и проведенных у себя референдумов побежали из СССР. Другие сто пятьдесят миллионов, совершенно неподготовленных, без какого-либо представления о маршруте, но с твердым желанием отойти подальше от коммунистического прошлого и смутным желанием радикальных перемен к лучшему, побежали в сторону частной собственности и приватизации, демократии и рынка. Может быть, именно поэтому мы каждый год с нелегкой душой входим в праздник независимости России, или, как его еще называют, День принятия Декларации о суверенитете России, — хотя не понимаем его сути: чего же мы достигли? Общество не понимает до конца и сути того, что произошло в 1993 году, когда страна была на грани войны, которой мы избежали буквально чудом.

В чем должен состоять радикализм реформаторства, долгое время не знали и сами авторы реформ; не знал этого и Президент. Мы знали только, что надо бежать. О конечном результате догадывались смутно, и, как оказалось, каждый представлял его по-своему. Сочетаются ли радикальные реформы с «возрождением России» — лозунг, с которым демократы шли на выборы? Как будто да, но во многом первое противоречит второму. О чем речь — о духовном возрождении или о возрождении рыночной экономики?

Путаница в мозгах, мешанина лозунгов, девизов, позиций... Одних только партий и политических движений, формально имеющих право на участие в выборах на федеральном уровне, даже в последнее время после регистрации, свыше ста пятидесяти, и у каждого лидера свое видение будущего России. А бежать надо... Необходим человек, который, взяв на себя ответственность, скамандует: «Вперед! К другому берегу! Примерно... вот туда не останавливаясь! Там разберемся!»

Таким человеком и оказался Борис Ельцин. В этом — его историческая миссия, значение и глубинный смысл того, что он, и мы вместе с ним, строили и создавали все недавние годы, со всеми пережитыми взлетами и падениями, раздирающими противоречиями и выстраданной логикой.

Ельцин — это принятие абсолютно радикальных решений в абсолютно не подготовленной к ним ни духовно, ни материально стране: отсутствуют традиции реформаторского радикализма; интеллектуалы выросли в условиях всеобщего подавления мысли и неспособны на настоящий протест; старые кадры не готовы к новой работе даже теоретически; действует огромная партия тоталитарного типа, невероятно коварная и опытная; она сильно срослась с армией, службами государственной безопасности, прокуратурой, судом, директорским корпусом; усвоила множество большевистских приемов, и прежде всего разделения общества, поиска врага, революционных выступлений. У Ельцина никогда не было поддерживающего его устойчивого большинства, даже при выборах его председателем Верховного Совета РСФСР и Президентом России. Отсутствие этого большинства не раз приводило страну на грань катастрофы. Но именно оно заставляло его бороться за победу на выборах, используя в критические периоды весь свой потенциал.

Что знали реформаторы, когда начинали реформы? Монетаристскую теорию, выросшую в Америке. Она хорошо заработала бы наверно, но при условиях близких к американским, а таковых у нас не было. Хотя нужно признать, что степень ожиданий от этой теории и степень доверия к ней в обществе были достаточно высоки благодаря внешней политике (ее небезуспешно проводил Андрей Козырев), направленной на укрепление доверия между Россией и США. Позже эту политику бездарно растоптали, вновь пытаясь представить Америку нашим врагом, а стало быть, все, что оттуда исходит, нам враждебно. Совсем как при большевиках.

Чтобы монетаристская теория реформ работала, изначально нужно иметь развитое в правовом отношении население; гибкую общественную психологию,

приемлющую частную собственность. А мы продирались шаг за шагом сквозь бешеное сопротивление бывших партocrats, с их огромным негативным опытом, порочными связями, репрессивным влиянием на народ и умением пользоваться скрытыми партийными средствами. Ясно, что реформировать общество одними лишь макроэкономическими методами невозможно, а рассчитывать на экономический подъем сразу после отпуска цен — наивно. Но не сделать всего, на что пошли Гайдар и его команда, — еще хуже. Из многих зол приходилось выбирать меньшее, а альтернативы даже меньшему злу не существовало: любое решение — плохо; терпеливо, стиснув зубы, приходилось выстраивать цепочку плохих решений, — в конце ее, при благоприятных условиях, быть может, получится что-то сносное... Молодые реформаторы своим молодым задором, энергией, решимостью хоть как-то столкнули страну с мертвой точки. Не имея, видимо, ясной конечной цели, они все же приняли на себя ответственность за этот толчок в неизведанное.

Вся история России усыпана обломками несостоявшихся реформ. Нужен был совершенно особый человек, чтобы еще раз поднять в России реформаторское знамя — в условиях всеобщего кризиса, на крутом историческом переломе, когда произошло крушение советской империи, социалистического мировоззрения, дутых идеалов и ценностей.

Таким человеком оказался Ельцин. Вырос в партийной среде, занимал отнюдь не последнее место в партийной иерархии, но набрался мужества поверить новым людям, невероятно от него отличавшимся по возрасту, образованию, опыту жизни, по убеждениям и взглядам. Рискнул опереться на людей чуждого ему сословия и принять на себя всю тяжесть их возможных и совершенных ошибок — с опасностью быть проклятым современниками. Не уравнивается ли этим его нерешительность, которую мы так часто наблюдаем? Кто способен оставаться неизменно решительным в условиях жесточайшей борьбы?

Но, какие бы ошибки ни совершал Ельцин и его соратники, Россию они все-таки сдвинули с места в направлении цивилизации. А сдвинуть экономику централизованную, безынициативную, милитаризованную в сторону экономики гражданской, рыночной, ориентированной на человеческие потребности — это в историческом смысле нечто невероятное.

По нашей истории видно, что в России первое лицо государства — понятие культовое. Российской традиция всегда связывала время с властной личностью: эпоха Ленина, Сталина, Хрущева, Брежнева... Мы до сих пор мыслим категориями прошлого, драматично прорастающими сквозь новую реальность. Эпоха Ельцина...

До Первой мировой войны существовала реальная возможность построить в России нормальное общество. Но страну обманно увели за собой, в сторону большевики. Путь оборвался на стадии, когда общество еще не успело подготовиться к собственной реконструкции. Теперь мы расплачиваемся за то, чтобы вернуть Россию на путь нормального исторического развития. Расплата тяжела, а платить приходится тем, кто ни в чем не виноват. Отсюда охватившие многих апатия, безверие, неприятие реформ. Непонимание не просто Ельцина (хотя в его внешнем поведении в последнее время многое озадачивает), а той цены, которую требуют реформы, — непонимание со стороны и противников и сторонников преобразований.

Через коррупцию, безнравственность, бездуховность; спекулятивное предпринимательство, беспредел, карикатурную демократию; кризис культуры, экономики, общественной жизни — мы наугад движемся вперед в поисках самих себя, своей человечности. Демократия, правовое государство, социально ориентированная экономика — все это останется пустыми словами, если россияне не станут терпимее друг к другу, не научатся сопереживать и сострадать. Не признают, что мировоззрение и философия обывателя, которая столько лет третировалась под аккомпанемент красных барабанщиков, — это и есть мировоззрение и философия жизни. Главная ее аксиома, центральный постулат — человек превыше всего, не он слуга государства, а государство на службе у человека.

На эпоху Ельцина выпало разрушить аварийную государственную структуру ради того, чтобы создать основу для реформаторского строительства. Следующий Президент начнет возводить новое здание: площадка под нулевой цикл подготовлена. Остается одно — поверить в реальность цивилизованного будущего России. Я — верю.

Владимир Познер

Кое-что о национальной идее...



Некоторое время тому назад побывал в Украине. Да, да, именно «в Украине», а не «на Украине», как говаривали раньше. Дело это, как мне сказали, принципиальное. Изменение предлога прямым образом связано с независимостью. Тот, кто говорит «на» — великорусский шовинист. Не более, не менее. Итак, я побывал в Украине, в частности, в Одессе. Выступил в местном зале перед публикой, говорили о проблемах страны и, разумеется, возник вопрос о национальной идее. Было сказано, что, мол, если бы нашлась национальная идея, то в Украине все было бы хорошо, все проблемы были бы решены. Ну, я что-то такое невнятное и вымученное выдавил из себя, поскольку все эти разговоры о национальной идее вызывают у меня тошноту и тоску смертную. Поиск национальной идеи мне кажется делом столь же продуктивным, как поиск блох в Норвегии. Почему блох и почему в Норвегии? Один следователь по особо важным делам рассказал мне, что именно это выражение употреблял его коллега, когда хотел подчеркнуть абсолютную бессмысленность того или иного расследования. Выражение показалось мне остроумным. Я взял его на вооружение.

Так вот, я что-то такое сказал, а тут из-за кулис выходит мой кумир, человек, к которому я испытываю почти такую же нежность, как к своим внукам, Михаил Михайлович Жванецкий, и говорит: «Вообще-то, жить на черноземе и при этом голодать — стыдно, об этом лучше молчать. А что до национальной идеи, то я предлагаю НЕ ГОЛОДАТЬ. Или ОБЕДАТЬ. Вот и национальная идея».

Ну, все долго аплодировали и хохотали, а я подумал, что Михал Михалыч, как всегда, попал в самую точку.

Из Одессы вернулся в Москву, самолет приземлился в аэропорту Шереметьево-1, сели мы все в подъехавший автобус, куда набили нас весьма плотно (почему-то Шереметьево-1 не имеет «рукавов», куда мог бы подрулить самолет и через который пассажиры сразу же могли бы попасть в здание аэровокзала). Автобус остановился у невзрачного, небрежно слепленного из стекла, алюминия и бетона здания, внутри которого располагается погранслужба, проверяющая паспорта граждан стран СНГ и России, и водитель раскрыл дверь. Одну. Нет, вы не подумайте, что это был микроавтобус с одной дверью — дверей было три: одна впереди, одна посередине, одна в конце. Но раскрыли одну. Так сказать, для удобства пассажиров. Силой взаимного сжатия пассажиры, словно паста из тюбика, были выдавлены наружу и хлынули к единственно открытой двери здания (из шести имеющихся). Прорвавшись в зал, я увидел восемь кабинок с воротцами; над некоторыми было написано примерно (дословно не помню) следующее: «Для граждан стран СНГ, имеющих соглашение о безвизовом въезде», над другими таблички указывали, что здесь проходят те, которые нуждаются в визе. Наконец в конце зала была хорошо видна таблица, на которой значилось: «Для граждан Российской Федерации». Я обрадовался. Наконец-то, подумал я, мы стали оказывать предпочтение своим гражданам точно так же, как это делают во всем мире. В Европе отдельно проходят граждане стран ЕС, в Англии — граждане Великобритании, в США — граждане Америки и т. д. Так и должно быть. Вот и мы дожили, обрадовался я...

И напрасно.

Под таблицей был стол, но за столом — никого. А дверь позади стола, которая вела в зал получения багажа, была заперта.

Из восьми кабинок работали две. Очереди выстроились огромные. Заметив

ходившую по залу с весьма строгим видом женщину в офицерской форме погранслужбы, я подошел к ней и спросил:

— Скажите, пожалуйста, почему не работает пункт для граждан России?

— Некому работать, — ответила она, — сами видите.

— Видеть-то вижу, но почему бы не снять одного из двух работающих и не пересадить его туда, где должны проходить граждане нашей страны? Почему нам не оказывают предпочтения?

— Не я решаю эти вопросы, — ответила она.

Я довольно выразительно посмотрел на нее, попросил, чтобы она вызвала начальника погранслужбы, и пошел становиться в одну из очередей. Минут через пять дама подошла и тихо сказала:

— Дайте мне ваш паспорт.

— Нет, — ответил я, — не дам. Вы поймите, вопрос не в том, как мне проскочить без очереди, вопрос в отношении вашей службы ко всем нам, гражданам России.

— Значит, не дадите? — спросила она. Я покачал головой. — Что ж, будете долго ждать.

Действительно, ждал я долго, после чего, поинтересовавшись, где находится начальник погранслужбы (оказалось, что это в соседнем здании), я не поленился отправиться туда. Начальником оказался майор, фамилии которого я не помню, а помнил бы, все равно не назвал, поскольку дело не в нем. Майор меня узнал — уж такова магия «ящичка» — приветливо улыбнулся и посмотрел вопросительно.

— Господин майор, — начал я, — я только что прилетел из Одессы.

— Замечательно, — сказал майор.

— Так-то оно так, — довольно мрачно продолжал я, — но из восьми кабинок погранслужбы работают две, а там, где должны проходить только граждане России, вообще никого нет. Почему?

— Потому что некому работать. За такие деньги нет желающих.

— Ну, а почему нельзя посадить одного из двух пограничников туда, где должны проходить граждане России? Почему вы не оказываете соотечественникам такого же внимания, какое оказывают в других странах, — допытывался я.

— У других стран другие условия. А уж кого куда посадить — это я сам решаю так, как сочту нужным.

— То есть вы не видите необходимости оказывать предпочтение своим гражданам? — спросил я.

— Нет, не вижу, — отбрил майор.

— Вот вы плюете на своих, — сказал я в сердцах, — а они плюют на вас. Так и живем.

— Вы меня извините, но я занят, — отрезал майор и удалился в глубины погранслужбы, плотно закрыв за собой железную дверь.

Я ушел, весь клокоча, с твердым намерением написать начальнику погранслужбы России. Потом, поостыв, решил не делать этого. Ну, предположим, накажут майора. И что? Изменится ли хоть что-нибудь в его голове? Абсолютно нет. Он попросту возненавидит меня, человека, вторгнувшегося на территорию его ответственности и власти. Повторяю, дело не в майоре. Дело в нашем менталитете, в менталитете несомненного большинства россиян, которые, с одной стороны, очень любят поговорить о превосходстве «русского» надо всем остальным, о том, какие недоделанные дураки «америкашки», «немчура», «косоглазые» и прочие неславянско-неправославные чужаки, а с другой, очень даже легко перед этими «чужаками» встают в позу «чего изволите?» и абсолютно по-хамски относятся к своим, российским согражданам («Ничего, постоят, как все, не переломятся!»).

Почему? Да потому, что веками жили как холуи, а холуй не уважает никого, прежде всего самого себя.

Так вот, в качестве национальной идеи предлагаю: САМОУВАЖЕНИЕ. Само по себе это не решит никаких социально-политико-экономических проблем. Но, уверяю вас, жить станет и легче, и лучше. Поверьте, человек, который себя уважает, приятен и себе, и окружающим. И еще: научившись уважать себя, мы станем уважать других, независимо от их национальности, расы и религии. И они, глядишь, станут уважать нас.

Представляете, какой кайф?

Владимир Дегоев

Закон силы и сила закона в мировой политике на пороге третьего тысячелетия



У истории — свое летосчисление, свои точки отсчета, не совпадающие с хронологическими границами веков. Деятнадцатый век в Европе по сути начался с Французской революции, двадцатый — с Первой мировой войны. Есть основания подозревать, что и мы уже живем в XXI столетии, если, конечно, за оставшийся год не произойдет нечто такое, что затмит эпохальную драму развала СССР. Это событие нарушило супердержавное равновесие «Запад—Восток», вызвало глобальные геополитические перестановки, послужило пусковым механизмом для губительных макротенденций, стремительно выходящих из-под контроля. К вечному призраку большой войны, который всегда преследовал человечество, периодически находя реальные воплощения, добавились многочисленные угрозы, вполне сопоставимые с этой неотступной проблемой, а порой и превосходящие ее по трудности упреждения. (Очевидно, именно это некогда имел в виду Рейган, заявивший, что бремя глобальной ответственности США ставит перед ними более серьезные задачи, чем сохранение мира. Советская пропаганда ухватилась за эту весьма опрометчивую фразу для «раскрутки» образа «президента-ястреба».)

Прямым следствием и ярчайшим символом общепланетарных процессов конца 1980—1990-х гг. явилась косовская, сербско-албанская трагедия. На крошечной территории, о существовании которой мало кто знал до недавних пор, выплеснулись наружу типичные для наших дней социально-инфекционные этнические и политические недуги со сложной исторической этиологией. В условиях двухполярной системы Югославия, используя свои преимущества буферной зоны между «демократией» и «тоталитаризмом», позволяла себе достаточную свободу в выборе тех или иных средств для эффективного подавления разрушительных вирусов сепаратизма. Запад, считавший Югославию не вполне капиталистической, и СССР, находивший ее не вполне социалистической, воздерживались от вмешательства не только потому, что опасались друг друга, но и из боязни потерять потенциальную сферу влияния — в результате резкого «поправения» этой страны при давлении слева или резкого «полевения» при нажиме справа.

С распадом СССР и Варшавского блока радикально изменилась военно-стратегическая конфигурация мира, а вместе с ней (если не раньше) — общая идеологическая и психологическая атмосфера. Обвальная дестабилизация постсоветского пространства повлекла за собой цепную реакцию глобального размаха. У

* Опубликовав беседу этнополитолога Константина Барановского с нашим корреспондентом («Когда голова полна химер», 1999, № 6), мы предложили присоединиться к обсуждению всех, кто всерьез размышляет над вопросами о том, почему именно в XX веке национализм и интернационализм стали, как никогда, важными факторами мирового развития; какой опыт решения межнациональных проблем накопил век уходящий и какое наследие он передает веку грядущему? Мы рады, что это предложение нашло отклики. В этом номере публикуем статьи наших уважаемых авторов: историка Владимира Дегоева и философа Виктора Малахова.

границ бывшего СССР и далеко за их пределами потенциальные очаги малых и больших войн уже стали реальной опасностью, которая в условиях распространения высоких технологий приобретает апокалиптические черты. Ослабев до критического уровня, преемница СССР — Россия — утратила роль сдерживающей силы в своей прежней, «восточной» зоне супердержавной ответственности.

Естественно, образовавшийся вакуум заполнили США и их западные союзники своим военным, экономическим, политическим и идеологическим присутствием. Конечно, американцы руководствуются прежде всего своими собственными «национальными интересами» — священным для них понятием, неизменно сопровождаемым или подменяемым щедрой риторикой о «правах человека» и «общечеловеческих ценностях». (Мы вовсе не хотим сказать, что эти категории для Америки — пустой звук. Но они никогда не были безусловным приоритетом ее внешней политики.) Такие же интересы имеются у каждой западноевропейской страны, как и у Европы в целом, и они далеко не во всем тождественны американским.

В стремлении США к глобальному лидерству есть, помимо совершенно явного гегемонистского подтекста, еще и мотив, обусловленный здравым смыслом, — предотвратить в своих старых и новых сферах влияния развитие хаотических, неуправляемых процессов. Охваченный эйфорией на первый взгляд блестящей победы в «холодной войне», Белый дом решил выжать из этого триумфа максимум возможного, в том числе — путем «добивания» поверженных. Началось спешное строительство нового миропорядка по американскому образцу. Непосредственными жертвами этой лихорадки стали сначала Ирак (дважды), затем Югославия и — наконец — Сербия. И если в первых двух случаях применение силы было легитимизировано соответствующими решениями ООН (пусть и небесспорными), то в Косово блок НАТО (то есть США) действовал так, будто международного права более не существует. Мы уже не говорим о полном пренебрежении к тому, что американские политики традиционно считают химерой, — мировому общественному мнению. Правда, они не могут позволить себе подобного отношения к общественному мнению своей страны — феномену весьма своеобразному и до поры до времени очень удобному для властей предрержащих. Дело в том, что американцы почти не интересуются иностранными делами, как правило, отдавая их на откуп правительству. (Спросите у «среднестатистического» гражданина США — что он знает о «не своей» истории, географии, литературе, искусстве. И если вам скажут, что Украина находится в Германии, а Кавказ в Сибири, то это еще не самые экзотичные ответы.) Обыватель начинает волноваться по поводу внешней политики только тогда, когда она касается его благополучия. Несколько гробов из Сомали или падение курса доллара — куда более серьезные аргументы, чем десятки и сотни тысяч неамериканцев, погибающих в войнах, природных и техногенных катастрофах, от голода и эпидемий.

Взрывоопасные последствия событий в Косово усугубляются тем трагическим и еще не до конца осознанным фактом, что это произошло в центре цивилизованной Европы. На отнюдь не уникальную внутривнутриполитическую ситуацию, возникшую в суверенной Сербии, США отреагировали с жесточайшей неадекватностью. Цели войны, объявленные Вашингтоном как главные, скорее всего — пропагандистское прикрытие для более широких планов, которые, возможно, так и не будут обнародованы. Многие аналитики сходятся на гипотезе (высказываемой, правда, как категоричное мнение) о том, что, разбомбив Сербию, США сделали обдуманый, решительный и рискованный ход в сложной шахматно-геополитической партии. Насколько верно такое предположение — покажет время. В принципе все может оказаться проще: то, что сегодня представляется хитроумной комбинацией, завтра, не исключено, придется признать элементарной глупостью. Впрочем, важнее другое. Фактическому упразднению подверглась самая крупная международная структура (ООН), которой в течение более чем полувека худо-бедно ли удавалось быть амортизирующим фактором при столкновении великодержавных интересов, играть арбитражную роль, вносить некий гуманистический дух в циничную сферу мировой политики. Отнюдь не преувеличивая значения ООН и не отрицая давно назревшую (или перезревшую) необходимость ее реформирования, все же следует отдать должное усилиям организации по предотвращению войн и ликвидации их последствий, стремлению придать системный, цивилизованный вид межгосудар-

ственным и межблоковым отношениям, заставить уважать правила игры там, где так велико искушение играть без правил. Если ООН нуждается в кардинальных преобразованиях, то лучше уж повременить, чем производить их не в рамках установленных процедур, а в одностороннем, явочном порядке, как это сделали США в Сербии. Подлинно глобальная угроза заключена не в самой косовской проблеме, а в избранном американцами методе ее решения и в тех масштабных политико-стратегических целях, ради которых, вероятно, они и начали войну. Даже при желании трудно поверить в официальную версию о «гуманитарной» сущности военной операции. Во-первых, настоящая «гуманитарная катастрофа» началась с ракетно-бомбовых ударов по Сербии (и в Вашингтоне не могли не предвидеть этого). Во-вторых, мотивы гуманизма звучат очень странно, когда дотла разоряется страна с многомиллионным мирным населением (сербским и албанским), а выигрывают от этого вооруженные сепаратистские кланы, промышляющие наркобизнесом. В-третьих, в мире насчитываются десятки куда более серьезных по сравнению с Косово очагов сепаратизма, которые подавляются беспощадно, с огромным количеством жертв при почти всеобщем молчаливом признании того факта, что речь идет о внутреннем деле суверенных государств. В Белом доме не называют их ни геноцидом, ни этническими чистками, ни гуманитарной катастрофой, предпочитая держаться в стороне. Разумеется — до тех пор, пока проблема не коснется национальных интересов США или не будет декларирована в качестве таковой. Судя по всему, Сербия удостоилась такой «чести» со всеми вытекающими отсюда «прелестями».

Еще раз повторим: вопрос, в чем конкретно состоят интересы Вашингтона в Сербии, остается открытым, несмотря на обилие ответов на него. Не вступая в дискуссию, позволим себе предположить, что даже свержение Милошевича — при всей желательности подобного исхода для Запада — не стоит тех колоссальных средств, которые были задействованы в войне. США и Европа достаточно богаты и опыты, чтобы найти другие, менее затратные и более приличные пути избавления от него. Значит, американские интересы на Балканах, по логике, должны простирается гораздо дальше растиражированных «идеалов гуманизма».

Так или иначе, на сегодняшний день очевиден по крайней мере один итог, прискорбный именно своим глобальным смыслом и угрожающими перспективами. С точки зрения институциональной функции ООН практически узурпировал военно-политический альянс НАТО, а с точки зрения доктринальной международный закон демонстративно потеснен идеей целесообразности. Специалисты с понятным беспокойством говорят о возникновении «беспрецедентной ситуации» и «новой философии» в мировой политике. Беда, однако, как раз в том, что ничего нового тут нет. И в этом же — надежда.

* * *

Испокон веков правители, понимая абсурдность «войны всех против всех», которая в конечном счете не выгодна никому, думали над тем, как привести хаос отношений между собой и между своими народами к некоему подобию системы, где действовали бы определенные каноны и ограничения. Не ради возвышенных идеалов, а ради самосохранения и элементарных удобств для «людей играющих» (в данном случае — в политику). Что до идеалов, то они волновали скорее философов, размышляющих над извечной проблемой гуманизации такой своенравной материи, как международные отношения. При этом искреннее, страстное желание облагодетельствовать человечество намного опережало готовность этого самого человечества выйти из варварского состояния. В ранних европейских попытках по разработке международных законов преобладал дух «естественного отбора». И хотя общей тенденцией все же являлось облагораживание отношений между государствами, она развивалась далеко не прямолинейно, с жуткими возвратами к звериной эпохе, со срывами в пучину первобытности. Из выдающихся трактатов и различных теорий государи предпочитали брать то, что было пригодно для практического использования, отвечало их конкретным интересам, вкусам, реалиям времени и места. Вместо идеи «вечного мира» — легитимизация военной добычи и ее

дележа; вместо «прав народов» — «права монархов»; вместо заботы о подданных — «государственный интерес» (*raison d'État*); вместо всеобщего или частичного разоружения — безудержная гонка вооружений во имя «национальной безопасности».

Однако «цивилизованное» устройство европейского миропорядка шло не только за счет сознательных усилий, но и благодаря полустихийному явлению, именуемому «равновесием сил». Слабые инстинктивно объединялись против сильных, сильные — против сильнейших, сильнейшие — друг против друга. Поддержание равновесия стало для некоторых государств устойчивой внешнеполитической традицией, отвечавшей их военно-стратегическим и экономическим интересам. Трудно сказать, сколько войн в истории так и не состоялось благодаря применению принципа баланса (да и праздно это занятие — рассуждать о несвершившемся), но есть подтверждение тому факту, что данный принцип служил более или менее действенным средством против гегемонии одной страны и ее произвола по отношению к остальным. Он же способствовал дальнейшему развитию дипломатических технологий разрешения или предупреждения конфликтов, совершенствованию международного права. Тут, разумеется, не должно быть иллюзий: в первую очередь именно наличие у государств военной силы заставляло их искать несильные методы проведения внешней политики. И поиски в этом направлении всегда шли (и идут до сих пор) крайне сложно. Так называемая гармонизация противоборствующих интересов — цель, сколь соблазнительная, столь и трудно реализуемая. Слишком часто в истории острые противоречия устранялись только войной, да и то — лишь на время, до следующего этапа накопления горючего материала. Впрочем, кое-что меняется даже в области узаконенного убийства. Все большее распространение получают «цивилизованные» правила войны, некий аналог кодекса чести дуэлянтов. И хотя война, как бы «гуманно» она ни велась, всегда остается войной и несет людям огромное горе, признаки желания подняться над варварством присутствуют и в этом варварском занятии.

На фоне медленного, но все же поступательного процесса проникновения морали в международные законы и международную практику реальный приоритет сохраняется за материальными факторами (военно-экономическая мощь, территория, население и т.д.). И — за принципом «цель оправдывает средства». Об этом еще раз напомнили недавние события на Балканах, для которых можно подыскать ряд исторических аналогов.

* * *

Установление параллелей между настоящим и прошлым — дело очень тонкое и рискованное. Но иной раз небесполезное. Есть близкие схождения, не дающие покоя историкам. Ни игнорировать их, ни превращать в предмет поклонения не стоит. Их стоит изучать. Спокойно и взыскательно. Делать из истории непрерывающую наставницу — такая же неразумная крайность, как и отвергать ее опыт.

Позволю себе короткое лирическое отступление. Надеюсь, уместное. В пятилетнем возрасте мой сын как-то задал мне, казалось бы, предельно ясный вопрос: «Папа, куда ушло вчера?» Признаться, я до сих пор не знаю ответа. Фундаментальные проблемы мироздания, которые взрослые исследуют разумом, дети угадывают каким-то экзистенциальным чутьем, подобно необразованному художнику, гениально схватывающему многомерную суть бытия благодаря своей необразованности. Вероятно, проще всего сказать: «вчера» ушло в «сегодня», а «сегодня» уйдет в «завтра». Но в этом ли состоит тайна времени и смысл истории? Вопрос непреходящий. А для тех, кто намерен решать его с математической точностью, — похоже, еще и безнадежный. Тем он и достоин внимания.

Так или иначе, некоторые вещи очевидны: настоящее, органично вырастая из прошлого, вместе с тем вовсе не тождественно этому самому прошлому. Выяснение соотношения между тем, что является (или кажется) преимущественностью и что — отрицанием, между старым и новым — задача не из легких, ибо по своей гносеологической природе и по своей вечной злободневности она слишком соблазнительна для глубоко субъективных подходов. Ситуация осложняется и

другим обстоятельством. Политики и общество, особенно в переломные эпохи, требуют от истории практической пользы, а от историков — конкретных советов. Но поскольку «у науки сборы долги», а жизнь, ее допрашивающая, нетерпелива, то возникает целая каста «аналитиков» (и в России и за рубежом), специализирующихся на удовлетворении повышенного социального спроса на срочные ответы. Имея весьма приблизительные представления о технологии исторического (в том числе сравнительно-исторического) исследования, но безошибочно чувствуя конъюнктуру, они готовы выполнять любые заказы и ублажать самые экстравагантные политические вкусы. Благо в прошлом, при сильном желании и достаточном воображении, можно отыскать все, что угодно, чтобы отождествить это с настоящим и спроецировать на будущее. Так историю превращают в стройматериал для воздушных замков, самоубийственных проектов или райской обители на ограниченное число мест.

Ничуть не лучше и прямо противоположный тип восприятия исторических фактов — полное пренебрежение ими по незнанию или умыслу. Подобной болезнью обычно страдают помешанные на идеях разрушения и социальной вивисекции революционные реформаторы, неважно — большевистского или демократического толка. Их ненависть к «проклятому» прошлому есть не что иное, как зеркальное отражение азартной мечты о «нашем, новом мире», возведенном на развалинах старого. Единая, фанатическая сущность этого нигилизма нисколько не меняется оттого, что у одних он долгое время носил идеалистический окрас, у других — нарочито стяжательский.

Велик соблазн логически предположить, что истина находится где-то между, условно говоря, «про-исторической» и «анти-исторической» трактовками проблемы «прошлое-настоящее». Однако ее там нет, во всяком случае — в том чистом виде, в каком хотелось бы ее обнаружить. Как нет ее вообще в такой «метафизической» сфере, как гуманитарное знание. Повод ли это для пессимизма или упразднения темы, связанной с историческими аналогиями? Конечно нет. Это скорее напоминание о необходимости осторожного и ответственного обращения с тонкими материями. (Чувство почтения к прошлому как предпосылка к пониманию его приходит к человеку и поколению с возрастом, по мере естественного убывания любви к будущему, «бесконечность» которого для каждого из нас, живущих, неумолимо сжимается, как шагренева кожа.)

* * *

Поскольку в истории нет буквальных повторений, любые аналогии условны и субъективны. Принимая данный посыл за непреложное правило, обратимся к классическому сюжету из анналов международной политики — Венским соглашениям 1815 года, подытоживавшим победоносные результаты длительной борьбы против французской гегемонии в Европе. Был установлен новый порядок, основанный, как считается, на принципе «равновесия сил». Структура и эффективность этого равновесия, вопрос о выигравших и проигравших, тема преемственности Венской системы в контексте предшествующих и последующих международно-правовых и международно-силовых систем не перестают быть предметом острых споров. Не вдаваясь в слишком профессиональные подробности, остановимся на феномене, который стал одной из несущих конструкций в архитектуре постнаполеоновской Европы. Речь — о «Священном союзе», объединении трех монархов и монархий (Россия, Австрия, Пруссия). В историографии сложился не изжитый доселе обычай оценивать его как одиозное явление. Одних не устраивала в нем «реакционная» идеологическая сущность, проявившаяся в активной антиреволюционной деятельности. Других — туманная евангелическая риторика, подменявшая четкие международно-юридические формулировки и поэтому вызывавшая сомнения в легитимности альянса. Третьих — таившаяся в нем угроза европейскому балансу сил. Четвертых — его якобы антитурецкая и антимусульманская направленность. Для подобных опасений были более или менее обоснованные причины объективного и субъективного свойства.

Однако «Священный союз» едва ли заслуживает тех однозначных толкований, которые получили воплощение в популярной метафоре Ф. Энгельса — «союз

государей против народов». Не случайно Гёте усматривал в «Священном союзе» гениальный замысел. Другое дело — во что он вылился.

К концу XVIII века в Европе существовала весьма развитая система государств и система взаимоотношений между ними, регулируемая весьма развитыми международными нормами. Но это нисколько не помешало Наполеону завоевать континент и дойти до Москвы. Национальные интересы Франции, преподносимые как великая миссия избавления человечества от рабства с помощью идей свободы и демократии, оказались выше международных законов и суверенных прав государей.

Опираясь именно на эти законы и права, представители держав-победительниц, собравшиеся в 1815 году на Венском конгрессе, стремились создать порядок, пригодный для того, чтобы уберечь Европу от войн и потрясений, источник которых виделся в революционной Франции. Решить данную задачу они хотели путем дележа наполеоновского наследства и щедрого вознаграждения себя новыми территориями, подданными, реституциями и т.д. Тут их аппетиты явно выходили за рамки пищеварительных способностей: ведь такое грандиозное пиршество случается не часто. Хищнические инстинкты правителей и их всегда преувеличенные подозрения по поводу внешних опасностей пришли в прямое противоречие с теми самыми правовыми принципами, на реставрации которых они настаивали. Так, торжественно провозглашенная идея легитимизма (восстановления в законных правах свергнутых Наполеоном монархов и князей) была очевидной помехой для Австрии, Пруссии и России, намеревавшихся, по разным причинам, прибрать к рукам земли, им не принадлежавшие. Эта же самая идея не давала никакого основания для обирания и третирования Франции после возвращения на ее престол династии Бурбонов в лице короля Людовика XVIII. Но опять-таки собственные политические и стратегические выгоды, осознаваемые каждой крупной державой в категориях, всегда превышающих меру необходимости, оттеснили на второй план юридические и, тем более, нравственные соображения. Победители едва не сцепились из-за раздела добычи, но в конце концов был достигнут компромисс, послуживший предпосылкой для нового устройства Европы. Страх тетрархии (России, Австрии, Пруссии, Англии) перед возможностью рецидива французской гегемонии и угрозой распространения революции, соединенный с чувством удовлетворения по поводу территориальных приращений и желанием их сохранить, перевесил на какое-то время взаимные разногласия. Кроме того, европейцы устали от стольких лет бедствий и нуждались в покое. Продолжение большой войны на континенте не входило и в планы правителей. Проблема заключалась в том, как обеспечить если не «вечный» мир Иммануила Канта, то хотя бы «долгий» мир.

Как, на первый взгляд, ни странно, эта цель стала неким наваждением не для какого-то там германского князька, дрожащего за целостность своего крохотного владения, а для русского царя Александра I — властителя самой могущественной державы Евразии и едва ли не самой загадочной фигуры на российском троне. Конечно, подобное настроение не было лишено прагматической подоплеки: после 1815 года материально и морально удовлетворенная Россия не возражала против сохранения статус-кво. Но это лишь частично объясняет ту страстность, с которой Александр I взялся за осуществление своей, можно сказать, мечты. У австрийского и прусского императоров имелось не меньше, если не больше причин заботиться о мире в Европе. Однако их усилия в этом направлении никогда не ограничились неистовостью и иррационализмом.

Под влиянием очень причудливого сочетания идей Просвещения, религии, мистицизма со сложными чертами личности, обусловленными наследственностью, а также трагическими и счастливыми жизненными обстоятельностью, Александр I выработал собственное мировоззрение. Оно было противоречивым до такой степени, когда это свойство превращается в парадоксальную цельность, частью которой являлась упорно и последовательно отстаиваемая императором доктрина мирного сосуществования в Европе¹.

¹ Подробно см. статью В. Дегоева «Из архива великих иллюзий. Император Александр I и идея европейской безопасности» // Независимая газета, 1998, 15 мая.

Победа над Наполеоном, сняв одну, пусть и самую крупную проблему, поставила европейские кабинеты перед лицом множества других — старых и новых, каждая из которых могла привести к войне. Венский конгресс, фактически законсервировав их, лишь отсрочил неминуемое обострение на неопределенное время. Помимо восточного вопроса (касавшегося судьбы османских владений, в том числе и на Балканах), существовал целый ряд взрывоопасных «западных» вопросов (германский, итальянский, бельгийский, испанский, польский, не считая французского, сохранявшего свою актуальность, хотя и в ином виде), связанных с продолжением или завершением процесса образования суверенных национальных государств, с одной стороны, и борьбой между феодальным абсолютизмом и буржуазным конституционализмом — с другой. Понимая всю непредсказуемость последствий назревавших перемен с точки зрения европейской стабильности, Александр I был полон надежды и решимости направить их в эволюционное, управляемое русло. Внутренне не чуждый прогрессивных взглядов, он, вероятно, рассуждал так: если будущее за представительными учреждениями, то уж лучше монарху самому поделиться властью и дать конституцию «сверху», чем ждать, когда народ добудет ее «снизу». Возможно, поэтому он даровал довольно демократичное управление Польше и поощрял либерализм в Западной Европе. Стараясь избегать монаршего произвола сам и советуя воздерживаться от него своим августейшим собратьям в европейских дворах, Александр I вместе с тем не терпел насилия со стороны масс.

Русского императора тревожило и то, что все это нагромождение проблем усугублялось запутанной и подвижной конфигурацией внутри- и внеевропейских международных антагонизмов по традиционному поводу — кто получит преимущества в той или иной части континента, в Северной Африке, на Ближнем Востоке или в Южной Америке; что противопоставить наиболее сильным державам Европы (после 1815 года это — Россия и Англия) и чем им, в свою очередь, сдерживать друг друга. Александр I хотел построить новую, более прочную систему, основанную не только и не столько на равновесии сил, сколько на равновесии интересов, принципах взаимопонимания и сотрудничества с целью предотвращения войн, смут, конфликтов. Думая о создании технического инструмента для такой политики, он, конечно, не мог полностью освободиться от стереотипов мышления, свойственных абсолютным монархам: течение истории зависит от государей; благие дела — тоже. Стало быть, фундаментальную предпосылку европейской безопасности должны составлять личные обязательства, скрепленные моральными категориями, в том числе такими, как «слово короля». Не то чтобы Александр I не верил в эффективность международного права. Просто он считал, что над этим формальным институтом следует поставить неофициальные договоренности между правителями, подлежащие честному исполнению во имя всеобщего блага.

Обуреваемый великой иллюзией, Александр I предложил своим «коллегам» по победе над Наполеоном (Австрии, Пруссии, Англии; в перспективе имелось в виду и участие Франции) беспрецедентное в истории дипломатии соглашение. Смысл его был в том, чтобы объединить глав европейских стран одним приоритетом — сохранением мира — и «высокими истинами» христианской религии и морали. Предполагалось ввести в практику периодические встречи на уровне первых государственных лиц для решения наиболее серьезных дел и согласования совместных действий. Александр I выступал за «братскую» взаимопомощь государей в вопросах предотвращения войн и революций — для «счастья колеблемых долгое время царств» и «блага судеб человеческих».

Столь необычная инициатива вызвала противоречивую реакцию. Англия вежливо отклонила предложение, расценив его как попытку установления русской гегемонии в Европе. Кроме того, лондонский кабинет был явно смущен самим текстом проекта соглашения, слишком расплывчатым и поэтичным для дипломатического документа. Однако то, что не устроило Англию, весьма заинтересовало Австрию и Пруссию, увидевших именно в многозначительности этого текста возможность использовать фантазии Александра I в собственных целях, в то же время избегая обременительных обязательств. У австрийского и прусского императоров не хватало сил для борьбы с революцией и поддержания статус-кво в срединной Европе. Рассчитывая в этом плане на Россию с ее колоссальной

военной мощью и политическим влиянием, они, хотя и не без колебаний, приняли предложение Александра I. Так возник «Священный союз» — функциональное ядро Венской системы — со сложными внутренними связями и не более простыми внешними отношениями, прежде всего с Англией и Францией.

Казалось бы, Александр I замыслил благое и великое дело — сделать христианские истины «правды, любви, добра» главным законом международной жизни, пронизывающим своим гуманистическим духом всю ее правовую структуру. Но чем настойчивее осуществлялась эта идея, тем явственнее обнажалась ее утопичность. Личная уния трех императоров, по-разному представлявших себе идеальное устройство Европы, оказалась плохим подспорьем для грандиозного и честолюбивого плана Александра I. Австрии и Пруссии, перед которыми стояли суровые вопросы выживания, было не до гуманитарных экспериментов. Романтическую причуду русского царя они наполнили сугубо прагматическим содержанием, отбросив евангелическую поэтику и выделив импониовавшую им концепцию «братской» взаимопомощи монархов в обеспечении европейского спокойствия. Иными словами, речь шла о монархической солидарности в борьбе против революции и за сохранение территориального статус-кво. Учитывая относительную неактуальность этих проблем для тогдашней России, было ясно — кому достанутся выгоды «Священного союза», а кому — материальные и моральные издержки. Если Александр I стремился превратить Россию (и себя, конечно) в оплот европейского единства, духовности, порядка или в нечто вроде вселенской «диктатуры мысли и сердца», то Австрия и Пруссия — в инструмент целенаправленного практического применения в собственных интересах, подразумевавших, кроме всего прочего, сдерживание Петербурга. Разумеется, и одна (идеальная) и другая (рациональная) цели утратили бы всякое значение, не будь у России огромного силового потенциала, а у ее императора — непрерываемого личного авторитета на международной арене.

Весьма распорстранено мнение, будто холодный гений австрийского канцлера Меттерниха похоронил великую идею Александра I, низведя ее до утилитарного уровня. Это не совсем так. Уязвимость идеи состояла именно в ее величии. Уже в самом тексте Акта о Священном союзе были скрыты (точнее — открыты) возможности для широкого истолкования таких понятий, как «благоденствие» Европы или «охранительные заповеди... мира, согласия и любви». Естественно, каждый правитель читал их в соответствии со своими взглядами и интересами. Что касается призыва к «братской» взаимопомощи, то он был интерпретирован предельно конкретно — как обязательство Александра I предоставить русскую армию в распоряжение Берлина и, особенно, Вены тогда, когда им понадобится решать задачи сохранения своего господства на новоприобретенных территориях и подавления революционных движений. (При этом Австрия негласно оставляла за собой право проводить антирусский курс в восточном вопросе, в том числе — партнерству с Лондоном.) Красивые фразы о «христианском братстве» трех монархов на деле стали синонимом принципа вмешательства, которому было отдано предпочтение перед принципом государственного суверенитета, то есть перед нормой международного права. Тот факт, что субъективно это делалось из благих побуждений, ничего не меняет по существу. Цель, понятая как политическая и «нравственная» необходимость, оказывалась важнее средств ее достижения и сильнее юридических помех на ее пути.

Однако подобная трансформация идеального в рациональное — типичное явление для истории. И вины Меттерниха тут не больше, чем Александра I, которому объективная ситуация не позволила остаться в лоне его утопической мечты. Заметное «полевение» Европы, вылившееся в революционный подъем, заставило царя отказаться от либерально-монархических иллюзий и перейти к традиционной политике силы. Изначальная концепция «Священного союза» выродилась в прагматический альянс для удовлетворения «эгоистических» нужд его участников. В нем было столько же «священности», сколько в каждом «нормальном» военно-политическом объединении государств. Реальный ход вещей вынуждал Александра I все чаще думать о национальных интересах России. Если на Западе он сознательно шел на подавление революций как бы из «альтруистических» соображений, то резко обострившийся в начале 1820-х гг. восточный вопрос

касался его империи уже самым непосредственным образом. Здесь выбор с точки зрения «сохранения лица» был невелик: либо вооруженное столкновение с Турцией на фоне вероятных осложнений с Австрией и Англией, либо унижение, непозволительное для любой державы, а для Российской империи — уж и подавно. Трудно сказать, чего Александру I не хотелось больше. Но судьба избавила его от мучительной дилеммы между войной, к которой он никогда не чувствовал в себе таланта, и миром, сберечь который ему не давали ни люди, ни обстоятельства. Александр I ушел из жизни как нельзя вовремя, чтобы остаться в истории в образе императора-сфинкса — миротворца, идеалиста, романтика. Раздвоение между иллюзией и реальностью, между целью и средствами, между совестью и необходимостью было лейтмотивом его личной судьбы, его человеческой драмы.

В качестве автора идеи европейской безопасности, основанной не просто на международно-правовых соглашениях, а на беспрецедентных принципах религии и морали, Александр I опередил свой век. Вероятно, именно из-за преждевременности этот выдающийся замысел неминуемо должен был превратиться в заурядную практику искоренения революционной смуты в Европе, сопровождавшейся установлением полицейско-дипломатической диктатуры Николая I, заключением военных союзов и контрсоюзов для обеспечения конкретных интересов и регулирования «равновесия сил». Мечта Александра I, даже побежденная жизнью, продолжала будоражить воображение последующих политиков приблизительно так же, как «вечный двигатель» не оставляет равнодушными физиков. И так же как «вечный двигатель», она и сегодня, похоже, ненамного реалистичнее, чем в ту далекую эпоху.

* * *

Спустя почти два столетия вновь возводится новый европейский порядок (уже как часть мирового) с новым «Священным союзом» (НАТО), руководимым новым лидером (США). Не исключено, что и Вашингтон, как в свое время Петербург, имеет в виду создание системы коллективной безопасности, отводя себе ведущую роль в этом проекте. Если так, то делается это сообразно американским представлениям о безопасности, нужно сказать, — не очень оригинальным. Она мыслится в форме военно-политического, экономического и культурно-идеологического диктата США с широким функциональным предназначением, включая: сдерживание России путем ослабления до «разумной достаточности» при одновременном рыночно-демократическом реформировании; подчинение европейских стран через международные дипломатические и транснационально-корпоративные институты; распространение сферы западного (преимущественно американского) влияния на весь евразийский континент; осуществление полицейского надзора за ходом развития демократии в новообращенных государствах — надзора, предусматривающего применение различного рода санкций и военного принуждения; поддержание региональных силовых соотношений, отвечающих интересам США, при сохранении американского глобального лидерства. Иначе говоря, нет ничего нового и неожиданного в том, что в условиях глубокого кризиса прежнего мироустройства и угрозы хаоса диктатура одной державы рассматривается как способ достижения относительной стабильности. При этом стабильность нужна не сама по себе, а как условие для реализации собственных планов «диктатора». (Если для этого понадобится дестабилизация, то тогда именно она станет в порядок дня.)

При очевидности гегемонистского курса США внешне он не всегда груб и прямолинеен. Диапазон методов воздействия на противников, соперников и партнеров достаточно широк — от мягких внушений и нежных обхаживаний до боксерских нокадаунов, смотря по ситуации. Чем материальнее цель, тем важнее идеалистический камуфляж. Понимания этого не лишены даже сверхпрактичные американцы. Впрочем, зачастую речь идет не о камуфляже в чистом виде, а об идеологической, так сказать, «духовной» составляющей, свойственной любой, самой эгоистичной и агрессивной внешней политике. Более того, не следует отказывать государственным лидерам в нормальной человеческой способности (или слабости) испытывать возвышенные чувства, гуманные побуждения или романтические

иллюзии. И в желании воплотить их в жизнь. Вопрос в том — чем это заканчивается. Александр I искренне хотел мира и единения Европы. А вышло так, что его благими помыслами (наряду, конечно, с другими «строительными материалами») в конечном итоге была вымощена дорога к ее расколу в конце XIX века, увенчавшемуся трагедией Первой мировой войны. Вряд ли есть причины сомневаться и в искренности руководителей Советского Союза, веривших, будто они создают коммунистический рай для всего человечества. Именем этой великой библейской идеи творились преступления внутри страны и произвол — за ее пределами. Результат известен.

Всегда тяготела к идеологизации и внешняя политика Соединенных Штатов, также страдавшая мессианским комплексом. Они несли миру свое «Евангелие» — свобода, демократия, права человека, частный интерес (и т.д.), — которое принципиально мало чем отличалось от доктрины вселенской коммунистической революции и по содержанию и по методам осуществления. Правда, в противоположность «интернационалистской» России, готовой жертвовать своим счастьем, чтобы осчастливить «крестьян Гренады», «эгоистическая» Америка не скрывает, что экспорт «общечеловеческих ценностей» — не самоцель, а скорее вспомогательный способ утверждения мирового господства, некая деловая операция ради «процветания американского народа». Уж на этот-то священный алтарь можно принести все — международное право, мораль, политические и духовные традиции других стран, интересы союзников, региональную безопасность, даже те же самые «универсальные общечеловеческие ценности» ... за границами США, разумеется. Все, что угодно, кроме комфорта и благополучия «тихого американца».

Выживать — задача не для Америки. Ее призвание — процветать. За счет кого — вопрос праздный: конечно, за счет не-Америки. Такая установка давно уже обрела в вашингтонских коридорах власти слишком непререкаемый статус, чтобы проявлять особую щепетильность по поводу того, как реализовать ее. Поэтому мало кого смущает демонстративная политика двойных и тройных стандартов. Одна логика для внутриамериканского применения, другая — для остального мира, который также различается по категориям, требующим соответствующего отношения: «свои», «не совсем свои» и «совсем не свои». Примеров тому — не счесть. Взять хотя бы пресловутую проблему сепаратизма. Попробуйте поставить ее в США так, как она стоит в иных государствах. И вы тут же столкнетесь с репрессивной «демократической» машиной державного самосохранения, работающей не хуже любого тоталитарного механизма. Белый дом с готовностью закрывает глаза на случаи жесткого подавления сепаратистских движений в странах, слывущих верными американскими союзниками. С союзниками не очень верными этот вопрос становится предметом торговли и рычагом политического давления. Хотите получить от США карт-бланш на защиту своего «суверенитета и целостности» — извольте подчиняться, иначе ваши внутренние оппоненты получат карт-бланш на борьбу за «национальное самоопределение». Тот же торговый принцип *qui pro quo* действует, хотя и в более деликатном виде, в отношениях с партнерами-соперниками. В частности, с Россией, еще достаточно сильной, чтобы сбрасывать ее со счетов. Вашингтон «выразил понимание» в связи с военными операциями против чеченских сепаратистов, тем самым признав это внутренним делом России. Кремлю как бы «простили» Чечню. Но за такую снисходительность взяли дорого. Молчаливо предполагалось, что российское руководство тоже ответит учтивым невмешательством там и тогда, где и когда американцы будут наводить свой порядок. Так произошло в Сербии, где США открыто встали на сторону албанских сепаратистов. Не потому, что Милошевич позволил себе больше, чем многие на его месте. А потому, что строптивая Сербия стала серьезным препятствием для американских гегемонистских проектов.

Двойные стандарты Белый дом распространяет и на другие глобальные вопросы — доступ к ядерному оружию, территориальные споры, локальные конфликты, финансовая и гуманитарная помощь и т. п. Теоретически Америка выступает за торжество демократических идеалов во «всемирно-историческом масштабе». На практике же она далека и от намерения и от возможности сделать их абсолютным символом веры в своих внешнеполитических приоритетах. Такая роскошь не позволительна ни одной державе. Усложняющаяся геополитическая

картина мира, обостряющееся соперничество за главенство в нем, реальные перспективы столкновения не только «цивилизаций», но и военных блоков, общие для всего человечества смертоносные угрозы (техногенные и природные катастрофы, терроризм, истощение ресурсов, массовые психозы и т.д.) — все это вынуждает Америку (как и соперников) ставить во главу угла собственную выгоду и безопасность. Они и есть ее фундаментальные ценности на международной арене, вознесенные над всем остальным — правами человека, народов, государств. Как и в «добрые старые времена», главным критерием значимости и влияния страны и главным двигателем ее внешней политики, которым не обязательно пользоваться, но который обязательно иметь, остается сила. Глядя на происходящее вокруг, убеждаешься в том, что данная реальность не нуждается ни в доказательствах, ни даже в констатации. Будет ли и в XXI веке закон силы выше силы закона — покуда неясно. Бравурные заявления Клинтона о готовности американской армии вразумить любого нарушителя спокойствия в любой точке планеты еще мало о чем говорят. Разве что об излишней горячности президента и о его узко-тактическом типе мышления. Не исключено, сфера цивилизованного межгосударственного общения и эффективного действия международного права станет расширяться. Если это случится, то не потому, что человечество вдруг возьмет и подорожает, а потому, что у силы есть свои пределы применения, выходить за которые самоубийственно опасно. Быть может, эти ограничительные рамки будут сужаться и стихийно, и сознательно. Ведь на каждую дубину (пусть и «полицейскую») рано или поздно найдется другая или другие дубины. Использование их в борьбе за исключительное право наводить на земле порядок, в разных пониманиях этого слова, чревато мировым беспорядком и катастрофой. Культивирование такой «простой» истины в коллективном сознании (или подсознании) мирового сообщества — один из путей спасения. Сохраняется надежда и на знаменитый американский прагматизм, способствующий уяснению того факта, что глобальная полицейская диктатура представляет собой неподъемное бремя даже для США; что чрезмерное злоупотребление силой грозит всеобщей войной, в которой некому терять больше, чем сверхблагополучным американцам, и некому терять меньше, чем бедствующим и униженным россиянам.

Среди обнадеживающих факторов есть, помимо субъективных, еще и некие объективные закономерности. История показывает, что любая однополюсная международная система неизбежно тяготеет к восстановлению равновесия в том или ином виде. Правда, обычно оно сначала достигается оружием, а затем юридически оформляется дипломатами. В современных условиях этот вариант гибелен. Но кто сказал, что он — единственно возможный? Напротив, логично предположить: если нарушение баланса сил на рубеже 80—90-х гг. XX века произошло мирным путем, то почему его реставрация непременно должна сопровождаться войной? По крайней мере, инстинкт жизни — если человечество обладает таковым — будет работать против апокалиптического сценария.

Впрочем, только время ответит на вопрос о вероятности рукотворного «конца света». И, даст Бог, посрамит пессимистов. В противном случае в посрамлении оптимистов уже не будет никакого смысла.

Виктор Малахов

Нации не выбирают...



Можеш вибирати друзів і дружину, / Вибрати не можна тільки Батьківщину.
Можна вибрати друга і по духу брата, / Та не можна рідну матір вибирати.

Василь Симоненко. Лебеді материнства

Бывают темы, разбираться с которыми все равно что камни таскать — тяжело. Еще тяжелей, если при этом в собственной своей позиции уверенности не ощущаешь, и вот тут я, в надежде обрести более или менее надежную опору, без которой к нашему предмету не подойти, сразу хочу определиться в следующих двух пунктах.

Пункт первый: для кого мы, собственно, пишем? Одно дело, если писание ваше имеет хоть в какой-то мере политическую направленность, т.е. обращено к некоей предполагаемой власти. В таком случае, говоря о наличном положении вещей, уместно советовать, что нужно сделать, дабы одолеть имеющиеся трудности, поддержать ростки нового, — как, скажем, воспитывать молодежь, формировать национальное сознание и т.п. Отрицать значимость такой позиции автора-советчика было бы странно; я бы только хотел четко отличить от этой позиции иную, которую разделяю и сам: позицию собеседника в неполитическом разговоре, без упований на то, что вот придет какая-то разумная сила и все расставит по местам, и вообще все можно сделать так, как «нужно». Не питая подобных надежд, я могу говорить лишь о том, что в сложившейся ситуации принимаю, с чем не могу согласиться и, главное, почему, — и предлагать свои размышления на суд ожидаемого читателя. Вот и все.

Пункт второй: степень монологичности. Какой бы убедительной ни была ваша мысль, никогда не лишне спросить себя: а хотели бы вы, чтобы она, и только она одна, оказалась истинной? хотели бы вы, чтобы все было по-вашему? чтобы ваша точка зрения восторжествовала, а противоположные — были ниспровергнуты раз и навсегда?

Вопрос, думается, не пустой, и ответы на него могут быть разные. С одной стороны — как можно, казалось бы, не хотеть победы именно вашей идеи, иначе зачем ее и высказывать? С другой — не ретроградство ли желать посрамления иных точек зрения, выставлять собственное убеждение в качестве единственного мерила истины? С третьей, опять-таки — если идея ваша состоит, например, в том, чтобы людей не пытали, чтобы никто не терпел унижений из-за своей конфессиональной или национальной принадлежности, — не предательством ли по отношению к ним, людям, было бы допустить хотя бы возможность иного, альтернативного взгляда?

Итак, нижеследующее представляет собой попытку неполитической речи, вместе с тем вполне монологичной в том смысле, что есть вещи, с которыми автор этих строк примириться действительно не в состоянии — иначе бы он за перо и не брался. (Мне действительно не хотелось бы дожить до дня, когда все мы вдруг поймем, что состоит наше общество не из людей, а из лиц такой-то национальности; и что если сын за отца не отвечает, то за грехи своей нации отвечают оба.)

Вопрос, которому посвящены дальнейшие рассуждения, состоит в следующем: насколько глубоко укоренены тот страх и то чувство приниженности, которые на исходе XX в. столь часто ассоциируются в массовом сознании со словом «нация», в самом существе этого понятия? И хорошо это или плохо, что такая ассоциация существует? Стоит ли нам изживать в себе этот страх — или, быть может, прислушаться повнимательнее к его сбивчивому шепоту?

Во избежание досужих предположений, скажу сразу, что у самого меня, автора, родня по отцовской линии еврейская, по материнской — из донских казаков и белорусских крестьян, сам же я родной для себя ощущаю русскую культуру, приверженность ей — для меня не звук пустой. Живя на Украине, в Киеве, я с детства люблю украинский язык. Ныне преподаю в Национальном университете «Киево-Могилянская Академия» и рад общению с новыми поколениями украинской интеллигенции. (Кстати, толковой молодежи сейчас много; в этом, быть может, единственная наша надежда.) С личными проблемами на национальной почве почти не сталкивался, исключая поступление в киевский вуз, где в 1966 году ближайших родственников абитуриентов «высвечивали» не хуже, чем в пресловутом ведомстве Мюллера. Однако, повторяю, я не об этом. Я о горьком привкусе, доселе сопровождающем замечательное во многих отношениях понятие «нация». Закономерен ли он? Преодолим ли?

Выше было упомянуто о страхе. Понятен страх мирного обывателя, которого осатаневший полевой командир выгоняет из родного дома — во имя высших национальных интересов, разумеется. Понятен страх несчастного еврея, под пристальным взглядом встречного эсэсовца осознающего свою расовую неполноценность; «оккупанта», ждущего очередного подвоха от властей страны пребывания; горожанина, боящегося в недобрую ночь быть погребенным под стенами взорванного жилища... Есть ли у этих разновидностей страха какой-либо «общий знаменатель» и приложим ли он, этот знаменатель, к, скажем, какой-нибудь обычной демонстрации «национально сознательных» русских, украинцев, турок, татар, латышей?

Когда, услышав жесткое националистическое заявление, мы безотчетно съеживаемся, предполагая за ним нечто большее, чем оно явно содержит, нечто отдающее насилием, террором, а то и погромами, и Большой резней, — говорит ли в нас слепая инерция негативного исторического опыта, от которой желательно поскорее избавиться, дабы воздать должное чистому, высокогуманному современному национализму, — или все же есть в этом своя сущностная правда, некое предвосхищение логики развития самой сути дела?

Вдумчивый доктор философии Серенус Цейтблом, биограф Адриана Леверкюна, некогда с горечью замечал, что «обратиться к массе, как к "народу", часто значит толкнуть ее на злое дело», что во имя Народа люди творят такие вещи, какие никогда не позволили бы себе совершить во имя Бога, Человечества или Права¹. Высказано это было в стране, возмнившей себя Тысячелетним Райхом, в самые черные годы ее ослепления. «Нация», вобрав в себя «почву» и «кровь» и отторгнув докучливых соседей, переросла в «Народ», единый и самозаконный — ein Volk, ein Reich, ein Führer! На пряжках немецких солдат было вычеканено: «Gott mit uns!» — «С нами Бог!»; предполагалось, однако, что и Бог знает свое место и служит самоутверждению Народа. Что же это за логика, по которой народу, нации дозволено все, и насколько она всеобща?

Напомню, что само слово «нация», «natio», производно от латинского глагола «nascor», означающего «рождаться», «происходить», «брать начало» (к этому же корню восходит и «natura»). Соответственно первичные значения «natio» — «рождение», «происхождение», «род», «племя», далее «порода» и т.д.; Нация — это и богиня рождения².

Значимость подобной «внутренней формы» слов для понятийного мышления отметили Вильгельм фон Гумбольдт, Александр Потебня, среди философов новейшего времени — Ганс-Георг Гадамер³. В нашем случае эта этимологическая

¹ См.: Манн Т. Доктор Фаустус // Манн Т. Собр. соч.: В 10 т. — М.: Гос. изд-во худ. лит-ры, 1960. — Т. 5. — С. 51.

² См.: Дворецкий И.Х. Латинско-русский словарь. — М.: Русский язык, 1976. — С. 662.

³ См. его замечательную статью: Гадамер Г.-Г. История понятий как философия // Г.-Г. Гадамер. Актуальность прекрасного. — М.: Искусство, 1991. — С. 26—43.

форма высвечивает принципиальнейший аспект понятия «нация», который зачастую оставляют в тени, по разным причинам, современные толкователи последнего. Действительно, ныне принято считать, что «цивилизированное» понимание нации охватывает главным образом гражданско-политическое измерение совместного человеческого бытия, что нация — такой изысканный продукт самоопределения человеческой общности, ее воображения, нравственного сознания и проч., который имеет предельно мало общего с этническими, родовыми ее основами¹. Тем не менее родовой «шлейф» понятия нации, как его ни упрятывай, рано или поздно выступает наружу — хотя бы в тех кризисных ситуациях, которые столь часто переживает сегодняшняя Европа.

Легко поверить, что приверженцы обрисованной «либеральной» концепции нации искренне стремятся гуманизировать это понятие, освободить его от зловещего ореола. Мол, те, кто во имя Нации творил всякие гнусности, просто употребляли это слово не по назначению, компрометировали обозначаемую им благородную идею. Парадокс в том, что подобное «очищение», способствуя переводу понятия нации в сферу высоких человеческих ценностей, тем самым вольно или невольно узаконивает и те его «теневые» стороны, которые до поры до времени вытесняются, но тем не менее неявно присутствуют в самом его содержании. Нация — национальное сознание — национализм... — этот смысловой ряд, каким бы добропорядочным ни выглядело его начало, явно «зависает» над чем-то, что может нашего современника либо отталкивать, либо манить, но уж никак не из симпатии к идеалам свободы и гуманности.

Подобно слову «миф», слово «нация» представляется в этом отношении своего рода семантическим аттрактором (помните у Эйзенштейна о «монтаже аттракционов», любезный читатель?), способным притягивать, вовлекать в свою орбиту самые разные смыслы, — что облегчает свободу маневра тем, кто заинтересован в реализации изначальной, глубинной сути названных феноменов.

Так, если обратиться к теме мифа — чего только мы в последние десятилетия не наслушались о культуре как мифологии и человеку как мифе, о мифотворчестве в искусстве, об историческом, политическом, национальном мифе² и т.п. Причем нынешняя наша вторая сигнальная система так уж устроена, что при звуках слова «миф» в первую очередь почему-то хочется снять шляпу или взять под козырек. Присваивая всему и вся «красивое» наименование мифа, мы, однако, способствуем тем самым утверждению своеобразного мифологического понимания жизни — понимания цепкого, неуступчивого, подменяющего проблему истины проблемой причастности к сокровенному знанию, предписывающего человеку роль безличного передатчика изначальных энергий бытия и т.д.³

Таким же образом и о «национальном» говорить нынче модно. Ни «национальная философия», ни «национальная этика» не представляются более крамоллой. «В своїй хаті своя правда», — как любят повторять иные нынешние радетели украинской культуры. Об областях религии, искусства, исторической нравственности, личного жизнеотношения и опыта, разумеется, и говорить нечего — их «национализация» давно стала свершившимся фактом, и новизна здесь может состоять лишь в степени погруженности соответствующих реалий в глубь националь-

¹ Современный британский исследователь национальной проблематики Э.Д.Смит противопоставляет в этой связи «западную» (условно говоря) и «этническую» модель нации; только последней свойственно «ударение на общности происхождения и родной культуры» (см.: Сміт Е.Д. Національна ідентичність. — Київ: Основи, 1994. — С. 20—22). Впрочем, далее сам ученый отмечает неизбежность возрождения темы связи семьи и нации в националистической мифологии, что «свидетельствует о непреходящем решающем значении этого атрибута этнической принадлежности» (Там же. — С. 31).

² Здесь уместно подчеркнуть, что и для этнического и национального сознания в первую очередь важен, конечно же, именно миф о единстве происхождения, возвышающий данную человеческую общность — в значительно большей мере, нежели фактические обстоятельства этногенеза, которые могут быть сколь угодно разнообразны. (См., напр.: Сміт Е.Д. Національна ідентичність. — С. 31 и др.)

³ См., напр.: Элиаде М. Аспекты мифа. — М.: Инвест-ППП, 1996. — 240 с. О современной «мифологизации мифа» см. также статью автора этих строк: Малахов В.А. Міф про міф. Національна міфологія як тема сучасної міфотворчості // Дух і Літера. — Київ. — 1998. — № 3—4. — С. 76—83.

ного бытия. Закрепляясь, подобно большой паутине, в тысячах точек семантического пространства современной культуры, национальный дискурс и сам становится все более емким, многоступенчатым, многосоставным, — вот только чьим мохнатым лапкам мерять его хитросплетенные тропы?

Несколькими страницами ранее отмечалась связь этимологического смысла слова «нация», как и слова «натура», с парадигмой рождения; в этом отношении национализм по праву может быть понят как одно из существенных, неотъемлемых определений того широкого движения в духовной и практической жизни Европы XIX — XX вв., которое возникло как реакция на просветительский рационализм и философию деятельности, представленную именами Канта, Фихте, Гегеля, Маркса и т.д.

Напомню, что для рационализма эпохи Просвещения, равно как для немецкой классической философии, а также марксизма, основополагающее значение имела идея человека вообще как существа, обладающего универсальными рациональными и деятельными способностями. Этот человек, по мнению просветителей, должен был постигать объективные основания мира и, опираясь на них, совершенствовать собственное бытие. Поскольку всеобщий, неподкупный Разум мыслился как высшее начало в человеке, все природные и прочие различия между людьми при таком подходе, естественно, отступали на второй план.

Со временем, впрочем, усилиями И. Канта и его последователей утверждается понимание того, что сам-то разум укоренен в деятельности, и, если мы хотим постичь человека как такового, подлинную его сущность нам необходимо искать именно здесь. «Человек есть то, что он делает» — эти гегелевские слова стали своеобразным девизом европейской цивилизации последних столетий, подарившей человечеству столько невиданных ранее продуктов, технологий и проблем, как, очевидно, ни одна из предшествующих исторических формаций.

Здесь нам нет нужды проследивать перипетии и тупики пресловутой диалектики деятельности, неуклонно подчиняющей себе самого человека-деятеля и в конце концов поставившей мир перед лицом социальной и экологической катастрофы. Бесспорно, у противников всей этой идейной традиции, ведущей от Гольбаха и Гельвеция к Марксу и Ленину, были причины для возмущения. Нам, однако, важно подчеркнуть одно: какова бы эта идеология ни была и каким бы извращениям ни подвергалась, сама ее суть с начала и до конца предполагала утверждение идеалов общечеловечности. Если человек — существо разумное, важнейшее для него — законы и требования универсального Разума. Если он, к тому же, есть продукт собственной деятельности — структура этой деятельности также имеет всеобщий характер, следовательно, о существенных различиях в человечестве можно судить лишь по различной степени приобщенности к ней (как это, собственно, и получалось у Гегеля). Если пролетариат в учении Маркса приобретал статус «привилегированного» класса, то только потому — и об этом не следовало бы забывать! — что в нем его вождь и учитель роковым образом усматривал потенциал общечеловеческого развития, зародыш общественной системы, в которой «свободное развитие каждого является условием свободного развития всех»¹.

Да, идея захлебнулась, грандиозный социальный эксперимент, поставленный на ее основе, привел к трагическим результатам. Есть повод приглядеться к тому, что представляла собой мировоззренческая реакция на упомянутое рационалистически-деятельностное понимание человека.

Вот тут-то нам и предстоит прочувствовать тот «судьбический» привкус слова «нация», который ощутимейшим образом определил его смысл в истории XX века. Ибо в полемике с новоевропейским рационализмом и активизмом тон все более задавало такое понимание человеческого существа, которое, в пику универсальным притязаниям разума и миропреобразовательному пафосу практической деятельности, ставило акцент на его непосредственной причастности ближайшему бытию — неповторимому мгновению исторического времени, столь же неповторимому природному окружению, а более всего — той тесной жизненной общности

¹ Маркс К., Энгельс Ф. Манифест Коммунистической партии // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. — 2-е изд. — Т. 4. — М.: Госполитиздат, 1955. — С. 447.

(Gemeinschaft), с которой человеческий индивид органически связан естественными, кровными узами. В подобного рода общности главное — быть «своим», а «свой» ты в ней тогда, когда из нее и приходишь, когда в ней, в этой тесной общности, в ее природном бытии — твой исток. Под этим углом зрения говорить о человеке по существу — значит говорить не о его деятельности, разуме или морали, а о его происхождении, и создает его, человека, таким, каков он есть, именно происхождение, а не деятельность, разум или мораль. Родовая общность, родной язык и ландшафт — вот что важно, а вовсе не какие-то универсальные свойства, способы деятельности или принципы поведения. «Общечеловек» — фикция; реально существуют органические жизненные единства, связывающие конкретных особей в осязаемое целое, — прежде всего, конечно, нации... Таким образом, традиция непонимания, противостоящая Гегелю и Марксу, традиция немецких романтиков начала XIX в., Шопенгауэра, Ницше, Тенниса, последующих представителей «философии жизни», Шпенглера, Хайдеггера с его аналитикой человеческого бытия-в-мире и т.д. — помимо общих присущих ей определений иррационализма, волюнтаризма и проч., может быть, если мыслить типологически, охарактеризована также и как тенденция национально устремленная, духовно оплодотворяющая национализм, причем в его наиболее одиозной для либерального сознания «кровопочвенной» форме.

В мои задачи здесь не входит разбираться, что лучше — рационалистически-деятельностный универсализм марксовского типа или романтически-волюнтаристский национализм; по мне, оба хуже. Важно, однако, иметь в виду, что санкционируемые тем и другим варианты тоталитарного мышления, при всей схожести их последствий для человеческой личности, имели тем не менее различную природу. Выросший на Марксовой закваске советский «реальный социализм» я здесь опять-таки оставляю в стороне как не имеющий прямого отношения к теме; что же касается нацистского режима, то связь его идейных основ с рассматриваемой мировоззренческой тенденцией волюнтаристского национализма вполне ощутима. Ведь если бы дело было только в патологической жестокости, некрофилии нацистских вождей или хотя бы в том «банальном зле» чиновника-карьериста без принципов и воображения, о котором писала когда-то Ханна Арендт в своей нашумевшей книге о процессе над Эйхманом!¹ Однако известно, что среди деятелей нацизма встречались и (по-своему!) весьма высоконравственные субъекты; вот только горизонт их нравственных устремлений был жестко определен границами локальной жизненной общности, по отношению к которой они ощущали себя «своими», — границами народа, нации, расы.

Сохранился любопытный документ — проект морального кодекса офицера вермахта, в обсуждении которого принимал активное участие сам Гитлер². Главное, чем поражает этот кодекс ныне, — это именно четкость выражения в нем начал «общностной» (gemeinschaftliche) морали, морали, замкнутой означенным выше горизонтом непосредственно ощущаемой общности — семьи, клана, нации. В строгой иерархии добродетелей германского офицерства главенствующее место отводилось «любви к фюреру, народу и отечеству», в связи с чем офицеру вменялось в обязанность «четко отделить себя от тех, кто стоит в стороне от германского пути и борьбы»³. Высоко ставилась верность в различных ее ипостасях, включая сюда и «чувство товарищества», и «заботу о подчиненных», и «уважение к нашей великой истории»⁴. Поскольку «бра́к как основа семьи есть залог жизни и будущего народа», нравственным долгом почиталось сохранение его устоев⁵ и т.д. При всем при том в кодексе отсутствовали какие бы то ни было намеки на общечеловеческие основы нравственности, какие бы то ни было обязательства перед индивидом просто как человеком. «Разрешающая способность» нацистской морали подобных общечеловеческих обязательств и стандартов

¹ См.: Arendt H. Eichmann in Jerusalem. A report on the Banality of Evil. — N.Y. etc.: Penguin books, 1976. — 312 p.

² См.: Пикер Г. Застольные разговоры Гитлера. — Смоленск: Русич, 1993. — С. 33—35.

³ Там же. — С. 33.

⁴ Там же. — С. 33—34.

⁵ Там же. — С. 35.

не предполагала — сразу, или почти сразу, за пределами избранного круга благородных нордических героев, их верных подруг и самоотверженных начальников начиналась зона, где было возможно все, или почти все: побои, бараки, газовые камеры, медицинские эксперименты над живыми людьми... Все.

Нельзя, конечно, сказать, чтобы и по отношению к своим непосредственным жертвам «нормальный» офицер СС не испытывал совсем уж никаких чувств. И такие чувства обычно имели место. Крыс убивать и то неприятно, а тут ведь речь шла как-никак о человеческих существах! Организаторы и участники акций массового уничтожения нередко жаловались на изнурительный, выматывающий душу характер своей работы¹. Подобные психологические трудности полагалось, однако, преодолевать именно во имя требований нацистской морали: их должна была пересилить все та же преданность народу и фюреру, трогательная забота о том, чтобы белокурый сыновьям и дочерям германской нации было, наконец, обеспечено жизненное пространство, приличествующее их расовому достоинству. Как бы муторно ни становилось подчас на душе от жутких, но, увы, неизбежных подробностей Великой Чистки, добрый немец обязан был взвалить на себя это бремя — в чем неоднократно и убеждал задействованных в акциях офицеров СС сам рейхсфюрер Гиммлер².

... Разумеется, я далек от мысли о прямых аналогиях между гитлеровским нацизмом, запятанным чудовищными преступлениями, и современным национализмом — хотя иным нынешним ревнителям чистоты народного мировоззрения, национальной религии и проч. ей-же-ей не худо было бы сравнить повнимательнее свои взгляды с идеями фюрера, выраженными им порой с завидной определенностью. Кардинальнейшее различие состоит, по-видимому, в том, что современный национализм — даже в самых безоглядных своих проявлениях, даже там, где он открыто противоречит либеральной концепции прав и достоинства личности, вступает в конфликт с законными притязаниями иных наций и т.д., — в принципе лишен того вектора неограниченной агрессивности, наличие которого германскому нацизму обеспечивала его глубинная связь с идеями мирового господства.

Это вполне естественно для нормально развитого национального сознания: именно поскольку нация притязает быть органической общностью, связующей своих членов тесными бытийными узами, — совершенным абсурдом представляется стремление расширить пределы обитания этой общности до бесконечности, извлекая ее тем самым из онтологического окружения, где она только и может проявить свою неповторимую целостность. Иное дело — пресловутая борьба за чистоту, ксенофобия, выталкивание «чужаков» из привычной сферы своего обитания — о, легко предположить, что в этой-то области современный национализм еще не сказал своего последнего слова! Но как хочется верить, что хотя бы агрессивный, экспансионистский вариант национализма уже в прошлом...

Все же и в этом отношении приходится быть осторожным. Слишком густо пропитаны разного рода геополитическими идеологиями и нынешний российский национализм, и многие разновидности национализма в мире Ислама и т.д. Вообще говоря, опасность своего рода «ракового перерождения» национализма, связанного с проявлением упомянутого вектора неограниченной агрессивности, можно, наверное, предполагать повсюду, где национализм сплетается с «интегризмом» — так некоторые современные исследователи именуют жизнепонимание, сводящее все разнообразие бытия к некоей единой целостности и заранее враждебное ко всему, что в это прокрустово единство не укладывается³. Как националист я могу быть вполне терпим к националистам всех иных наций, равно как и к людям вообще, пока стремлюсь только отстоять свое, свой национальный идеал в его естественных пределах. Только лишь когда у меня возникает желание, говоря словами известной советской песни, «в березовые ситцы нарядить весь белый свет» — я становлюсь потенциально опасен для всех, кто не желает сменять свои

¹ См., напр.: Освенцим глазами СС. — Варшава: Интерпресс, 1991. — С. 59. Ср.: Там же. — С. 41, 54, 55, 57 и др.

² См., напр.: Там же. — С. 62.

³ См., напр.: Глюксман А. Одинадцата заповідь. — Київ: «Д.Л.», 1994. — С. 66—70 и далее.

рогожки и шелка на мои прекрасные ситцы. К сожалению, подобный сплав национализма с интегризмом¹ — идеологическим, религиозным, цивилизационным и проч. — еще вовсе не редкость в сегодняшнем мире.

Однако вернемся к основной нити нашего разговора. Так вот: сколь бы существенны ни были различия между гитлеровским нацизмом и современными формами национализма, *volens volens*, помимо всего прочего, вынужденного наводить на себя гуманитарный лоск, — в любом случае понятие нации акцентирует родовой, локально-общностный аспект человеческого бытия, именно в эту сторону стягивая, как скатерть со стола, всю систему культурных ценностей. Нет, не о политической свободе и не о нравственной жизни народа как таковой в конечном счете пекутся националисты, а о том, чтобы в этой жизни и в этой свободе проявилось теплое, пьянящее, крепко спаянное и притом победоносное единство рода, вовлекающее в свою орбиту всякое индивидуальное существо. Свобода, политический суверенитет, демократическое волеизъявление масс — в наши дни совсем неплохие средства, замечательные средства для достижения этого совместного кайфа. Как ни верти, а феномен нации невозможно сколько-нибудь глубоко осмыслить, не говоря о национализме, сам же национализм останется недоступен пониманию, если игнорировать упомянутый его жизненный нерв, который собственно и воодушевляет истого приверженца национальных ценностей. Слово «нация» может означать многое, но внутренний смысл его прорастает из тех тяжелых и притягательных глубин нашего совместного бытия, где правит происхождение, где «дышат почва и судьба» — и где соответственно кончается всякое свободное человеческое искусство.

Это бездоказательно? Но если бы феномен нации целиком укладывался в то светлое поле, которое готово предоставить ему современное либеральное сознание, разве могло бы его утверждение так колебать основы гуманистической этики — этого чувствительного органа духовной жизни современного общества? Между тем мы видим, что экспансия так называемой этноэтики или национально ориентированной морали существеннейшим образом проблематизирует основные посылки и без того достаточно хрупкой этической парадигмы, характерной для современного нравственного сознания². И в новейших дебатах между либералами, отстаивающими традиционные свободы личности, и коммунаристами-теоретиками, исходящими из приоритета общности (*community*) в формировании личностных притязаний и соответствующих нормативных систем, спор, в сущности, продолжает идти о том же — должны ли мы в своих поступках исходить из приоритета единых общечеловеческих норм и ценностей, или же предпочтение следует отдавать нормам и ценностям локальным, связывающим индивида все с той же *Gemeinschaft-community*, овевающим его теплом непосредственной сопричастности ей. Но если справедливо последнее — не возвратит ли это нас в тенденции к взгляду на «чужака» как на одушевленный предмет, а если и одушевленный, то такой, которому «никто ничего не должен»?

Выше мы имели случай рассмотреть специфику нацистской морали на типичном примере морального кодекса офицера вермахта. Вполне очевидно, что выкристаллизовавшаяся к нашему времени национальная доминанта культуры также предлагает свой типический образ нравственности; этот образ воспроизводит же во множестве идеологических и художественных текстов. Общие черты подобного рода «национальной этики» определить нетрудно, о какой бы конкретной нации речь ни шла: это явная ориентация на традицию, обычай, санкционированные опытом поколений; авторитаризм, так или иначе выдвигающий фигуру национального пророка, изрекателя «своей правды»; тяготение к «естественному», природоподобному строению жизни, доходящее до неоязыческого поклонения

¹ Известный украинский нациолог Ольгерт Бочковский предложил для обозначения типологически подобной формы националистической идеологии термин «паннационализм» (см.: Бочковский О. Вступ до націології. — Київ: Генеза, 1998. — С. 110—119).

² Обостренный интерес к указанной проблематике выявила, в частности, Международная конференция «Культура и этноэтика», состоявшаяся в Киеве еще в июне 1994 г. Среди множества научных публикаций по этой теме упомяну одну, на мой взгляд, наиболее примечательную: Апель К.-О. Этноэтика и универсалистская макроэтика: противоречие или дополнительность? // Политическая мысль. — 1994. — № 3. — С. 115—119; № 4. — С. 85-92.

пантеону природных стихий¹; дидактизм в обыденном сознании и искусстве, проистекающий из убеждения в непреложности «подлинно народных» ценностей; культ «чистоты», призванный защитить «свое» от «чужого», — при том, что само по себе это «чужое» вполне может признаваться и пользоваться всеми привилегиями гостеприимства, по принципу: дружба дружбой, а табачок врозь... Впрочем, с равным успехом может и не пользоваться, и не признаваться, для националистической этики важно не универсальное правило, а проявление своеобразного народного характера: добрый серб примет доброго русского с радушием, а турка? Добрый азербайджанец что скажет доброму армянину? (Разумеется, именно как «добрый азербайджанец», а не как человек человеку, пусть и другой национальности: в том-то и соль.)

Таков национализм, таково национально ориентированное сознание сегодня — по крайней мере, как я это вижу и понимаю. Что же делать с присущей им двусмысленностью, со скрытыми угрозами человечности, заложенными в самом их основании? В начале статьи я уже отмечал, что не мыслю своим адресатом эдакую надзирающую инстанцию, способную по нашему сигналу «исправить» создавшееся положение, — и что тут можно исправлять? Да, националистическая идеология мне не по душе — почему, я и пытался объяснить на предыдущих страницах. Смею надеяться, изложенное достаточно подтверждает предположение о том, что фатальный привкус понятия «нация» не случаен. Быть или не быть двадцать первому веку эпохой национализма — решать не нам с вами, уважаемый читатель. Каждый, однако, волен принимать или не принимать соответствующие ценностные приоритеты в собственную душу. Лично меня в связи со сказанным занимает следующий насущный вопрос: если нам, добрым русским, самой исторической судьбою почитать положено знамо кого — то кого мы по удалому нашему характеру должны ненавидеть? Евреев? Украинцев?

... Впрочем, обсуждая соотношение национального и общечеловеческого, не станем замыкаться в рамках жесткого «или-или». Всеобщие (читай: западноевропейско-американские) образцы и критерии слишком часто оборачиваются ныне для нас устранением нашей культурной самобытности, девальвацией и вытеснением того, что по свидетельству нашего внутреннего опыта является безусловно добрым и ценным, того, что в конце концов обеспечивает и нашу общечеловеческую востребованность. Патриотизм, если его подчинять подобным универсалистским стандартам, окажется для нас делом целиком бесперспективным: во-первых, мы просто не сможем удержать в поле сознания собственную особость, собственную совокупную призванность, во-вторых, тем более не сумеем ее отстоять. Надев универсалистские очки, взаимоотношения наций легко представить себе эдаким спортивным турниром или, по удачному выражению К. Барановского, борьбой за место на мировом капитанском мостике², — но только в таком турнире нам ничего не светит. Матч будет сдан заранее — не потому, что страна наша никуда не годится, а потому, что для самопреодоления во имя нее нужно ее, страну свою разнесчастную, любить, любовь же всегда избирательна, ее из универсальных мерок не выведешь.

Вот я и написал слово, выводящее из себя иных ультратрезвых современных аналитиков. Оно и понятно; куда парадоксальнее, что и национализм, казалось бы, представляющий собой не что иное, как любовь к собственной нации, на поверку, как показывает опыт, вполне может обходиться без истинной любви, истинно любовного отношения к ценностям жизни.

Вдумаемся в это обстоятельство. Национализм, как я пытался показать, всегда есть некая «онтология снизу», сводящая человеческое бытие к тому, из чего человек растет, — к его родовым корням, его почве и крови. Любовь — это «онтология сверху»: в ней важно, до чего человек дорастает. Национализм базируется на идее слияния индивидуальных волей и переживаний в некое единое

¹ Современную апологию украинского язычества на основе ярко выраженного этноцентризма см., напр., в кн.: Лозко Г. Українське язичництво. — Київ: Укр. центр духов. культури, 1994. — 96 с.

² См.: Барановский К. «Когда голова полна химер» // Дружба народов. — 1999. — № 6. — С. 146.

субстанциальное целое, заполняющее собой человеческую субъективность. Любовь устанавливает изначальное отношение к любимому вне, или помимо, или поверх любой органической слякнотности с ним: в ней всегда есть Лицо Другого, есть Я и Ты, есть творческое пространство «между», о котором так проникновенно писал М. Бубер, есть «позиция венаходимости», о которой размышлял М. Бахтин (между тем как прямолинейно националистическую человеческую онтологию, в терминах того же М. Бахтина, иначе как «одержанием бытием» именовать невозможно). Истинная любовь к Отчизне — весьма часто «странная» и трудная любовь, приемлющая и различие судеб, и полифонию родных голосов, и уязвимость родных ликов — приемлющая их такими, каковы они есть.

Национализм как идеология органической общности не может не исходить из предпосылки, что себя и свою сущность человек не выбирает, как не выбирает своих родителей, свою нацию, свой род. С точки зрения рассмотренной выше «национальной этики» трудно вообразить что-либо более чудовищное, чем предположение о том, что происхождение человека также входит в сферу его выбора — как же, выбирать своих отца и мать вы предлагаете, что ли?!

Между тем любовь, как сказано, избирательна. Она может быть непреложнее судьбы, сильнее смерти, но эта непреложность просто не открывается нам, если мы сами ее не выбираем, не приемлем как выбор собственной субъективности. Пожалуй, именно любовь более чем какое-либо иное отношение или чувство учит человека тому, что помимо нашей различающей воли, призвания, которому мы свободно распахиваем двери и окна своей души, — реальность как таковая остается темной, безблагодатной для нас. Дело не в своеволии — дело в том, что помимо собственного нашего решения ничто в нашей душе подлинно духовным образом утверждено быть не может. И это нам открывает любовь.

Человек, как говорил в свое время С. Киркегор, — это существо, которое себя выбирает. Следовательно, выбирает и свое происхождение, не в том, конечно, смысле, чтобы оторкаться от него, а в том, чтобы выявить в нем, единственном, осмысленную перспективу жизни, которую ты в состоянии продолжить собственным существованием. В том, что к достоинству человеческой личности принадлежит компетенция придавать духовную значимость и связь природным обстоятельствам своего бытия в мире. Без этой компетенции человек завершён быть не может, полноценная же ее реализация также есть дело любви.

Наконец, уважающий себя национализм немислим без противопоставления «своего» и «чужого» — всяческого утверждения «своего» и всяческого отстранения «чужого», доходящего (к счастью, не так уж часто) до открытой ненависти к последнему. Любовь же, по слову св. апостола Павла, «не ищет своего... не мыслит зла» (1 Кор. 5); ее существенным коррелятом в религиозно-нравственной традиции выступает отнюдь не ненависть, а милосердие, сострадание, справедливость. Связь проста: как благодать предполагает действие закона, как Ветхий Завет прообразует Новый, так чуткое, доброе отношение к человеку как человеку составляет фундамент и необходимое основание любви к той или иной отдельной личности. Бесчеловечность, ожесточенность сердца разрушают способность любить. Или же, если посмотреть на дело иначе: любя другое человеческое существо, нравственно посвящая себя ему, мы не можем вольно или неволью не проникаться нравственным чувством и к иным, «третьим», с кем мы уже не находимся в непосредственном общении, не желать хотя бы справедливости для них. При этом, по мысли известного современного философа Э. Левинаса, «любовь постоянно должна присматривать за справедливостью»¹, дабы последняя не была извращена. Легко понять, что и подлинная любовь к своему народу едва ли совместима с варварской бесчеловечностью в отношении иных национальных групп — разумеется, если говорить о любви в глубоком, ответственном понимании этого слова.

Итак, любовь — но как символ целостного мироотношения, целостной жизненной позиции, равным образом предполагающей и устремленность к высшему, и духовно-нравственный выбор себя в свете этого высшего, и способность к диалогу, и сознание обязательств перед теми, кто в пространство этого

¹ См.: Levinas E. *Entre nous. Essai sur le penser-a-l'autre*. — Paris: Bernard Grasset, 1991. — P. 126.

диалога не входит, перед людьми и живыми существами вообще — вот, на мой взгляд, единственно надежное противоядие от тех соблазнов и опасностей национализма, о которых упоминалось выше. Разумеется, с точки зрения объективного анализа нынешней ситуации и прагматических выводов из него это пустые слова, однако у нас, как, должно быть, помнит читатель, и речь-то идет не о том, что делать с этой ситуацией как таковой, а всего лишь о нашей с вами субъективной ориентации в ней. И вот в этой связи, полагаю, значимость любви как смыслостроительного принципа человеческого отношения к жизни отрицать никак нельзя.

Вполне понятно, что в современном мире, давным-давно, по выражению М. Вебера, «расколдованном», отчужденном, атомизированном, лишенном устойчивости, индивид испытывает острую потребность быть причастным к какой-то конкретной человеческой общности, ощущать себя в кругу родных и близких людей, иметь свое заповедное пристанище. Национальное самоутверждение — один из наиболее доступных и естественных способов удовлетворить эту потребность, эту жажду причастности, но, думается, не исчерпывающий. Зрячая, способная к диалогу любовь раскрывает перед человеком различные измерения причастности, но и путь национальной идентификации она высвечивает для него по-своему — не через низовые стихии «почвы и крови», а в восхищении, вос-хищении культурой, языком, святынями своего народа, его историческим подвигом, его родными просторами, а если попытаться как можно точнее выразить то неуловимо легкое и существенное, что сквозит, что присутствует, за всем этим, — его занебесными прикосновениями. Опять-таки не говорите, что это нереально — всякий прекрасно способен ощутить, как отличаются в этом плане и как созвучны миры России и Грузии, России и Германии, России и Польши... Иное дело, что такая «онтология сверху» не совпадает не только с националистической почвенной патетикой, но и с унылой рассудочностью утилитарно-объективистского восприятия жизни. Опьяняющей «мистике ночи», на которой зиждется национализм, я, таким образом, хотел бы противопоставить не выравнивающий все на свете поверхностный рационализм, а своеобразную, если угодно, «мистику дня» — с той оговоркой, что подобного рода мистика, как известно из истории, легко впитывает и элементы подлинной человеческой рациональности (вспомним гениального Паскаля), и творческий дух и очарование «мистики ночи». А вот последняя вобрать в себя солнечную прозрачность «мистики дня» не способна — как раз по причине своей аморфности, отсутствия необходимого духовного устройства.

Итак, способ причастности, который я пытался здесь обрисовать и представить, вовсе не отвергает ни национальных ценностей, ни национальных святынь, но дополняет их восприятие неким насущно важным измерением, в котором, думается, самое национальное бытие выступает более рельефно, обнаруживая возможности сочетания того, что с собственно националистической точки зрения воспринимается как взаимоисключающие противоположности. Очень не хотелось бы, чтобы это измерение в нынешней нашей суете и взаимоненавидении было утрачено.

Если я, например, сохраняю это измерение, этот, скажем так, ракурс любви в своей причастности украинской культуре — разве могут быть для меня безразличны те тысячи и тысячи средостений, взаимовлияний, совместных проблем, конфликтных ситуаций, которые связывают, соединяют, сплавляют ее с культурами и бытием российским, польским, еврейским, австрийским и т.д.? Для последовательного националиста такие точки или зоны совместности — прежде всего арены конфронтации, утверждения особых прав своей нации. В сущности, такой подход можно понять, ибо многое в межнациональных отношениях замешено и до сих пор замешивается на вопиющей несправедливости, на крови. Об этом, равно как и о фатальной асимметричности национальных ответственностей и вин, забывать нельзя: мир трагичен. Но разве исключает этот неизбежный трагизм иррадиацию нашей любви в тех же зонах совместности за пределы исключительно «своего», в широкий человеческий мир? (А только на грани такого перехода от «своего» к «не своему» любовь, как легко понять, и становится собственно любовью.) Если творчество Гоголя, например, представляет нам одну из подобных точек украинско-русской совместности, какую позицию в данном случае следовало

бы счесть по-человечески более продуктивной — комичное перетягиванье каната под девизом «Гоголь наш, и только!» (на Украине это и впрямь нередко наблюдается ныне) или же такое расширение сферы нашей нравственной сопричастности, нашего восхищения миром культур, которое в наибольшей мере позволило бы нам постичь внутренний драматизм произведений и всей творческой судьбы писателя, заложившего столь многие начала как в русской, так и в украинской культуре, как в русском, так и в украинском сознании? То-то, уважаемый читатель.

Говорят, в слове «мир» тот же корень, что и в слове «милый»¹. Мир — то, что мило, согласно, приемлемо; это поприще наших земных отношений и причастностей. На миру, говорят, и смерть не страшна.

И сегодня мир, при всем обилии порчи, злобы и розни, бродящих в нем, по-прежнему в существе своем мил и привлекателен. Для каждой личности и для каждого народа он таит неисчерпаемые творческие возможности, только вот увидеть их очень не просто как с завистливо-националистической, так и с цинично-утилитаристской точки зрения, выявляющих в этом плане любопытное сходство: неспроста сегодня столь привычным стал образ мира как арены каких-то крутых разборок, по принципу, некогда выразительно сформулированному Иваном Карамазовым: «Один гад съест другую гадину, обоим туда и дорога!» Кстати, это в духе отнюдь не лучших национальных традиций: ненавидеть большой окружающий мир, презирать его и в то же время изо всех сил пытаться в него втиснуться. Между тем в своих высоких ценностях, в своих духовных достижениях и запросах он все еще открыт для нас куда больше, чем в своей экономической и технологической структуре. К этой открытости, этим творческим зовам мира также надо бы быть восприимчивыми, если мы действительно не хотим обречь себя на онтологическую второсортность. Еще раз: очень бы не хотелось, чтобы способность воспринимать реальность в этом ее позитивном ценностном измерении была утрачена нами.

Впрочем, все сказанное действительно представляет собою лишь субъективное размышление об основах человеческой ориентации в жизни. Мир крутых прагматиков и националов продолжает укреплять свои позиции в нашей рискованной повседневности. Евреи в нем, как водится, затевают очередные махинации, кавказцы рэкетирствуют на рынках, русские дуют водку и готовятся к выборам... Что-то не нравится? Если ты землянин, так и веди себя, землянская морда, по-землянски. И радуйся своими землянскими радостями. Впрочем, мы всем вам еще покажем кузькину мать...

Не выбирайте родителей, не выбирайте Родину, не выбирайте народ. Ваше все равно к вам вернется, а ихнего вам не достать. Не выбирайте того, чего не выбрать невозможно.

Нации не выбирают. В них живут и умирают.

¹ См.: Колесов В.В. Мир человека в слове Древней Руси. — Л.: изд-во Ленингр. ун-та, 1986. — С. 226.

Владимир Ешкилев

«Чьи вы, хлопцы, будете?..»

Беседу ведет Наталья Игрунова



Владимир Ешкилев — это Дмитрий Галковский украинской литературы. Если кто подзабыл: капитальный труд «Бесконечный тупик» Галковского, посвященный полемике с шестидесятниками, вызвал шквал обид, обвинений в непонимании, передергиваниях и клевете и стал, пожалуй, самой обсуждаемой в литературных и окополитературных кругах книгой постперестроечного времени. Выпущенная в прошлом году Малая украинская энциклопедия актуальной литературы, признанная украинским Форумом издателей самым оригинальным книжным проектом года (а руководителем этого проекта и автором большинства словарных статей был как раз В. Ешкилев), столь же бесцеремонно нарушила спокойную жизнь местного писательского сообщества. Как заметил старик Кибиров, благословляя новое поколение литературных обозревателей:

Нет, ты только погляди,
как они куражатся!
Лучше нам их обойти,
эту молодежь!

Отынтерпретируют —
мало не покажется!
Так деконструируют —
костей не соберешь!

«Сегодня настолько типична ситуация взаимовосхваления, что даже простое говорение правды уже вызывает скандал, — стоит на своем В. Ешкилев. И еще подбрасывает дровишек в огонь: — В то время как, на мой взгляд, настоящий повод для скандала состоит в том, что в школьной хрестоматии украинская литература второй половины XX столетия на 90% представлена графоманией».

«Возвращение демиургов» (название энциклопедии) многими было воспринято и впрямь чуть ли не как второе пришествие. Авторы и не скрывают провокативных целей: «[Энциклопедия] не академическая, а демиургическая, потому что стремится не столько отобразить объективную реальность, сколько вживиться в эту реальность и изменить ее. Энциклопедия активна, даже агрессивна. Она предлагает некий миф украинской литературы». Как результат — дискуссии, обсуждения, обиды, перебранка. Цитируем для наглядности украинские газеты («Украинское слово», «Украина молодая», «День», «Литература плюс», «Мир молодежи»), где демиургам воздается демиургово — и в привычных их слуху терминах.

«Наипостмодернистская по сути своей, энциклопедия вооружает рафинированных интеллектуалов низкопробным толкиенизмом под громким названием «Демиургии», позорным и наглым игнорированием канонов современного интеллектуального пространства, издевательством над Ее величеством цитатой и откровенным жонглированием терминами и концептами».

«Честно говоря, безоглядный субъективизм составителей книжки и авторов большинства статей — это наиболее симпатичная черта возвращения демиургов. Прежде всего благодаря юмористическому взгляду на мир и еще более остроумной "научной" лексике Андруховича, Ешкилева и К° эта "малая энциклопе-

дия" интертекстуально создает у читателя фельетонный настрой. Впрочем, тексты отдельных статей, несмотря на всю их академичность, откровенно провоцируют постинтеллектуальный хохот».

«Такого грандиозного шоу, как презентация Малой украинской энциклопедии актуальной литературы "Возвращение демиургов", столица Украины не видела давно. Не случайно же в наше, так сказать, прагматичное время, когда большинство представителей молодого поколения вроде бы интересуется не искусством и литературой, а бизнесом, не такой уж и маленький зал Молодого театра был заполнен настолько, что большинству почитателей современной украинской авангардной литературы пришлось простоять все время действия».

«Энциклопедия действительно прекрасная, и что знаменательно — поддается разным уровням восприятия. Например, не очень грамотные могут просто разглядывать картинки и фотографии, полу- и более грамотные — с наслаждением прочитают "Хрестоматийное дополнение". Самые образованные — одолеют "Глоссарийный корпус" и порадуются или огорчатся от прочитанного, и, наконец, наиболее грамотные — все поймут из "Возвращения демиургов" Владимира Ешкилева и "Возвращения литературы?" Юрия Андруховича и согласятся или не согласятся с ними, что будет зависеть, по одной из предложенных версий, от "внутренних романских энциклопедий" интерпретаторов, то есть тех, кто читает».

«Нечленам Ассоциации украинских писателей новые энциклопедисты даровали далеко не лучшие места в современном украинском литпроцессе. Что уж говорить о Союзе писателей Украины, который составители угрюмо проигнорировали, как и множество достойных — хоть и мертвых — отечественных классиков (в отличие от не менее мертвых "импортных" классиков)».

«После прочтения статьи о "станиславском феномене" [к этой группе относятся авторы энциклопедии. — Н. И.] остается лишь констатировать, что это славное место [Ивано-Франковск, который одно время назывался Станислав. — Н. И.] расположено в некоей патогенной зоне, где на протяжении последнего десятилетия происходят еще никем серьезно не отслеженные "суперактивные демиургийные" мутации».

Даже по этим отрывочным репликам ощутимы накал страстей и поляризация мнений. Невольно задумаешься: а может, Владимир Ешкилев прав, утверждая: «Наверное, все литераторы в Украине чувствуют, что существует несколько украинских литератур, несовместимых как в плане эстетическом, так и в плане личных отношений между писателями?»

Представители старшего поколения украинских литераторов высказываются в «ДН» довольно часто. Беседа с представителем новой украинской литературы публикуется впервые. Владимир Ешкилев приезжал в Москву для участия во встрече украинских и российских писателей в рамках «Крымского клуба». С впечатлений от этой встречи и начался наш разговор.

В. Е.: Было интересно присутствовать на встрече бывших андеграундов. И украинский официоз, и московский сидели где-то рядом с государством и доили похожие кормушки Союза писателей, а андеграунды — при общем способе бытийствования — были разные. В Москве андеграунд никогда не был окрашен в националистические цвета. В то время как на Украине национальная идея входила в круг лейтмотивов андеграунда, более того, это был момент определенной инициации: только тот, кто понимал проблему национальной ущемленности Украины и качественно рефлексировал на эту тему, допускался в настоящий украинский андеграунд.

Н. И.: Если бы я попросила вас назвать имена?

В. Е.: Тарас Мельничук. Он умер в 95-м году, отсидев на Колыме. Ему было лет пятьдесят пять—пятьдесят шесть, за четыре года сгорел от рака. Он писал баллады, думы, сейчас, когда уже развилось направление формальных технических поисков, нарративная такая поэзия отошла на второй план. Его скорее все-таки рассматривают как деятеля, чем как поэта. Дядька был умный, видный, из породистых гуцулов, тип этнографический очень выразительный. С молодыми контактировал, к нему ездили в Кричев. Я не встречался с ним, собственно, в те годы я не занимался литературой... Кто еще? Микола Рябчук. Игорь Рымарук. Кордун Виктор. Это киевская школа. Ну и, конечно, алмазы андеграунда — Олег Лышэга и Микола

Воробьев. И на сегодняшний день они сохранили свое значение как поэты. Они, собственно, и открыли определенное направление, которое, к сожалению, не нашло продолжателей. (Считает себя продолжателем Воробьева Иван Андрусак, но поэзия его по уровню намного ниже.) Это поэзия шаманская. Медитативные вещи.

Н. И.: С кем можно сравнить?

В. Е.: С Сен-Жон Персом, наверно. Может быть, с ранним Оденем. В русской поэзии, по-моему, это направление не разрабатывалось продуктивно.

Н. И.: Судя по тому, что вы говорите, возможно, в каком-то схожем «творе» русской поэзии работала Ксения Некрасова.

В. Е.: Не знаю, не читал. Лышэга человек очень мистический, я имею удовольствие его хорошо знать, он тоже ивано-франковский, и родился, и вырос, и сейчас живет во Франковске. Интересную керамику делает, рисует и пишет стихи. И все получается. Это не профанные практики, не хобби, как художника профессионалы его оценивают тоже очень высоко.

Н. И.: А территориально украинский андеграунд был привязан к какому-то месту?

В. Е.: Да, безусловно. После Параджанова в Киеве андеграунд был очень... неубедительным. Там сдали всех, кого могли сдать, остальные разбежались. А вот на Галичине андеграунд существовал. Особенно сильный был львовский. Он подпитывался генетическими корнями старой львовской интеллигенции. Сейчас, к сожалению, этот слой истончился, люди умирают, а в семидесятые, восьмидесятые годы ощущалась невыбитость этого слоя. Старые львовяне задавали определенные жизненные критерии. Они имели классическое образование — мало кто имел его тогда в Союзе. Львовяне могли читать Горация на латыни — и это убеждало, это было сильно. Андеграунд почему был слабенький такой — шестидесятникам не хватало образования. Ну и сам город — его аура, его улицы, дома, львовские квартиры, где культивировалась вещная оппозиция «совку» — не приобреталась новая мебель, сохранялась старая польская, не покупался телевизор, чтобы не смотреть советские передачи, оберегались секреты старой львовской польской кухни. И разговоры велись на

некие высокие, оторванные от бытовухи темы. Сохранялась замкнутость, которую можно было бы назвать на русский лад интеллигентностью, но это не была интеллигентность в том смысле, какой вкладывают в это понятие русские и французы, скорее это была кастовость, элитарность, которая очень четко себя отмежевывала даже генетически от «быдла», «плебса», «черни», «охлоса», под которым понималась крестьянски-советская, пролетарская среда, не поощряя, не позволяя даже «смешанные» браки. Собственно, это была та среда, которая питала, охраняла андеграунд, та среда, из которой вышел Калинец, в которой оппозиционные, «теневые» настроения Иванычука или Федорива могли проявляться, они хоть и были «официальными» писателями, но отдыхали душой где-то там. Иванычук, кстати, опубликовал не так давно мемуары, где обрушился на современную литературу постмодерна. Он, например, вообще не произносит имя Андруховича и очень снисходительно говорит об Издрыке, для него эта литература — нечто мерзкое. Иванычук жалуется, что его публикации как бы проваливаются в никуда — нет ни отзывов, ни рецензий. А там и не на что откликаться. Человек на полном серьезе побивает своих врагов семьдесят восьмого года и не понимает, что поезд ушел.

Эти люди, поколение шестидесятников — что в Украине, что в России — живут в каком-то виртуальном мире. Они не то что неинтересны, интерес — это такая вещь: сегодня неинтересно, а завтра будет интересно, они каким-то образом целостно выпали из времени. И продолжают мыслить категориями... собственно, это уже и не категории того времени, потому что та ситуация тоже утрачена, ушла. Они прочитали Барта и Эко и пытаются выражаться на новом языке, но смысл высказывания получается фельетонным. Человек мыслит парадигмами семьдесят восьмого года, а пытается говорить словами девяносто девятого. И смешно и даже стыдно все это читать, равно как и нынешние их призывы к «почве», к сохранению корней и т. д. Возникает вопрос: если вы такие почвенники, почему не живете в селе? Почему вы живете в центральной части города, в хороших квартирах с теплыми туалетами — и проклинаете этот город, говорите, что на всем печать сатаны и

только там, в деревне, у сельского кладбища — настоящая жизнь?

Н. И.: Все это уже проговорено в дискуссиях о русской литературе, причем как раз конца семидесятых—восьмидесятых годов. Шукшина на какой-то встрече читатели приперли к стенке — если он так любит алтайскую деревню, почему уехал и вообще, мол, как насчет того, чтобы пройтись за плугом... На что он, не сразу почувствовав подвох, с простодушной искренностью ответил: там нет киностудии.

В. Е.: Ну да, да. Реализовывают себя в реальном профессиональном пространстве, а идеализируют пространство фольклорное.

Н. И.: Шукшин-то не идеализировал и переживал, что сморозил глупость. Сейчас многое звучит наивно (размышления четвертьвековой давности) — но он-то таранил городские ворота собственным крестьянским лбом: «...нужна новая какая-то мудрость... нужно понять, что город... ну, не враждебная сила, а раз уж здесь живут люди, много людей, и творят ценности, и пишут книги, и создают фильмы ... значит, не все здесь плохо, и больше того, наверное, здесь очень много хорошего».

В. Е.: Чтобы сегодня писать об этом мире с его рекламами, компьютерами, надо быть органичным ему, надо хотя бы ползать по Интернету, надо не то что любить, но понимать, что это все не картинка в телевизоре, а часть жизни, в том числе и их жизни. Отсюда катастрофический разрыв. Если в русской литературе благодаря тому, что всегда поколения «заходили» одно в одно, была преемственность, были школы, было из чего выбирать по большому счету, то в Украине произошла катастрофа: старшее поколение ушло полностью из актуальной литературы, одноактно, одномоментно.

Н. И.: Нынешнее старшее поколение.

В. Е.: Нынешнее. Костенко, Гуцало, Драч, Павлычко, Винграновский, шестидесятники и даже «подшестидесятники», Андрияшик например, выпали из актуальной литературы. Они живы (кроме Евгена Гуцало), они живы как поколение — можно было бы сказать, что поколение умерло, отдельные люди остались — нет, они остались поколением, они еще пишут, но их никто не слушает,

они пытаются говорить на языке политики — это выглядит смешно. Накануне президентских выборов они агитировали за Марчука, генерала КГБ, который в былые времена курировал Союз писателей. Как преследовали на Украине писателей, общеизвестно. Они пытаются собрать Конгресс украинской интеллигенции: в областях формируются делегации каких-то рустикальных махровых селюков, делегаты приезжают на Конгресс, поддержанный Президентом, сидят первые два часа, в перерыве находят где-то водку — и все.

Н. И.: Картинку вы нарисовали просто апокалиптическую. А как произошел раскол Союза писателей?

В. Е.: Раскол произошел в ноябре 96-го. Мушкетик, отсидев свои два срока во главе Союза писателей, должен был, по Уставу, уйти. Но к этому времени здание Союза обросло офисами, разными фирмами, это уже был некий конгломерат имущества, связей, обещаний и т. д. Понятно, что в такой среде невозможна резкая смена руководства. Это уже не литературная организация, там другие законы. Естественно, съезд был организован так, что сторонники Мушкетика добились изменения Устава, и ему пролонгировали пребывание на высшем посту. Молодежь же ждала изменений. Кто почему. Одни — потому что болела душа за Союз писателей, другие рвались к корыту, всякие были, разные люди из разных побуждений хотели смены руководства. А оно не сменилось.

Формальным поводом раскола стало то, что Юрию Покальчуку, который взял на себя ответственность представлять интересы молодого поколения с трибуны съезда (хотя он и не из молодых, был секретарем СПУ по международным связям), не дали слова. Обычный аппаратный ход. Это вызвало вспышку возмущения, человек пятнадцать отдали свои членские билеты в президиум. Потом, правда, почти все забрали. Ну, а весной следующего, девяносто седьмого года образовалась Ассоциация украинских писателей. Собственно, большинство членов Ассоциации сохранили свои членские билеты СПУ. И даже у нас во Франковске, где имеется группа людей, в чистом виде оппозиционных — и эстетически и в любом другом плане — Союзу писателей, есть и свои «коллекционисты», «двурушники» и прочие жуткие «оппортунисты». Довгань, Из-

дрык, я, Приходько — просто не были в Союзе, нам в голову никогда не приходило подавать заявления о вступлении в эту организацию. В АУП нельзя вступить по своему желанию. Туда *приглашают*. Как в Пен-клуб. На АУП было много нападков, говорили, что, вот-де, мы думали, новая организация хорошая, а она оказалась такой же, еще и хуже, за ней стоят антиукраинские силы и т. д.

Н. И.: А почему АУП обвиняют в антиукраинскости? Какие находят основания?

В. Е.: Я думаю, здесь много разного сошлось. Издревле члены СПУ полагали, что вся украинская духовность исходит из села. Писатели, составляющие наиболее активную часть АУП, в том числе «станиславский феномен», — это все городская литература. В том, что мы пишем, не видно корней, которые шли бы к Шевченко... Антинародность какая-то.

Н. И.: Простите, вспомнилось почему-то: у Корнея Чуковского в «От двух до пяти»:

«Хвастают, сидя рядом на стульчиках:

— Моя бабушка все ругается: «Черт, черт, черт, черт».

— А моя бабушка все ругается: «Гошподи, гошподи, гошподи, гошподи».

Так и видится: сидит на своем стульчике Союза писателей литератор старшего поколения и «ругается»: «общечеловеческие ценности», «национальное возрождение», «духовность», «народ», — а средние-молодые литераторы соседнего стульчика Ассоциации украинских писателей ему в ответ: «демиургия», «дискурс», «нарратив», «социум». Какое уж тут взаимопонимание...

В. Е.: Про нас говорят: играют, балуются, формальные изыски. Где крестьянин, где поле, где земля? — Нету. «То ж не духовні речі». Это первый момент. Второй — тесное сотрудничество с Фондом Сороса и другими международными организациями. Союз тоже хотел бы с ними сотрудничать. Но нам денег дают больше, их душит жаба, соответственно нужно искать какие-то обвинения: гранты получают, Сорос нас не любит, потому что мы патриоты, а они, гады, продались за эти гранты... У нас писатель, который не может писать, не умеет писать и не любит писать, нашел себе нишу: профессия — украинец. Появились профессиональные укра-

инцы. Пытались, не особенно успешно, на национальности и на защите национального выстроить какой-то собственный имидж, завоевать положение, получить ставочку, корытце, денежки. Соответственно надо было отрабатывать эти денежки, то есть надо было найти врага и по нему бить. Мы оказались в роли врага. Почему? Удобно — непонятные им, чужие, не из их села и т. д. Как мыслит наш рядовой националист? Первое, что он спрашивает о человеке, не что тот написал, а кто у него в роду. Ага, тут что-то непонятное, какие-то польские корни, у другого — еврейские, у третьего еще что-то... Это уже не наши люди, уже враги. В писательских тусовках только и разговоров, кто полуеврей, кто на четверть... Собираются писатели — и никто не говорит о литературе. Они ничего не читают.

Н. И.: На Западной Украине такое разделение на своих и не своих тоже есть — и всегда было. Вы же сами рассказывали сейчас о Львове.

В. Е.: На Западной Украине... как бы сказать... уже воспринимают это немного иронично. Такие группы писателей есть, но они где-то на периферии.

Н. И.: Замкнутость, кастовость, о которой вы говорили, ушла?

В. Е.: Если в Киеве люди, которые так мыслят, еще при власти и при деньгах, при кабинетах и связях, то у нас в Галичине таких людей даже газеты приличные не интервьюируют. Это дурной тон. Эти люди все, что могли, сказали, всех, кого могли, облили грязью — и стали неинтересны.

Н. И.: А вообще писатель как фигура интересен украинскому обществу? В «ДН» в этом году были напечатаны заметки поэта Марцелиуса Мартинайтиса о ситуации в литовской литературе. По его свидетельству, в рейтингах известнейших людей Литвы писателей нет. Он очень точно формулирует, чем пересказывать, лучше я вам несколько фраз прочитаю: «Писателя уже никто не спрашивает, как жить, что он думает о власти, о настоящем, о будущем, о деньгах, банках, зверюшках, рыбной ловле, любви, детях, нации... И главное — как и зачем он пишет... Обожание и поклонение сменилось равнодушием, в лучшем случае — состраданием, ведь он превратился в неимущего, слабого и зависимого от общества, которое вынуждено его со-

держат. У неудачника не спрашивают, как жить, если вокруг столько богатых, сильных, умелых...» Так в Литве. В России... В последние годы в России спрашивали, как жить, разве что у Лихачева да у Солженицына. Лихачев умер. О Солженицыне вспоминают все реже.

В. Е.: Я думаю, что в Украине произошла меньшая девальвация общественного значения писателя, чем в Литве или в России. В Украине писательское звание, писательский статус и писательская трибуна еще вызывают определенный пиетет. Является ли это атавизмом?..

Н. И.: ... или инерцией?

В. Е.: Наверно, можно сказать, что Украина задержалась по инерции, и через пару лет это все рухнет в небытие. Но я так не думаю. Я пребываю под очень большим впечатлением презентации моей «Энциклопедии» 18 мая в Киеве, когда пришло 600 человек — и почти сплошь молодежь. Украинская книжка, в Киеве, где русскоязычная среда. При минимальной рекламе, причем даже не по ТВ. Менеджеры, которые организовали презентацию, занимаются шоу-бизнесом. Они были потрясены — на чисто интеллектуальную, литературную акцию пришло столько людей. И я полагаю, что это не случайно, что это не инерция. Просто каким-то образом в Украине сохраняется *актуальность слова*. У нас и книжный рынок очень интересный сформирован. Привоз книг из России — солидный и хороший бизнес. Я постоянно езжу между Москвой и Киевом и вижу: везут книги — сумками, мешками. Даже у нас во Франковске можно найти, правда по очень дорогой цене, все московские издания. То же, например, сорокинское «Голубое сало»...

Н. И.: **Интересно, как это «Сало» на искушенный украинский вкус? Прочитали?**

В. Е.: Да, очень мне понравилось. Я считаю, что это подтверждение моей теории о демимургии, возвращении к сверхнарративным практикам. Меня это очень, так сказать, утешило. Я вообще считаю, что это лучшая книга последних пяти лет, которая вышла в Москве.

Н. И.: **А что вы еще читали?**

В. Е.: Читал и ерофеевские, и пелевинские последние книги, и толстые журналы читаю, и почти все, что «Вагриус» издает, включая Гениса с его «Дов-

латовым»... И я вам скажу: очень мощная вещь сорокинская, это новое слово, прорыв в XXI век. Приятно, что это филологическая книга.

Н. И.: **Почему это книга XXI века — хотя бы чуть-чуть поясните.**

В. Е.: В этой книге нет корней.

Н. И.: **В этой книге есть корни.**

В. Е.: Есть, но они вынуты из земли, они отлакированы, обстрижены, и из них сделана инсталляция.

Н. И.: **Вот с этим я, пожалуй, соглашусь. Причем проделаны все эти манипуляции безжалостно и на потребу каким-то очень низменным — хочется сказать: «сальным» — инстинктам.**

В. Е.: Просто совершенно иная практика работы с предшествующим корпусом литературы. Не почтение к нему, не герменевтика, а совершенная пластическая свобода обращения с материалом. Вдобавок все сделано на довольно качественной филологической базе. Сорокин отработал филологию романа на уровне элементов. Если Пелевин монтирует свои романы из кусков, фрагментов...

Н. И.: **Ну да, такое крупноблочное строительство панельного литературного жилья в районах массовой застройки. Но сюжет-то не проработан.**

В. Е.: Сюжет слабенький, нет стратификации текста. Конечно, нефилолог этого не поймет, но человек с филологическим образованием сразу обнаружит стыки между кусками, блоками. А у Сорокина текст хорошо сделан, пластично.

Н. И.: **Что-то в этом русле появилось в украинской литературе? Или нечто, о чем вы могли бы сказать, что это столь же знаково?**

В. Е.: Сложно сказать. Думаю, такой книги в Украине еще не было.

Н. И.: **На ваш взгляд — почему?**

В. Е.: Мы идем другими тропами. У нас более обширная и амбициозная сверхзадача — извините, если это звучит как грубость. Может, это мое только мнение, но тем не менее: в Украине создается не отдельный роман, не отдельный прорыв готовится. В данном случае Сорокин предпринял партизанскую вылазку в будущее, нет больше текстов такого уровня и нет среды, которая бы их обеспечивала, московская салонная среда копает все-таки немножко в другом направлении, а возможно, даже больше друг под друга, чем в каком-то направлении. А в Укра-

ине делается попытка творения литературы. Естественно, что для этого требуется и больше времени, и иные технологии. Конечно, хотелось бы, чтобы в украинской литературе появился такой знаковый роман. Роман Сорокина помогает нам сориентироваться в том, какого, собственно, масштаба задачи стоят.

Н. И.: В таком случае, мне жаль будущего украинского читателя. Но, может быть, есть еще какие-то ориентиры? И в самой украинской литературе в том числе.

В. Е.: Интереснее, чем написать роман, создать новую литературу. То есть демиургическая задача. Говоря об ориентирах, нужно иметь в виду разное состояние украинской литературы и русской. Русская литература мне напоминает картины Филонова, где каждый сантиметр уже записан. Найти свою нишу в русской литературе, что-то добавить к ней очень сложно. Это была бы суперпобеда. Но втиснуться между забитыми нишами почти невозможно. В украинской литературе имеются громадные «белые пятна», которые можно заполнять экстенсивно. И период экстенсивного заполнения, то есть «пробегания» каких-то схем и приемов, уже апробированных в других местах, — это тот период, который шел, я думаю, до сегодняшнего дня, может быть, до 98-го года. Мы экспериментировали, мы пытались создать что-то похожее на то, что уже где-то было — в Чехии, во Франции, в Штатах. Кто-то все еще продолжает это делать, потому что место еще есть. Скажем, нерифмованная поэзия, верлибр украинский — колоссальное поле возможностей, там работать и работать.

В чем еще разница между украинской и русской литературой: русская литература всегда была преимущественно сверхэтичной. Я еще и потому говорю о знаковости романа Сорокина, что он immoralен, он абсолютно вне плоскости этики.

Н. И.: Я бы сказала — не вне плоскости, а по ту сторону.

В. Е.: По ту сторону другие вещи делаются. Нормально, надо снимать с русской литературы ее этичность.

Н. И.: Зачем?

В. Е.: В других литературах это произошло давно, это постнищеанский дискурс еще в эпоху модерна — Эзра Паунд, Дэйвид Герберт Лоренс...

Н. И.: Ну, это не аргумент. Я уж не говорю о писателях типа Игоря Яркевича или Егора Радова, даже рядом с Сашей Соколовым или Виктором Ерофеевым «Любовник или леди Чаттерлей» не мужчина, а облако в штанах. В том-то и дело, что ни «прорыва в XXI век», ни даже особого новаторства в «Голубом сале» нет. Были уже фантомы у Лема в «Солярисе». И попытки не просто переосмыслить историческую роль Гитлера или Сталина, а сконструировать их «психологические фотоработы» были — в киносценарии «Молоха» Юрия Арабова и в «Литзаписи» Нодара Джина «И. Сталин. Учитель», которую «ДН» опубликовала два года назад. Какие-то из тех задач, что пытается решить Сорокин, уже решены Юзом Алешковским, другие — в «Палисандрии» того же Саши Соколова, третьи — в пелевинском «Чапаеве и Пустоте»... Не побоюсь показаться «неактуальной»: я принадлежу к тем, кто по старинке считает, что этика, мораль — сердцевина, стержень и личности, и общества, а не шкурка, не шелуха и не обертка, которую можно снять и отбросить. Вам кажется нормальным, что человек пытается самоутверждаться за счет других людей?

В. Е.: Выхода нет. Очень тесен мир.

Н. И.: Не понимаю. Не понимаю, почему надо в буквальном смысле идти по трупам — в данном конкретном случае — Пастернака, Ахматовой, Толстого, Платонова... Ученые спорят об этичности клонирования — слишком велик риск ошибки и создания монстра. Сорокинская попытка создать литературные клоны — лишнее тому подтверждение. Польза отрицательного опыта — тем более что не в жизни, а на бумаге — наглядная, но ведь не эту ж гуманитарную задачу он перед собой ставил! Ну почему нельзя создавать нечто абсолютно свое, не вытапывавая чужое?

В. Е.: В том-то и дело, что в украинской литературе — возможно. А в русской уже нельзя. Русская литература, ее избыточность как раз и диктует такое поведение. Сорокин не мог иначе. В украинской литературе может быть иначе. В старой украинской литературе этичность тоже наличествует. Она всегда подпитывалась из России, из Москвы. Комплекс был перенесен на нашу почву. Причем на Украине он приобрел

карикатурную пафосность, то, от чего русскую литературу оберегал хороший вкус, выстроенный XIX веком. На Украине это превратилось в пафосные, слащавые картинки, никто этого не избежал из старых классиков. Я уж не говорю о каком-нибудь там Натане Рыбаке... Дешевая пафосность. Романтизм был хорош в романтическую эпоху, а в эпоху постмодерна во всем — от политики до ТВ — романтизм выглядит как желание снять штаны и показать всем зад. Это не романтика.

Н. И.: Простите, а у Сорокина это не такое же публичное «заголение»? Только раздевает других, насилует.

В. Е.: Что ему было делать? Я на месте Сорокина... нет, это очень смело, ставить себя на его место. Повторюсь: в такой литературе, как русская, это можно было сделать только за счет других. А какой объект для расчистки пространства выбрать, будет это, условно говоря, Пастернак или Ахматова — тут уж каприз творца, самого автора. Давно миновали времена блаженного Августина, когда можно было выйти в пустыню и идти куда глаза глядят. Мир крепко сжимает творческого человека в своих объятиях. В нем все меньше и меньше пустынь.

Н. И.: И прежние пустыни остались и даже разрослись, и новые, благодаря успехам научно-технического прогресса, появились. На месте Аральского моря, скажем. Конец второго тысячелетия — не освоенная литературой местность.

В. Е.: Но творца нельзя судить. Его можно не читать. Возможно, его судит Господь, когда он предстает перед ним. Сорокин хорошо, классно поигрался. Это впечатляет.

Но адаптация всякой заимствованной технологии так или иначе представляет определенную проблему. Должны появиться новые текстовые технологии, уже не заимствованные, а свои, которые бы ложились в русло канала украинского языка.

Например, все интересные поэты в Украине так или иначе зациклены на ритмике и эстетике Бродского. Интересно, да?

Н. И.: В России, кажется, молодые поэты уже Бродским переболели, украинские их коллеги идут тем же путем с отставанием в несколько лет.

В. Е.: Возможно. Но, может быть,

через Бродского, через Петербург, каким-то кружным путем, в Украину пришла Европа. Потому что Бродский — это соединение русского стиха с Джоном Донном, с английской ритмикой, с английской поэтикой. Может быть, через Бродского были прочувствованы какие-то кельтские корни. Бог его знает. На фестивале «Южный акцент», который проходил в мае в Москве, было замечено, что наш «станиславский феномен», вообще украинские поэты меньше тяготеют к верлибристике и более — к силлабо-тоническому стиху. Может быть, это особенность украинского языка, который по своему мелосу, мне кажется, менее поддается верлибризации, чем русский язык.

И в прозе идут поиски. Евгений Пашковский, например, пишет некий поток сознания, огромные куски прозы неструктурированной, стихийной. Раньше это у него лучше получалось, последний роман-эссе «Щоденний жезл» («Ежедневный жезл») — это уже невысокого уровня проза, а вот в первых романах, в «Бездне» например, были и лексические и синтаксические находки, и стратегические находки очень интересные. Идет поиск.

Опять же, во всем этом меня интересует созидание литературы.

Для украинской литературы одной из главных задач сейчас тоже является снятие этических координат. Начала это делать литературная группа «Бу-Ба-Бу». На мой взгляд, члены этой группы Юрий Андрухович, Виктор Неборак и Александр Романец продвинулись вперед сильно, причем в карнавальная эстетике, что было резонансно, созвучно ситуации разрушения империи. Разрушение империи — акт сакральный. Разрушая такие вещи, как империя, человек подсознательно чувствует, что за подобные деяния следует наказание. Внутренний, мистический страх он заглушает внешним смехом, карнавалом. «Бу-ба-бу» формализовала этот внешний смех очень качественно и красиво. Но теперь необходимо выйти в сферы чистой эстетики. Может быть, тоже по чьим-то головам. Собственно, меня самого обвиняют в том, что «Энциклопедия» (которую многие — в том числе и я сам — полагают скорее романом, чем энциклопедией) тоже сделана на костях каких-то людей. На костях — это, конечно, преувеличение, никто не повесился, слава

Богу, не утопился, и покойников я вроде не трогал, как христианин, я не позволяю себе таких вещей. Но обиженных очень много. И тоже говорят о вневечности.

Н. И.: Обиженных — чем?

В. Е.: Неприсутствием, например, в энциклопедии.

Н. И.: Не смертельно. Тем более что энциклопедия авторская, и значит, не может не быть субъективной.

В. Е.: Судить со стороны — да, не смертельно. И если бы «Энциклопедию» не заметили, все было бы нормально. Но так как она стала самой резонансной книгой года... Впрочем, если все-таки появится новая энциклопедия — исправленная и дополненная — «Процесс», фрагментом которой является «Малая энциклопедия», в нее войдут, скажем, Стус, Каминец, тот же Мельничук. Список имен не исчерпан.

Н. И.: Вы называете свою книгу «Энциклопедией актуальной литературы», а не современной?

В. Е.: Актуальной. Той, которая пребывает в дискурсе. Потому что современная литература — это уже временная координата. Если сегодня, например, Лина Костенко жива и пишет стихи — это уже современная литература. Я думаю, обиженных очень много. Можно и мне предъявить претензии. Не могу сказать, что я «вневечный» человек. Не понимаю, как можно бросить семью с двумя детьми и в то же время в своих книгах утверждать высокие этические ценности. Пусть я лучше буду невечен в тексте.

Н. И.: А вы считаете, что это может распадаться, что где-то человек может быть этичен, а где-то нет?

В. Е.: Я думаю, что этика не есть целостность в отличие от эстетики. Один и тот же человек может быть и этичен, и не этичен.

Н. И.: Творчество — полигон того, что не может быть прожито?

В. Е.: А почему бы и нет? Набоков — автор «Лолиты» — был верный семьянин. Кто-то говорил, что творчество — лекарство, что человек, если он готов к убийству, но не совершает его в реальности, убивает своего персонажа. Для меня это не сублимация, хотя мне нравится чисто эстетическая агрессия. Например, тот шум и вой, который подняли вокруг моей «энциклопедии» сейчас в Украине, мне нравятся. Чело-

век, лишенный агрессии, это уже не человек. В Украине долгие десятилетия существовала ситуация постоянного захваливания, когда литература превратилась в нечто совершенно импотентское, лишенное страсти, агрессии, даже качественной игры. Был нарратив во имя каких-то непонятных идеалов, по крайней мере мне непонятных. То, что люди задеты и пытаются нанести ответный удар, — хорошо. Я, собственно, лечу украинскую литературу от импотенции.

Н. И.: Подталкивая не созидать, а разрушать?

В. Е.: А агрессия может привести и к созиданию. Она ведь впрыскивает адреналин, а он может пойти и на созидательные цели. Механизм агрессии очень связан с механизмом деторождения, воспроизводящим механизм.

Не помню, кажется, кто-то из отцов постмодернизма говорил, что символами постмодернизма являются энциклопедия и лабиринт. И попытка создания этой книги — попытка создания лабиринта и энциклопедии одновременно. Книга создавалась как текст, который возможно было бы использовать даже в качестве учебного пособия, что сейчас и делают в Ровенском и Черновицком университетах. Как справочный материал для курса современной украинской литературы.

Второй план, более глубокий — энциклопедия как роман, как лабиринт. И это было прочитано людьми, писавшими рецензии. Хотя эта тема не была углублена в украинской критике. К сожалению, самый уязвимый пласт украинской литературы — литературная критика. Можно по пальцам сосчитать людей, которые способны качественно, грамотно и на современном уровне рефлексировать над текстом.

Н. И.: Кто эти считанные?

В. Е.: Кроме Рябчука можно назвать Игоря Бондаря-Терещенко, харьковского критика, он окончил два вуза, в том числе московский Литинститут, довольно хорошо владеет современной философской литературой. На подходе молодые авторы (например, такой Ростислав Сэнкив), но они пока еще очень молоды и несколько обалдели от количества литературы, которую надо прочитать. Все это они воспринимают как канон. Немножко смешно, конечно, Дерриду, который в каждом новом произведении отрицает предыдущее, ставить во главу методоло-

гии, как Маркса с Энгельсом в свое время. Это фельетон. Но мышление осталось прежним. И тот же Сэнкив может, например, предъявить такую претензию: а почему это не соответствует Барту или Дерриде? Еще один пласт лабиринта «романа-энциклопедии» — попытка спародировать, а в какой-то степени и компенсировать современную украинскую критику. А самый глубокий уровень пока еще никто не копнул — это философский трактат про демиургию, про новое в литературе и законы возникновения нового. Но для подобного прочтения нужно философское образование качественное, солидное, такого образования наши вузы пока не дают.

Н. И.: Вы прошли через этот лабиринт — и обрадовались или ужаснулись?

В. Е.: Ужас и радость где-то рядом, переплелись. Мне интересно, ужасаются или радуются читатели. А я больше радовался. Строителю-то известно, где вход, где выход. А вот тем, кто там заблудится, будет уже похуже. По моим наблюдениям, пока люди боятся идти дальше второго поворота. А отклики хорошие — злые, агрессивные, чего мне и хотелось. Значит, задело, значит, это настоящее. Хвалить у нас научились, а вот ругать украинские критики не умеют. Пусть на моей энциклопедии учатся ругать.

Н. И.: Точат когти?

В. Е.: Тем более что точить есть на чем.

Н. И.: А шкура выдержит?

В. Е.: Выдержит. Я же не нацелен на Шевченковскую премию.

Н. И.: ?..

В. Е.: Есть определенный сорт литераторов, которые еще в 25 лет себе наперед все выстраивают: к 40 годам я должен защитить докторскую, в 50 получить Шевченковскую премию и т. д. — значит, я не должен ссориться с тем, с тем и с тем, должен публиковаться там, там и там и не дай мне бог проколоться в том, том и том.

Н. И.: А чего вы хотите достичь к 50 годам?

В. Е.: По крайней мере я не должен буду думать о том, как заработать на хлеб насущный. Это, по-моему, самое главное. Снять бытовые проблемы и спокойно работать над текстами — такими, как я хочу, где мало конкретного и много демиургии.

Н. И.: «Энциклопедия» — последняя по времени ваша книга?

В. Е.: После нее вышла еще литературоведческая работа о романе Издрыка «Войцек». Но это небольшое исследование, выпущенное маленьким тиражом. Впрочем, тоже вызвавшее бурную реакцию критики, на сей раз для меня неожиданную. Видимо, «Энциклопедия» «подготовила» подобное восприятие и новой моей книги. Надо спешить, писать что-то еще, пока не забыли. Пишется нормально. Общение с московскими литераторами очень помогает: встречаясь в Москве с людьми, которые уже пошли в том направлении, куда я собирался идти, я понимаю, что, может, мне туда и не надо...

Николай Александров

Право оглянуться

Оценки собственного творчества, встречающиеся в его стихотворениях, подчеркнута самокритичны: «рабочий-кибер для создания стихов», «почерк скверный, стих хромой», «поэт безвестный поколения, сошедшего на нет без покаяния». Вещь в поэзии обыкновенная. Однако Александр Павлович Тимофеевский известностью действительно не избалован. Начиная с 80-х его печатали «Континент», «Стрелец», «Новый мир», в последние год-два его стихи выходили в «Дружбе народов» и журнале «Время и мы»; были изданы две книги стихов — «Зимующим птицам» (1991) и «Песня скорбных душой» (1998); подборка его стихотворений вошла в антологию «Самиздат века». Но то, что можно было бы считать успехом для дебютанта, вряд ли можно отнести к поэту давно сложившемуся, к человеку, разменявшему седьмой десяток. Если эти стихи и не прошли мимо читателя, то едва ли могут соперничать в популярности со знаменитой «Песенкой крокодила Гены», тоже, кстати сказать, далеко не у каждого ассоциирующейся с именем автора. Может быть, поэтому одна из публикаций Тимофеевского в журнале «Наша улица» названа «Пусть бегут неуклюже»: идти к неизвестному все же легче, отталкиваясь от знакомого. Впрочем, справедливо и обратное — впервые открытое и неведомое ранее заставляет иначе взглянуть и на то, что вроде бы хорошо известно. Иными словами, в контексте всего творчества Тимофеевского и знаменитый шлягер из детского мультфильма звучит по-другому. Грустная песенка. Дождь, неуклюжие прохожие — это реальность, а голубой вертолет, волшебник, бесплатное кино и 500 эскимо — бесплотные мечты. Но дело даже не в том, что волшебник не прилетит и никакого «вдруг» не случится, а в том, что и пометать об этом (уже счастье само по себе) можно только раз в году. Мгновенная сладость невоплотимых мечтаний (детской мечты), позволяющая забыть

неустроенность мира, оставленность и одиночество. Кстати сказать, другое прочтение «Песенки крокодила Гены» подсказывает и сам Тимофеевский. В своеобразном стихотворном коллаже «Интенсивный монтаж один», вошедшем в сборник «Песня скорбных душой», четверостишие «Я играю на гармошке/У прохожих на виду,/К сожаленью, день рожденья/Только раз в году» обрамлено следующими стихами: предваряют жалобы крокодила Гены строки «Сирано я, Сирано/— Откровенный растереха./Беззастенчивой эпохой/На меня насере-но»; а непосредственно после жалоб помещен не менее красноречивый фрагмент: «Я одинокий, одинокий,/И обделенный при дележке,/Как этот нищий одноногий,/Гремящий на своей тележке».

Лирика Тимофеевского окрашена в тона не слишком оптимистичные. Серые дни, дождь, «скука дождевая», неприютность, жизнь, слагающаяся из пошлых анекдотов, «дрязги, склоки и укоры», «ссор собачьи своры», «горький чад» отечества, кладбищенская тоска — при том, что кладбище скорее напоминает свалку, — невеселое созерцание российской действительности. В общем: «Родина закрыта на ремонт,/И, как предполагается, надолго». Узнаваемая некрасовская интонация и некрасовская поэтика, когда унылая реальность рождает уныние или, говоря языком XX века, — депрессию. Тимофеевский, правда, для обозначения того же понятия предпочитает другое слово — скорбь.

«Песня скорбных душой» называется одно из стихотворений и наиболее полное собрание лирики Тимофеевского. В стихотворении, построенном на цитатах из гоголевских «Записок сумасшедшего», название подчеркивает смысл старого выражения «скорбный душой», то есть душевнобольной, сумасшедший. («Один сумасшедший — напишет./Другой сумасшедший — прочтет.») Выставленное в качестве заглавия всего сборника, оно допускает и более общее понимание. Душевная скорбь — род печали, тоски. Это способ видения мира и отношение к нему; болезнь или расстройство души, порожденное расстрой-

Александр Тимофеевский. Песня скорбных душой. Книга стихотворений. М.: Книжный сад. 1998.

ством мира. «Может, все мы в России Поприщины?» — спрашивает автор, и ведь, в конце концов, и поприщинское безумие неразрывно связано с болью.

Душевная скорбь, выраженная открыто или прикрытая иронией, насмешкой, — едва ли не доминанта большинства стихотворений. Скорбь, продиктованная не только социальностью или политической актуальностью (которые составляют основную тему, например, «Писем в Париж о сущности любви»), хотя и об этом Тимофеевский пишет много, но скорбь, навеянная бытом в целом, несуразным и страшным существованием, в котором царит недоволенность, половинчатость, раздробленность бытия:

Там, где свалил меня запой,
На Трубной или Самотечной,
Я, непотребный и тупой,
Лежал в канавке водосточной.

Шел от меня блевотный дух,
И мне явился некий дух,
И он в меня свой взор вперил,
И крылья огненны расправил,
И полдуши он мне спалил,
А полдуши он мне оставил.
И было небо надо мной.

И в небе вился тучный рой,
Подобный рою тлей и мушек,
Душ, половинчатых душой,
И четверть душ и душ-осьмушек.

(«Песни восточных славян»)

Легкоузнаваемая ситуация пушкинского «Пророка», только перевернутая, точнее — искаженная, когда мучительное переживание собственного падения и несовершенства открывает падшесть мира, ад земного существования («И ангел их хлестал бичом,/И жег кипящим сургучом,/И пламень тек по этой моли,/Но пламень был им нипочем, —/Они не чувствовали боли...»). Ад, вошедший в повседневность, а потому вроде бы и не ощущаемый, обыденный, привычный. В сущности, обыденность, съедающая жизнь без остатка, и есть его часть:

Все, что в этой жизни нужно,
Нам судьба наворожит:
Половина жизни — служба,
Половина жизни — быт,
Что от этого осталось,
То и нам с тобой досталось,
Нам одним принадлежит.

Но в лирике Тимофеевского оказывается, что в остатке жизни, разделенной на быт и службу, — все та же недоволенность, то, что могло случиться и не

случилось: несовершенные поступки, не реализовавшиеся мечты, любовь, не сумевшая стать любовью. Воспоминания о том, что не свершилось, одна из главных тем его лирики:

Спешу, сгорая от стыда,
Считать свои непопаданья
И думаю, зачем тогда
Я не явился на свиданье.

Или:

И ночи в памяти стираются
Все те, что были и случились.
И навсегда запоминаются
Лишь те, которые не сбылись.

Прошлое тем и замечательно, что в нем остались надежды и силы. Прошлое само оказалось мечтой, которой не суждено воплотиться, пасьянсом, которму уже никогда не сойтись:

Все дни мои как карты
На ломберном столе.
Печали и обиды,
И радости, и смех —
И все они открыты,
И все картинкой вверх.

Прошлое так к себе влечет, потому что в нем осталась возможность выбирать и мечтать. В этом его ценность. И неудивительно, что прошлое, пусть и погруженное все в тот же бытовой ад, заставляет постоянно оглядываться на себя. Настоячивое возвращение назад, в безвозвратно ушедшее значит в лирике Тимофеевского больше, чем просто воспоминание, ретроспективная рефлексия, но претендует быть мифом, основой и экзистенциальным основанием личности. На этом построено одно из наиболее сильных стихотворений поэта — «Орфей»:

Смысл испытанья слишком прям,
В нем нету никакой загадки:
Доверить всю тебя богам
Без размышленья, без оглядки.
Души неудержимый бег
Сдержать, остановить, умерить.
Мое стремление к тебе
Незримым призракам доверить.
Ни разу взор не повернуть
К тебе, не дать свободу глазу,
Едва вступив на этот путь,
И до скончания. Ни разу.
Ту, в чьих глазах я жизни свет
Зажег в аидовом чертоге,
Бережь — не смей, любить — не смей,
Как это выполнить, о боги?! <...>

Это и есть лирический герой Тимофеевского — постоянно оглядывающийся Орфей, оплакивающий свою потерю и отстаивающий свое право оглянуться.

Илья Кукулин

Кочевье слов на улицах и побережьях

Начиная с 1960-х годов Польша и польская культура приобрели особый смысл для российских свободомыслящих людей.

Мы связаны, поляки, навек одной судьбой —
в прощаньи и в прощеньи, и в смехе,
и в слезах...

(Булат Окуджава)

Естественно, интересны тогда были и Италия (через фильмы неореалистов, например), и, например, США, и вообще для разных людей были значимы разные страны. Но Польша, польская культура и польское Соппротивление были важны для довольно широкого круга.

Причины этой завороченности польской культурой до сих пор не вполне понятны. Потому что, с одной стороны, это был «разрешенный Запад», и возможность некоторой свободы шла именно через Польшу. Но не только. Кажется, было еще одно ощущение, которое шло и через фильмы Анджея Вайды, и через рассказы о польском Соппротивлении, и через другие «образы Польши». Это ощущение отсутствующей и невозможной родины. Польские партизаны — люди на горячей земле (начало фильма Анджея Вайды «Канал»). Земля горячая и чужая, и не может быть моей. Довоенная жизнь — тот свет. («Довоенная эра —/затонувшая Атлантида» — из стихотворения Владимира Бурича, 60-е годы.)

Польша была важна и сама по себе, и как источник этого ощущения. И плюс, конечно, возможность жизни, не принадлежащей себе, самой себе чужой и внезапно счастливой, на нескольких ветрах. Мы школьники, Агнешка. И скоро перемена. И чья-то радиолка наигрывает твист.

В стихотворениях и поэмах Сергея Морейно (р.1964) Польша упоминается часто. Впрочем, еще больше в них упоминается Латвия — что неудивительно, потому что Морейно прожил в Латвии много лет¹ (сейчас он живет в

основном в Москве). Вообще для его текстов важен антураж, который можно назвать восточноевропейским. Черепичные крыши, старые города, узкие улицы. Но еще и ощущение исторической многослойности места — перемешаны разные культуры. И странная бесприютная жизнь в хорошо знакомых и обжитых местах.

(Восприятие Польши в русской нонконформистской культуре от 60-х годов до конца 80-х несколько раз менялось — хотя бы из-за выступлений рабочих конца 70-х и последовавшего военного положения. Морейно — автор новый, его герой — совсем не партизан Вайды и не школьник Окуджава. Но вот какое-то похожее ощущение есть, совсем на другой основе, чем в 60-е, но есть.)

Сергей Морейно пишет не отдельные стихотворения, а циклы. В последние годы он пишет в основном большие поэмы. «Орден», первая его книга, представляет его избранные произведения с 90-го по 96-й год.

Одно из важных, кажется, свойств произведений Морейно: их персонажи — всегда странники.

Дорога.

Нас соединяет дорога.

Все идут по ней:

сборщик податей и погонщик мулов.

Влекомые неясной целью,

воспоминанием, пузырьками в крови.

(«Католическая поэма»)

Персонажи Морейно не прикреплены к определенному месту. Но у них есть привязанности. Есть города, наполненные временами — временами воспоминаний и временами других веков — с любимыми улицами и кафе. Это чужой город, но он часть жизни. Есть персонажи преданий и литературные герои, которые становятся как бы странами, по которым можно путешествовать. Герой Морейно «укоренен» не в месте, а в обращении к другому человеку. И женщину, в которую он влюблен, он помнит потому, что его поддерживают в жизни царь Давид, святой Франциск и скандинавские викинги.

¹ Морейно Сергей. Орден. Стихотворения. М.: АРГО-РИСК, 1999.

¹ Морейно превосходно знает и переводит латышскую поэзию, а также польскую и немецкую.

и только лишь если руки твои
сомкнутся быстротекущими водами
над моими плечами

я возвращаюсь

в дом без греха
в час до распятыя
в садик братца Франциска

в кольце твоих рук, сестра,
по гулким дворам
ходил брат-старьевщик

шурум-бурум
старье берем

(«Метаморфозы»)

Разорванное пространство путешественников и многослойное время истории неуловимо перетекают друг в друга. Их встречи-расставания (например, хождения средневековых викингов по базарам Аравии — они в самом деле туда доплывали) обступают персонажей-кочевников, как родные и недоступные острова.

Над морем запросто летают чайки Турн и Таксис («Католическая поэма»). Они напоминают о немецкой графине Марии Турн-унд-Таксис Гогенлоэ, владелице замка Дуино на берегу Адриатики, — замка, в котором Райнер-Мария Рильке начал писать самое величественное свое произведение — «Дуинские элегии».

Персонаж Морейно оказывается призрачным и огромным, пронизывающим времена и объединяющим события.

Я — Давид, сын Давидов, отец Давидов
корень Иессев, застрельщик
филистимлянского ада
идол римлян, расчтетший календы и иды
первый выученик Галаада

(«Ночные куплеты Арлекина»)

Оттого и возможно назвать одно из стихотворений «Рождество Сергея Морейно»: это и Рождество, которое празднует Сергей Морейно, и возрождение человека в Боге.

Люди пронизывают историю, как огромное растущее дерево. Для Морейно очень важны мифологические образы великого дерева, рыб или птиц. Существенно, что эти метафоры автор не воспринимает как свои собственные: автор-Морейно скорее воспринимает их источниками народные песни и философски насыщенную мифологию. Это образы, которые задолго до нас возникли и долго еще будут существовать. Но можно воспеть личное, именно твое, здесь и сейчас усматриваемое дерево,

или рыб-странниц, или огонь, которые сейчас вдруг отозвались из круговорота.

Ты под сердцем пока лежишь —
алый плод, голубой магнит.
А серебряные ножи
режут плоть, и судьба хранит.

Море в тающих берегах
расправляется с храбрецом,
и русалка плывет в стогах
с удивленным твоим лицом.

(«Берег памяти»)

Интонация Морейно разнообразна и подвижна. Она формируется в чередовании разных мелодических фрагментов. Соединяются разные жанры. То это похоже на сложный монолог свободным стихом, то более «литературно», то более «разговорно», то стих более жесткий и печальный, то напоминает стилизованную песенку (см. выше). Но между разными фрагментами нет четких границ, это все существует в едином потоке — мерцающей, текучей и многослойной речи.

Иногда в поэмах Морейно появляется традиционный романтический антураж: «арфа над водой, над лучом волна» — но все странно сдвинуто и смещено, не всегда зрительно представимо. Образы становятся странно легкими, летящими. Они могут стать основой для метафорики, но могут и не стать — скорее, они приобретают неуловимую связь с песней, в которой главное не в словах.

У Морейно часто встречаются уменьшительные суффиксы («В Израиль, как и в Польшу, приходит осень,/ одета в батничек, джинсики, туфли, косынку»), из-за которых слова более текучи, меньше связаны с предметом. То есть связаны, но не совсем. Самостоятельное значение приобретает интонация.

Одна из главных тем поэзии Морейно — неполнота человека, его обращенность к другому человеку и к Богу. Человек состоит как бы из многих людей, они переговариваются, но их встреча открыта миру караванных троп и пешеходных улиц, по которому они скитаются. Самое большое произведение сборника (и, видимо, одно из важнейших во всем творчестве Морейно) «Католическая поэма» состоит из монологов Женщины, Мужчины и Ребенка. Каждый — самостоятельный голос, и каждый — голос автора. Автор существует в нескольких голосах.

Географическое разнообразие поэм

и циклов Морейно становится основой для осознания «внутренних пространств», внутренних — в человеке — образов Востока, европейского города, берега моря. Внутреннее пространство и внешнее — разноприродны, но связаны, обращены одно к другому.

В произведениях Морейно вновь и вновь возникает проблема: как существует болезненная и страшноватая обращенность человека к другим людям, и еще более невероятное — существование человека перед Богом.

Истоки, происхождение поэзии Морейно проследить сложно. Некоторое родство, кажется, есть с ранним творчеством великого польского поэта Чеслава Милоша¹ и, может быть, Юлиана Тувима. Хотя на Морейно повлияла не

только польская, но и вообще европейская поэтическая традиция.

(Рискну предположить, что отдаленные переклички с ранним творчеством Бродского, которые иногда слышатся в стихах Морейно, могут быть объяснены не столько влиянием Бродского, сколько тем, что и Бродский пережил в молодости увлечение польской поэзией — Циприаном Норвидом, например.)

Тексты эти существуют в контексте «сложной» европейской поэзии XX века — многослойных, с мифологическими отсылками, циклов и поэм, которые развиваются аналогично большой музыкальной форме с разными ритмами и лейтмотивами, — «Бал в опере» Юлиана Тувима, «Четыре квартета» Томаса С. Элиота, «Орфей и Эвридика» латыша Кнута Скуниекса.

Владимир Корнилов

Званные и избранные

Скажу сразу: книга Тамары Жирмунской «Библия и русская поэзия» мне очень понравилась, хотя далеко не во всем я согласен с автором. По поводу Библии спорить не буду, но по поводу выбранных Т. Жирмунской поэтов — попробую.

Разумеется, поэзия — не наука, и выбор поэтов всегда субъективен, точно так же, как оценка этого выбора. Впрочем, если бы книга не вызывала полярных чувств, о ней вряд ли было бы интересно писать.

В своей антологии «Строфы века» Евгений Евтушенко сказал о Жирмунской: «Всегда распространяла еще в институтских коридорах и до сих пор вокруг себя ауру любви к людям, к поэзии».

Это действительно так, но еще она написала замечательное стихотворение «Район моей любви», одно из самых отрадных свидетельств первой *оттепели*:

Молчи,
Район моей любви —
Четырнадцать кварталов счастья!
Меня за локоть не лови —

¹ Лауреата Нобелевской премии по литературе.

Тамара Жирмунская. Библия и русская поэзия. М.: Изограф, 1999.

Я не хочу с тобой встречаться
Ни утром,

ни в разгаре дня
(А вечера теперь короче!).
Ты не разыгрывай меня
И не разгуливай до ночи.
Не засекай,

район любви,
Меня на каждом перекрестке,
В пролеты лестниц не зови,
Не пачкай в краске и в известке,
Не отводи оконных глаз
И не топи в тени скамеек...
Ты это делал тыщи раз —
Ты не откроешь мне америк!

1960

В этом, написанном четыре десятилетия назад стихе ничего о хрущевских послаблениях вроде бы и не сказано. Это просто жалоба, отклик неопытной девушки на неразделенную, возможно, первую любовь. (Позднее Жирмунская в своей написанной с редким для этого жанра волнением мемуарной книге «Мы — счастливые люди» *расшифрует* эти стихи, но они все равно останутся шире и глубже воспоминаний.)

Почему это стихотворение кажется мне *оттепельным*? Оно ведь пережило и первую эпоху перемен, и вторую, и, надеюсь, будет еще долго радовать чита-

телей поэзии. Потому что именно так могла чувствовать девушка того очень короткого отрезка времени. И это удивительно тонкое и пластичное стихотворение, написанное о вечном, сохраняет приметы далекого, как потом назвали, *шестидесятничества*. Впрочем, это слово неоднозначно понимают современники, и оно вряд ли что-либо объяснит потомкам. Просто для предыдущей — сталинской — эпохи стихотворение чересчур раскованно, а для последующих времен, пожалуй, слишком целомудренно. Короче, оно памятник того краткого времени, когда люди впервые глотнули свободы, но не всеми легкими, а лишь чуть-чуть. О «Районе моей любви» можно писать много, и, безусловно, кто-нибудь со временем это сделает, но я веду разговор о недавно вышедшей книге «Библия и русская поэзия».

Редко кто из моих современников так любит и помнит стихи, как Жирмунская. Когда я читал ее работу, у меня в голове все время вертелась строка Смелякова «Я своих поэтов знаю наизусть». И так продолжалось на протяжении двух третей книги, пока Жирмунская писала о *моих* поэтах, которые были и *ее*, то есть *нашими* поэтами.

Изложу свои впечатления по порядку.

В двадцатой главе Евангелия от Матфея сказано: «Ибо Царство Небесное подобно хозяину дома, который вышел рано поутру нанять работников в виноградник свой...» (стих 1), и далее (стих 16): «Так будут последние первыми, и первые последними; ибо много званых, а мало избранных».

Но русская поэзия, хотя она и многим обязана и Ветхому Завету и Новому, все-таки не обещание Царствия Небесного. В ней свои ценности, свои вершины и провалы, словом, своя мера. Недаром Пушкин (которого сейчас многие всеми силами пытаются превратить в Гоголя периода «Выбранных мест из переписки с друзьями») писал: «Поэзия выше нравственности или, по крайней мере, совсем иное дело».

Итак, два мира — Библия и русская поэзия — уже лет двести сосуществуют параллельно, сошлись в работе Тамары Жирмунской. Поначалу такая встреча никаких сшибок не предвещала. Наоборот, произведение, посвященное специальной теме, читалось взахлеб. Жирмунская проявила незаурядные способности прозаика. Тредиаковский, Сумароков и Ломоносов — с них начинается книга — были в ней не только поэтами, но и живыми людьми. И в беседе о

Державине поэт оставался «живым и только до конца».

И беседа о Жуковском тоже хороша, хотя, на мой взгляд, чересчур много места уделялось не Жуковскому-поэту, а Жуковскому — воспитателю наследника, что уже смутно начинало тревожить. Ведь талант Жуковского, опять-таки на мой взгляд, на несколько порядков уступает поэтической мощи Державина. Впрочем, Жуковского любил Пушкин (он писал Рылееву в январе 1825 г.: «... не совсем соглашаюсь со строгим приговором о Жуковском. Зачем кусать нам груди кормилицы нашей; потому что зубки прорезались?», хотя своего предшественника Державина все-таки покусывал). Любил Жуковского и Лермонтов (он писал в своем предсмертном письме: «Прошу Вас также, милая бабушка, купите мне полное собрание сочинений Жуковского последнего издания и пришлите сюда тотчас»).

Несомненно, без Жуковского русская поэзия была бы иной. Однако между двух вершин, между Державиным и Пушкиным, он выглядит скорее как впадина. И беседу о Жуковском я не отнес бы к удачам, прежде всего, потому, что сам Жуковский как поэт не позволяет книге набрать высоту. И эта глава — скорее, отдых, привал перед следующим подъемом.

Зато повествование о Батюшкове — замечательно. Снова побеждают любовь Жирмунской к стихам и ее талант прозаика. Оттого-то Батюшков, поэт и страдалец, вырастает гигантской трагической фигурой. Эта, одна из лучших бесед, прочитывается на одном дыхании и прекрасно движет вновь набирающую мощь книгу. Здесь еще Библия не мешает поэзии, поскольку Т. Жирмунская поровну предоставляет слово обеим: «... на вопрос, был ли Батюшков верующим христианином, можно было бы с уверенностью ответить "да", если бы... если бы в 1821 году он не написал свое известное стихотворение:

Ты знаешь, что изрек,
Прощаясь с жизнью, седой Мельхиседек?
Рабом родится человек,
Рабом в могилу ляжет,
И смерть ему едва ли скажет,
Зачем он шел долиной чудной слез,
Страдал, рыдал, терпел, исчез.

Слова ветхозаветного персонажа Мельхиседека, царя-первосвященника, кстати, придуманные русским поэтом, вроде бы не оставляют человеку никаких на-

дежд. Дата под стихами — спорная, но я принимаю ее, потому что именно в 1821 году прогрессирующая душевная болезнь взяла поэта за горло. "Черный" человек победил».

Тут я бы поспорил с автором. Если такое отношение к жизни принять за сумасшествие, то вряд ли кого, кроме Державина, Пушкина, Пастернака и Есенина, в русской поэзии можно считать здоровыми. Впрочем, в жизни Есенин был очень больным человеком.

О Пушкине Жирмунской писать было трудно. Как пелось в романсе — «о любви не говори, о ней все сказано», попробуй сделать открытие в пушкинстике! К тому же Жирмунскую подстерегали всевозможные капканы и волчьи ямы... Чего, скажем, стоила «Гавриилиада», которой боготворившая Пушкина Ахматова наотрез отказывала в поэтических достоинствах! Однако Жирмунская отважно и достойно, не покрывив душой, прошла между разнообразными Сциллами и Харибдами пушкинского афеизма, завершив беседу не «Отцами пустынноиками», которыми обычно многие доказывают победу веры над безверием, а стихотворением «Жил на свете рыцарь бедный...», что неожиданней и, кстати, достоверней и убедительней.

Очень сильна художественно, и, помимо, даже в литературоведческом плане, беседа о Баратынском¹. Этого поэта я открыл для себя сравнительно недавно. А около сорока лет назад, споря целую ночь с Иосифом Бродским, я называл Баратынского *сорным* поэтом, приводя в доказательство строку «Болящий дух врачует песнопенье», где грамматически не очень ясно, кто кого *врачует*. Это привело Бродского в неистовство, и он резко обрушился на Пастернака именно потому, что я противопоставлял его Баратынскому.

И сейчас, когда Бродского уже нет в живых, я все не перестаю удивляться, как это он, двадцатидвухлетний юноша, так глубоко понимал поэзию Баратынского, едва ли не самого загадочного русского поэта, и любил его, пожалуй, даже сильнее, чем Пушкина. Мне и сегодня в Баратынском многое неясно. Например, стихотворение «Недоносок». Я понимал, что оно замечательное и что в нем скрыто нечто очень важное, но что именно, до книги Жирмунской догадаться не мог. Она, на мой взгляд, блистательно разобрала это стихотворение:

«По Боратынскому, недовершенно земное создание, недочеловек, осознающий, что он жил как не жил и вот волею рока скоротечно выбыл из жизни, неразвитое семя духа, выброшенное, подобно недоноску, в инопространство, не в силах воспользоваться свободой и другими благами, что предоставляет вечность.

Отбыл он без бытия:
Роковая скоротечность!
В тягость роскошь мне твоя,
О бессмысленная вечность!

Даже вечность для него бессмысленна! Цензор-догматик обиделся за "вечность", не уловив парящей мысли поэта, и принудил его к уплощающей смысл правке: "В тягость твой простор, о вечности!"

"Недоносок" написан от первого лица. Мы можем только гадать, был ли это поэтический прием? Или страх перед собственным посмертным уделом?"

Думаю, то, что сказано о Баратынском, можно сказать, кроме Державина и Пушкина, обо всех русских поэтах. Державин и Пушкин, видимо, были другой породы, другого замеса. Они не протестовали против эпохи, они сами были эпохой. И если их работу позволительно сравнить с Книгой Бытия, то работа других лириков, хотя и великая, все-таки *книга жалоб*.

Беседы о Тютчеве и Лермонтове тоже написаны свободно и потому хороши. Здесь Библия не подавляет поэзию — слишком мощны поэты! — и Жирмунская дает простор их *богоборчеству*. Она цитирует, например, тютчевские строки:

«Не дай нам духу празднословья!»
Итак, от нынешнего дня
Ты в силу нашего условия
Молить не требуй от меня...

Она возражает даже авторитетной «Лермонтовской энциклопедии», где в статье о «Демоне» сказано: «...везде повествователь свидетельствует против губительного демонического своеволия, против смертоносной прививки демонического опыта и противопоставляет опозитизированной "муке демонизма"... поэзию доброжелательного обживания мира и сочувственной человечности». Жирмунская отвечает тактично и достойно: «Заключение — чисто христианское и по сути, вероятно, справедливое, но уж очень не вяжется с мятежным духом

¹ Жирмунская предпочитает написание Баратынский.

Лермонтова... У поэта прорыв к свету происходит как-то по-другому — через катарсис, через великую муку, граничащую с гибелью, и только потому мы ему верим».

Повторяя известную истину, что лермонтовский «Пророк» скрыто полемизирует с пушкинским «Пророком», Жирмунская делает неожиданный и отважный вывод: «Приходится признать: герой Лермонтова ближе к библейским пророкам именно погибельной опасностью своей миссии... Надо ли лишний раз напоминать судьбы тех писателей и мыслителей, что в XX веке, особенно в России после 17-го года, вздумали "провозглашать" "любви и правды чистые ученья"?» Но тут же как бы останавливает себя: «И все-таки венчать главу о Лермонтове должно что-то другое. В сокровенных глубинах нашей темы преобладающее». И заканчивает беседу рассказом о том, как бабушка поэта «распорядилась особым образом расписать купол "усыпальницы семейственной" в Тарханах, поместив в центре композиции лик Михаила Архангела, списанного... с портрета внука... Пусть наивно, с явным перебором, но зримо и окончательно Елизавета Алексеевна ответила на вопрос, к какому воинству принадлежал гений Лермонтова. Даже удивительно, как тонко она поняла своего внука. На такое проникновение в суть вещей способна только любовь».

Если бы книга завершилась этой главой, автора можно было бы поздравить с замечательной работой, в которой и Библия, и русская поэзия выступают как бы *на равных*. И этим Т. Жирмунская их не развела, а, наоборот, сроднила. Тут бы ей и остановиться...

Но четыре последних главы-беседы Жирмунская посвятила графу Алексею Константиновичу Толстому, Владимиру Соловьеву, великому князю Константину Романову, более известному под инициалами К. Р., и, наконец, Александру Блоку. Из всех перечисленных только последний, на мой взгляд, имел право как поэт войти в число *избранных*. Трое первых вошли в книгу, так сказать, по *квоте* Библии.

Повторюсь: до сих пор Жирмунская писала о *моих*, о *наших* поэтах. Для нее в них была важна не столько тема, сколько мощь поэзии. На мой взгляд (возможно, я и ошибаюсь), *стихотворца* делает *поэтом* не избранная им тема, а талант и состояние души. Сама же тема (опять-таки по моему мнению) занимает в поэзии третьестепенное место. Поэтому, увидев в одном ряду великих поэтов

и людей *темы*, я испытал досаду. И мне стало (снова по Смелякову!) «обидно за моих поэтов».

Правда, случай с А. К. Толстым несколько иной. Несмотря на то, что Лев Толстой назвал Алексея Константиновича Толстого *искусственным и прозаическим стихотворцем*, и с гением как бы не поспоришь, я все-таки рискну заметить, что А.К. Толстой вовсе неплох, а как сатирический поэт просто замечателен. Без всяких скидок его можно назвать первопроходцем русской сатирической поэзии. Его мощный талант виден, прежде всего, в «Богатыре Потокке», «Истории государства Российского...», «Сне Попова», «Бунте в Ватикане», но уж никак не в поэмах «Иоанн Дамаскин» и «Грешница». На мой взгляд, обе поэмы написаны без энергии и достаточно скучноваты: «Ее и серги и запястья,/Звеня, к восторгам сладострастья,/К утехам пламенным зовут,/Алмазы блещут там и тут...» Впрочем, в «Иоанне Дамаскине» есть сильные строфы, но в целом и эта поэма не удалась.

Владимир Соловьев, личность светлая, философ выдающийся, но поэт все-таки не сильный: «Алтарь открыт... Но где священник, дьякон?/И где толпа молящихся людей?/Страстей поток, — бесследно вдруг иссяк он./Лазурь кругом, лазурь в душе моей». Не знаю, как тут насчет Библии, но насчет поэзии слабовато.

И вовсе трудно причислить к *избранным* Константина Романова (К.Р.). Видимо, он был человек приличный, что не часто встречается среди представителей правящих династий, но это не дает ему, автору весьма слабых романсовых текстов, права стоять в одном ряду с великими лириками. И довольно посредственная, а главное, скучнейшая его драма «Царь Иудейский», хотя и связана с Библией, никакого отношения к русскому стиху не имеет. Что ж, русская поэзия не Царствие Небесное; доступ в нее открыт далеко не всем, а для К.Р. там не найдется места даже на обочине...

Мне кажется, что неудача этих нескольких глав как бы запрограммирована самой Жирмунской. Она вдруг на какое-то время словно забыла, что она поэтесса. Читая эти главы, я невольно вспомнил толстовскую княжну Марью. Героиня «Войны и мира» мечтала уйти из дому вместе со странниками и странницами, однако «ослабевала в своем намерении, потихоньку плакала и чувствовала, что она великая грешница: любила отца и племянника больше, чем Бога».

Тамара Жирмунская, при своем несомненном таланте и горячей любви к стихам, насильно себя скрутив, не сумела выдержать равновесия между двумя крылами своей работы — Библией и

русской поэзией. От этого ее книга, поначалу высоко взлетевшая, подобно птице, не удержалась на прежней высоте. И все-таки не забудем, что долгое время полет был превосходным, да и книга в целом — тоже.

Валерий Липневич

Территория здравого смысла

Если предыдущая книга Алексея Алевина «По воскресной Европе» была снабжена подзаголовком — картинка, то в новой эта картинность подчеркнута самим заглавием (пиктография — рисуночное письмо). Поэт предъясняет читателю прежде всего зрительный ряд: вижу, следовательно, воспринимаю — и, как следствие — существую. И читатель разделяет эту уверенность. Разнообразие мира, разворачиваемое автором, восхищает и завораживает.

Но путешествия — «радость дороги» — не превращаются в досудее туристское скольжение, восприятие поэта оснащено мудростью тысячелетий, незаметной глазу, но существующей в пространствах духовного мира. Кстати, вода, которая делает очевидной не только грязь на своей поверхности, но и наличие глубины и дна — то есть сокровенного, — одна из самых любимых стихий поэта. В итоге возникает не только широкая, но и многомерная картина мира, в которой день сегодняшний — с точки зрения Египетских пирамид или Вавилонской башни — не кажется чем-то исключительным. Нежданые перемены и трагические катаклизмы — постоянный аккомпанемент человеческого бытия. Да, избалованные почти полувеком относительно спокойного существования, мы вдруг оказались вместо привычного и безопасного бассейна с хлорированной водой в открытое море. И на корабле, который терпит бедствие.

«Корабль дураков», где «семь палуб для чистых и семь для нечистых», набитый пассажирами, становится у поэта символом цивилизации, того пенного бурления, с которым она самоуверенно устремляется в грядущее. К своему айсбергу. «Титаник» — вот ее образ на исходе второго тысячелетия.

Алексей Алевин. Пиктограммы. М., ЗАО «РИК Русанова», 1999.

Если большие тексты («Новые времена», «Золотые рыбки», «Корабль дураков») — в сущности, поэтические кинохроники — дают панорамное видение мира, то малые предлагают его детальное крупноплановое исследование («Детство Дон Кихота», «Идея полета»). Хоть в формальном отношении Алевин наследует и Уитмену, и Аполлинеру, но это не заимствования эпигона. Он использует опыт предшественников так, как и подобает использовать: берет то, что нужно, и в той мере, в какой требуется — для его собственных и сегодняшних задач. Для поэта оказался чрезвычайно плодотворным — методобразующим — аполлинеровский опыт передачи симультанных событий параллельными рядами отрывочных стихов, представляющих собой назывные предложения. Поэт настаивает на принципиальной одновременности всего происходящего: существует только *сегодня*. Человеку подвластны все времена — но, разумеется, лишь тогда, когда он крепко сжимает в руках день настоящий. За оптимизмом поэта — энергия нового класса, невольно подзаоряющая, как всегда бывает, и тех, у кого нет этой энергии (а также будущего — и уж тем более настоящего). Правда, от владения настоящим до жалкого стремления жить одним днем — как у «новых русских» — только шаг. Но поэт честно пытается поделиться тем, что у него есть, — культурой восприятия. Особенно заметно это в книге «По воскресной Европе», которую приличные туристические фирмы должны продавать вместе с путеводителями.

В какой-то мере именно симультанность подводит поэта и к утверждению равноценности всего происходящего: ведь все обито патиной остановленного мгновенья. На пиру жизни равны все: боги, рептилии, религии, рыбы, «урки из Ура», банкиры, культуры, бабочки. Такой урав-

нительный, отрицающий иерархию подход к реальности. «Лишь как эстетический феномен бытие и мир оправданы в вечности» — «так говорил» Ф. Ницше. Впрочем, поклонение красоте не доходит у Алехина до эстетизма, расщепляющего нравственное и эстетическое. Он, как всегда, остается на территории здравого смысла и тяготеет скорее к декоративности, на что и намекает стихотворение, посвященное Матиссу. Красота для поэта — импульс не столько к наслаждению, сколько к познанию. Поэтому «полет бабочки/похож/на брошенный зигзагами по траве складной метр/Иосифа-плотника». Сравнения поэта «приковывают» явления, останавливают — что также вытекает из его концепции единого времени. Безусловно, на фоне принципиального художественного эклектизма нашего времени цельность и непротиворечивость поэтического мира Алехина вызывает уважение. Изобразительность дорога поэту не сама по себе, но лишь той косточкой смысла, который в ней таится. Именно поэтому — пиктограммы. Ракушки, повторяющие форму живого, напоминающие о нем вечно. Впрочем, последовательно «пиктографичен» Алехин только в маленьких стихотворениях, где чувствуется его любовь и к китайской и японской поэзии. Традиции Запада и Востока органично соединяются в его стихотворениях.

Опора на изобразительность выдает близость и тайную тягу к прозе. «Гашню поэзии пашут воли/вдохновение —/птичка на сросшихся плоских рогах/ти-у, ти-у...» Пегаса запрячь трудновато. В какой-то мере прозаичность провоцируется и свободным стихом, убежденным сторонником которого остается Алехин, и самой реальностью, со все возрастающей экспансией «прозы» в духовную жизнь человека. Даже эмоция, как замечают ученые, становится в наше время интеллектуальной. Тут уже не может быть и речи об экстатичности, одержимости, позе поэта-пророка. Позиция «внятного увещателя» кажется сегодня много продуктивней. Люди предпочитают знать, куда их увлекают. Соблазн веры — всем вместе, толпой, за пастухом — все больше осознается как только соблазн, лишь усугубляющий ситуацию. Сказался в этом и политический опыт последних лет, попытка бездумно сменить одну веру другой («а мы вам так верили, Борис Николаевич!»).

При всей парадной религиозности (точнее, обильной церковности, доходящей до пародийности) наше время можно назвать школой нетеизма. Боги, собравшиеся в стихотворении «Торжество», похожи то ли на сегодняшних

членов дворянского собрания, то ли на клуб бывших секретарей райкома или иной опростоволосившейся номенклатуры. «Над сценой приветственный лозунг с досадно обвисшим углом: /«Да здравствует 2000-летие со дня рождения Иисуса Хрис...»/виновник торжества в плохо сидящем сером костюме от «Большевички»/ галстук завязан коротковато/смущенно кивает через оркестровую яму входящим /еле слышно отвечая на поздравления знакомых:/«Спасибо, Понтий...» Все привычно-рутинно, от юбилея к юбилею. Отсутствие одержимости, религиозного экстаза, периодически уносящего миллионы жизней, очевидно, приводит к либеральной терпимости. Религия остается индивидуальной нишей, одним из возможных — иногда единственным — вариантом психотерапии. Но, превращаясь в личное дело, она теряет свой могучий тоталитарный смысл, становится старомодным реквизитом новых организующих и всепроникающих технологий власти...

Вереницы выпуклых, рельефных образов, их неявное взаимодействие, исключаящее давление на читателя — к нему мы болезненно чутки («синдром раба»), — дают «пищу» для размышлений, в русле авторских или по контрасту с ними. Настраивает на сотворчество и ровная благожелательная интонация: никакой экзальтации, никаких уступок хаосу, бескультурии, тому безответственно-боссяцкому умонастроению, которое все еще характерно для значительной части «творческой интеллигенции». Ирония, живущая в структуре текстов, остается лишь выхлопным клапаном пафоса, почти античной торжественности, присущей поэту. Благодаря дистанции по отношению к сегодняшнему дню и недавнему прошлому, достигаемой с помощью призмы культуры, поэту удается схватить явление в единстве противоречий. Светлые и темные начала явлены в его стихах неизоллированно, но именно так, как они живут, взаимодействуя и переплетаясь, в самой реальности, лишая нас возможности бездумного и рубящего суждения.

В новой книге А. Алехин еще раз подтвердил, что поэзия заключена непосредственно в жизни человека, в его мыслях и чувствах, в его подходе к окружающему миру, то есть в том, что символист Верлен презрительно окреслит — литература. А мы можем добавить: и философия. В случае с Алехиным — философия здравого смысла, терпящая в наши дни всяческие унижения, но вовсе не оставляющая нас на произвол глупости и безрассудства.

Елена Макарова

«Когда меня не будет»

Памяти поэта Айзенштадта

В октябре 81-го года Вениамин Айзенштадт, его жена Клавдия Тимофеевна и мой папа, Григорий Корин, сфотографировались в Минске. На диване, на фоне светлой стены. Вспышка сделала папину рубашку и руки Клавдии Тимофеевны белоснежными, а живот Вениамина Михайловича еще более внушительным.

Лица, попавшие в тень, выглядят благостно. Три добрейшие улыбки — папина открытая, Клавдии Тимофеевны, по-женски заботливая, и Вениамина Михайловича, спрятанная под щеткой усов...

Из Минска папа вернулся со стихами Айзенштадта. Почерк поразил. Черные, мелкие, каллиграфически выписанные буквы, собранные в длинные строки, походили на муравьиные тропы — так муравьи несут на себе «строительный материал» жизни — еловые иголки, палочки...

Не знаю, все ли, что хранится у меня в Иерусалиме, опубликовано. Например, вот это:

* * *

Покой небытия влажнее на рассвете
И влагой серебрит несчетные гроба...
Поет незримый хор — букашки или дети,
А может быть, поет господняя труба...
Как тяжко мертвецу свое расторгнуть бремя,
Как тяжко перестать в гробу быть мертвецом
И вспомнить, что живым он был в земное время,
И это время — миг пред вечности лицом.
Господняя труба или стенанье хора
Зовут его искать умершую судьбу...
Ах, сколько на земле ненужного простора,
Но огражден простор безмолвием в гробу.

* * *

Как жалок человек! И как неловок!

Едва ребенок шевельнет рукой,
На голову ему летит обломок,
Громоздкий мир неведомо какой.
И как мне тесно в мире было

с детства,

Как памятно с каких-то смутных лет
Я ощущал злое соседство
Чужих заветов и чужих планет.

И разве речи горькие отцовы
И лики близких — разве не они
Какой-то тайной взрывчатой основы
Блуждающие в вечности огни?..
Как страшно прикоснуться к самой малой
Надежде, к слепоте своих страстей...
Вселенская душа грозит обвалом
И мир висит, как птица, в пустоте.
«Ах, сколько на земле ненужного простора...»

И впрямь.

Айзенштадт рассылал свои «муравьиные тропы» по разным адресам и даже ездил к Пастернаку. Арсений Тарковский, гуляя по Переделкину, читал его стихи вслух: «Отец мой, Михал Айзенштадт, был всех глупей в местечке,/ он утверждал, что есть душа у волка и овечки...» Пастернак, как рассказывал Вениамин Михайлович, подарил ему какую-то денежную купюру, он ее не потратил, сохранил на память.

Папа рьяно взялся за дело. И подключил меня. Мы начали с того, что стали помечать наиболее «проходимые» стихи крестиками. Их мы перепечатывали. Через

копирку, в четырех экземплярах. Вторые экземпляры были на папиросной бумаге, и все было на половинном формате листа. Почему — не знаю.

«Проходимые» стихи, собранные вместе, выглядели безнадежно. Смерть, бог, призрачные мать и отец, бездомные кошки и собаки, — эта мистическая рать русского поэта с фамилией Айзенштадт могла отпугнуть любые органы периодики. Стихи не переделаешь! Тогда папа придумал Айзенштадту другую фамилию — Блаженных. Вениамин Блаженных. Поэт согласился. Лишь бы напечатали! И правда, первая публикация Вениамина Михайловича, к сожалению, не помню, в каком журнале, появилась под именем «Блаженных». Помогло!

Так мы стали перезваниваться и переписываться с Айзенштадтами. По состоянию здоровья (Вениамин Михайлович страдал грыжей и прочими недугами, а Клавдия Тимофеевна передвигалась на протезах, с войны) они все откладывали свой приезд к нам в Москву. И мы с Жанной, моей ближайшей подругой, которой я прочла всего Айзенштадта (Жанна слепла, и я ей читала вслух все, что мне нравилось), купили билеты в Минск.

Яша, муж Жанны, снабдил нас в дорогу двумя жареными курицами. А ехать — всего ночь. В пустом купе под одну из куриц я читала Жанке новую повесть. Вторую курицу мы решили сохранить для Айзенштадтов. Солидный приезд — две дамы с продуктом!

К Минску поезд подгрел в 6 утра, в едва пробивающемся свете.

«Разыщите меня как иголку, пропавшую в сене...»

Вскоре нам предстояло увидеть эту «иголку». Вернее, увидеть предстояло лишь мне. «Ленуся, какой прекрасный город, столько света!..» — воскликнула Жанна. Мне же открылась картина иная — контуры ящикообразных строений в сером тумане. Видно, Жанке в поле сетчатки попал луч от станционного фонаря...

Тряхнув напоследок, поезд стал. Я высунулась в окно и увидела двух пожилых людей, идущих под ручку по перрону. Вениамин Михайлович маленькими шажками, и Клавдия Тимофеевна, опираясь на палку. Медсестра, потерявшая ногу на войне, и никому не известный поэт, зарабатывавший на жизнь, как он сам рассказывал, писанием букв «М» и «Ж» на городских туалетах.

«Как они выглядят?» — спросила Жанка. Я описала, как могла.

Мы вышли из вагона, в обнимку. Жанкина слепота никому не заметна, но зато наша «близость» тотчас вызывает подозрение у людей незнакомых.

Клавдия Тимофеевна, строгая пожилая женщина с надставной косой бубликом, была явно шокирована моральным обликом искательниц «пропавшей иголки». В кои веки творчество ее мужа вызвало интерес — да и то у извращенков! Уже потом, вечером, поняв что к чему, да и выпив шампанского, Клавдия Тимофеевна всплакнула над Жанкиной участью: «Лучше б я ошиблась...»

Сам поэт ничего такого и не думал. В его глазах при виде живых почитательниц его поэзии было лишь огромное детское изумление. И это изумление — его разыскали! — было так велико, что взгляд его как бы зашкалило на самой высокой отметке «изумления», — таким он был все эти три дня, читая нам свои стихи без усталости, радуясь тому, что мы не хотим выходить из дому, что нам в Минске интересен только он — поэт Айзенштадт.

Такси на привокзальной площади. Клавдия Тимофеевна велела мужу сесть рядом с шофером, подальше от странных женщин. Из-за разросшейся и по какой-то причине неоперабельной грыжи (так сказала К.Т.) Вениамин Михайлович выглядел грузным, — узкие плечи и опухший живот делали его тело похожим на воздушный шарик, наполненный водой. Его тело требовало удобства положения. Клавдия Тимофеевна, насколько позволяла ее комплекция и место на заднем сиденье, отодвинулась от меня, положила палку нам в ноги, и мы поехали.

Город Минск. О нем у меня не осталось никакой памяти.

Квартира Айзенштадтов. Начитавшись стихов Вениамина Михайловича, я думала, что его дом будет полон собак и кошек. Но никакой живности не было. Зато на огромном столе в кухне стояла батарея шампанского. К нашему приезду два холодильника были забыты до отказа.

Клавдия Тимофеевна (победоносно): «Если вам этого не хватит на три дня, скажите! Я работаю с утра до пяти».

Жанна (от неловкости): «Не беспокойтесь, Клавдечка Тимофеевна, у нас собой еще целая жареная курица...»

Клавдия Тимофеевна: «Это еще что?! К нам со своим не ездят. Хоть мы и незажиточные, но принять людей умеем!»

Вениамин Михайлович (восторженно глядя то на меня, то на Жанну): «Похоже, эти дамы питаются поэзией...»

Клавдия Тимофеевна: «Ну, это по твоей части. Хозяйничай на своей кухне сам!»

Еды было припасено на полк. Приказано — все съесть! Все выпить. Дается три дня.

Клавдия Тимофеевна ушла на работу, оставив мужа на весьма сомнительных дам.

«Читайте», — попросила Жанна, и Айзенштадт взял со стола рукопись. Все уже было подготовлено. Он читал, после каждого стихотворения подымая на нас глаза. Мы слушали молча. Жанка потом мне сказала, что в какой-то момент увидела его лицо. Лицо чеширского кота. Чтобы Жанка увидела, нужен особый свет. В кухне стоял полумрак. Источником света, похоже, был сам Вениамин Михайлович.

Прервавшись после нескольких часов чтения, он посмотрел на нас молча и сказал: «Такое чувство, что у меня в каждой руке — по любимой вещи (или кукле? — не помню точно) и я боюсь пошевелиться, выронить...»

...Вот так я и буду стоять со слезой на обочине,
Как будто слеза это мой поводыр и собака...

...Всего-то и чуда хочу я, чтоб свежую просинью
Забрезжило небо в тяжелых и дымчатых тучах
И чтобы я вышел однажды прозрачною осенью
Не просто бродяжить, а рядом талдычил попутчик.
И вам я могу их назвать поименно заранее,
Друзей моих робких: бродячая кошка, зайчишка
И кто-то еще, существо неприютного звания, —
Но мир добротой его окрестил понаслышке...

Мы с Жанкой казались, наверное, Айзенштадту бродячей кошкой да зайчишкой. Он читал, комментировал какие-то строки, просто что-то вдруг рассказывал, по пути, а мы слушали. Не будь Жанки, я бы ввязалась в беседу. У нее был особый дар слушать молча, как бы вбирая все в память, делая там для себя какие-то пометки, — при этом собеседник неизменно ощущал ее внимание. В ходе «слушанья дела» Жанка своих комментариев не вставляла. Это, мне кажется, особенно нравилось Айзенштадту. Иногда он вдруг спохватывался: «Что же вы сами-то ничего не прочтете, из своего?» Спрашивал с опаской — а вдруг мы бездарные, что тогда делать?! Но мы его утешили — стихов не пишем.

Пришло время обеда. Клавдия Тимофеевна назначила на три. И Вениамин Михайлович заволновался. Как подать на стол?

«Лена все это проделает совершенно спокойно, — заверила Жанна Айзенштадта, — вам совершенно не нужно об этом волноваться».

Так мы провели три чудесных дня. За стихами, шампанским, разговорами о поэзии. Айзенштадт умел радоваться удачной строчке третьестепенного стихотворца, умел разглядеть малюсенькую звездочку на небосклоне поэзии и быть благодарным и за этот, едва брезжащий свет. Не был ревнив. Не жаловался на судьбу. Не притяжал. Лишь боялся затеряться в мироздании, быть нераспознанным астрономами.

Следующая наша встреча состоялась в Москве, в 83-м году. Айзенштадты приехали к нам. Они жили то в нашей квартире, то у моего папы и его жены, в центре. Клавдия Тимофеевна от поездок по гостям уклонялась, устала она, а мы с мужем на нашем старом «запорожце» возили Вениамина Михайловича по гостям. Приехали и к моей маме, Инне Лиснянской, в Переделкино. Там они с Семеном Израилевичем Липкиным снимали дачу. Это было время их опалы. Вениамин Михайлович долго оттягивал чтение своих стихов, робел. Поэт пенсионного возраста, до недавних пор не опубликовавший ни одного своего стихотворения, по совокупности признаков должен быть зачислен в графоманы. Или... в отшельники.

Царство небесное держит отшельник в ладонях,
Словно гнездо, где проклюнулась певчая птичка;
Если сей дар он в смятении где-то уронит,

Разом лишит его Бог и любви и обличья...

«Царство небесное» — поэтическое откровение. Его среда — отшельничество. Смятение — наказуемо. В желании самоутвердиться можно выронить дар и перестать быть. Небытие — существование без «любви и обличья».

Стихи его произвели на маму и Семена Израилевича сильное впечатление. Несмотря на часто неточную рифму, на неудачные строфы, непризнанный был признан. Помочь с публикациями ни мама, ни Семен Израилевич тогда не могли — сами они печатались во вражеских изданиях и такого пути ему не желали.

«Отчитавшись» по гостям, ободренный, Вениамин Михайлович вернулся в Минск. Мы же с папой продолжали ходить по издательствам, предлагая составленный нами сборник. Нет, нет и нет! Мне не хотелось писать Айзенштадту о результатах этих походов. Помню, как ныне известный поэт, руководитель отдела поэзии в самом престижном журнале, отчитывал меня за Айзенштадта. Мрак, неточная рифма, много смерти...

Вениамин Михайлович продолжал посылать стихи по почте. В две колонки, мелким почерком. Я перестала их перепечатывать, складывала в папку.

«Наконец-то Вы вспомнили обо мне. Так вспоминают древние мифы, достоверность событий которых подлежит сомнению... После Вашего приезда в Минск прошло шесть лет. За это время я превратился в ветхий киоск для сбора утиля (да еще с корявой надписью на заколоченной двери: «Закрыто на ремонт».)

У меня где-то записано: «...Поэт, живущий в Минске, — Вениамин Айзенштадт, никогда свой город не воспевал. У поэта нет периферийных тем. Наицентральнойшая — смерть.

Одудловатый поэт на кладбище своих стихов. Здесь он царь, здесь он прогуливается, считывая строки с плит, здесь, в смерти, он провидит жизнь...»

Летом 1999 года я приехала поздравлять маму с днем рождения и двумя престижными премиями по литературе. Опять Переделкино, только не опальный дом, — писательский! Мы заговорили об Айзенштадте. Его печатают, но очень больна Клавдия Тимофеевна. Нашлась оказия в Минск. Мы послали Вениамину Михайловичу письмо и деньги.

Из Москвы я привезла июньский номер «Дружбы народов». На его обложке — «Вениамин Блаженный». Лихое сибирское «ых» ушло в отставку. Блаженный! Теперь эта фамилия в сочетании с именем опять звучит по-еврейски, не лучше ли было остаться Айзенштадтом?! В переводе с немецкого «Железный город». Нет, Блаженный по смыслу ближе. Из поэтов июльского номера лишь он вынесен на обложку. Его признали! При жизни!

Последнее стихотворение цикла (1997) начинается так:

«Когда меня не будет»...
Что за чушь,
Как может быть, чтобы меня не стало...

На это Айзенштадт ответил сам себе 12 лет тому назад, 27 августа 1985 года:

На острие меча своих же слов не слышу,
Быть может, говорю я существу: «Прощай»,
А может, голос мой уже узнал Всевышний —
И что-то мне в ответ громово прокричал...
Он прокричал в ответ, что молниями смерти
Опутает мой мозг, как пленного орла,
И буду ожидать таинственной я вести,
Горбатый спрятав клюв в бессилие крыла.
Опутанный во тьме железными цепями,
Я буду созерцать из бездны свой погост,
Где я лежу вблизи вселенской смерти мамы,
Где плавает мой гроб в соседстве диких звезд.
Я плаваю в гробу в лучах безгрешной крови,
И, в смерти растворясь, забвенью пьет душа,
И тусклая луна, как влажный глаз коровий,
Уже не отличит меня от мураша.

Игла в сердце

Рубрику ведет Лев Аннинский



Красиво говорить о любви может лишь тот, в ком эта любовь ушла в воспоминания...

Убедительно говорить о любви может тот, в ком она всколыхнула чувственность...

Вовсе молчать о любви должен тот, кому она поразила сердце.

Марк Леви. Роман с кокаином

Марк Леви не дожил семи лет до своей мировой славы. И сорок лет «вовсе молчал» о том, что должно было эту славу ему принести, — о небольшом романе, который он под безликим псевдонимом «М. Агеев» прислал в 1933 году из Константинополя в Париж русским издателям. Роман оказался настолько хорош, что в эмигрантском журнале «Числа» его начали печатать немедленно, не зная толком, кто автор — что его зовут Марк Леви, выяснили задним числом. Отдельное издание вышло там же, в Париже, в 1936 году, но в грохоте вскоре начавшейся мировой войны было забыто вместе с именем автора.

Когда через тридцать пять лет после окончания войны полузабытый текст почти случайно вывалился из библиотечных хранилищ на литературную арену, на поиски автора отрядились такие филологические асы, как Никита Струве, а потом Гарри Суперфин. В финале поисков обнаружилась в Ереване безвестная могила. В ней упокоился тихий преподаватель местного университета Марк Лазаревич Леви, учивший студентов немецкому языку, любивший музыку, увлекавшийся киносъёмкой, коллекционировавший игральные карты и оставивший в памяти знавших его людей загадочную фразу о том, что в жизни надо попробовать все.

Он, видимо, действительно «испробовал все». Хотя «вовсе молчал» о том, что испробовал. Молчал о том, что «Роман с кокаином», коротко сверкнувший в середине 30-х годов в предвоенной Франции, написал никакой не «М. Агеев», а он, Марк Леви... хочется назвать его Марк Левий — по старо-иудейски, а не по ново-французски, потому что французского в «Романе с кокаином» нет ни на понюх, а вот иудейское есть... но об этом ниже, а пока — о той короткой вспышке, которая сопровождала появление этого романа в русской эмигрантской прессе перед тем, как все затянуло дымом войны.

Дело в том, что ослепленная блеском текста «литературная общественность» решила, что под псевдонимом «М. Агеев» скрывается талантливый имитатор Набокова, а может, и сам Набоков, решивший таким образом мистифицировать читателя.

Эта гипотеза в конце концов была отвергнута и вряд ли была бы достойна теперешнего интереса, если бы Никита Струве, пытавшийся ее обосновать, не написал целое исследование о том, сколь многое схоже в писательской палитре «М. Агеева» и «В. Сирина» (то есть Набокова).

Да, схоже многое. У Набокова тело собрано из «составных частей» (спина, локти, колени), и у «М. Агеева» тоже: «спина сгорбатилась», и «пианист работает локтями».

— Такая сафпадение! — сказал бы в этом случае Григор Тикиджянц, с которым Марк Леви учился в гимназии Креймана — оба окончили оную в 1916 году.

Но если вслушаться, как в «Романе с кокаином» описан крик лихача: «Эээп» — где острое и стальное «э» пронзительно поднимается вверх, пока не

ударяет в мягкую заграду не пускающего дальше «П», — не попросится ли в аналогию звук прыгающего мячика «Пепп-Пеппович-Пепп» из «Петербурга» Андрея Белого?

А чеховское горлышко бутылки, блеснувшее под лунным светом, не отсвечивает ли во фразе героя, крадущегося по темной квартире: «Я потушил блестящую точку на самоваре»?

А атмосфера раннесоветского суда в рассказе «М. Агеева» «Паршивый народ» (единственное, что прибавлено в его наследии к «Роману с кокаином») — не напоминает ли Михаила Булгакова времен «Гудка» и «Бузотера»?

Не проще ли допустить, что московский гимназист, в 1916 году подавший документы в университет, в 1918 году бросивший там учебу и поступивший в «Трамбоддел ВСНХ», в 1924 году командированный в Германию «по красильному делу», а в 1930-м — в Турцию по делу «распространения советской книги», — не лучше ли, повторяю, предположить, что все эти годы Марк Лазаревич Леви продолжал следить за литературой, как эмигрантской, так и советской, не говоря уже о том, что классику (от Достоевского до Чехова) он усвоил с младых ногтей и что именно литературу, а не «красильное дело» считал главным в своей жизни?

Так почему же «вовсе замолчал», когда его первопубликация в 1934 году вспыхнула так ярко, что его приняли чуть не за самого Набокова и уж точно за писателя, который не уступает Набокову, а также Бунину и молодому Достоевскому (для завершения пасьянса: так оценил «Роман с кокаином» Мережковский).

Тут такие страсти, а «М. Агеев» сидит в Константинополе и «молчит».

Разгадка?

Да, страшно, да, огласка может ему отрезать путь обратно в СССР. Более того, при возвращении в СССР вся эта история с публикацией в «Числах» может стоить ему карьеры, если не головы. Тут уж надо возвращаться или под знаменем «социалистического реализма», как Куприн или Алексей Толстой, или... помалкивать, потому что в текстах «М. Агеева» социалистическим реализмом не пахнет, а пахнет-таки кокаином.

Но и без всякой «литературы» у него есть причины «залечь на дно» в Ереване и «не высовываться» до самой смерти. Он же был типичный кандидат на высшую меру. Его шлепнули бы в 20-е годы уже за то, что от него за версту несло гимназическим образованием. Его поставили бы к стенке за то, что он слишком много знал, работая в Германии «по красильному делу», а также в АРКОСе (известной чекистской организации, как пишут о ней такие знатоки, как Г. Суперфин и Ю. Сорокина). Вряд ли, наконец, турки так уж безосновательно подозревали, что Марк Леви был замешан в деле Папена (покушение на гитлеровского посла в Анкаре), за что и выслали «распространителя советской книги» из Турции обратно в СССР в 1942 году. В общем, если уж выпало ему во всех этих переделках уцелеть, то еще более оснований было в дальнейшем сидеть тихо-тихо.

Что же до «М. Агеева», чей короткий роман вкупе с еще более коротким рассказом затерялся в предвоенной эмигрантской прессе, то об этом Марк Лазаревич должен был «вовсе молчать», что он и делал до своей тихой смерти, последовавшей в 1973 году.

Еще семь лет было беззвучие, пока не взорвался тот роман вкупе с рассказом первыми сенсационными переводами на французский и прочие европейские и мировые языки и стал таким «международным бестселлером», что было решено: за псевдонимом скрывается сам Набоков.

Вера Набокова, к которой Никита Струве обратился за подтверждением такой догадки, отнеслась к ней без энтузиазма. Ее довод: Набоков в жизни своей не касался кокаина.

В этом доводе угадана, я думаю, и та причина, по которой в 80-е годы «Роман с кокаином» стал-таки «международным бестселлером». Подробно выписанная процедура наркоопьянения вряд ли могла бы стать глобально интересной в предвоенные годы — тогда надвигались вещи пострашнее, но полвека спустя, когда поколения, выращенные в обманчивой тишине, стали «садиться на иглу», — проблема обнажилась. Возможно, именно эта медицинская сторона «Романа с кокаином» произвела стартовый эффект и помогла триумфу романа в Европе начала 80-х годов. Возможно, что успех этой книги в России начала 90-х годов отдает тем же. Не исключено и дальнейшее воздействие данного литературного «поноухона» на души читателей разных стран.

Дело именно в состоянии душ, а не в том, какими именно отклонениями от

нормы это кончается. Кокаин — лишь финальное, «техническое» разрешение драмы, которая здесь заложена. Чтобы ее почувствовать, надо поменьше упираться в «кокаин» и побольше — в то, что гонит человека «на иглу». Драма совершается и без кокаина.

Надо вернуть душу в те обстоятельства, которые ее создают: в ситуацию русской жизни начала XX века. Надо вписать книгу Марка Леви в историю русской литературы, расколовшейся в XX веке на два потока: «советский» и «эмигрантский». Прежде, чем разлетаются эти концы, душа раскалывается внутренне. Предсказано это за два поколения до того, как московские гимназисты почувствовали, что с ними происходит непоправимое. После 1916 года все это уже только «технически» реализуется.

В начале 30-х годов, когда Марк Леви пишет свой роман, уже ничто, кроме ненависти, не связывает классиков социалистического реализма, инженерно возводящих душу нового человека, с корифеями эмигрантской прозы, оплакивающей гибель старого. Но это половинки когда-то единой, расколовшейся русской души. Непосредственно герои Марка Леви связаны с героями Марка Алданова, Бориса Зайцева, Ивана Шмелева, Гойто Газданова (и, разумеется, Набокова, что все сразу почувствовали). Но от противоположного — они связаны с героями Леонида Леонова, Михаила Булгакова, Юрия Олеши, для которых завещанная русской классикой мировая справедливость более существенна, чем правила поведения, диктуемые тем или иным «моральным кодексом» или «ходом борьбы».

С обеих сторон просматривается распад души.

На первой странице «Романа с кокаином» герой издевается над собственной матерью и при этом отлично сознает, что поступает как мерзавец. Всё — от первого лица. Притом удивительным образом совмещаются два плана: естественное для рассказа от первого лица ощущение, что мерзавец себя как-то оправдывает, и ощущение, что он все-таки мерзавец. Ваше щемящее сочувствие к жалкой старухе, ковыляющей на кривых каблучках, вызвано тем же текстом, в котором воссоздается мятущееся «Я» ее мерзавца-сына. Это не описание «старухи» и не описание чувств «сына», это тончайший контрапункт того и другого: описание чувств настоящего рассказчика (а не героя, от имени которого...) при сближении разрывающих полюсов.

«Пахнет» Достоевским?

О да. Достоевский эту проблему завещал прозаикам XX века: неразличимость добра и зла в русской душе. Близость этих полюсов. Мгновенный переход одного в другое. Можно сказать, что автор «Романа с кокаином» осмысляет уже не ход этой драмы, а саму неотвратимость ее свершения, то есть саму эйфорию мгновенного перехода из очарованности в мерзость и обратно. На философскую глубину эта драма промерена и предсказана Достоевским. Впрочем, и Толстым она прочувствована: вспомните, как в «Крейцеровой сонате» Позднышев крадется убивать жену и одновременно видит себя со стороны: как он крадется убивать...

С точки зрения того, что каждый человек «в своем праве» (то есть с точки зрения всех уровней справедливости: мировой, классовой и т.д.), эта ситуация в русской литературе разработана вдохновенно. Замечено: когда немецкий бурш безобразничает, то он именно безобразничает, а когда безобразничает русский нигилист, то он борется за правду: русский мальчик, как известно, законами астрономии не связан, он господу-богу звездную карту возвращает исправленной.

Русский мальчик 1916 года, описанный в 1933-м, отлично сознает, что он безобразничает. Он хочет решить уравнение следующего уровня: как же это так получается, что его честная душа неуследимо быстро проваливается в безобразие? Дело даже не в том, что идеальное и звероподобное в ней стерегут друг друга; в конце концов, борьба ангелов и бесов за душу человека известна сотни лет и осмысливается со времен Средневековья, — нет, в русской душе обнажается странная закономерность, по которой звероподобное просыпается в человеке именно тогда, и именно потому, и именно вследствие того, что душу посещает идеальное.

«Фигурально выражаясь, я себя спрашивал: не есть ли душа человеческая нечто вроде качелей, которые, получив толчок в сторону человечности, уже тем самым подвергаются предрасположению откатнуться в сторону зверства».

Не выдерживает человек божьего зова — этого толчка к благородству и, чувствуя, что не выдерживает, инстинктивно, почти автоматически прячется в мерзость. Эта ниточка накрепко связывает праведника с безобразником: потянешь одно — вытянешь другое.

Скот, подцепивший грязную болезнь, это нормальный скот; но скот, намеренно заражающий грязной болезнью ничего не подозревающую девушку, — это уже в известной мере праведник, пытающийся понять в самом себе скота, то есть через скотство разбудить в себе раскаяние. Возникает фантастическая духовная ситуация: правда лжи.

«Моя двойственность, моя раздвоенность... заключалась не столько в той лжи, которую говорили мои губы, сколько в той правдивости, с которой всколыхнулось во мне естество наглого молодчины и ухаля».

Душа школьного гимназиста 1916 года (психологический ввод в ситуацию романа) явно пропущена здесь через психоанализ, весьма популярный в России в 20-е годы. В 30-е, когда это написано, видны уже и всемирно-исторические следствия такого освобождения «естества». Пока качели с ангелом и чертом качаются в душе отдельного человека, это еще «лирика», но когда эти качели захватывают миллионы душ, — это уже «эпос».

А ведь «наглый молодчина и ухаля» потому так хватается за эту роль, что убежден: подобным образом ведут себя «все». То есть он уверен, что все — скоты, и хочет быть в стаде.

Но когда он благородничает, он ведь тоже желает быть не хуже других, ибо он видит, что все благородничают перед тем, как сорваться в скотство.

Все так и все эдак — речь уже не о душе отдельного человека: писатель 30-х годов задумывается о ходе Истории, гул которой сотрясает тысячелетия.

«Милые и добрые пророки! Не трогайте вы нас; не распалайте вы в наших душах возвышенных и человечнейших чувств и не делайте вообще никаких попыток сделать нас лучше. Ибо видите вы: пока мы плохи, мы ограничиваемся мелким подличаньем, когда становимся лучше — мы идем убивать... Это стремление взвить душевные качели в сторону человечности и неизменно возникающий из него отлет в сторону зверства проходит чудесной и в то же время кровавой полосой сквозь всю историю человечества...»

Тут уж, как во времена прокурора Вышинского формулировали, наговорено на высшую меру.

«Как раз те особенно темпераментные эпохи, которые выделяются исключительно сильными и осуществленными в действии взлетами в сторону Духа и Справедливости, кажутся нам особенно страшными в силу перемежающихся в них небывалых жестокостей и сатанинских злодейств».

Написав такое в 1933 году, следует это спрятать от чужих глаз. Если же не удержался и напечатал под темным псевдонимом «М. Агеев», — то всю жизнь молчать. Слиться с ереванскими камнями.

Меж тем текст пробивает себе дорогу из XX в XXI век. И читается по-новому.

Любовь, ушедшая в воспоминания, — это, конечно же, любовь к великой русской классике: к Гоголю, Достоевскому, Толстому, Чехову, которые предупредили нас о трагедии.

Убедительная чувственность — это, понятное дело, наличная реальность: распад и обречение души, которая добралась до 1916 года и замерла в ожидании, куда качнутся качели.

Полное молчание — это когда ни предотвратить, ни поправить ничего нельзя, потому что поражено сердце.

* * *

А теперь — два эпизода, имеющие прямое отношение к одному из болезненных вопросов нашего времени, к национальному. Один эпизод — из «Романа с кокаином», другой — из рассказа «Паршивый народ».

Вряд ли автор предполагал, какой актуальный смысл приобретет эта тема к концу века, вряд ли он вообще придавал ей какое-то особое значение. Еврейское начало, разумеется, жило в сознании Марка... Левия (тут опять хочется вернуть его имени библейское звучание). Но, родившись и выросши в Москве, он, кажется, стоял (подобно Пастернаку) на позициях непрременной культурной ассимиляции еврейства. И вживался скорее в русское, чем в еврейское сознание. Поэтому, наверное, главным героем «Романа с кокаином» (то есть тем повествователем, от имени которого все рассказано) является отнюдь не еврей, а русский, Вадим Масленников.

Что не мешает этому русскому так или иначе все время «различать» евреев в своем окружении.

Итак, эпизод первый. Действующих лиц — двое. Первые ученики гимназии. Один — Штейн, списанный с гимназиста Григория Шика. Другой — Василий Буркевиц, списанный с натуры без изменения фамилии. Штейн, сын богатого еврея-меховщика, проникнут еврейским высокомерием (замаскированным, впрочем, под либеральное эстетство: «пора быть европейцами»). Буркевиц, напротив, проникнут яростным демократизмом. Несмотря на странноватую фамилию, он несомненно русский (во всяком случае, в глазах рассказчика: из Василия прет «страшная русская сила, которой нет ни препон, ни застав, ни заград, сила одинокая, угрюмая и стальная»).

«Одинокая» — потому что во враждебном окружении.

Теперь — сам эпизод.

На перемене кто-то из одноклассников задает Штейну вопрос с издевательской улыбочкой: верит ли тот в ритуальные убийства?

Люди, знающие о деле Бейлиса, могут оценить улыбочку.

Штейн оценивает. Понимая, что перед ним подлость, он защищается встречной мерзостью.

«— Нет, — отвечает он с такой же улыбочкой (от которой у рассказчика сжимается сердце). — Мы, евреи, не любим проливать человеческую кровь. Мы предпочитаем ее высасывать. Ничего не поделаешь, надо быть европейцами».

Каково?

Как бы вы, уважаемый читатель (я обращаюсь к читателю 1999 года), отреагировали на подобный обмен любезностями? Встали бы на сторону провокатора, задавшего издевательский, мерзкий вопрос? Или на сторону спровоцированного, который ответил издевательской мерзостью?

И тут Буркевиц обращается к Штейну с монологом, который я приведу здесь полностью. Потому что в сегодняшней ситуации, когда тон в русско-еврейских отношениях начинают задавать Макашов и Тополь и все вынуждены выбирать, кто из этих двоих более прав, монолог Василия Буркевица надо бы расклеить на всех углах. Чтобы люди поняли, как можно реагировать на диалоги провокаторов.

«— Вы, кажется, господин Штейн, испугались здесь антисемитизма? А напрасно. Антисемитизм вовсе и не страшен, а только противен, жалок и глуп: противен потому, что направлен против крови, а не против личности, жалок потому, что завистлив, хотя желает казаться презрительным, глуп потому, что еще крепче сплочает то, что целью своей поставил разрушить. Евреи перестанут быть евреями только тогда, когда быть евреем станет не просто невыгодно в национальном, а позорно в моральном смысле. Позорно же в моральном смысле станет быть евреем тогда, когда наши господа христиане сделаются наконец истинно христианами, иначе говоря, людьми, которые, сознательно ухудшая условия своей жизни — дабы улучшить жизнь всякого другого, будут от такого ухудшения испытывать удовольствие и радость. Но пока этого еще не случилось, и двух тысяч лет для этого оказалось недостаточным. Поэтому напрасно вы, господин Штейн, пытаетесь купить ваше сомнительное достоинство, унижая перед этими свиньями тот народ, к которому вы сами имеете честь, слышите ли, имеете честь принадлежать. И пусть вам будет стыдно, что я — русский, говорю это вам — еврею...»

Честно сказать, я был потрясен, когда прочел это. Потрясен чистотой и высотой позиции в споре, где, кажется, с обеих сторон — одна грязь.

Впрочем, об этом замечательно сказал сам рассказчик:

«Я стоял молча, так же как и все. И, кажется, так же, как и все, в первый раз, в первый раз за всю мою жизнь испытывал острую и сладостную гордость от сознания того, что я русский и что среди нас есть хотя один такой, как Буркевиц. Почему и откуда вдруг взялась во мне эта гордость — я хорошенько не знал. Я знал только, что Буркевиц сказал несколько слов, причем раньше, чем понял смысл его слов, я уже почувствовал в его словах какое-то особенное рыцарство, рыцарство личного самоуничижения ради защиты слабого и обездоленного инородца, рыцарство, столь свойственное русскому человеку в национальных вопросах...»

В какой степени свойственно русскому человеку рыцарство в национальных вопросах, это мы выяснять здесь не рискуем. Хватит и рыцарства, и плебейства. Дело не в сравнительных качествах русского и нерусского человека, а в том, что из каждой ложной ситуации возможен рыцарский выход. Правда, это требует сил...

Ну а что благородный рыцарский порыв мгновенно порождает в душе человеческой кач в подлость и зверство — это уже мучительный опыт самого

Марка Леви, его проклятье, его роковая тема как писателя. Ибо Буркевиц идет в революцию и, надо думать, участвует в ее злодеяниях. Мы об этих злодеяниях ничего конкретного не узнаём, зато узнаём, что Буркевиц конкретно предает Вадю Масленникова: отказывает своему бывшему однокашнику в санаторной путевке (а «попасть в хорошую психиатрическую санаторию в нынешнее социалистическое время» без блата невозможно). В результате доходяга-наркоман отдает богу душу...

Продолжение темы — в рассказе.

Года через три после окончания Гражданской войны уличают какого-то «украинского коммуниста», что он «с 1918 года по 1921-й водил небольшую банду на Киевщине... Для набегов выбирал села победнее, подальше от железной дороги, у крестьян забирал продовольствие и девок, евреев же, мужчин и женщин, убивал... и младенцев не миловал».

Суд уличает преступника и приговаривает к высшей мере; его уводят; в последний момент, «держась пухлой рукой за барьер, он что-то поспешно делает с ногами...» — он надевает галоши.

Деталь, достойная русской классики, но дело не в этом.

В коридоре суда стоит юноша-еврей и говорит, что ему жалко осужденного.

Вася Буркевиц, где ты?

Нет Васи. Вместо него от имени рыцарского русского народа выступает в рассказе «ехидный старик с мутными глазами и прыгающей бородкой».

Привожу монолог.

«— Вот уж этого я и в толк не возьму, вот уж этого я не понимаю. Он ваших евреев убивал, он младенцев ихних душил, изувер... а вы, еврей... говорите, жалко его. Да ежели по справедливости рассудить, так за этаким приговор вы обязаны в ножки поклониться да ручку поцеловать. А вы вон болтаете невесть что. Не-ет, молодой человек, вы уж не обижайтесь, а я вам прямо скажу. Вы, евреи — бузотеры, паршивый народ. Вам, как ни делай, все не хорошо, не ладно...»

Хочется добавить с интонацией Штейна: и пусть вам будет стыдно, что я, русский, говорю это вам, еврею...

В 1916 году Штейн не нашелся что ответить Буркевицу, — удалился обиженно и высокомерно. Ответил тот юноша, что десять лет спустя пожалел убийцу. Ответил нелогично и даже глупо. За что и получил немедленно отпор от ехидного старика: как это можно, сознательно ухудшая условия своей жизни (то есть еврейства) дабы улучшить жизнь всякого другого (то есть бандита), испытывать от такого ухудшения удовольствие и радость?!

Вы успели почувствовать, кто в этой ситуации рыцарь? Спешите же, пока не взвились качели.

P.S. И последнее, что поразило меня в истории Марка Леви, он же «М. Агеев»

Когда Г. Суперфин решил выяснить, что за человек скрылся под псевдонимом, то начал с того, что попытался вычитать биографические свидетельства из текста самого романа. И преуспел. Расшифровать гимназию Креймана было нетрудно. Труднее оказалось докопаться до ее архива. Но Суперфин докопался: чудом он добыл чудом же сохранившийся протокол педсовета от 28 апреля 1916 года с полным списком выпускников! Все они там оказались: и Василий Буркевиц, и Григорий Шик (то есть Штейн), и Григор Тикиджянц (он же Такаджиев, весельчак и добряк).

Список опубликовали в историческом альманахе «Минувшее» (выпуск 16, СПб., 1994, с.274). Всего там тридцать одна фамилия. Одна из них приковала мое внимание. Уже без связи с Марком Леви.

Под третьим номером значится в списке выпускник гимназии Алексей Баруздин.

Мысленно восстанавливаю дальнейший его жизненный путь. В 1941-м ему — пятый десяток, но он идет на фронт. И не один, а с сыном Сергеем. Сын — школьник, успевший уже попробовать свои силы в литературе, точнее, в московском Дворце пионеров, в его литературной студии.

Отец погиб. Сын, Сергей Алексеевич Баруздин, израненный — вернулся. Стал писателем. И в течение нескольких десятилетий, до последних своих дней редактировал журнал «Дружба народов». Тот самый, какой вы сейчас держите в руках.

— Таккая сафпадение! — пошутил бы тут Тикиджянц, добряк и хохмач.

— Да, дорогой! — добавил бы я. — Игла в сердце.

СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА «ДРУЖБА НАРОДОВ» ЗА 1999 ГОД

	№	Стр.
ЭБАНОИДЗЕ А. Верность имени и делу	I,	3
РЕДКОЛЛЕГИЯ «ДН». Шестьдесят	III,	3
СТРОЕВ Е., СЕЛЕЗНЕВ Г. Коллективу редакции «ДН»	IV,	3
«ДН» — 60 лет	V,	3

ПРОЗА

АБРАМОВ Г. Спорыш. <i>Рассказ</i>	XII,	94
АДОМЕНАЙТЕ С. Похороны цыпленка. <i>С литовского.</i> <i>Перевод Н. Адоменайте и Д. Долинина</i>	XII,	79
АЗОЛЬСКИЙ А. Кровь. <i>Роман</i>	III,	8
АЗОЛЬСКИЙ А. Могила на Введенском кладбище. <i>Наброски биографии</i>	XII,	110
БАЛЛ Г. Рассказы	XII,	40
БУЙДА Ю. Сказочки	XII,	6
БУТРОМЕЕВ В. Корона Великого Княжества. <i>Роман-диссертация</i>	I,	8
.....	II,	12
БЫКОВ В. Волчья яма. <i>Повесть. С белорусского. Перевод автора</i>	VII,	7
ГОСТЕВА А. Travel Агнец	V,	4
ГРАНИН Д. Рассказы. (На рынке. Надпись. Пациент)	II,	7
ГРАНИН Д. Нина. <i>Рассказ</i>	V,	107
ГРАНИН Д. Наваждение. (<i>Из цикла «Чудеса любви»</i>)	XII,	76
ГУРЕЕВ М. Московский часослов. <i>Повесть</i>	X,	91
ЕГОРОВ В. Рассказы	IX,	44
ЗАНТАРИЯ Д. Кремневый скол	VII,	41
КИМ А. Собачонка Оори. <i>Корейские байки</i>	XI,	6
КОЗЬКО В. И никого, кто бы видел мой страх... <i>Повесть.</i> <i>С белорусского. Перевод автора</i>	V,	58
КРОСС Я. Побег. <i>Рассказ. С эстонского. Перевод Т. Верхоустиной</i> ..	III,	66
КУРНОСЕНКО Вл. Этюды в жанре хайбун	XI,	97
ЛЮБЕЦКАЯ Т. Я попала в руки Набокова. <i>К столетию со дня рождения</i> ...	V,	170
МАКУШИНСКИЙ А. Без имени	II,	79
МИХАЛЬСКИЙ В. Платонов-ченч. <i>Рассказы</i>	VI,	47
МУРАВЬЕВА И. Лас-Вегас, ночь, бесплатный аспирин	I,	118
МУРАВЬЕВА И. Документальные съемки	IX,	7
ПЛЕШАКОВ К. Рассказы	IV,	86
ПОЛИЩУК Р. Рассказы	VII,	113
ПРИСТАВКИН А. Долина смертной тени. <i>Роман-исследование</i> <i>на криминальные темы</i>	IX,	103
.....	X,	127
.....	XI,	110
.....	XII,	118
РУБИНА Д. Последний кабан из лесов Понтеведра. <i>Испанская сюита</i>	IV,	8
РЫБАКОВА М. Анна Гром и ее призрак. <i>Роман</i>	VIII,	8
.....	IX,	66
СЕРГЕЕВ С. Зимний досуг, или Путешествие за три моря. (<i>Маленькая повесть о любви</i>)	XII,	19
СЛАПОВСКИЙ А. Талий. <i>Житейская история</i>	VI,	7
СТАХОВ Дм. История возвратившегося на круги своя Подсухского. <i>Из книги «Ночь в конце века»</i>	III,	81
ТАРАСОВА М. Колбасный цех, который на Парнасе	XII,	85
ТРИФОНОВ Ю. Из дневников и рабочих тетрадей. <i>Публикация</i> <i>и комментариев О. Трифоновой</i>	I,	81
.....	II,	89
.....	III,	94
ТЮТЮННИК С. Обломок Вавилонской башни	VIII,	64
ФРИДБЕРГ И. Розовые пятки Лионеллы. <i>Хроника времен Великой империи</i> .	XI,	47
ЧАЙКОВСКАЯ В. Ученик, или В окрестностях рая. (<i>Провинциальная повесть</i>)	XII,	54
ШЕНБРУНН С. Розы и хризантемы. <i>Роман</i>	X,	6

К 200-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ А. С. ПУШКИНА

ГУСЕЙНОВ Ч. Элегическое эссе	V,	116
КОЗЛОВСКИЙ Я. Мошенство копировщика	V,	123
КРУЖКОВ Г. «Английская деревенька» Пушкина	VI,	179
МЕЛИХОВ А. Поэзия — сила	V,	129
ПУШКИН А. Французские стихи. <i>Перевод Г. Сапгира</i>	III,	4
САПГИР Г. Черновики Пушкина. <i>Стихи</i>	V,	110
СОВРЕМЕННЫЕ ПОЭТЫ О ПУШКИНЕ. (Б. ВИКТОРОВ, Л. СУРОВА, Т. КИБИРОВ, А. РЕВИЧ, А. КОВУСОВ). <i>Стихи</i>	VI,	3
ХОЛОПОВ Б. Старички прелюды	VI,	161
У ЛИ ДЭ. «Пушкин размышляет по-корейски». <i>Беседу ведет А. Анастасьев</i>	VIII,	166

ПОЭЗИЯ

БЕК Т. Кротость, куда ты, мой добрый гений? <i>Стихи</i>	IX,	3
БЛАЖЕННЫЙ В. Лучистая энергия сердца. <i>Стихи</i>	VI,	44
БРУСЬЯНИН В. Осенние звезды. <i>Стихи</i>	X,	3
БЫКОВА З. Звон синиц глушит свежую боль... <i>Стихи</i>	XII,	51
ВАСИН В. Рукой останавливал свет... <i>Стихи</i>	VII,	39
ГОЛЕМБА А. Есть музыка зимы... <i>Стихи. Вступительное слово Т. Бек. Публикация М. Смирновой-Мутушевой</i>	VIII,	3
ГРУШКО П. У каждой свечи свой свет... <i>Стихи</i>	VIII,	98
ГУДАНЕЦ Н. Ничейный ангел. <i>Стихи</i>	VII,	128
ДЖГУБУРИА М. Сонмища звезд забредают, шурша... <i>Стихи. С грузинского. Перевод А. Радковского</i>	XII,	115
ДОНН Дж. В письмах душ слияние теней. <i>Стихи. С английского. Перевод и вступление Г. Кружкова</i>	X,	84
ЕМЕЛЬЯНОВ И. Дышу и думаю «я жив». <i>Стихи</i>	XII,	82
ЗАЯЦ А. Возвратите сердцу боль... <i>Стихи. Вступление А. Эбаноидзе. Публикация Л. Заяць</i>	X,	123
ЗОРИН А. Лист огненный упал в мои ладони... <i>Стихи</i>	V,	103
ЗУБКОВ Н. Механизмы связей тонких... <i>В мире — в музыке — в себе. Стихи</i>	I,	115
К ИЗГОЛОВЬЮ ВЕКА... <i>Стихи молдавских поэтов (Г. ЧОКОЙ, Э. ЛОТЯНУ, П. БОЦУ). Перевод К. Ковальджи</i>	I,	126
КАРАЧАКОВ С. Не говори, что лес осенний пуст. <i>Стихи. С хакасского. Перевод Вл. Сорочкина</i>	VI,	53
КИБИРОВ Т. Хорошо бы сложить стихи... <i>Стихи</i>	IX,	63
КОВАЛЬДЖИ К. Из цикла «Почти верлибры». <i>Стихи</i>	XI,	44
КОЖЕЛЯНКО В. Осенний ветер. <i>Стихи. С украинского. Перевод Вл. Сорочкина</i>	III,	136
КОРНИЛОВ В. Рулетка. <i>Поэма</i>	II,	3
КОРОЛЕВ А. В России в чести свистопляска... <i>Стихи</i>	XI,	91
КРЕМИНЬ Д. Посреди огня зимы. <i>Стихи. С украинского. Перевод Вл. Сорочкина</i>	III,	139
КРИВОРУЦКИЙ Ю. Вехи памяти. <i>Стихи. Предисловие А. Жигулина</i>	IV,	104
КРЫЛОВА Э. Из цикла «Лучи и ручьи». <i>Стихи</i>	II,	75
КРЮКОВА Е. И стала кость от кости я, от плоти стала плоть... <i>Стихи</i>	XI,	3
ЛИПКИН С. След волны. <i>Стихи</i>	VIII,	59
ЛИСНЯНСКАЯ И. Жестокого мира певучесть... <i>Стихи</i>	III,	62
МАДАЛИЕВ С. Это вечное непостоянство... <i>Рубаи</i>	VII,	130
МАРКОВИЧ Я. Эти оклики гор и низин. <i>Стихи</i>	XI,	94
МАРЦИНКЯВИЧЮС Ю. На шее у лета рябинные гроздьи... <i>Стихи. С литовского. Перевод Г. Ефремова</i>	III,	78
МАРЧЕНАС А. Из цикла «Анахронизмы». <i>Стихи. С литовского. Перевод Г. Ефремова</i>	VIII,	95
МАТВЕЕВА Н. Круговращение дня. <i>Стихи</i>	IV,	82
НЕКЛЯЕВ В. Плачу долги и плачу на могилах... <i>Стихи. С белорусского. Перевод Вл. Сорочкина</i>	III,	92
НЕРПИНА Г. ...Выключи фонари — закончи двадцатый век. <i>Стихи</i>	I,	79

НИКОЛАЕВСКАЯ Е. Стихи и переводы	X,	145
ПАНЧЕНКО Н. Живу во глубине России. <i>Стихи</i>	I,	4
ПОКРОВСКАЯ Ю. Мало предвиделось. Много сбылось... <i>Стихи</i>	VII,	110
ПРОМЕТ Л. Беспokoйный свет прошлого. <i>Стихи. С эстонского.</i> <i>Перевод Е. Печерской</i>	I,	124
РЕВИЧ А. ...Та ладонь, что махнула прощально. <i>Стихи</i>	VII,	3
РИЗДВЕНКО Т. Отроковица Пушкина зовет... <i>Стихи</i>	IV,	4
СМИРНОВА М. Дома темнеют, как далекий берег... <i>Стихи</i>	VIII,	61
ТИМОФЕЕВСКИЙ А. Одичание. <i>Стихи</i>	XII,	3
ТРААТ М. Невозможности сияют над жизнью... <i>Стихи. С эстонского.</i> <i>Перевод Б. Балясного</i>	II,	86
ТУМАНОВА М. Женщина у окна. <i>Стихи</i>	XII,	74
ТУРГЫНБЕКОВ С. Когда полынь в степи поет. <i>Стихи.</i> <i>С казахского. Перевод В. Киктенко</i>	XI,	107
ЧАРЕНЦ Е. ...Не позабыть ни письма, ни песнопения армян. <i>Стихи. С армянского. Перевод М. Синельникова</i>	III,	161
ЧАРКАЗЯН Г. Верю в полет шмеля... <i>Стихи. С курдского.</i> <i>Перевод В. Липневича</i>	II,	84
ШЕНГЕЛИ Г. Замок Альманах... <i>Стихи. Предисловие</i> <i>и публикация Ю. Лиманова</i>	III,	221
ЯШВИЛИ П. Голубой зонтик. <i>Стихи. С грузинского. Перевод Я. Гольцмана</i> .	III,	158

ПУБЛИЦИСТИКА

АНАНОВ А. Два туза в прикупе	X,	148
ЕРМАКОВА Г. Позвольте мне остаться у вашего огня. <i>Исповедь учителя</i>	VIII,	101
ЗУРАБОВ А. Возвращение к будущему	IV,	139
ЗУРАБОВ А. «Есть только одно добро — для всех и навсегда...». <i>Письмо Г. Померанцу</i>	VII,	153
ЛАВРОВА Л. Лишние	VII,	132
МАТОНИНА Э. Бог и раб театра. <i>Воспоминания о И. М. Смоктуновском</i>	II,	134
МАТОНИНА Э. Портрет Александра в Левендянском интерьере	VI,	110
МЕЛИХОВ А. В душе мы всё еще спартанцы. <i>О физиологическом</i> <i>плюрализме</i>	X,	178
МИЩЕНКО В. Причелины	I,	147
МОИСЕЕВ Н. Вехи — 2000. <i>Заметки о русской интеллигенции</i> <i>кануна нового века</i>	III,	141
НОВИКОВ А. Проклятие деньгам	IX,	140
ПОМЕРАНЦ Г. Тупики добра	VII,	146
ПОПОВ В. Власть в потоке времени	VI,	126
РУССКИЕ В ИНТЕРНЕТЕ		
MIS666SILE. Есть ли жизнь после сетки?	V,	133
С-HOOK. Я люблю мир, которого вообще нет	IX,	130
NOW ELENA. Что оно с нами делает	IX,	134
СИНИЦЫНА Л. Жена тополя	IV,	150
СУСИ В. Смерть «Меньшевика». <i>Документальная повесть</i>	I,	128
ФИЛАТОВ С. Алтайский бурханнизм: вера или мечта о вере?	II,	126
ФИЛАТОВ С. Поволжье: 350 лет религиозного плюрализма	VIII,	123
ФИЛАТОВ С. Совершенно несекретно	XII,	142
ШИШОВ С. Большая Русь	II,	114
ШИШОВ С. Четыре времени Мещеры	XI,	138

НАЦИЯ И МИР

АНДРЕЕВ И. Танец с Солнцем	VIII,	134
БАРАНОВСКИЙ К. «Когда голова полна химер». <i>Беседу</i> <i>ведет И. Доронина</i>	VI,	135
БУАЧИДЗЕ Г. Буквоед. <i>Штрихи к неочевидному автопортрету</i> <i>в трех измерениях</i>	I,	160
ВИДАЛЬ Е. «В России ухабов нет». <i>Беседу ведет В. Чемберджи</i>	VI,	147
ГЕНАТУЛИН А. «Быть может, национальность — это... вероисповедание?» .	III,	171

ДЕГОЕВ В. Мирянтин. <i>Имам Шамиль по ту сторону войны и политики</i>	IV,	165
ДЕГОЕВ В. Закон силы и сила закона в мировой политике на пороге третьего тысячелетия	XII,	166
ЗАЕЦ Т. Зависит от нас	III,	162
ИНОУЭ К., АРУТЮНОВ С. Как сестры Бубновы сближали Курилы с Абхазией. <i>С японским и российским этнологами беседует Б. Холопов</i>	I,	177
КАГРАМАНОВ Ю. У нас это возможно	XI,	163
КУН Н. Как я стал цыганом	II,	170
МАЛАХОВ В. Нации не выбирают	XII,	177
МАМАЛАДЗЕ Т. Здравствуй, осел! <i>Краткая энциклопедия забытых игр, кинолент, забав и развлечений</i>	IV,	107
.....	VII,	158
МЕДВЕДКО Л. От Эдема до Армагеддона. <i>Сопряжение на «разломах» цивилизаций</i>	V,	151
НИЖАРАДЗЕ Г. Мы — грузины. <i>Полемические заметки по поводу некоторых социально-психологических аспектов грузинской культуры</i>	X,	185
НУРПЕЙСОВА Ш. Как справиться со своей всемирной отзывчивостью	XI,	174
СУРОВЦЕВ Ю. Если «колыбель» общая	II,	190
УНДУСК Я. Камешек на зубах. <i>С эстонского. Перевод С. Семененко</i> ..	IX,	148
ЯНАЛОВ В. Финно-угорский мир на пороге XXI века	I,	171

НА ПОРОГЕ 2000-ЛЕТИЯ Р. Х.

БЕК Т. «Христос — значит — всё»	X,	203
Игумен ВЕНИАМИН. Со Христом быть альтруистом легче	IX,	154
ВИДАЛ М. «Каждый судит по себе»	VII,	189
ЗЕЛИНСКИЙ В. «Который всегда и вовеки Тот же»	VII,	188
ЗОРИН А. «Он не вместим ни в одну из правд»	XI,	179
КОУЛ Х. М. «Дух Христа витает втуне». <i>С английского. Перевод И. Дорониной</i>	VIII,	152
КУРАЕВ М. Что значит для вас сегодня Иисус Христос?	VI,	159
ЛЕОНОВИЧ В. От добра добра не ищут	I,	184
МАЛАХОВ В. Легкое бремя Христа	III,	182
НУРПЕЙСОВА Ш. Это может быть понятно лишь очень чистым душам ...	II,	194
ПОДОКСИК Е. «Все зависит от того, кто во что верует»	V,	168
ПОМЕРАНЦ Г. Бог есть любовь	I,	183
ХУЗАНГАЙ А. Во имя	V,	167

МЫСЛИ ВСЛУХ

Рубрику ведет Владимир ПОЗНЕР

Как обустроить Россию	I,	158
Россия — в одном слове?	II,	168
По ком звонит колокол?	IV	186
«Речь о нас самих...»	V,	149
Спасибо	VI,	133
А ларчик (то бишь ящик) просто открывался	VII,	156
Неужели забыли?	VIII,	132
Чем хуже, тем лучше? (<i>для искусства</i>)	IX,	146
Как бы... ..	X,	183
Журналисты — опасные враги?	XI,	161
Кое-что о национальной идее	XII,	164

КРИТИКА

БАВИЛЬСКИЙ Дм. Новые стихи. <i>Попытка концепции</i>	V,	179
БАТКИН Л. Тоска по России	VI,	213
БЕК Т. «Их протирают, как стекло». <i>О поэтической серии «Имена»</i>	VII,	200
ГАЛЧИНСКИЙ К.И. Путь к поднебесью. <i>С польского. Перевод А. Гелескула</i>	VII,	204
XX ВЕК: ВЕХИ ИСТОРИИ — ВЕХИ СУДЬБЫ. <i>На вопросы</i>		

<i>анкеты отвечают И. КЛЕХ, О. ПАВЛОВ, Ю. БУЙДА.</i>	
Публикация А. Николаева	IX, 165
ЕШКИЛЕВ В. «Чьи вы, хлопцы, будете?...» <i>Беседу ведет Н. Игрунова</i> ..	XII, 188
КОРНИЛОВ В. Памяти Левитанского	I, 185
КРЮКОВА Е. «Каждый художник пишет свою Библию».	
<i>Беседу ведет Н. Игрунова</i>	VII, 191
КУРБАТОВ В. Дорога в объезд	IX, 156
ЛАЗАРЕВ Л. Негаснущий свет. <i>Вспоминая и перечитывая Марка Галлая</i>	II, 205
ЛИТОВСКАЯ ЛИТЕРАТУРА: ПИСАТЕЛИ И ЧИТАТЕЛИ	
МАРТИНАЙТИС М. Тексты на просвет. <i>С литовского.</i>	
<i>Перевод Г. Ефремова</i>	V, 194
СПРИНДИТЕ Ю. Тоска по простоте. <i>С литовского.</i>	
<i>Перевод Н. Воробьевой</i>	V, 198
О ПРОЗЕ РЕАЛЬНОЙ И ВИРТУАЛЬНОЙ. В «круглом столе»	
<i>участвуют: Н. АЛЕКСАНДРОВ, А. АРХАНГЕЛЬСКИЙ,</i>	
<i>В. БЕРЕЗИН, М. БУТОВ, А. ГАВРИЛОВ, А. ГОСТЕВА, А. ДМИТРИЕВ,</i>	
<i>А. НЕМЗЕР, А. СЛАПОВСКИЙ. Подготовка к публикации Н. Игруновой</i>	
СИТЕЛЬНИКОВ М. Плотность солнца	IX, 181
УГАРОВ М. «Писать пьесы — безнравственно». <i>Беседу ведет С. Новикова</i> ..	II, 196
ШРАЕР М. Д. «Игрушка»: записки об Игоре Чиннове	XI, 199

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

БАКЛАНОВ Г. Эта долгая память. <i>Беседу ведет И. Рищина</i>	II, 153
РЫБАКОВ А. Зарубки на сердце. <i>Последнее московское интервью.</i>	
<i>Беседу ведет И. Рищина</i>	III, 173

КНИЖНЫЙ РАЗВАЛ

АБАШЕВА М. Новые прежние слова	VIII, 208
АЛЕКСАНДРОВ Н. Житие языком романа	V, 206
АЛЕКСАНДРОВ Н. Право оглянуться	XII, 198
АНАСТАСЬЕВ А. Стенограмма сознания	VII, 217
АНАСТАСЬЕВ Н. После премьеры	V, 212
АРХАНГЕЛЬСКИЙ А. Двух голосов переключка	II, 219
БАСИНСКИЙ П. Юроды и уроды	IV, 199
«ГОЛУБОЕ САЛО»: ГУРМАНСТВО ИЛИ КАННИБАЛИЗМ?	
(А. ШАТАЛОВ. Владимир Сорокин в поисках утраченного времени;	
Л. ЛАВРОВА. Апофигей Кота Мурра)	X, 204
КИРДЯНОВ А. Заговор от одиночества	VIII, 211
КОРНИЛОВ В. Обретение человека	V, 208
КОРНИЛОВ В. Званные и избранные	XII, 202
КУЗНЕЦОВ И. Глазами постороннего	IV, 201
КУКУЛИН И. Кочевье слов на улицах и побережьях	XII, 200
ЛАВРОВА Л. Сны о чем-то большем... ..	V, 218
ЛАВРОВА Л. Открытая дверь	VIII, 213
ЛАЗАРЕВ Л. Свежо предание... <i>Полемические заметки</i>	X, 216
ЛИПНЕВИЧ В. «Я нашел свое место на древе вселенной...»	II, 217
ЛИПНЕВИЧ В. Территория здравого смысла	XII, 206
ЛЮСЫЙ А. Соседи по разуму	VIII, 215
НОВИКОВА Л. Сказка с несчастливым концом	V, 210
НОВИКОВА Л. Два века ссорить не хочу	VII, 213
ПАВЛОВ О. Потерянный мир	VII, 212
ТАРАСОВА М. Святые мытарства	II, 215
ТЕРАКОПЯН Л. Жажда ответа	X, 211
ТУРКОВ А. В защиту поэзии и поэтов	IV, 197

КРУГЛЫЙ СТОЛ

ДИАЛОГ ПОСЛЕ ПАУЗЫ. <i>Встреча в Переделкине</i>	III, 184
--	----------

ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

САМОЙЛОВ Д. Шаги Командорова. <i>Стихи. Публикация Г. Медведевой</i> , ТЮТЧЕВ Ф. Вы — мои единственные корреспонденты в Москве...	V,	55
<i>Вступительная статья и публикация Г. Чагина</i>	IV,	203

АРХИВ

ДРУЦЭ И. Страница прошлого	I,	194
----------------------------------	----	-----

ЧАСТНЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ О XX ВЕКЕ

ЛОМИНАДЗЕ С. Страницы детства	VIII,	154
МИРОНОВ Б. Скобарёнок. <i>Предисловие М. Кураева</i>	VI,	55
ОЖЕГОВ С. Отец	I,	205

ЧЕРТА ГОРИЗОНТА

ДАЛИ А. М. Сальвадор Дали глазами сестры. <i>С испанского.</i> <i>Предисловие и перевод Н. Малиновской</i>	VIII,	169
.....	IX,	185

ЛЕОНОВИЧ В. Продолжение диалога. <i>Памяти Игоря Дедкова</i>	IV,	188
ЛЕОНОВИЧ В. Памяти Яна Гольцмана	VIII,	220
МАКАРОВА Е. «Когда меня не будет». <i>Памяти поэта Айзенштадта</i> ..	XII,	208

ЭХО

Рубрику ведет Лев АННИНСКИЙ

«Колдобины...»	I,	218
Десять лет, которые растрясали мир. Хроника «Дружбы народов»: 1989—1999	II,	221
.....	III,	218
.....	IV,	222
.....	V,	221
.....	VI,	221
.....	VII,	221
.....	VIII,	217
.....	IX,	220
.....	X,	221
.....	XI,	221
Игла в сердце	XII,	212

Summary

The fiction in this issue is represented by short stories. Among the authors: A.VOLSKIJ, D. GRANIN, G. BELL, Y.BUJDA, G.ABRAMOV, V.TCHAJKOVSKAJA, M.TERESOVA, S.ADOMINAJTE. A long short story by S.SERGEEV "Winter Leisure, or A Journey across Three Seas" is a debut of a young author in a "thick" magazine.

IGOR EMELJANOV belongs to the poets' generation of the 1990-s. His lyrical poems often take paradoxical turn: people, animals, things and natural phenomena perform all kinds of antics but the author tells about them so as they were quite an everyday occurrence. I.Emeljanov's poetry is buoyant, optimistic, cheerful and refreshing.

S.A.PHILATOV. Top Non-Secret.

One more view of recent events in Russian life which might be called history if not so closely connected with the dramatic events of today.

VLADIMIR DEGOEV. The Law of Force or the Force of Law?

VICTOR MALAKHOV. One Doesn't Choose the Nation.

These two articles develop the discussion launched by K.Baranovsky (see his interview in "DN", 1999, # 9). The XX century has turned out to be a century of nationalism and internationalism. Why? How to civilize national outbursts? What does the history teach and what does the XXI century promise? Our regular authors — a historian V.Degoev and a philosopher V.Malakhov, each in his own way, grasp these and other burning questions.

Редакция не имеет возможности рецензировать и возвращать рукописи.

Во всех случаях полиграфического брака в экземплярах журнала обращаться в типографию, указанную в выходных сведениях журнала.

При перепечатке наших материалов ссылка на журнал «Дружба народов» обязательна.

Технический редактор Наталья Кузнецова

Свидетельство о регистрации № 73 от 14.09.90 г. в Министерстве печати и массовой информации РСФСР.

Адрес редакции: 121827 ГСП Москва, Г-69, ул. Поварская, 52.

Телефоны: главный редактор — 291-62-27, заместитель главного редактора — 291-62-49, заместитель главного редактора и секретариат — 202-52-03, зав. редакцией — 291-62-27, отдел прозы — 291-85-10, отдел поэзии — 291-63-63, отдел публицистики — 291-05-09, отдел критики — 291-64-50, факс: 291-63-54.

E-mail: dn@mail.sitek.ru, <http://www.infoart.ru/magazine/druzhiba/index.htm>

Слано в набор 27.09.99. Подписано в печать 19.11.99. Формат бумаги 70 x 108 1/16. Печать офсетная. Усл.-печ. л. 19,60. Усл. кр.-отт. 20,30. Уч.-изд. л. 22,05. Тираж 6600 экз. Заказ 3062. Цена свободная.

Типография «Красная звезда». 123826 ГСП Москва, Хорошевское ш., 38.

«Дружба народов» — 2000

Романы, повести:

Анатолий АЗОЛЬСКИЙ. Прекрасная незнакомка. Повесть.**Светлана АЛЕКСИЕВИЧ.** Чудный олень вечной охоты. Книга о любви. Лауреат многих российских и международных премий, автор трагических книг «Цинковые мальчики», «Зачарованные смертью», «Чернобыльская молитва», на сей раз обратилась к теме любви.**Юрий АНДРУХОВИЧ.** Рекреации. Роман. Перевод с украинского Ю. Ильиной-Король. Один из самых громких романов последнего десятилетия, роман-скандал и роман-легенда.**Анатолий ГЕНАТУЛИН.** Там, за холмами... Автобиографическое повествование известного писателя, жизнь которого неразрывно связана с Башкирией.**Нина ГОРЛАНОВА, Вячеслав БУКУР.** Лидия. Повесть.**Реваз ИНАНИШВИЛИ.** Из настольной тетради. С золотой жилой сравнивают критики четыре исписанных толстых блокнота, обнаруженные после смерти замечательного грузинского писателя.**Наум КОРЖАВИН.** Соблазны кровавой эпохи. Автобиографический роман.**Яан КРОСС.** Полет на месте. Роман. Перевод с эстонского Э. Михайловой.**Михаил КУРАЕВ.** Новая повесть.**Анатолий КУРЧАТКИН.** Победитель. Роман. В основе — подлинная история: герой Гражданской войны — сотрудник НКВД, выполняющий за границей задания, разработанные Берией и Судоплатовым, — доживающий свой век пенсионер...**Афанасий МАМЕДОВ.** Свержение президента. Короткий роман. Баку. Весна 1992 года.**Грант МАТЕВОСЯН.** Возвращение. Повесть. Перевод с армянского. Фрагмент большой книги, над которой последние годы работает выдающийся армянский писатель.**Елена МАКАРОВА.** Фридл. Документальный роман.**Олег ПАВЛОВ.** Карагандинские девятины. Повесть.**Дмитрий СТАХОВ.** История страданий Бедолаги, или Семь путешествий Половинкина. Легенды и мифы Новой России. Почти эпос.**Елена РЖЕВСКАЯ.** Площадь Пушкина, 5. Повесть.**Илья ФАЛИКОВ.** Ливерпуль. Роман.**Е. ХОЛМОГорова, М. ХОЛМОГОРОВ.** Белый ворон. Ненаписанные мемуары. А написать бы их мог Михаил Тариелович Лорис-Меликов.**Леонид ЮЗЕФОВИЧ.** Князь Ветра. Роман. В романе автора известных книг о детективе Путилине («Ситуация на Балканах», «Знак семи звезд») и документального романа о бароне Унгерне («Самодержец Пустыни») таинственным образом детективная линия сошлась с исторической.Рассказы **Г. АБРАМОВА, А. АЙВАЗЯНА, Г. БАКЛАНОВА, Г. БАЛЛА, Ю. БУЙДЫ, Д. ГРАНИНА, О. ДАРКА, В. КУРНОСЕНКО, Д. МАРКИША, А. МЕЛИХОВА, Е. НЕКРАСОВА, В. ПЬЕЦУХА, Д. РУБИНОЙ, Н. САДУР, Д. СИМОНОВОЙ, Ф. ХАЛВАШИ, А. ХУРГИНА, Ю. ЭДЛИСА.**